ИНОСТРАННАЯ *литература*

5

1958

ИНОСТРАННАЯ литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Поль Хогарт (Англия). Первомайская демонстрация на Трафальгарсквер в Лондоне.

Рисунок сделан для журнала «Иностранная литература»

5

1958

МАЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИЗВЕСТИЯ“ МОСКВА

Содержание

ИРЖИ ТАУФЕР — Мой Интернационал (Стихотворение) 3

ЯН ВЕЙС — Звезда и женщина (Из книги «Страна внуков») 11

Поэзия колониальной Африки

КАРЛОС КАЛУНГАНО, МАРИО ДЕ АНДРАДЕ — Голос народа 56

ЛИЛИНЬЮ МИКАЙЯ — Шангана. Песня истинной любви 58

НОЭМЬЯ ДЕ СОУЗА — Самба 62

РУЙ ДЕ НОРОНЬЯ — Вставай и действуй . 64

МАРИО ДЕ АНДРАДЕ — Песня сабалу . . . 64

ЖОРЖИ БАРБОЗА — Поэма о море 65

Югославские рассказы

ПРЕЖИХОВ ВОРАНЦ — Отец 67

АНТОНИЕ ИСАКОВИЧ — Ложка 69

ЦВЕТКО МАРТИНОВСКИЙ — Люди с гор . . 73

СЛАВКО ЯНЕВСКИЙ — Однажды после обеда 84

Поэты за круглым столом

ВЕЛЬСО МУЧЧИ, УМБЕРТО САБА, САЛЬВАТОРЕ КВАЗИМОДО, ДЖУЗЕППЕ УНГАРЕТТИ, АНТОНИО ГУЕРРА, ДЖАКОМО НОВЕНТА, ПЬЕТРО БУТТИТА, ЭУДЖЕНИО МОНТАЛЕ, ЧЕЗАРЕ ПАВЕЗЕ, МАРИО СОКРАТЕ, АНДЖЕЛО МАРИА РИПЕЛЛИНО (Вступление Сергея Смирнова) 87

ХАЛЛДОР ЛАКСНЕСС — Летопись хутора Бреккукот (Роман. Окончание) 103

КРИТИКА

Т. БАЛАШОВА, О. ЕГОРОВ, А. НИКОЛЮКИН, Р. ФИЛИПЧИКОВА — Октябрь и зарубежная литература 180

Л. НИКУЛИН — Размышления у книжной полки 193

РЕЦЕНЗИИ

Л. ВЕРШИНИН — Писатель больших мыслей 196
И. БЕРНШТЕЙН — Новые задачи и старые приемы 198

ПУБЛИЦИСТИКА

ТОЙН ДЕ ФРИС — Ярмарка мудрости . . . 203
УИЛЬЯМ Э. Б. ДЮБУА — Культурные связи необходимы 213

МЕЖДУНАРОДНАЯ АНКЕТА „ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ"

МЭРИ ГИЛМОР, КАТАРИНА СУСАННА ПРИЧАРД, ГРЭХЕМ ГРИН, АРЧИБАЛЬД КРОНИН, ВИВЬЕН ЛИ, ЛОУРЕНС ОЛИВЬЕ, СВЯТОСЛАВ МИНКОВ, ХРИСТО РАДЕВСКИЙ, КЛАРА БИХАРИ, ДЬЕРДЬ МАТЭ, АННА ЗЕГЕРС, МАКС ЛИНГНЕР, ТОЙН ДЕ ФРИС, БА ЦЗИНЬ, ГУ ЮАНЬ, ЛАО ШЭ, МАО ДУНЬ, У ЦЗО-ЖЕНЬ, ЭЙВИН БОЛСТАД, КАЗИМЕЖ БРАНДЫС, ИГНАЦЫ ВИЦ, ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ, ЛЕОН КРУЧКОВСКИЙ, ИГОРЬ НЕВЕРЛИ, ВАНДА ЯКУБОВСКАЯ, ПЕТРУ ДУМИТРИУ, РОКУЭЛЛ·КЕНТ, ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ, УИЛЬЯМ САРОЯН, ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР, АРМАН ЛАНУ, БОРИС ТАСЛИЦКИЙ, ЖЕРАР ФИЛИП, ЛЮДВИК АШКЕНАЗИ, ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ . . 215

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

О. ВЕРЕЙСКИЙ — Йозеф Лада 232

НА КИНОЭКРАНАХ

ХОДЖА АХМАД АББАС — Начало пути . . 243

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ИРЖИ САЙДЛЕР — Э. Ф. Буриан и его театр 248

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

В. Неволина — Ленин в Польше. ◇ Р. Белоусов — Сплоченность литераторов Китая. ◇ Мартин Наг — Нурдаль Григ — поэт и борец. ◇ Р. Кочи — Книга об Александре Моисси. ◇ А. Елистратова — Свобода циничного зубоскальства. ◇ Л. Лунгина — Новый роман Яна Мюрдаля. ◇ А. Брагинский — Странный метод полемики. ◇ В. Ивашева — Новая книга автора «Счастливчика Джима». ◇ Ю. Родман — Три Дюма. ◇ С. Шлапоберская — Эскадрилья «Летучая мышь». ◇ И. Шкунаева — «Через месяц, через год...» 253

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 269

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . . . 287

Иржи Тауфер

МОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Перевод с чешского С. Северцева

На донском берегу, между черных цистерн
и огромных
элеваторных башен,
три всадника вскачь пронеслись
мимо нашей трескучей повозки;
мы видим их лица,
окликаем их весело,
машем руками,
а они отвечают нам громким, задорным «ау!».

Молодое, протяжное эхо
отзывается с правого берега нам
и бросает
наши крики с крутого обрыва
в донскую волну,
и бурливые волны уносят их вниз — к Пятихатке.

Я люблю эти крепкие шутки донских казаков,
грубоватые шутки,
подобные жестким ладоням,
что тебя дружелюбно похлопывают по плечу,
и такие сердечные,
словно пахучие горсти
золотистого, крупно накрошенного табака.

Знаю всадников я:
это наш молодой зоотехник
с третьей фермы,
да слесарь Стрельцов,
да погонщик верблюдов —
он живет далеко за совхозом
в одиноком домишке на круглом песчаном холме,

что похож на курганы,
которые в древние годы
над телами героев
соратники их воздвигали,
день и ночь насыпая высокими шлемами землю.
На такие курганы одни лишь степные орлы
иногда прилетают.

И глядя на эти курганы,
всякий раз вспоминаю
цветные картинки из книг
о черкесах и горных аулах,
дни далекого детства, когда я впервые читал
про кавказского пленника.

Меркнет закат.
Перевоз не работает больше.
Под сырым ветерком
наши кони дрожат боязливо,
только ветер прохладный в густых камышах шелестит.

Пароходик буксирный со скрежетом якорь бросает
там, где пятна мазута
расплылись павлиньим пером,
и огни Калача
пробегают по сонной воде,
как оранжевый рой паучков-водомерок,
а дальше,
где горячие запахи нефти целуют речные излуки
в их студеные рыбьи уста,
перед нами раскинулся Дон,
словно сабля кривая,
забытая здесь на песке
после битвы гигантов,
давно отгремевшей над степью,
и синеет его отчеканенный солнцем металл.

Мы стоим над рекой
и ладонью глаза заслоняем,
будто древних времен васнецовские богатыри.

Значит, нам ночевать под широким донским небосводом.

Едем дальше вдоль Дона —
туда, где дорога бежит,
устремляясь вперед,
на Вертячий и на Песковатку:
трое всадников,

наших знакомых,
и мы — на трескучей повозке.

Только ветер вечерний в густых камышах шелестит.

Никогда я не думал,
что в поле бывает костер
и уютным таким,
и таким удивительно теплым,
как вот этот походный костер,
что сложили мы
возле обрыва
из сухого, прибрежного хвороста и тростника.
Он и наших коней перекрасил волшебною кистью
в огневых скакунов,
позолотой покрыл их глаза,
и крутые бока,
и текучие, черные гривы.

Чьи-то руки
кладут перед нами ржаную буханку,
нарезают другие сырое, соленое сало,
вот и сыр,
вот большая и сочная, желтая дыня.

По-турецки уселся киргиз
перед самым костром,
богатырь с непонятной фамилией Полицеймако
ломкий хворост
бросает в огонь,
а казах, улыбаясь,
то зубами блеснет — полосой серебра, —
то густыми
волосами из черного дерева.
Смуглый Алеша
сел на корточки рядом, как будто беседу ведет
на завалинке,
дальше — плечистый калмык
козью ножку
с великим терпением крутит,
и на затылок
сдвинул с потного лба украинец баранью кубанку.

Сколько здесь
над огнем
наклонилось причудливых шапок!
Я люблю эти старые шапки,
похожие чем-то
на лохматые, добрые уши больших сенбернаров.

А беседа
струится легко
и легко прерывается смехом,
не беда, если шутки совсем не для женского слуха,
пробегают слова,
точно волны широкого Дона,
тихо плещут, стихают и снова бегут и бегут:
и каков урожай,
и как быть с Акулиной-бедняжкой —
пьет ее Афанасий;
рассказ о гражданской войне
на минуту сменяется грустной, чуть слышною песней,
и опять:
почему затянулся ремонт тракторов,
как верблюдов стригут
и довольно ли на зиму сена...

Молча слушаю их,
словно каждый стихи говорит,
и неважно, что нет в них ни ритма, ни рифмы
и что их не запишет никто,
как вот эти стихи.

Вспоминают о детстве,
о полузабытых событьях
и об умных друзьях — силачах, чудаках,
и слова
разгораются вдруг,
словно в пламя подброшенный хворост,
и смолкают опять,
и опять, рассыпаясь, звенят,
точно степь, накаленная зноем;
и ходит по кругу,
как заздравная чаша,
бутылка с «особой московской».

Как умеет сердца породнить
эта плавная русская речь!
Мне по вкусу она,
как вот этот ржаной деревенский
черный хлеб.

На коричневый Дон
опускается сизая полночь,
только ветер украдкой в густых камышах шелестит.

Языкатый огонь
расцветил под обрывом волну,

словно снова из памяти всплыла
горячая кровь Бунчука,
словно все еще тихо сочатся геройскою кровью
раны красных бойцов-казаков,
что погибли в боях с беляками
в те далекие годы,
когда на донских атаманов
слесарь луганский от Чира к Царицыну вел
эшелоны свои.

А пока что мои побратимы
не спеша незатейливый ужин кончают,
беседа
чуть колышется,
словно гекзаметра мерные строки,
только изредка кто-нибудь громко окликнет коня,
всколыхнувшего ржанием тьму.

Мы, наверно, похожи
на фрагмент «Запорожцев» — вот так, у степного костра.
А полуночный Дон то волною тепла обдает нас,
то дохнет холодком,
словно бьется в тисках малярии,
словно стонет в жару,
лихорадя
под мокрой повязкой.

Есть, наверное, здесь
и потомки воинственной Сечи,
в этой дружной семье
почти незнакомых мужчин;
я бы обнял
их всех,
если чуть не стыдился бы этой
опьяняющей силы свободы, текущей во мне,
если чуть не стеснялся бы
этой холодной
и трезвой
европейской пристойности, с детства преподанной мне,
если б выразить мог,
как я счастлив и как благодарен.

Благодарен за все:
и за то, что они подарили
эту новую родину мне,
и за то, что я радуюсь с ними
урожаям их щедрой земли,
и за то, что я с ними люблю

наш сегодняшний день,
день трудов и забот,
как субботу,
за которой, сверкая, придет воскресенье,
и за то, что я с ними на этой волшебной ночевке,
и за то, что мы выпили вместе
из общей бутылки
за жену и за сына — за самое близкое мне,
и за то, что они чужеземцем меня не считают
и по-русски Георгием здесь называют меня
или попросту Юрой,
за то, что и я очутился
среди них
в этом теплом кругу,
в этом крохотном, тесном,
но таком дорогом для меня интернационале,
что в степи у костра
отдыхает
под топот киргизских коней,
на прибрежном песке
у корней покосившейся вербы,
под назойливый звон летящих на свет комаров...

Сон смыкает нам веки,
костер потихоньку темнеет,
только ветер полночный в густых камышах шелестит.

Доброй ночи, лягушки!
Весь вечер
ваш хор не смолкал,
словно тиканье старых часов,
что уже незаметно для слуха...

Говорят,
здесь когда-то был птичий великий базар,
потому-то весной так подолгу здесь аисты кружат,
потому-то, наверное,
и перевозчик красив,
словно в сказке о крошке-гребце.
Если б он свои весла
доверить решил мне,
о, с какой благодарностью взял бы я в руки
эти весла,
чтоб стать перевозчиком здесь
навсегда!

И вовек
никому,

никаким королям и владыкам
эти весла не отдал бы я!

Ночь рассыпала, словно пшено,
свои чистые звезды,
а завтра их все соберет
до последнего зернышка солнце — огромный цыпленок,
чуть с утра перепрыгнет
кургана обветренный горб.

На закате я видел: степной горделивый орел
долго реял над этим курганом,
покуда с усталых коней
люди сбрую снимали —
мужчины в больших полушубках
и лоснящихся стеганых куртках,
похожих
на сиденья старинных карет.

А сейчас
за две мили отсюда,
в небольшой деревянной палате
спит сынок мой,
что счастливо прожил второй уже день на земле,
спит любимая —
матерью стала впервые она!
Только я
в тростниках
на высоком донском берегу
здесь лежу,
и не сплю, и впиваю расширенным слухом,
как впотьмах окликаются сотни ночных голосов.

Я — отец
со вчерашнего дня,
но ничуть не умнее, чем раньше,
а, пожалуй, еще сумасбродней — еще на одну
молодую тревогу — любовь.

Дремлют кони,
уснули и всадники наши...

Только ветер бессонный в густых камышах шелестит.

«ЗВЕЗДА И ЖЕНЩИНА». *Рис. К. Арцеулова.*

Ян Вейс

Звезда и женщина

Из книги „СТРАНА ВНУКОВ"

Перевод с чешского Р. Разумовой

4 января

Раньше всего уточню все для самого себя. Я совершенно не собираюсь описывать фантастических обитателей звезд, придумывать удивительных существ, живущих где-нибудь на Змееносце или в созвездии Близнецов, похожих на мотыльков или орхидей, саламандр или нетопырей. Не к этому я стремлюсь. Зачем их выдумывать, если достаточно пойти в Большой аквариум; там можно увидеть такие творения, живущие на нашей планете, каких не выдумаешь даже в горячечном бреду. Гораздо труднее и не менее интересно остаться со своими героями дома, на Земле.

Я не хочу также поражать воображение читателя изумительными изобретениями, рисовать некий механизированный рай, где машины обслуживают человека на каждом шагу. Заполнить роман вместо живых людей сплошными изобретателями и персоналом, обслуживающим их изобретения, — благодарю покорно! В конце концов этих изобретений разведется столько, что они станут людям в тягость, будут путаться у них под ногами! Не они будут служить человеку, а он им. Мне вовсе не хочется этого.

Я не хотел бы также придумывать вместо людей совершенные образцы красоты и добродетели без ошибок, страстей и конфликтов, с чувствительными носиками, нежными язычками и изощренными нервами — этакий концентрат совершенства! Как скучно было бы жить в мире, лишенном напряжения, волнений и драм! Я вижу живого человека будущего, существо из мышц и костей, с алой кровью в жилах, которая потечет, если его уколоть, с нервами, передающими в мозг болевые сигналы... Дети будут хныкать и через сто лет; человек может и в грядущих веках сломать ногу!

Разумеется, будут тепло- и гидроцентрали, электростанции, использующие атомную и солнечную энергию, силу ветра и морских приливов, будут умные машины, думающие вместо человека — только прикажи! Из морской воды будут добывать все металлы, величайшие рудники мира будут жидкими (я имею в виду океаны). Человек увидит невидимые прежде вещи, услышит неслышные раньше звуки. Я представляю себе телевизор, передающий запахи. Будут институты, регулирующие погоду; атомными взрывами будут вызывать искусственные циклоны, будут... Я не знаю, что еще будет. Но все эти чудеса техники — только фон, только кулисы для моей сцены, только тихий аккомпанемент. Главным остается человек.

5 января

Развитие никогда не прекратится. Строить будут еще интенсивнее, еще увлеченнее. Каждый человек будет личностью! Конечно, легче себе представить, каким не должен быть и не будет человек, чем каким он станет. Вспомните об отталкивающих образцах людей, которые недопустимы не только в будущем, но и в наше время!

Далее. В романе о будущем не будут разрешаться проблемы эгоизма, жажды власти или денег, ревности, лжи и клеветы. Отпадут причины, порождающие эти пороки.

Далее. Я хочу показать счастье человека грядущего, построенное на прочных товарищеских отношениях между людьми будущего бесклассового общества; их борьбу с последними пережитками собственнических инстинктов; их отношение к творческому труду, который становится страстью; их героическую борьбу с природой — эту первую и последнюю, единую и вечную, величайшую борьбу человека, овладевающего самим собой и вселенной.

Есть ли сейчас такие люди? Есть! Но кто из тех, кого я знаю, в силу своей душевной красоты, правдивости, внутренней свободы и способности к любви, лишенной зависти, достоин жить, скажем, через сто лет? Вероятно, по нашей земле ходит много людей лучших и более совершенных, чем те, с которыми мне приходилось сталкиваться. Но я не знаю их. Да они и сами этого не знают, а просто живут среди нас, как посланцы светлого будущего.

17 июля

Я не стану только для того, чтобы дать полную волю своей фантазии, писать научно-фантастический роман, действие которого происходило бы на межпланетном воздушном корабле или на какой-нибудь иной планете. Воздушный корабль допускаю. Почему бы не быть воздушному кораблю? Однако не в начале, а в самом конце романа.

Главным должен быть человек! Люди, обеими ногами твердо стоящие на земле, но уже готовые отправиться в путь. Они все еще отцы, мужья и возлюбленные, тысячами нитей связанные с родной почвой. Как только они окажутся на воздушном корабле, они сразу станут экипажем, станут капитанами, радиотехниками, инженерами, физиками, математиками в большей степени, чем людьми. В рассказе, конечно, будет ракета, готовая к взлету. Я доведу своих героев до самого старта, а там... прощайте!

Самое важное, чтобы главным героем было чудесное человеческое сердце, а не чудесные машины!

18 июля

Начатый мною сейчас рассказ о воздушном корабле обязан своим возникновением Карелу Вейнару, с которым меня свела моя счастливая звезда. Он внушил мне эту идею как астроном, работающий под куполом петршинской обсерватории у рефрактора, направленного на Луну.

Карел Вейнар — самый молодой член коллектива народной обсерватории. Свою трудовую жизнь он начал как продавец в кооперативе «Прамен», но не выдержал там и года. Мечта смотреть сквозь регулируемые стекла на звезды привела его на Петршин. Он был сначала рассыльным, затем ему разрешалось вытирать пыль с аппаратов и сторожить их, пока он, наконец, через несколько лет не стал лаборантом и не был допущен к самостоятельной работе. Карел — самоучка. Конечно, он бы легче достиг той же цели, если бы у него хватило терпения окончить курс в соответствующем учебном заведении. Но Вейнар был слиш-

ком одержим стремлением немедленно, сейчас же иметь дело со звездами, и все остальное выбросил за борт.

— Во всяком случае как лаборант я сейчас в лучшем положении, чем многие бедные ученые в капиталистическом мире, вынужденные иметь дополнительную профессию, чтобы не умереть с голоду. Мы знаем, что один астроном начал свою деятельность как калькулятор, другой был пивоваром. Из ученых, изучавших кометы, один был литографом, другой жестянщиком. Один ученый-астроном был писарем в суде. Гершель-старший начал свою деятельность как музыкант. Астроном, открывший периодичность колебания числа солнечных пятен, был раньше фельдшером. Ученый, открывший спутников Марса,— бывший плотник.

Итак, Карел Вейнар был профессионалом; как только я заговорил о Марсе, он сразу понял, что̀ я имею в виду! Он как свои пять пальцев знает работы советского астронома Г. А. Тихова, применившего цветные фильтры для фотографирования природы Марса и наблюдения за ней. Тихов является, собственно говоря, основоположником так называемой астроботаники, новой науки, исследующей природу на других планетах.

Но у Карела свои собственные, немного фламмарионовские представления о природе на Марсе. От своих коллег он их скрывает, но со мной ими поделился — доверие за доверие!

19 июля

Я познакомился с ним ближе, хотя между нами большая разница в возрасте. В качестве селенолога Карел изучает поверхность Луны при различном освещении и, как я уже сказал, любит помечтать. Он представляет себе Луну как промежуточную межпланетную станцию, где будут устроены герметически закрытые ангары для ракет, склады горючего, электростанция и гостиница для астронавтов. Возможно, что наши совместные мечты являются для него просто отдыхом. Обычно он чувствует себя как рыба в воде среди своих астрономических цифр и высчитывает путь комет так же точно, как раньше за прилавком подсчитывал закупки хозяек.

Вечерами мы с ним бродим по петршинским садам и, если небо чистое, заходим в обсерваторию. Когда там нет посетителей, он усаживает меня к рефрактору и направляет объектив на неподвижный, испещренный язвами лик Луны независимо от того, молодая она или убывающая. Он показывает мне лунные Альпы, Кавказ и Пиренеи, кратеры, похожие на оспинки (их, говорит он, 30 000), и безводные моря Ясности, Изобилия и Кризисов, у которых хороши только названия.

Провожая его впервые домой, уже в темноте, я обрадовался, сам не знаю почему, когда узнал, что он живет в Новой колонии, о жителях которой я внес несколько мыслей в свой дневник.

Вот человек, который живет, как подобает человеку!

— Зимой я особенно чувствую, как мне повезло, — говорил Карел. — Когда спрашивают, запасся ли я углем, стыдно признаться, что мне не приходится иметь дела с топливом; зимой тепло — такая же неотделимая часть моей квартиры, как воздух и свет.

С каждым днем я узнаю его все лучше и лучше и все больше люблю. Он охотно здоровается с людьми и произносит «Добрый день!» или «Добрый вечер!» не как пустую фразу, а с чувством, как радостную новость, о которой приятно сообщить другим. Ежеминутно он с кем-нибудь останавливается и спрашивает:

— Что слышно у вас дома? Все ли здоровы? Ну, я очень рад. — И говорит это так, что человек ему верит. Он действительно рад, что домашние его друзей здоровы. А не то спрашивает:

— Как Милушка и Верушка? Радуют тебя? Передай дома привет, самый теплый привет! Да смотри не забудь!

Его приглашают в гости.

— Приду, наверняка приду! Мне у тебя всегда приятно побывать.

Люди знают, что он не придет, но наверняка пришел бы, если бы не был занят, и прощают ему это.

Сначала я думал, что у него так много друзей. А теперь знаю, что он здоровается и с полузнакомыми людьми, с такими, которых когда-нибудь где-нибудь встречал. Снимает шляпу и улыбается им. И они любят встречаться с Карелом, заговаривают с ним.

— Привет, пан Вейнар! Ну, сколько звездочек на небе? — с дружеской улыбкой спрашивает женщина в платочке. Она несет в сетке, как пойманного угря, длинный хлебец и, не ожидая ответа, торопится домой со своими покупками.

— Как поживаете, пан Вейнар? — окликает его с противоположного тротуара человек неопределенного возраста. — Когда отправимся в ракете на Луну?

— Когда мы столкнемся с кометой?

— Где конец вселенной?

Ему задают много таких шутливых вопросов, не требующих ответа. Люди рады знакомству с ним, тому, что могут перекинуться с ним словечком, что он — свой, хотя и «звездочет».

— Скажи, кто это? — спрашиваю я о женщине в платочке.

— Не знаю. Вероятно, она ходила ко мне в магазин, когда я еще стоял за прилавком.

Здесь все его знают, а он не знает никого, что не мешает ему любить этих людей.

Но это не относится к молодым девушкам. Их он игнорирует. Когда мимо нас проходит красивая девушка, Карел быстро опускает глаза и отворачивается. Он признался мне, что никогда не встречался ни с одной девушкой.

Я не верю, будто у него столько работы, что не остается минутки для любви. Он определяет логарифмы расстояний в световых годах, анализирует спектры звезд и таким образом читает их историю, изучает русский и английский, чтобы пользоваться сокровищами мировой астрономии, и невесть что еще делает... Но любовь к девушке — не менее важное дело для молодого человека!

Неужели у него не остается минутки, чтобы задушевно пошептаться, погладить волосы, пожать девичью ручку при луне, которая должна быть в этот момент не мертвым небесным телом, а золотой монетой на вечернем небе, лампионом или апельсином.

— Для девушек у меня нет времени... Это все еще успеется! Их я оставляю напоследок, — говорит он.

Но когда до него дойдет очередь, он вспыхнет, как пучок соломы! Карел не красавец, но счастлива будет рыбачка, которая поймает его в свои сети.

16 августа

Первая часть рассказа готова. В образе пани Ксении, матери моего будущего героя, слились три лица из нашего мира. Во-первых, бесконечно милое, улыбающееся лицо пани Вантоховой. Я так и вижу, как она спешит по нашему переулку с покупками, бледная и растрепанная, с пепельными волосами, в серых брюках, и мимоходом всегда что-нибудь похвалит в моем садике. Затем — лицо одной женщины в платочке. Я видел, как она, исполненная материнской гордости, усаживала в трамвае рядышком пять одинаково одетых мальчиков. Пани Ксения будет

похожа и на одну из моих двоюродных сестер, трагическая красота которой всегда привлекала меня, когда я перелистывал семейные альбомы. На фотографии конца прошлого столетия у этой незнакомой мне двоюродной сестры поверх прически — уродливая широкополая шляпа с целым вороньим гнездом. Но даже это безобразие не может исказить красоту замечательного лица, на котором сквозь покорность проглядывает протест. Я вижу эти три различных облика, когда представляю себе пани Ксению, чей сын готовится к космическому полету.

Прообразом пани Елены, бабушки нашего героя, послужила проворная старушка Кроупова, вплоть до ее черного узелка волос и белых зубов, являвшихся, впрочем, частью ее туалета.

Только герой у меня никак не получается. Он огорчает меня и в действительности и в рассказе. Мы с Карелом давно не виделись. Между небом и землей повисла свинцовая завеса туч. Начались ливни, три купола обсерватории закрыты, и лишь одно окошечко светится в тумане меж мокрых ветвей. Над головой безнадежная тьма и пустота, и кажется, что это навеки, что звезд нет и никогда не было.

30 августа

Я ошибся в своем астрономе... Карел влюблен. Это факт. Вместо того чтобы гулять со мной, бродит по вечерам с девушкой, если только она не сидит с ним в обсерватории. Он совершенно счастлив и, увидев меня, смущается, словно стыдится своего счастья, оправдывается и просит у меня извинения. Ее зовут Аленкой. У нее серые глаза, она чуточку выше Карела. При первом взгляде кажется, что она хочет, чтобы все любовались ее хорошенькой мордочкой — вот, мол, наслаждайтесь! — но это только первое впечатление. Стоит ей заговорить — и вы сразу видите, что она даже не замечает своей прелести. Аленка с первых же слов покорила меня. Она химичка.

В ее лице Карел открыл звезду первой величины и красоты. Я шутя предложил взять шефство над их любовью. Аленка, смеясь, согласилась. Мы сразу поняли друг друга. Но Карел надулся, видно приревновал. Глупыш!

12 сентября

Аленка Моутеликова неожиданно пришла ко мне с жалобой. Она сердится на своего Карела. Да иначе и не может быть! Он не хочет лететь в СССР с делегацией на совещание астрономов, которое должно состояться на будущей неделе. Причина — ревность. Она говорит, что Карел страшно ревнив, просто невыносимо!

— Ведь я люблю его! — подняла она на меня свои большие серые глаза и тотчас же опустила их. — Если он относится ко мне серьезно, я готова хоть сейчас выйти за него замуж! Но он ведет себя, как маленький ребенок. Держится за мой подол, и я уже не могу ни с кем остановиться, посмотреть, улыбнуться, слово сказать...

— Вы должны его понять, Аленка, — возразил я. — Он еще никогда не встречался ни с одной девушкой. Вы его первая любовь. Он влюблен в вас по уши!

— Я это знаю лучше вас и пытаюсь понять его, но дело не только в этом. Он ужасно невежественный. Знает каждый астероид, знает, что происходит в галактиках, отмечает каждое движение на небе — и понятия не имеет, где парк имени Юлиуса Фучика! Он не знал, что в манеже на Градчанах теперь картинная галерея, не был на Страгове в Музее письменности — а ведь это в двух шагах от обсерватории! Я повела его в Реалистический театр на «Трактирщицу» Гольдони, и теперь он совершенно одержим театром. Готов ходить туда каждый день! Хочет все

наверстать, открывает для себя Прагу, когда должен ехать в Москву. Для него, мол, не имеет смысла что-нибудь предпринимать без меня. И при этом сторожит меня, как цербер!

— Он должен ехать в Москву! — сказал я.

— Уговорите его, пожалуйста! Всякий другой много дал бы за это!

Она заговорила о том, что он рискует своей астрономической карьерой, и о других практических вещах. В каждом слове чувствовалось: она заботится о будущем, но о близком, маленьком, заботится по-женски предусмотрительно, по-матерински мудро — о собственном маленьком будущем!

Прощаясь, она пожала мне руку. Ее очаровательные серые глаза улыбались.

— Вы взяли шефство над нашей любовью. Вот и осуществляйте его. И еще одна просьба: Карел не должен знать, что я была у вас. Он бы меня на кусочки разорвал! Это будет нашей общей тайной. — Она приложила пальчик к губам: — Ему — ни гугу!

ЗВЕЗДА И ЖЕНЩИНА

Невыразимая скорбь придавила Ксению Бернардову. Ее старший сын Петр, в числе девяти других, был включен в экипаж ракеты, которой предстояло отправиться в далекий путь — в мировое пространство. Это уже не первая атомная ракета, отрывающаяся от Земли. Начальником первой экспедиции — той, что так и не вернулась, — был муж пани Ксении, Криштоф Бернард.

Три года прошло с тех пор, как он улетел на Луну. Но до сих пор стоит пани Ксении посмотреть вверх, на холодный лунный свет — глаза ее застилают слезы. Где-то там покоится он вместе со своим экипажем. Как далеко маленькое кладбище этих героев... Памятники им воздвигнуты повсюду — на площадях и в парках, на берегах озер и морей, на вершинах гор... Памятники разных форм и размеров. Но что из этого? Памятники — только металл или камень. А от его сердца, его доброй улыбки, от его рук, так нежно ласкавших ее, на этом свете не осталось даже праха...

Едва перестала она оплакивать своего Криштофа — приходится прощаться с Петром, ее гордостью и надеждой, ее первенцем, на которого она перенесла всю свою любовь и все свои заботы.

Словно ему здесь тесно, словно не хватает места на Земле, точно горит она под ногами у него, мечтателя и фантазера, жаждущего безумной авантюры. О, если бы он летел куда-нибудь на край нашей планеты, хотя бы на Южный полюс! Только бы у него под ногами была земля, надежная, прочная земля, по которой ступают и ее ноги... Но туда... Словно он уже мертв, навеки...

Старт «Стрелы» назначен на завтра, в десять часов утра. Только что пробило десять. Еще день и ночь... Завтра в этот момент все подымут головы к небу... Портреты астроботаника Петра Бернарда красуются во всех газетах. И ее, Ксению, прославляют словами и кистью как жену одного из первых звездоплавателей и мать продолжателя славного дела. Но, увы, она не может этому радоваться...

Пани Ксения боялась потерять своего первенца, своего любимца. В глубине души она не верила в абсолютную безопасность полета и успех экспедиции. Правда, теперь ракеты возвращаются, и сейчас некоторые находятся на обратном пути. Но та, первая, не вернется никогда! Ее так же утешали, когда Криштоф входил в этот летучий гроб и кивнул ей на прощание...

Приходится притворяться героиней! Перед знакомыми и незнакомыми, перед репортерами и детьми. Даже перед Петей! Улыбаться, когда хочется плакать, ни слезинкой, ни дрожанием век не выдавать своей скорби, своего страха потерять сына, которого она любит больше собственной жизни. Выше голову! Улыбайся! Покажи свою материнскую гордость и мужество, как подобает жене Криштофа Бернарда, героя вселенной! Таков теперь удел пани Ксении.

Матери ее покойного мужа, старой пани Елене, ничуть не легче. Она пыталась утешать, а сама, бедняжка, нуждалась в утешении. Ей уже за девяносто, но она сохранила еще порядочный для своего возраста узел седых волос.

— Как ты спала, душенька? — спросила она, входя в комнату и всматриваясь в лицо Ксении.— У тебя усталый вид.

— Вы ведь знаете почему, мама!

Старушка подошла и погладила ее по голове, как маленькую девочку.

— Не грусти, Ксения!

— Вы же видите, я не плачу...

— Нет, плачешь, внутренне рыдаешь, это хуже слез! Ты не первая и не последняя мать, расстающаяся с сыном!

Она положила руку на склоненную голову Ксении. Пани Ксения, не сопротивляясь этому мягкому насилию, подняла голову. У нее был такой несчастный вид.

— Вы меня понимаете, мама. Перед вами я не должна притворяться, что радуюсь потере сына...

— Не говори так! Не святотатствуй! И не плачь, главное, не плачь, не то я сама разревусь...

Она быстро вытерла белым платочком запавшие глаза.

— Видишь ли, это и моя вина... Мой сын! В молодости я слишком много бродила при свете звезд, слишком много ими любовалась... Я любила Вечернюю звезду и Орион, мои мечты возносились по Млечному Пути... Когда я ожидала рождения Криштофа, как раз начались испытания атомного двигателя. И я мечтала о сыне... Смотрела на звезды и хотела, чтобы он был отважным... Хотела дать ему сердце гордое и жаждущее подняться от земного праха ближе к солнцу! Увы, все сбылось... Мой сын лежит в кратере лунного вулкана у моря Кризисов — а мои объятия опустели. Нелегко быть матерью героя! И все-таки мы должны благодарить судьбу за такое счастье...

— Счастье...— горько возразила пани Ксения.— Счастье терять тех, кто нам дороже всех на свете... Одного за другим... Скоро у меня уже никого не останется. Вот оно, это счастье!

— Хватит, хватит, успокойся, детка! — утешала старушка.— Держи себя в руках только до завтра, а там будем плакать вместе...

Но Ксения больше не могла выдержать. Сразу прорвались сдерживаемый страх и опасения последних дней.

— Ведь это массовое самоубийство,— зарыдала она,—даже если оно задумано как торжество! Даже если весь мир будет ликовать во время погребения этого атомного гроба!

— Что ты говоришь?! — ужаснулась пани Елена. — И мне страшно, и я боюсь за Петю, но заранее так отчаиваться нельзя!

— Но ведь я...

Ксения в отчаянии бросилась старушке на шею. Та сразу смягчилась и стала нежно гладить ее щеки и волосы.

— Ну, при мне можно... Поплачь, посетуй, никто не узнает, а тебе станет легче. Только смотри не забывайся в присутствии детей!

— О детях не беспокойтесь, мамочка. Перед ними я прекрасно играю роль. К сожалению, они тоже хотят стать астронавтами.

— Кто теперь не хочет быть астронавтом! — с улыбкой возразила пани Елена.— Это стремление всех мужчин, мечта детей и гордость матерей.

— Но почему именно он? Мой сын? Почему из миллионов мужчин именно Петя должен принести себя в жертву? Ведь я уже пожертвовала одним... Это несправедливо!

— Довольно, довольно, дитя мое! Чего бы только не отдала другая мать, чтобы ее сын попал на звезды!

— У меня там муж, неужели этого недостаточно?! — гневно воскликнула Ксения.

Пани Елена нетерпеливо возразила:

— Я тебе говорю, что Петя вернется! Все уверены в этом, одна ты сомневаешься! Ты, которой следовало бы верить больше всех!

— Но я говорю это только вам, мама, — жалобно проговорила пани Ксения. — Надо же мне хоть с кем-нибудь поделиться, открыть сердце, рассказать, каково мне под маской героической матери... Никто больше об этом не знает. Мамочка, дорогая, выслушайте меня, я больше не могу, право, не могу...

И она жалобно и горестно разрыдалась, как тяжело обиженный ребенок.

Пани Елена взяла протянутые к ней руки и повела Ксению к кушетке. Усадила ее и сама села рядом.

— Когда мне приходилось очень плохо,— начала она, — я всегда задавала себе вопрос: а если бы этого не произошло? Представь себе, дитя мое, что Петя вдруг решил не лететь. Его внезапно охватил страх перед неизвестностью, страх человека, понявшего, что теряет твердую почву под ногами... Погоди, сиди спокойно, доченька! Я знаю, что это святотатство и клевета, что Петя оскорбился бы, если бы кто-нибудь заподозрил его в подобных мыслях. Но на минутку допустим, что это возможно, что это факт. Ты сейчас поймешь, что я имею в виду. Так вот, Петя испугается и в последний момент откажется войти в воздушный корабль...

Пани Ксения некоторое время изумленно слушала, но потом вдруг вспыхнула:

— Этого никогда не будет!

— Я знаю, что не будет. И вижу, ты сама не хочешь, чтобы так случилось.

— Петя не трус,— тихо проговорила пани Ксения.

— А если бы он остался на Земле не из трусости, по каким-нибудь другим причинам? Если бы он пришел к пану Покровскому и сказал: «Я не полечу с вами, потому что не могу огорчить свою мать. Она не удерживает меня, но беспрерывно плачет. Из любви к ней я решил остаться». Ты была бы счастлива, Ксения?

— Какие жестокие вопросы вы мне задаете...

— Отвечай!

— Петя этого никогда не сделает,— твердо возразила Ксения.

— Вот это я и хотела от тебя услышать.

— Если он решился, ничто в мире не заставит его отказаться от своей идеи,— как бы отвечая не только за него, но и за себя, сказала Ксения.

За дверью раздались детские голоса, ручку дергали, но дверь не открывалась. Ксения помогла. В комнату, как буря, ворвались два мальчугана.

— Мама, мама,— кричал семилетний толстенький мальчик с вы-

пуклым лбом. — Правда, что на искусственном спутнике день продолжается только пять минут и ночь тоже? Владя говорит...

— Значит, это правда,— кивнула мать. — Владя, вероятно, прочел это в книге. Верно, Владя?

Длинноногий подросток с темными глазами, длинными ресницами и почти сросшимися бровями, на голову выше брата только молча кивнул.

— Это верно,— подтвердила пани Елена, ласково улыбаясь мальчикам.— Спутник маленький, поэтому он оборачивается вокруг своей оси очень быстро.

— А Владя говорит, что Озеров разводит там на спутнике огурцы и что у него там живые пчелы, которые собирают мед...

— Почему бы этому не быть? — улыбнулась пани Ксения, в ожидании помощи поглядывая на Владю. Но тот, как нарочно, молчал, и ее снова выручила бабушка:

— У инженера Озерова там много цветов и даже пальмы, возможно, что есть и огурцы. А пчел он разводит не ради меда, а чтобы они опыляли ему растения.

— А у пана Дунинга на электростанции спутника есть собака, — снова начал Иван, выставив вперед свой большой лоб, как маленький бычок, всегда готовый к бою.

— Вот этого я уж не знаю, — улыбнулась пани Елена.

— Отгадай, бабушка, как зовут эту собаку?

— Сдаюсь.

— Нет, гадай! А ты, Владя, молчи.

— Наверное, Циклон. Или Комета?

Наконец Владя соизволил заговорить:

— Ерунда! Иван болтает...

— Ее зовут Стелла, — провозгласил Иван, ничуть не обиженный насмешкой старшего брата.

— Но даже ты, Иван, не сможешь мне сказать, — испытующе начал Владя, — что эта собака там ест.

— А ты знаешь? — серьезно спросил Иван. Он охотно признавал превосходство брата.— Наверное, что-нибудь совсем особенное.

— Мясо и кости,— расхохотался Владя.

— Ну, это пустяки, — спокойно ответил Иван, который не мог сердиться на Владю. — Давай спросим бабушку, из чего там сделаны окна, ей наверняка не угадать.

— Это знает каждый ребенок,— снова сдерживал его брат.

— Не воображай, что это так легко!

Пани Елена схватила Ивана и стала целовать его. Иван отчаянно сопротивлялся женским нежностям и брыкался, чтобы освободиться из бабушкиных объятий.

— Так вот,— сказала она ему, когда он вырвался,— там двойные кварцевые стекла, а между ними озон для поглощения ультрафиолетовых лучей.

— И еще фильтр, правда, Владя?

— Удивительно, чего только наша бабушка не знает,— одобрил Владя, бросив при этом быстрый испытующий взгляд на мать.

Пани Ксения сидела у стола в кресле и держалась в стороне от обсуждения. Она разбиралась в этих вопросах хуже бабушки и не любила думать о них. Перед нею лежал журнал со снимками города, открытого на дне Средиземного моря. Она отсутствующим взглядом и вместе с тем удивленно смотрела на водолаза, освобождавшего голыми руками триумфальную арку из-под вековых наносов. Ребята, занятые «научной» дискуссией, забыли о матери, и она испугалась,

поймав пристальный взгляд Влади. Ей показалось, что она своей упорной незаинтересованностью и неосведомленностью провинилась перед ним. Во взгляде сына ей почудился немой упрек. Но Иван, подстерегавший каждое движение Влади, тоже обернулся к матери. Он вдруг пожалел ее, бедняжку,— она так грустно сидит и молчит...

— Владя, я предлагаю маме тоже задать один вопрос. Как ты на это смотришь?

— Иди сюда, Иван,— растроганно сказала мать, протягивая к нему руки.

— Погоди, сначала ответь нам. Спрашивай, Владя!

— Ну, хотя бы... — великодушно согласился Владя.

— Что-нибудь полегче,— заступился сердобольный Иван.

— Например... При взлете ракета получает сильнейший толчок. Это ты сама понимаешь. Она полетит со скоростью восемь километров в секунду. Выдержит человек, или это убьет его?

— Конечно, выдержит,— испуганно ответила пани Ксения, пытаясь улыбнуться.— Должен выдержать.

— Да, но как? Что сделает Петя? Как он это устроит?

— Ты знаешь, бабушка? — спросил Иван. И его личико осветилось счастливой улыбкой человека, который знает.

— Мамочка, догадалась? Подумай же!

Какое испытание для ее сердца! Как они мучают ее, эти маленькие инквизиторы! Где взять силы, чтобы не вскрикнуть от ужаса перед невероятным сотрясением, которое придется испытать Пете? Но надо сдерживаться — нельзя портить игру. Нужно принять полусерьезный, полушутливый вид, чтобы мальчики не заметили в ее глазах ни страха, ни слез.

— Я думаю,— вздохнула она,— что стены кабины обшиты ватными подушками, не так ли? Иначе при таком сильном толчке Петя набил бы порядочную шишку на голове.

Иван весело расхохотался. А Владя серьезно добавил:

— Голова у него разлетелась бы вдребезги.

— Ну, тогда сдаюсь,— побледнев, ответила пани Ксения.

— Каждый пассажир будет находиться в отдельном футляре, сделанном точно по его мерке,— поучал Владимир.

— Как волшебные коробочки, знаешь, у фокусников,— дополнял Иван.

— Ерунда! Вовсе не в коробочке! Это будут футляры, как для флаконов с духами или для скрипки, чтобы они там не шевельнулись, когда их тряхнет. Ну, конечно, там будет сделано специальное углубление для головы...

— Но подушки должны быть наполнены воздухом.

— Не перебивай! До этого еще дойдем. Конечно, в этом футляре должно быть такое приспособление, чтобы астронавт мог дышать, говорить и слышать...

— Ларингофон, — важно дополнил Иван.

— Нечто совсем другое, — безжалостно отрезал Владимир. — Важно, как они потом выберутся из этого футляра... Молчи же, Иван! Футляр сам откроется, как только ракета выйдет за пределы земного притяжения. Летчик-робот автоматически изменит направление полета с вертикального на горизонтальное. Футляр откроется и превратится в удобное кресло. Но помни, мама, что пассажир должен быть привязан ремнями, иначе он взлетит к потолку, так как действие земного притяжения уже прекратилось.

— А чем он ударится о потолок, головой или ногами? — вмешался Иван, внимательно проверявший брата.

— Это трудно сказать, — поучал Владя. — Он будет похож на надувную куклу, наполненную водородом. Вероятнее всего, что он катался бы по потолку.

— Не бойся, мамочка, — утешал Иван. — Петя будет хорошо прикреплен к креслу.

— Ах ты, доброе сердечко! Иди все-таки ко мне!

Пани Ксения снова протянула к Ивану обе руки, но он стеснялся, когда его ласкали в присутствии Влади.

— Сейчас не могу! Владя, не забудь, куда мы собрались!

— Куда? — уронив руки на колени, спросила пани Ксения.

— Мама, можно нам поиграть в ангаре? Владя хочет запустить ракету.

— Идите, но только будьте осторожны! Бабушка пойдет с вами.

Как только бабушка ушла с детьми, Ксения бросилась на подушку. Наконец она осталась одна и больше не должна притворяться мужественной. Теперь она может без помехи выплакать слезы, которые сдерживала целый день.

* * *

Последние дни перед вылетом Петя был настроен торжественно. Он прощался с городом, и не только с городом, со всей планетой. Это был высокий, хорошо сложенный юноша с несколько вялыми от сидячего образа жизни мускулами. Трудно сказать, красив ли он — у него было одно из тех изменчивых лиц, которые привлекательны, пока молоды. Иногда красивые, они бывают минутами безобразны. Это зависит от освещения, от времени дня или года, а больше всего от настроения, от того, светит ли им солнце радости или их обволакивает туман обманутых надежд и печали.

Петя похорошел, когда узнал, что перед ним открываются врата вселенной. Погруженный в свои исследования, он бессовестно пренебрегал своим здоровьем, с утра до ночи сидя в лаборатории. Спина его сгорбилась, плечи опустились, как листья комнатного растения. Щеки побледнели, глаза стали утомленными. Время от времени он ездил в обсерваторию, там целыми ночами всматривался в свою планету и, меняя красные, зеленые, синие и фиолетовые фильтры, пытался проникнуть в ее тайны. Его единственными прогулками были поездки в северную тундру, но и там он только копался в снегу.

Вдруг совершилось чудо. Бледное, невыразительное лицо прояснилось, глаза сверкнули радостью, голова поднялась. Даже спина выпрямилась, и походка стала более мужественной.

Петя шел по Бульвару хорошего настроения, растроганно глядя, как суетятся люди, — это было и смешно и грустно. Он был полон безумной радости и не мог обуздать ее. Ему хотелось стать посреди улицы, поднять руки, остановить поток людей и машин и крикнуть во все горло:

— Стойте! Стойте! Завтра... Завтра я улетаю к звездам!

Люди оглядывались на него. Он шел, размахивая руками и громко говоря сам с собой, словно у него в голове не все было в порядке. Перед Воротами георгин он вдруг задержался и посмотрел на небо, потом побежал и вновь остановился в глубоком раздумье. Еще немного — и он походил бы на человека, который слишком усердно прикладывался к рюмке и утопил в ней свое человеческое достоинство.

И все-таки каждому, взглянувшему на него, было ясно, что это опьянение духа, а не плоти, что этот молодой человек невыразимо счастлив, что огромная радость овладела им, заполнила его.

На улице люди вообще часто улыбались друг другу, даже незнакомые. Поэтому юноше казалось, что все уже знают о его счастье.

Прохожие останавливались и заговаривали с ним, чтобы узнать, чему он радуется, словно хотели разделить эту радость. Петя, немного удивленный, что они еще не знают о предстоящем ему путешествии, с первых слов открывал им свое сердце. Его окружили молодежь и старики, мужчины и девушки, а он пожимал им руки.

— Прощайте, обитатели Земли! Будьте здоровы, граждане земного шара!

— Куда? Куда? На Луну?

— Нет, чуть подальше!

— На Марс! На Марс!

— Это астронавт со «Стрелы»!

Люди теснились вокруг Пети, но он не мог устоять на месте и всем отвечал на ходу. Группа людей шла с ним, рассыпалась и вновь росла. Когда Петя ускорил шаг, они последовали за ним.

— Разве на Марсе есть жизнь? — услышал он чей-то вопрос.

— Есть! Есть! — воскликнул Петя.— Клянусь созвездием Геркулеса!

Черноволосый мужчина с удивительно молодым лицом, не отставав-ший от Пети, усомнился:

— Там в тысячу раз меньше кислорода, чем на Земле! Без кислорода нет жизни. Марс — мертвая звезда!

— А как же углекислота? — лукаво улыбнулся юноша. — Ее там вдвое больше, чем у нас.

— Не хотел бы я ею дышать!

— А растения хотят, — парировал Петя и пошел еще быстрее. Группа не отставала.

— Ну, а температура? — снова раздался за спиной Пети чей-то скептический голос. — Как с морозами на экваторе? Минус сорок градусов! А днем плюс десять. Хорошенькие колебания, молодой человек.

Сведения о Марсе были широко распространены. Экспедицией интересовались все. Читали, слушали передачи, следили за бюллетенями, сообщавшими о подготовке к полету «Стрелы» на Красную планету, и сейчас как бы экзаменовали юношу.

— Приходите ко мне в лабораторию, — приглашал Петя, замедляя шаг. — Я покажу вам растение, которое мы привезли с Таймыра. Это полевой хрен. Замороженный при пятидесяти градусах, он хрупок, как кружева из стеклянной пены. Но как только весной на него упадут солнечные лучи, он просыпается, точно от прикосновения волшебной палочки!

— Но о морях на Марсе нам толком ничего не известно, — многозначительно заметил пожилой рыжебородый мужчина, который вел за руку девочку с огненно-золотой косичкой. Она тащила его из толпы и уже начинала хныкать. Рыжему волей-неволей пришлось удалиться, но он еще долго оглядывался.

— Воды там нет, это каждый ребенок знает, — сказал молодой парень в спортивном костюме, все время забегавший вперед.

— Там такая же пустыня, как на Луне, — поддержал его черноволосый моложавый человек, все еще державшийся рядом с Петей. Возможно, что это был какой-то старый профессор, который вздумал омолодиться. — Там нет жизни. Там — смерть.

Петя остановился среди толпы и заговорил, точно читая лекцию:

— Жизнь существует везде, только в различных формах. Жара ее не уничтожает, мороз не убивает. Она только замирает и, быть может, столетиями ждет подходящего момента. Даже в океанских глубинах есть живые существа; споры бактерий подымаются в стратосферу. В кипящих гейзерах на Камчатке живут водоросли, вываренные споры некоторых растений оживают, попадая в землю. Каптеев нашел в вечной мерзлоте рачка «chidorus» и воскресил его. Он пролежал там тысячелетия! Уверяю

вас! Мы создали у себя в лаборатории такой же климат, как на Марсе, такую же температуру, такое же давление!

Он сунул руку в карман и вытащил оттуда несколько зернышек кукурузы.

— Видите? Эти земные зерна я вырастил там! Кто еще сомневается, что на Марсе есть жизнь? Я покажу ему бактерии, выращенные в атмосфере, лишенной кислорода. А в ядах и нефти есть такие существа...

Петя победоносно оглядел своих слушателей и пошел дальше.

— Вы хотите сказать, что на Марсе живут только бактерии? — улыбнулся омоложенный профессор.

— Кому нужно такое население? — свысока заметила полная женщина с пышными волосами, из любопытства подошедшая к собравшейся группе. — Я бы не хотела попасть туда даже после смерти.

— А я бы хоть сейчас туда полетела! — вздохнула девушка с античным узлом белокурых волос и тетрадкой нот в руке. Она свернула тетрадку в трубочку и с завистью смотрела на Петю. Сопровождавший девушку стройный кудрявый юноша с голубыми, словно фарфоровыми, глазами уныло произнес:

— Эта звезда не для поэтов! Что бы я там делал без рощ и лесов?

— Почему бы там не быть рощам и лесам? — возразил Петя, ускоряя шаг. — Можжевельник, горная пиния, карликовая сосна, белые полярные ели и березы меньше человеческого роста...

Высокий моряк рассмеялся.

— Там не заблудитесь — голова будет у вас выше деревьев!

— Я вас удивлю: возможно, что ближе к экватору там растут пальмы с огромными листьями или уродливые, сморщенные кактусы, жадно тянущиеся к солнцу и бережно, как сокровище, хранящие единственную каплю животворной влаги... Только эти растения не зеленые. Все живое там синее или фиолетовое, сиреневое или лиловое...

— Вот видишь, — укоризненно сказала поэту девушка с античной прической.

— Я и дома могу смотреть на все сквозь цветные стекла, — улыбнулся поэт.

К группе присоединилась девушка, которая только что шла в противоположном направлении. По ее гордому лицу и нерешительным шагам видно было, что ей не хочется идти с толпой, но в движении людей было столько страсти, что девушка не устояла — толпа увлекла ее за собой. Она сразу поняла, кто находится среди них, и пытливо посмотрела на Петю.

— Дело не в звезде, а в мужестве! — вдруг произнесла она, присоединяясь к остальным. Петя не обратил на нее внимания. Он остановился и увидел, что приближаются все новые люди.

— Хватит! — воскликнул он. — Пропустите меня, голубчики! Мне хочется побыть одному. Сейчас мы расстанемся и... до завтра.

Юноша побежал. Многие остановились в нерешительности, но несколько наиболее «верных» побежали за ним. Постепенно они отставали, а омоложенный профессор остался далеко позади.

— Еще один вопрос... только один, — твердил моряк, первый догнавший Петю.

Петя замедлил шаг. Снова его окружили люди, опять посыпались вопросы.

— Долго ли там продолжается год?

— Около двух наших лет.

— Если вы проведете на Марсе год, то станете старше на год или на два?

— На Земле я себе этот год опять вычту, — улыбнулся Петя.

— Вы не боитесь такого далекого путешествия, молодой человек? — спросил толстяк в теннисном костюме с ракеткой в руке. Он только что подошел к группе и торопливо выяснял, что здесь происходит.

— Боюсь? — удивился Петя, будто услышал нечто новое. — Я совсем забыл об этом... Иногда память изменяет нам. Возможно, потому, что не хватает времени... Есть нечто сильнее страха. Хотя бы любопытство! Но я допускаю, что можно испугаться.

— Оставайтесь! — неожиданно воскликнула белокурая девушка.— На Земле живется неплохо. Здесь еще столько работы...

— Нет, летите! — поощрял моряк. — Тут вас кто-нибудь заменит, а там заменить некому.

— Наведайтесь и на другие звезды! Ведь и на них должна быть какая-нибудь жизнь! — воскликнул поэт, бежавший по пятам за девушкой. — Неужели солнечные лучи зря освещают их? Неужели мы сироты, одинокие в бездне небесного пространства? У нас должны быть где-нибудь братья и сестры! Поищите их!

— Привезите нам образчик какого-нибудь живого существа! — улыбался молодящийся старичок, который никак не мог расстаться с Петей.

Казалось, вновь вспыхнет обсуждение, но Петя не поддался. Чтобы не отвечать, он снова пожимал руки и повторял:

— Прощайте, друзья! Будьте счастливы! И... до свидания.

Его больше не удерживали. Растроганно смотрели на него, один притрагивался к полам его пиджака, другой гладил рукав, третий, ушедший было, снова возвращался.

— Счастливого пути!

— Возвращайтесь живым и здоровым!

— Хорошенько там все рассмотрите!

— Мы придем попрощаться на старте!

Они уходили один за другим. Последней подошла к Пете сероглазая девушка. Он только сейчас заметил ее. У нее были светлые, чуть-чуть растрепанные, коротко подстриженные волосы, лицо нежное и тонкое, изумительно красивое, но казавшееся неприступным из-за гордости, которой она прикрывалась, как броней. Сейчас во всем ее облике было что-то покорное и растерянное. Она оглянулась, и вдруг у нее вырвалось:

— Если хотите, можете меня поцеловать!

— Я?! Но почему? — недоуменно спросил Петя, покраснев до ушей.

— Потому что... звезды, — прошептала она. И задорно добавила: — Все равно мы никогда больше не увидимся!

Петя, вместо того чтобы подбежать и заключить ее в объятия, сделал робкий шаг вперед, неуверенно и неуклюже протянул губы. Девушка расхохоталась, повернулась на каблуках и убежала.

Петя снова был один. Он пытался поскорее выбросить из головы случайную встречу и сожаление о том, что незнакомка исчезла. Забыть это, отбросить все эфемерное, могущее привязать его к Земле! Он снова погрузился в сутолоку улицы. «Какая суета»,— подумал он. Вот она, толпа. Присмотришься поближе — и видишь, что она состоит из самых различных людей. И у каждого свои проблемы, убеждения, своя жизнь. Грустное и сентиментальное прощание невозможно, да и ненужно. Эта гордая и прочная планета будет без него жить, кипеть, звучать, в какие бы пространства он ни унесся.

Он сказал, что улетает на другую планету, и люди даже не очень удивились. Жители Земли перестали чему бы то ни было удивляться. Незнакомые люди прощались с ним, как с сыном. Точно прощалась сама Земля.

Он почувствовал гордость, что он — сын этой матери, член огромной людской семьи. И планета, именуемая Землей, посылает его на другую звезду! Он полетит в бесконечное пространство вселенной, гордый своей родиной, своим гражданством, своей принадлежностью к человеческому коллективу. Он будет посланцем существ, рожденных его родиной...

* * *

В самый последний момент, когда все уже было готово к старту «Стрелы», как гром грянуло сообщение: вылет откладывается на неопределенный срок! При заключительной проверке академик Меркулов установил какую-то неточность, и все расчеты и карты были возвращены Астронавигационной академии для переработки.

На сколько откладывается полет? Никто не знал. Можно было только догадываться. На неделю, на месяц, на год... Раздавались голоса пессимистов и нытиков. Конструкция «Стрелы», мол, вообще неправильна, ее надо отправить в лом, нужно строить заново, нечто принципиально новое... Выросшие вокруг гигантского амфитеатра многоэтажные отели, из которых предполагалось наблюдать старт, постепенно пустели. Ученые, профессора и почетные гости, съехавшиеся со всех континентов, чтобы присутствовать при эпохальном зрелище, разъезжались по домам. На аэродроме двигались и гудели личные самолеты, аэробусы и экспрессы, с которыми улетали заокеанские гости. Жившие поближе пользовались вертолетами, близкие соседи — крыльями. На бесчисленных видах транспорта гости пустились в обратный путь по магистралям, расходившимся во все стороны света.

Только бетонная взлетная дорожка «Стрелы» одиноко подымалась по наклонной плоскости на головокружительную высоту. Она казалась теперь мрачной и трагической, как мост во вселенную, рухнувший у самой Земли, как смелая мысль, которую не отважились додумать до конца. Словно перебитое крыло или сломанная рука, слишком отважно замахнувшаяся на звезды, тоскливо торчала половинка последнего пролета.

Царила гнетущая тишина. Зловеще молчали газеты... Печаль охватила Землю.

Петя был взбешен. Он душой и телом, каждым нервом подготовился к моменту отлета, весь был нацелен на него. А сейчас, опустошенный, повис, как торчащая в пространстве арка пролета... Ногами он еще стоял на Земле, но мысленно давно был за ее пределами. И вдруг вернуться, еще не успев улететь!

Мать, вероятно, довольна, догадывался он; ему казалось, что она радуется его несчастью.

Поэтому он убегал из дому и бродил по городу, чтобы забыться, думать о чем-нибудь другом. Погруженный в свои исследования, он раньше не замечал людей и их творений. Если что-нибудь и привлекало его внимание, юноша говорил себе: «Это красиво... но сейчас мне некогда. Потом, попозже... как-нибудь...» Для него это было равнозначно мысли: после возвращения.

Петя уже несколько лет знал, что полетит. Он был избран для полета не только благодаря уважению всего мира к его отцу, но и из-за собственных заслуг: получили признание его открытия в области предполагаемой флоры Марса. Юноша не ломал голову над тем, что будет после его возвращения, каким он станет, какими глазами будет смотреть на мир. Пока он ото всего отказывался, все себе запрещал. Если ему случайно нравилась картина или статуя, он сопротивлялся их красоте и старался смотреть на произведение искусства глазами будущего, глазами человека, узревшего вселенную.

Больше всего Петю волновала музыка. У него был хороший слух, и ему с трудом удавалось устоять перед ее очарованием. Когда мать садилась за рояль — она любила старых классиков, начиная с Бетховена и кончая Яначеком *,— у Пети возникали еретические мысли, что в мире не может быть ничего прекраснее. Все уже достигнуто... Напрасны и ненужны стремления покинуть эту Землю, дающую своим созданиям такое невероятное блаженство.

Тогда он бежал из дому в свою лабораторию или в планетарий, запирал за собой двери и неистово набрасывался на работу, непоколебимо убежденный: ничто прекрасное не уйдет от него, он все это вкусит полной мерой, когда... когда...

Как росток виноградной лозы, он был внезапно вырван с корнем и брошен на землю. Никуда не нужно было торопиться, ничего не надо было готовить... Неожиданно у него оказалось столько времени, что он не знал, куда его девать. Огорченный юноша бродил по улицам. Как не похоже это было на триумфальный бег радости, когда он, как античный перипатетик **, на ходу выкрикивал слушателям свое «Я знаю!», поучая их...

Сначала он растерянно озирался, словно был виноват в позорном провале, стыдился вчерашнего ликования, после которого наступило такое горькое похмелье. Боялся, что люди снова окружат его и будут насмешливо расспрашивать, почему он шатается по улицам; ему давно пора быть в мировом пространстве, где-нибудь между Луной и Марсом... Уж не сила ли земного тяготения влияет, а?.. Он напрасно волновался. Никто не обращает на него внимания, люди как ни в чем не бывало весело ходят, знакомые и незнакомые улыбаются друг другу, у всех такой вид, будто они неизвестно чему радуются.

Походка Пети стала тверже, он поднял голову, начал с любопытством рассматривать дома.

Раньше он ходил по улицам, низко опустив или высоко подняв голову. Задумчиво смотрел вниз на землю или на небо, когда в нем загорались звезды. Он не замечал только того, что делается вокруг.

Петя вдруг понял, что, собственно, не знает города. Город был таким незнакомым, точно он видел его во сне. Юноша вглядывался в архитектуру зданий, любовался сокровищами, красовавшимися в витринах, впитывал овевавшие его ароматы. Все было интересно, все очаровывало, он открывал все новое и новое. Кое-что он узнавал и радовался, что и раньше это замечал. Петя растроганно смотрел на суету людей, казавшуюся немного смешной и пустой по сравнению с его целью.

Проспект, по которому он шел, пересекал старый парк. Вдали, над могучими кронами столетних платанов, подымались ввысь белые, бледно-розовые и голубые высотные здания с бесчисленными балконами и окнами. Словно сказочные башни, возвышались они над оранжево-зеленой листвой парка. Вершины деревьев были зданиям едва «по колено». Одни фасады были богато отделаны мрамором, гладкая поверхность других была из стекла и керамики. По колоннам взбирались к самым балюстрадам вьющиеся растения; с балконов, подобно тяжелой багряной драпировке, спускался дикий виноград.

Высоко над головами пешеходов и потоком мчавшихся автомобилей проспект пересекали висячие магистрали. Такие же широкие, как проспект, они были окаймлены, как двумя ожерельями, потоками окрашенных в яркие цвета автомобилей. Быстрота, с которой машины летели

---

* Л. Яначек (1854—1928) — чешский композитор.

** Перипатетическая школа — философская школа, основанная Аристотелем. Получила свое название в связи с обыкновением Аристотеля вести занятия во время прогулок.

навстречу друг другу, контрастировала с абсолютной тишиной, словно все это происходило за толстым стеклом. Магистраль, висящая высоко в воздухе, яркая окраска несущихся в противоположных направлениях машин, этой беззвучно движущейся материи — все это напоминало скорее гениальный вымысел, чем действительность.

Внимание Пети привлек один из дворцов на противоположном тротуаре. Он как бы выплыл из глубины парка, и его фасад причалил к краю проспекта. Высокая лестница вела к гостеприимно открытому порталу, украшенному статуями девушек, символизировавших цветы. Вверх и вниз, вверх и вниз по лестнице шли люди.

Петя решил посмотреть, что там происходит. Его научная любознательность, пренебрегавшая всем земным, постепенно превращалась в обычное земное любопытство.

Юноша направился к мостику, по которому пешеходы переходили проспект. Мостик был таким легким и хрупким на вид, что люди двигались по его арке, словно по воздуху.

Перейдя на другую сторону проспекта, Петя прочел на портале дворца вытесанную на розовом камне надпись: ДОМ ЦВЕТОВ

По лестнице шли молодые женщины и девушки, пожилые мужчины и матери с детьми. Спускавшиеся несли букеты, охапки или корзины цветов, а то и одну очаровательную веточку мимозы. По парку уже шествовала осень, но в доме царила весна с ландышами, гиацинтами и гвоздиками. Женщины несли ветку тамариска или погружали лицо в гроздья белой сирени; многие нюхали букетики фиалок. Вкусы и пристрастия были самые разнообразные, но мода выдвинула в этом году на первое место розовый жасмин, и его тонкий аромат струился по лестнице.

Очарованный этим зрелищем, Петя остановился на той стороне лестницы, по которой спускались женщины с цветами. Он даже поднялся на несколько ступенек. Для него были новинкой эти цветы, и полевые и садовые, поражали и пленительные лица женщин. Он не отдавал себе отчета, откуда веет этим слабым, едва уловимым ароматом — от цветов, от волос женщин или от их ярких платочков и шалей.

Вдруг юноша вздрогнул. Он увидел ту самую сероглазую девушку, которая вчера предложила поцеловать ее. Это она! Девушка заметила Петю на мгновение раньше. Она хотела незаметно проскользнуть, но их взгляды уже встретились.

Петя покраснел; в этот момент он предпочел бы оказаться у созвездия Малого Пса.

Бегство было невозможно! Первой опомнилась от неожиданности девушка. Она сделала вид, что ничего не произошло — ей больше ничего не оставалось.

— Астронавт! — весело окликнула она Петю.— Почему вы бродите по этой планете?

— Старт отложен на неопределенный срок, — пробормотал юноша.

Он робко смотрел на девушку, державшую несколько белых астр на длинных стеблях. «Теперь она будет смеяться надо мной,— подумал он.— Астронавт, а вместо звезд смотрит на девушек...» Но она сказала:

— Мне и не снилось, что мы еще увидимся! У вас такой убитый вид, будто случилось несчастье, а не встреча с девушкой. Уверяю вас, я в этом не виновата!

Петя не находил ответа, смущенно озираясь, точно в поисках поддержки. Право же, на «Стреле» он чувствовал бы себя устойчивее, чем на граните этой лестницы! «Прочь! Прочь отсюда!» — думал он, но в то же время радовался, что может так близко рассмотреть девушку. У нее были серые глаза, вопрошающие и одновременно что-то знающие; в них таились такие глубины, которые делали серый цвет обманчивым. Из этих

глубин могла в любой момент возникнуть какая-нибудь неожиданность, вроде предложения поцелуя... Петя был так смущен, что тщетно придумывал ответ. Молчание продолжалось бы еще дольше, если бы девушка ждала, пока ему что-нибудь придет на ум.

— Мою тогдашнюю причуду с поцелуем выбросьте из головы,— начала она.— Дело было не в вас. Мне захотелось поцеловать человека, который завтра окажется среди звезд! Кто бы ни был на вашем месте... Случайно вы оказались астронавтом... вот и все...

«Какая умница,— подумал юноша.— Она права, хотя я оказался в дурацком положении. Теперь она может спокойно смотреть мне в глаза». Сначала ему хотелось, чтобы она вообще молчала, а он без помехи любовался бы ею. Но сейчас ему нравился ее голос, и он надеялся, что она ни о чем не будет спрашивать, а только сама говорить, говорить... Он бы слушал без конца. Тут она о чем-то спросила его. Петя лишь изумленно смотрел на ее губы.

— Почему вы не отвечаете?

— Я вчера хвастал,— очнувшись, сказал он,— что в это время буду между сателлитами и Марсом, а сам сейчас торчу здесь, как туманность в созвездии Единорога. Это глупо, но я в этом не виноват!

Девушку рассмешила необычность его сравнения.

— Я знаю, что не виноваты. Зачем вы оправдываетесь? Это ясно как день, и нечего еще приплетать к этому туманность. Неделя или даже месяц отсрочки вам не повредят. Вы еще насладитесь полетом.

— Сейчас я уже не жалею о задержке... скорее радуюсь,— вырвалось у него, но он тут же осекся. Ему стало стыдно: как он мог сказать нечто подобное! И все-таки он не солгал. Действительно, ему было хорошо. Только бы никуда не торопиться... Звезды подождут — ждали же они миллионы лет...— Правду говоря, я никогда толком не замечал, что происходит вокруг меня,— доверчиво рассказывал он,— не вылезал из книг. Я смотрел только в стекла микроскопов и телескопов, видел либо слишком маленькие, либо слишком большие предметы... Знал только лишайники и мхи, копался в них, как голодный северный олень... Вот такие цветы росли не для меня...

— А как они называются? — поднесла она к его лицу свой букет.

— Я это знал... еще в школе... погодите... Нет, не могу вспомнить!

— Они называются, как звезды.

— Какие звезды?

— Все! Это вы должны были бы знать, астронавт!

— Астры! — с облегчением вздохнул Петя. Его радовала возможность легко и просто болтать с девушкой. Когда она продела цветок в петлицу его пиджака, он расхрабрился: — Во всей вселенной, ни на одной из планет я не нашел бы такого прекрасного растения!

— Вот видите! — весело ответила девушка.— Вы собираетесь сбежать на Марс, а не знаете своей родной планеты. Вам следовало бы сначала открыть Землю — для себя самого. Однако нельзя же здесь без конца стоять. Куда вы направляетесь?

— Никуда!

— Тогда пойдемте со мной!

Он немедленно подчинился, даже не спросив, куда она идет.

* * *

Сам не заметив каким образом, Петя очутился в Доме культуры комбината «П. М. 6» и сидел в клубе химиков, окруженный девушками и цветами. Он уже знал, что девушку, которая привела его, зовут Ольгой и что она работает на этом комбинате, производящем пластические массы.

Ольга хотела показать Петю своим приятельницам и сотрудницам, собиравшимся в свободное время в клубе для игр, бесед, пения и танцев. Она знала, что доставит им удовольствие. За последние недели они столько читали и спорили об этом изумительном полете. Больше всего их, конечно, интересовали герои «Стрелы». Химички давно знали их фамилии, внешность, биографии, причем черпали эти сведения из самых различных источников. Девушки восхищались их смелостью, завидовали глазам, которые узрят космос, и возмущались, что в составе экипажа нет ни одной представительницы их пола. Каждая из них готова сама в любой момент войти в межпланетную ракету и полететь на любую звезду. Для их кружка был событием приход одного из Девятки, для их клуба было честью принимать человека, о котором говорила вся Земля!

Петя чувствовал себя хорошо среди них. Его усадили на почетное место, в огромное и невероятно удобное глубокое клубное кресло, обитое карминно-красной кожей. Петя развалился в нем, и у него было ощущение, что он к креслу вообще не прикасается. Он подтянул его ближе к столу — оно оказалось легким, как перышко! Это еще улучшило и без того прекрасное настроение юноши.

Он выжидательно оглядывал девушек. Одна была очаровательней другой. Когда они его о чем-нибудь спрашивали, он не мог оторвать глаз от их лиц, и им часто приходилось повторять свои вопросы. Петя не вполне понимал, как человек может стать настолько интересным для этого созвездия дев, так высоко вознестись в их глазах только потому, что он астроботаник и собирается лететь на Марс. Увидев, что он желанный собеседник и девушки стараются привлечь к себе его внимание, Петя перестал смущаться.

Он понемногу входил в роль героя, отвечал кратко, не вдаваясь в подробности, и с удивлением почувствовал, что подъем, который он вчера испытывал, уже улетучился. Как горячо он вчера убеждал и возражал, а сейчас... никак не мог загореться. Будто полет уже позади или вообще никогда не состоится...

Но оказалось, что именно такие спокойные, бесстрастные ответы имели успех в девичьем мирке. Они сочли их трезвостью ученого и скромностью храбреца, пренебрежением к возможной гибели, подстерегающей его в бездне вселенной... Но Петя сам предпочитал спрашивать.

— Больше ничего не знаю. Остальное расскажу после возвращения.

— А если вы не вернетесь? — дрогнул чей-то тревожный голос.

Пете почудилось, что это сказала его мать. Но он не растерялся и ответил:

— Так расскажут другие!

Ответ понравился. Он был достоин героя, каким его себе представляли девушки.

— Другого такого, как вы, я не найду, — вдруг откликнулась Ольга.

В ее голосе был легкий оттенок дружеской иронии. Может быть, она хотела просто обратить на себя его внимание. С тех пор как Ольга его сюда привела, Петя потерял ее из виду. Он с восторгом переводил взгляд с одной девушки на другую. Больше всех нравилась ему та, которая в данный момент говорила. Ольга притихла — и Петя забыл о ней. Когда она, наконец, заговорила, он как бы снова открыл ее и обрадовался, но лишь на мгновение. Она опять умолкла, а другие все расспрашивали и расспрашивали.

Петя посмотрел на окно и удивился:

— Не слишком ли я здесь засиделся? Уже темнеет.

Действительно, первая прозрачная дымка сумерек спускалась с потемневшего неба. Померкли яркие ткани, картины и гобелены на стенах. В сумерках лица девушек подернулись грустью.

Чья-то рука протянулась к стене — потолок озарился, и стены стали прозрачными. В стене открылось окошечко, и на буфете появился поднос. В стекле отражались чайник и блюдо с бутербродами. Девушка в переднике наливала чай в низенькие чашки, сверкавшие, будто в них растворился свет. Прозрачные ложечки и ножи были видны благодаря своему внутреннему свечению.

Петя не был лакомкой. Иногда он даже не успевал как следует поесть. Одержимый своими исследованиями, он нередко ел в лаборатории: рот что-то пережевывал, а глаза смотрели в микроскоп. То, что лежало на предметном стекле, было для него важнее того, что на тарелке. Он ел мимоходом и зачастую не знал наверняка, пообедал ли или ему только предстоит обедать. Сейчас он вдруг понял прелесть этих бутербродов, стал их выбирать и выяснил, что каждый имеет свой особенный вкус, что есть бесчисленное количество удивительных вкусовых оттенков. Наслаждался он и чаем, казавшимся золотистым сиянием в этом светящемся стекле.

Когда он вдоволь полакомился, снова посыпались вопросы. Выяснилось, что многие девушки лучше осведомлены о достижениях космонавигации, чем он, бывший специалистом только по астроботанике и астробиологии. Впрочем, некоторые вопросы были до смешного наивными. Девушки хотели знать, что труднее — старт или посадка ракеты, каким образом «Стрела» причалит к искусственному спутнику Земли; одну интересовало, какое белье они возьмут с собой и много ли, другую — не увянут ли на обратном пути образцы растений с Марса, сохранят ли на Земле свою окраску. Девушки спорили, требуя авторитетного решения Пети. А он покачивался в кресле, всем улыбался и говорил только когда его спрашивали. Ему все время казалось, что под ним пустота, что он сидит в воздухе.

— Можно мне вас кое о чем спросить? — воскликнул он вдруг. — Скажите, пожалуйста, на чем я сижу? Это какая-то красная пустота. Сидишь в ней, как в ванне, наполненной теплой водой.

Химичек рассмешило забавное сравнение.

— Вы не знаете наш пенолит? — удивилась красивая, как Юнона, рослая брюнетка с покатым лбом, из-под которого смотрели глубоко посаженные светло-голубые глаза.— Вы действительно сидите на воздухе!— улыбнулась она. — Это кресло на девять десятых состоит из него. На нашем комбинате изготовляют много вещей получше — вещей, которые крепче стали, эластичнее резины, тверже алмаза, гибче волоса, тоньше паутины, легче облака...

— Погодите! — перебил ее Петя, решив, что теперь его черед задавать вопросы и удивляться. — Вы говорите — легче облака. А производят здесь вещества, которые легче воздуха?

— Мы уже давно делаем эролит! — воскликнула девушка с маленьким кругленьким личиком, похожая на фарфоровую куколку. У нее был чуть-чуть вздернутый носик и ямочки на щеках. — Как же вы не знаете? Наверняка и на «Стреле» некоторые вещи сделаны из эролита!

Петю поразило, что эта на вид безобидная куколка дала ему отпоьедь.

— Ты ошибаешься, Марта, — спокойно и мягко возразила бледная девушка с глазами газели, у которых был такой же медовый оттенок, как у ее связанных узлом волос. — На «Стреле» ничего не может быть сделано из эролита! Как химик, ты должна была бы знать...

Петя облегченно вздохнул. Он опасался, что на этом девичьем небе блеск его авторитета померкнет, как метеор.

— Признаюсь, — смиренно воскликнул он, — что я не знаю многих замечательных вещей, которыми изобилует Земля. Я был слеп и глух, у

меня хромали все чувства! Что я знаю? Ничего, кроме нескольких северных мхов, карликовых деревьев и их спектрального анализа! Я рассказал вам все что мог — теперь очередь за вами. Я жил на Земле, как иностранец. Просвещайте меня!

Он переводил взгляд с одной девушки на другую. Не похожие одно на другое, неповторимые лица привлекали своим своеобразием. Все жалели Петю за неосведомленность, в которой он так искренне признавался. Принялись успокаивать, утешать его.

— Да, да, — говорили девушки, — мы производим на нашем комбинате волокно, металлы, кожу, дерево, камень — все лучше, чем те же вещи, созданные природой. Мы изготовляем именно такой материал, какой нам нужен, наделяем его любыми свойствами. Но разве мы можем обвинять вас в том, что вы этого не знаете? Можем ли мы на вас за это сердиться? У вас уже не тот взгляд, что у нас! Мы тоже смотрим по вечерам на звезды и мечтаем, но разве наши мечты похожи? Вы оказались среди нас только из-за случайной задержки. Мы трепещем при одной мысли о том, где вы должны были быть в этот момент... Вы завоевали право ходить по Земле, ничего не замечая! Мы прощаем вам то, что вы не видите предметов, находящихся вблизи, — ваши глаза устремлены на звезды! Зачем вам наши удивительные пластмассы, которые легче воздуха? Мы изготовляем из них крылья и натягиваем их на плоскости планеров. Честь и слава нашим планеристам, которые по искусственной струе воздуха подымаются на двадцать километров или стартуют с летающего острова на самой границе стратосферы. Но скажите, во имя всех небесных звезд, что значат эти высоты и расстояния по сравнению с вашими?!

От Пети все время ускользал смысл слов. Он всем своим существом впитывал девичьи голоса, вслушивался в них. Его поражала мягкость речи, ее ласкающая мелодия... Он старался связать голоса девушек с их лицами, и ему вдруг пришло в голову, что они похожи на музыкальные инструменты.

Петя уже знал, что девушку с покатым лбом и низким голосом зовут Тамарой, а строгую куколку с ямочками на щеках — Мартой; что Анча — девушка с глазами газели и волосами бронзовыми, как луна. Он уже знал Юлию со шлифованными полумесяцами очков на нежном носике, и мулатку Лори, и Соню, похожую на розовый пион. Но сейчас говорила Ольга — та, что привела его сюда. Ее серые глаза потемнели, лоб то хмурился, то снова прояснялся, она гордо вскидывала свою головку. Юноша любовался ею и был убежден, что на свете нет ничего волшебнее, ничего прекраснее девичьей красоты.

— Кто изобрел «Стрелу»? — восторженно говорила она. — Кто построил? Кто оборудовал? Кто вложил в нее искру движения? Разве это воздушный корабль, прибывший к нам из вселенной? Уж не построили ли его на Центавре? Уж не Сириус ли прислал к нам своих посланцев? Из какой бесконечности, с какого созвездия, из какой галактики прилетел он? Кто отважился на такое безумие? Как выглядят эти существа, эти создатели «Стрелы»? Так вот: это творение Человека, обитателя Земли! Его мозг, его руки создали это чудо! Всемирная слава астронавтам! Но и мы, остающиеся здесь, на Земле, имеем право на частичку вашей славы. Как вы думаете, Петя? Уделите ли вы и нам хотя бы ломтик?

— Не ломтик, а целый каравай! — аплодируя, воскликнул Петя.

Химички окружили Ольгу, обнимая и целуя за то, что она так хорошо говорила от их имени. Но Ольга еще не кончила:

— Зачем нам, отдавая должное Пете, унижать самих себя? Мы можем завидовать ему, трепетать за него, но это не оправдывает того, что он не знает родной Земли. Нет, девушки, этого я ему не прощаю!

«Смотри-ка, какой она оказалась, эта сероглазая!» Это была совсем не та Ольга, какую он себе представлял. Она справедливо нападала на него, и он с нею полностью соглашался: ничто не оправдывало его. Все простили ему незнание, кроме нее. «Она прекраснее всех на свете», — окончательно решил Петя. Его впервые в жизни потянуло к девушке.

Ольга упрекнула его в том, что он — отталкивающий образец ископаемого академика, оторванного от жизни, заплесневевшего в своем кабинете, назвала его астрономическим страусом, который вместо песка прячет голову в звездную пыль, чтобы не видеть происходящего на Земле. Стараясь побольше пристыдить юношу, она стала его экзаменовать. Требовала, чтобы он рассказал об известных операх, драмах, книгах, назвал имена поэтов, скульпторов, композиторов, летчиков, спортсменов... Он не знал ничего, абсолютно ничего!

Чем больше она его позорила, тем больше нравилась. Петя смотрел на нее с восторгом. Если бы ему пришлось выбирать из миллиона девушек на земном шаре, он выбрал бы только эту, и никакую другую!

— Еще не поздно! — воскликнул Петя, протягивая к ней руки. — Я прозрел! У меня есть еще немного времени, чтобы все наверстать. «Стрела» еще не улетела и полетит не так скоро. Мне нужна дружеская рука, которая вела бы меня, пока я не научусь ходить сам. Ольга, вы освободили мою бедную душу, которая была зажата, как препарат между предметными стеклами, чахла во мраке обсерваторий. Ведите же меня! Клянусь всеми плеядами, что не улечу, пока не научусь ходить по собственной Земле!

Пока он говорил, над его головой медленно темнел светящийся потолок. Меркли одна за другой и стены в знак того, что пора расходиться. Петя, прощаясь с химичками, пожимал им руки, благодарил, они тоже благодарили...

Прощание с Ольгой юноша отложил напоследок. Он хотел попросить разрешения проводить ее и был разочарован, когда она ответила, что он уже это сделал. Оказалось, что химички жили в своем комбинате.

Ольга взяла его под руку и проводила к выходу. Двери перед ними сами открывались и закрывались. Наконец они очутились на лестнице.

— Днем я занята, — сказала девушка, — но вечером с удовольствием встречусь с вами. Я покажу вам город при вечернем освещении. Но я не хотела бы, чтобы вы из-за меня опоздали к вылету...

Юноша еще раз пожал ей руку, и двери захлопнулись.

* * *

Петя с помощью Ольги знакомился с ночным, светлым как днем, городом. Сверкающие, блестящие искусственные огни придавали ему сказочное обаяние. Юноша и девушка ходили или проезжали по широким магистралям и мостам, выгибавшимся над каналами. Глиссеры словно летели по воде, бесшумно проплывали речные трамваи с рядами светящихся окон. Цветные неоновые картины и блестящие шары среди парков, лужайки с чудесной травой, проспект, заканчивавшийся сияющим вдали куполом, звезды разноцветных лампочек над пропеллерами геликоптеров — все это очаровывало Петю.

— Если бы знать, когда вы летите,— говорила Ольга,— мы бы могли составить себе план: театры, концерты, спорт. Вы даже приблизительно не представляете, когда снимется с якоря «Стрела»?

— Право, не знаю... Понятия не имею!

Петя не имел понятия потому, что ни о чем не спрашивал. Он утратил интерес к полету. Иногда его охватывал ужас: что если завтра?! Он мог в любой момент избавиться от этой жуткой неопределенности. Нужно было лишь поднять телефонную трубку и задать только один вопрос

пану Бауману, в секретариате Центрального астроклуба, или спросить самого руководителя экспедиции инженера Покровского, очень доброжелательно относившегося к Пете. Но Петя трусливо уклонялся. Он предпочитал жить в неизвестности, с какой-то отчаянной надеждой, что это продлится долго и у него хватит времени ознакомиться с Землей, которую он неожиданно полюбил запоздалой любовью...

Проходя по парку, юноша и девушка очутились перед зданием Исторического театра, построенным в стиле Возрождения. Пете было безразлично, попали они туда случайно или Ольга намеренно привела его. Но когда взвился занавес, не было более благодарного зрителя.

Театр был предназначен для любителей старины. В нем ставились только исторические пьесы. Занавес, зеркала, люстры, мозаика на историко-революционные темы, красный бархат и парча — все в этом старинном храме Талии говорило о прошлом. И всем этим упивался Петя.

Зачарованный старинной повестью о верной дружбе Маркса и Энгельса, он затаив дыхание сжимал кулаки, сам того не замечая, стискивал руку Ольги.

Когда занавес опустился, юноша, словно проснувшись, вернулся к действительности. По-детски счастливый, он благодарил судьбу за то, что суровая борьба позади, преклонялся перед людьми, которые во мраке ушедших веков носили в сердцах зарю будущего. Петя понял, что мечта о театре давно жила в его сердце. Ему вдруг показалось, что он ошибся в выборе профессии: его настоящее призвание — театр. Он мог бы быть хорошим актером, драматургом, суфлером, был бы счастлив и как обыкновенный зритель; театр — самое прекрасное, самое изумительное из всего, созданного человеком на Земле, а его мечты о звездах были наваждением...

Он вновь вспоминал, что скоро должен покинуть все эти замечательные вещи, которыми человек так украсил свою красавицу-Землю. Он пугался, как бы не упустить чего-нибудь. Может быть, где-то как раз в этот момент играют пьесу о новой жизни на Земле, а он проворонил ее... Пусть это даже происходит не на сцене, а в домах или на улице, на стройках новых городов, под землей, над облаками, на дне морском. На всей нашей планете идет потрясающий спектакль, в котором он является зрителем и актером, героем и соавтором одновременно!

Когда они вышли в фойе, чтобы закусить, Петя взял Ольгу за руку и потащил к выходу.

— Но ведь спектакль еще не кончился, — удивленно возражала она, постепенно уступая его настояниям. — Впрочем, ясно. Я понимаю, что вам нужно... Это прошлое, а вы хотите проститься с Землей в ее нынешнем обличии. Картины, люстры, драпировки, занавес — все это старина, они остались на прежних местах, а люди, создавшие их, давно умерли... Что ж, пойдем в Галерею современного искусства. Это — сегодняшний день. Там сейчас выставка Стравиуса. Вы его знаете?

— Нет!

— Он увлекается астронавигацией. На его полотнах воздушные корабли уже оторвались от земной поверхности и мчатся по магистралям вселенной. Безумец! Он хочет рисовать быстроту движения, хочет видеть пространство вашими глазами! Видеть то, что суждено только вам, астронавтам...

Петя отказался смотреть такие картины, а Ольга не настаивала. Она думала, что юноша отказывается из скромности, опасаясь, как бы среди изображений покорителей вселенной не оказалось его портрета. Он пренебрегает славой... Именно таким девушка представляла себе настоящего героя. Но Петя по совершенно другим причинам не стремился к воздушным кораблям, ни к нарисованным, ни к настоящим.

— Может быть, пойдем на концерт?

На это он тотчас же согласился. Ему страстно захотелось музыки, в которой он себе так долго отказывал. Услышать ее вблизи, посмотреть на музыкантов и их инструменты, снова увидеть скрипку, на которой он учился играть в шестилетнем возрасте и с тех пор ни разу не видел. Как раньше он бежал от музыки куда-то в таймырскую тундру, так теперь он жаждал проникнуть в ее таинственные глубины, подняться на вершину небес, созданных человеком для человека.

Юноша опять сжал руку Ольги — он чувствовал себя счастливейшим человеком в мире... Как и в театре, он переживал огромный подъем. Сейчас он был убежден, что музыка — величайшая красота, драгоценнейшее из всех наслаждений на Земле, уготованных здесь человеку, — кроме любви...

— Ольга, — грустно сказал он, — не сердитесь на меня, но... мне не следовало ходить с вами...

— Что вы хотите этим сказать? — изумилась девушка.

— Мне надо было остаться в неведении — тогда я бы ни о чем не жалел...

— При всем желании не могу вас понять! Вы готовы были все бросить, лишь бы «узреть». А сейчас жалеете о том, что покидаете. Вы — как маленький ребенок.

— Я знаю...

— Может быть, — задумчиво продолжала Ольга, — если вы оторвались от земного тяготения, вам не следовало снова укреплять узы, связывающие вас с Землей. Знаете что? Не улетайте никуда! — улыбаясь, искушала она. — Оставайтесь дома, в уюте и покое... Вместо вас найдутся другие безумцы... миллионы безумцев... они жаждут этого, поверьте!

— Будь у меня хотя бы год для прощания, — вздохнул он.

— Что вам здесь вдруг так понравилось? Нечто настолько огромное, что вы могли бы ради него пожертвовать своей мечтой?

Юноша виновато посмотрел на нее и тотчас отвел глаза.

— Мне двадцать два года, — жалобно произнес он, — и я еще не встречался ни с одной девушкой... Не смейтесь надо мной!

Она не смеялась, только чуть-чуть улыбнулась.

— Как я не догадалась...

— Теперь, когда я нашел вас...

— Понимаю, понимаю, Петя. Но сейчас... тише, — прошептала она, взяв его под руку.

— Почему я вас раньше не знал! Все было бы по-иному.

— Тише, сейчас тише...

Оркестр заиграл «Героическую симфонию», исполнения которой требовала публика. Это произведение молодого композитора Бетевилли прославляло астронавтов—завоевателей, открывателей новых миров, готовых ринуться во вселенную, чтобы вырвать у нее последние тайны. Симфония передавала в звуках их изумительное предвидение, презрение к смерти, странствие среди неведомых солнечных систем, мужество и человечность, мечты и тоску по родной планете, по матерям и возлюбленным и, наконец, их торжественное возвращение после великих открытий, совершенных в звездных пространствах.

Так воспринимала все это Ольга, так старалась она все это понять. Ее залила волна нежности к Пете, благодарности за то, что среди миллионов женщин именно она — избранница одного из этих героев; и одновременно она боялась за него. Девушка смотрела на Петю любовно и изумленно, он был дорог ей, несмотря на все недостатки, которые она видела, но понимала и оправдывала. Ведь он обыкновенный смертный человек. Но если он оттуда не вернется, его удел — бессмертие! И он ни

чуточки не зазнался! Наоборот, ведет себя ребячески. Ученый — и дитя! Зачарованная музыкой и близостью юноши, которого эта музыка венчала лаврами, Ольга вздохнула и растроганно переплела свои пальцы с пальцами Пети.

Но музыка направляла мысли юноши в другую сторону. Ему казалось, что она выражает только его любовь и стремление к дорогому существу, счастье, что он наконец его нашел, и грусть, что должен тотчас же потерять. Он всматривался в пухлые по-детски губы Ольги и мучительно жаждал прикоснуться к ним, похожим на только что лопнувший бутон розы... Прижаться щекой к ее щеке, погрузить пальцы в ее волосы, перебирать эти волнистые пряди...

Эта мысль не покидала его и когда он провожал ее домой. Наконец, собравшись с духом и покраснев, он заговорил:

— Когда мы совсем еще не были знакомы, вы хотели... собственно, сказали мне, что разрешаете, если я хочу... потому что звезды... — И быстро добавил: — Но теперь, когда мы уже друг друга знаем, то...

— То?! — она громко рассмеялась. Ее смех походил на звон колокольчика. Потом сразу стала серьезной. — Ведь вы завтра еще не летите? Я думала, что мы еще встретимся... Завтра, и послезавтра, и каждый день...

— Я ни о чем лучшем и не мечтаю!

— Так зачем же нам сегодня прощаться? Вот когда наступит последний день...

— Если так, я хотел бы, чтобы он наступил уже сегодня.

Не успев договорить, Петя пришел в ужас: ведь тогда он не увидится с нею два, а то и три года! Может быть, никогда... Ольга, как бы прочитав его мысли, успокоила:

— Зачем вы торопитесь? Я боюсь, что, если вас сегодня поцелую, вы завтра улетите. Вы потому еще здесь, на Земле, что при первой встрече мы не сделали этой глупости... Вы возьмете с собой мой первый поцелуй. Что сможет крепче связать нас?

Они говорили, стоя на лестнице Дворца химичек. Ольга нажала кнопку, решетчатая калитка открылась. Девушка подошла к Пете, прикрыла глаза и слабо, беспомощно улыбнулась... Ее лицо приблизилось к Петиному. Оставалось только прикоснуться к нему губами... Юноша был в восторге от своего мужества. Это было так изумительно, так невероятно! Но когда Петя попытался повторить свой поцелуй, Ольга вырвалась из его объятий. Он видел только ее спину, коротко подстриженные волосы, которые он так и не взлохматил... Девушка взбежала по лестнице, и калитка закрылась за ней...

* * *

В ту ночь Петя долго не мог уснуть. Он ворочался в постели, и образ Ольги снова и снова возникал перед ним. То ему казалось, что это был самый счастливый день его жизни, и он горячо ждал наступления утра... То его пугала мысль о том, сколько может продлиться такое счастье. Он тщетно вспоминал слова Ольги, пытаясь найти в них ответ на свои сомнения.

Ведь она сказала: «Зачем вы торопитесь?» — значит хотела, чтобы он еще долго оставался с нею, на Земле. Она даже боялась поцелуя: «Я боюсь, что вы завтра улетите». Ольга сказала еще что-то прекрасное, но он никак не мог вспомнить что. Если он правильно понял, поцелуй связан с его полетом...

«Но ведь там, на пороге — слава за это звездам небесным! — я все-таки поцеловал ее? Она сама этого захотела... Вдруг перестала бояться, что я завтра улечу... Может, даже желала этого? Нет, вероятно, сама

поняла, что нелепо отказывать мне в поцелуе, будто от этого зависит, полечу ли я... Наверное, так! Ей самой хотелось, она не могла устоять...»

Пете действительно никуда не хотелось улетать. Ни сейчас, ни завтра, ни послезавтра. Ему нужно было не менее года, чтобы все наверстать, ознакомиться хотя бы с главными красотами и сокровищами, которые таил город. Конечно, вместе с Ольгой, без нее это бессмысленно. Но с нею вместе Земля была волшебным раем, полным случайностей и неожиданностей!

Петя знал только одну возможность никогда не расставаться с Ольгой, не бояться завтрашнего дня и ежечасно, всю жизнь наслаждаться бесконечно милым обликом любимой. Такая возможность была, однако он даже не решался думать о ней. Но когда юноша засыпал, все показалось ему простым. Достаточно одного только слова — и главное будет сделано. Во сне стоило протянуть руку — и он нашел решение...

Все его тайные желания осуществились...

* * *

Было уже поздно, а Петя все еще спал глубоким сном, наверстывая упущенное ночью. Вдруг сквозь сон он услышал, что на дверь его комнаты сыпятся удары. Послышались детские голоса:

— Петя, открой!

— Открой скорее!

— Страшно важно!

Несколько минут Петя не мог стряхнуть с себя дремоту. Удары в дверь и голоса становились все настойчивей.

— Скорее, скорее!

— Скорей, пока не поздно!

Петя улыбнулся. Он узнал голоса младших братьев, Влади и Ивана. Спать больше не придется...

Юноша любил этих маленьких философов, а они обожали его. Ему было интересно, какую «страшно важную» новость они принесли, но он подозревал, что это только предлог, чтобы пробраться к нему. Петя вдруг пожалел, что так пренебрегал братьями. Часто прогонял их или сам убегал, вместо того чтобы вместе с ними строить планы путешествий и мечтать о приключениях, страстно спорить, пить из живого источника детских фантазий.

Внезапно его охватила тревога. Мальчикам было запрещено по утрам колотить в дверь и будить его. Не узнали ли они о старте «Стрелы» что-нибудь такое, что он проспал?

Петя внезапно открыл дверь, и мальчики, нажимавшие на нее, влетели в комнату. Владя сбил брата с ног, Иван стукнулся головой об пол, но тотчас же вскочил — все в порядке! К счастью, он был в летном шлеме, предназначенном для «максимальных скоростей», и это спасло его от порядочной шишки. Шлем слетел с головы, выглянула круглая рожица с выпуклым лбом и смеющимся ртом. Нужно было смеяться, чтобы показать старшему брату — ничего не случилось!

Густые, черные как уголь космы Влади не поддавались никаким усилиям привести их в порядок. В руках у него была жестяная коробочка. Он вошел с серьезным видом, и Иван тотчас же скопировал выражение его лица.

— Петя, — деловито начал Владя, — ты, конечно, не знаешь, что я тебе скажу, ты ведь спал, когда объявили по радио...

— Ты будешь очень рад! Не говори ему, Владя, пусть сам отгадает,— перебил Иван со своей неистребимой страстью к загадкам.

— Никаких загадок! — категорически заявил Владя.

— Он все равно не угадает! — уступил Иван.

— Нет, угадаю, — принужденно улыбнулся Петя. — «Стрела» готова к вылету!

Петя сказал худшее — то, чего менее всего желал, и со страхом посмотрел на Владю. Вдруг не угадал? Может, этот ответ подсказал ему страх? Могло произойти столько событий, которые бы его обрадовали. Нет! Оба мальчика кивнули.

— Когда? — с притворным безразличием спросил Петя.

— Завтра в десять девятнадцать. Ты должен быть готов и попрощаться. И следить за сообщениями, которые сегодня будут для вас передавать.

— Ты совсем не радуешься! — простодушно удивился Иван. — Будь я на твоем месте, я бы прыгал до стратосферы!

— Если хочешь, Петя, — серьезно предложил Владя, — мы с Иваном будем слушать радио. На случай, если вам сообщат что-нибудь важное.

— Обещаем не отходить от приемника, даже если на нас будут падать метеоры...

— Ладно, ребята! Надеюсь, что на вас можно положиться!

— Петя, — неуверенно начал Владя, — у меня к тебе особая просьба...

— Да, насчет этой коробочки! — перебил Иван, лукаво подмигивая Владе.

— Когда ты будешь на Марсе, зарой там, пожалуйста, эту коробочку. Так, чтобы никто не видел, понимаешь?

— Зарыть коробочку? — удивился Петя. — Куда?

— Ну, в глину, или в песок, или в снег — словом, в землю. Не слишком глубоко и не слишком мелко. Чтобы выглядело так, будто она там лежит давно.

— Но зачем? — недоумевал Петя.

— Понимаешь, Владя задумал такую штуку, — вмешался Иван. — Чтобы тот, кто ее случайно найдет, вообразил, будто на Марсе есть какие-то таинственные обитатели.

Владя показал Пете жестяную коробочку, но не выпускал ее из рук.

— В ней совсем особенные вещи, которые могут быть только у обитателей другой планеты! А у нас на Земле подымется шумиха: на Марсе нашли следы...

Петя изумленно смотрел на Владю:

— Вот что вы придумали?!

— Ты представляешь, сколько смеху будет?!

— Владимир, мы летим, чтобы выяснить правду, а ты хочешь занести туда мошенничество и ложь?

Владя покраснел и опустил глаза.

— Действительно, это глупость, — буркнул он. — Извини, Петя...

Иван тотчас же заступился:

— Он ничего плохого не думал, правда, Владя? И меня извини, Петя, я тоже участвовал в этом!

Конечно, это детская выдумка, невинная шутка, думал Петя. И все-таки в характере Владимира какой-то изъян. Вероятно, в этом есть доля и его вины, он уделял братьям так мало внимания. Сколько раз они звали его поиграть с ними, готовые подчиниться его руководству! Соблазняли его самыми высокими постами: «Ты будешь капитаном! Будешь начальником экспедиции! Ты нас спасешь! Ты первым высадишься на звезде Альдебаран!» Ему всегда было некогда, он отвечал: «В другой раз!» А сейчас уже поздно: жребий брошен...

— Мне тоже хочется тебе кое-что дать, — начал Иван.

— Тоже коробочку?

— Да. Но в ней совсем другое... тебе не угадать...

— Мне не хочется гадать. Скажи, что там?

— Фазаньи косточки для Стеллы. Знаешь, для той собаки, что у пана Дунинга на сателлите.

— Вот это другое дело. Это я возьму. Передам, что ты посылаешь им привет и подарок, ладно? А сейчас, ребятки, идите. Мне нужно побыть одному и поработать.

Только после ухода братьев Петя мог подумать и разобраться в создавшемся положении. Раньше всего — проверить! В нем еще теплилась искорка надежды, что хотя бы этот ужасный срок — завтра! — неточен. Но и эта искорка погасла, когда голос пана Арунтьяна, секретаря астронавигационной секции, поздравил его с завтрашним вылетом. А кто мог быть в курсе дела больше Арунтьяна!

«Как же с Ольгой?» — промелькнуло в голове юноши. С Ольгой и тем миром, который она ему открыла? Он не мог себе представить будущего, завтрашнего дня, ни одного часа без нее. Какое путешествие, какие приключения, какие зрелища и открытия, какие миры в бесконечном пространстве могут заменить ему Ольгу? Никакие звезды не вознаградят его... Без нее любое путешествие станет жалким блужданием... Без нее он погибнет, без нее не имеет смысла жаждать и мечтать, познавать и добиваться чего бы то ни было! Лишь любовь к ней придает всему смысл... Если этот луч вдруг погаснет — останется только темная, безвоздушная бездна...

Пете хотелось тотчас же побежать к Ольге, сказать, что не может без нее жить. Она все поймет, если хоть чуточку любит. Если для нее важны их встречи, если она хочет быть его спутницей в этом мире, куда он вдруг свалился из своей обсерватории... Ольга все мудро объяснит, за себя и за него. Стоит ей сказать одно слово — всем станет все ясно и понятно... Когда Ольга увидит, что все поставлено на карту, она не отпустит его, будет за него бороться... если только любит его, если в ней есть хоть атом любви... В ушах юноши все еще звучали ее слова: «Зачем вы торопитесь?» Они условились встретиться вечером, но он не мог так долго ждать...

Петя решил немедленно отправиться в Дом культуры комбината «П. М. 6», где провел такой чудесный вечер с химичками. Там, конечно, можно будет узнать, где найти Ольгу. Он уже собирался уходить, но оказалось, что в гостиной его ожидает посетитель.

Когда Петя вошел, с кресла вскочил высокий, сильный юноша и представился:

— Доминик Эрбан.

Пышущее здоровьем лицо молодого человека казалось несчастным. Его голубые глаза были воспалены и свидетельствовали о бессонных ночах; это могло бы вызвать невесть какие подозрения, если бы их взгляд не был таким жалобным.

Он долго жал Петину руку и говорил сбивчиво, словно оправдываясь:

— Вот, наконец, и вы! Моя последняя надежда! От вас зависит вся моя жизнь...

— Ничего не понимаю! Вероятно, это ошибка. Кто вам нужен?

— Вы, конечно! — воскликнул юноша. — Астроботаник Петр Бернард. Один из Девятки! Ведь это вы?

— Да, я. Но почему от меня зависит ваша жизнь? Присядьте...

— Сейчас все объясню... Вы поймете...

И молодой человек горячо заговорил о своей мечте попасть на воздушный корабль, в состав Девятки, обо всем, что он до сих пор тщетно предпринимал, чтобы добиться этого.

Петя вспомнил, что уже слышал о каком-то сумасшедшем, использовавшем все возможные и невозможные способы, чтобы попасть на «Стре-

лу». Рассказывали, что он приходил к членам экипажа домой, умолял, обещал, наконец, угрожал застрелиться. Рассказывали, что он приводит в отчаяние всю Девятку. Одни предполагали, что у него в голове не все в порядке, другие, наоборот, утверждали, что это способный и храбрый юноша, отлично знающий, чего хочет, понимали его упорство и одержимость и жалели, что ничем не могут ему помочь...

— Вы напрасно мечетесь! — искренне сказал Петя. — Как вы себе это представляете? Экипаж должен состоять из девяти человек, ни одним больше, ни одним меньше. Это — numerus clausus *.

— Разве я этого не знаю! Но инженер Покровский торжественно обещал мне... Разве я решился бы хоть шаг сделать, показаться на глаза уважаемым членам Девятки, если бы не это обещание...

— Что кто-нибудь из нас уступит вам свое место, не так ли?

— Нет, не так. Но что я буду принят в Девятку, если кто-нибудь из вас или что-нибудь...

— И потому вы пришли ко мне?

— Да, потому...

— Но почему именно ко мне? — с некоторым раздражением спросил Петя. — Почему не к инженеру Кириллову, почему не к Тимохину, не к доктору Гуссону, не к инженеру Фоглю, не к Винаржицкому или к...

— Я был уже у всех, — перебил юноша Петю раньше, чем тот успел назвать следующее имя. — Вы девятый, после вас мне уже некуда идти...

Петю изумила методичность и настойчивость этого маньяка, у которого отчаяние переплеталось с дерзостью.

— И вы отважились бы заменить, скажем, Тимохина при управлении атомными двигателями?

— Я немного разбираюсь в этих вещах. Обожаю двигатели всех систем, особенно те, что питаются кашкой, приправленной урановым порошком! Но Тимохин даже разговаривать со мной не стал, и тогда я пошел к Кириллову.

— Ну?! — ужаснулся Петя.— Неужели вы побеспокоили академика Кириллова?! Ведь это крупнейшая научная величина! Неужели вы воображаете, что сможете разобраться в таких аппаратах, в этих клеточках мозговой коры воздушного корабля...

— Они точно описаны в астронавигационных бюллетенях. Впрочем, я видел их собственными глазами в машинном отделении «Стрелы». Сам Кириллов показывал их мне. Они гениальны именно потому, что ими легко овладеть. И Кириллов понял меня, признал несправедливость, совершенную по отношению ко мне, утешал и обещал участие в следующем полете. Но я больше не могу ждать, понимаете? Тогда меня послали к доктору Гуссону попытать у него счастья...

— Клянусь всеми солнцами туманности Коня! — воскликнул Петя.— Ведь это наш врач! Предположим, что вы немного разбираетесь в атомных двигателях, но здесь идет речь о двигателях организма, о нашем сердце, легких, желудке! Их приводит в движение не жидкий кислород или распыленный озон и не суспензия науглероженного металла, а кровь — царица всех жидкостей! И вы осмелились заменить нашего доктора, который, кроме всего, еще знаменитый астрохимик?!

— Уверяю вас, — перебил юноша, — я пошел на все, чтобы попасть к вам. Уже давно, когда доктор Петерсон вернулся из своего полета, я прослушал у него двухлетний курс. Я знаю все, что может произойти с человеческим организмом при различных температурах, давлении и облучении. Смогу лечить шишки, которые вы набьете, когда, утратив вес, будете летать под потолком. Я знаю не больше и не меньше, чем должен знать

* Точно установленное число *(лат.)*.

каждый специалист по космомедицине при полетах на высоте свыше трехсот километров. И сумею разобраться в корабельной аптечке, если вдруг вы заболеете какой-нибудь земной болезнью, начиная от шума в ушах и кончая поносом...

— Хватит! — со злорадным смехом прервал его Петя.— Можете не рассказывать дальше! Представляю себе, как вы бежите от Гуссона к Винаржицкому, потому что умеете так же хорошо варить, как лечить, учитывать всемирное тяготение и обслуживать двигатели, передатчики и радиолокаторы! Словом, вы гений!

— Правда, я был у Винаржицкого, но когда у меня ничего не получилось с Шарлампье...

Петя опять расхохотался.

— Я забыл, ведь вы еще кинооператор и репортер, а также биолог и ботаник, раз вспомнили обо мне и хотите вместо меня заняться этими дисциплинами.

— Я делал все, что в человеческих силах,— тяжело вздохнул Эрбан.— Все, что доступно уму человека, жаждущего вырваться из когтей этой планеты...

— Неужели она вам так опротивела? — с неожиданным участием спросил Петя, мельком вспомнив об Ольге.

— Я бы не сказал... Но, пожалуй, немного надоела. Твердит все время одно и то же: весна — лето, осень — зима... Я уже знаю ее как свои пять пальцев. Неважно, все равно я люблю ее, как любят свою бабушку. Но Марс, Венера, Меркурий — наша новая любовь. Куда бы ни попал живой человек, он будет там любить! Мы увязли в нашей Земле, как в болоте! Будущий гражданин вселенной будет себя чувствовать как дома на любой планете, если найдет там условия для развития своего интеллекта. Как стало пережитком стремление к накоплению сокровищ, так станет ненужным балластом любовь к одной планете.

— Никогда! — страстно вырвалось у Пети. Он был возмущен этой зажигательной речью, воспринял ее как личное оскорбление.— Я буду любить Землю, — воскликнул он, — даже если попаду на прекраснейшую из звезд с самыми совершенными созданиями во всей вселенной!

Ему хотелось добавить: «Убирайся на другую планету, если тебе на нашей не нравится!»

— Вы цепляетесь за Землю,— неумолимо продолжал Эрбан,— и, конечно, будете тосковать по ней. Где бы вы ни были, перед вашими глазами будет ее образ, вы будете всеми своими чувствами тянуться к ней, вы пропитаны ею насквозь, как невидимой пылью. Она у вас в волосах, под ногтями... Воспоминания о ней будут вас преследовать на каждом шагу... Вы еще не оторвались от нее, а уже думаете о возвращении и цепенеете от ужаса при мысли — а вдруг...

— Что — вдруг? — разозлился Петя.

— Например, вдруг «Стрела» не долетит...

Петя иронически улыбнулся. Эрбан становился не только назойливым, но смешным и отвратительным.

— Понимаю,— брезгливо сказал Петя.— Вероятно, вы так же пугали всех, кого почтили своим посещением. Как видно, вам это не помогло.

— Я никого не пугаю,— возразил юноша.— Вы в полной безопасности долетите до места назначения, ни один волосок не упадет с вашей головы. Хуже будет с... возвращением. Мне не поверили, высмеяли меня — но вы вспомните обо мне, когда будет поздно, когда вы застрянете там навеки...

— Вы думаете,— насмешливо спросил Петя,— что «Стрела» при посадке расплющится о поверхность Марса, как шарик ванильного мороженого?

— Нет, этого я не думаю. Я знаю так же хорошо, как вы, что такой гигантский воздушный корабль не может причалить к Марсу. Известно, что на «Стреле» есть «Золотая мушка», которая доставит вас на Марс. Но труднее будет вернуться на «Стрелу», которая будет в это время вращаться вокруг Марса, как его третий спутник. Она будет ожидать возвращения «Золотой мушки» и, клянусь вам, не дождется. «Золотая мушка» взлетит, но никогда не долетит, никогда не догонит «Стрелы» просто потому, что не сможет догнать ее. «Стрела» упорхнет у нее под самым носом. И так будет каждый раз: «Золотая мушка» вынуждена будет возвращаться на Землю... простите, на Марс! Пусть Кириллов высмеивает меня сколько угодно, но я утверждаю, что скорость «Мушки» должна быть больше скорости «Стрелы».

Доминик Эрбан засыпал Петю цифрами скоростей, расстояний и сил, которые Пете, правда, ничего не говорили, но должны были поколебать его уверенность, его ощущение безопасности.

— Пока вы не потеряете «Стрелы» из виду, вы все еще будете надеяться и верить,— продолжал Эрбан.— Будете переговариваться с нею, сообщать ей о своих открытиях и в то же время страстно взывать, заклинать, пока не убедитесь в тщетности своих попыток. Но наступит день, когда вы посмотрите на небо и ничего там не увидите! «Стрела» вернется на Землю, и ваша последняя надежда угаснет, последняя связь с домом будет прервана... Опубликуют сообщение о героическом экипаже, о передовом посте покорителей вселенной, о новом маяке Земли в океане бесконечности. Все будут восхвалять вас в речах и в песнях, отливать ваши изображения из металла, высекать из мрамора. Да послужит это для вас утешением!

Петя, вопреки своему желанию, внимательно прислушивался к тираде Эрбана. Его вдруг охватил ужас, что он может, безразлично по какой причине, застрять там, наверху. Если он даже счастливо выберется оттуда, сколько страшных лет проведет он, содрогаясь и отчаиваясь, в марсианских тундрах, в бесцветном безмолвии, где ни разу не услышишь птичьего щебета, жужжания пчелы, в то время как эта Земля изобилия будет по-прежнему полна музыки и песен, сверкания красок и света, будет одурманивать благоуханиями и будоражить ритмом движения...

Он не может покинуть Землю сейчас, только что открыв все это. Едва протянув руку, едва вдохнув аромат — он должен быть вырван из рая... Это невероятно, несправедливо, никто не может от него этого требовать! Он представил себе Ольгу, ее серые глаза, прикосновение ее руки. Нет! Никогда, ничто не оторвет его от любимой!

Петя посмотрел на Доминика Эрбана. И тот понял, что сейчас наступил для него решающий момент. Молча, напряженно ожидая, он пристально глядел на Петю. В его глазах были отчаяние и едва заметная искорка надежды. Рот был полуоткрыт, губы дрожали, готовые к возгласу радости или воплю отчаяния.

Петя был уверен, что он принял решение не сейчас, а уже давно. Он остался бы здесь на Земле, даже если бы не появился этот надоедливый кандидат в космонавигаторы со своими мольбами... Так ему сейчас казалось.

Ему даже мерещилось, хотя это было совершенно абсурдно, что хитросплетения Эрбана мешают ему осуществить свое решение. Словно тот сделал все от него зависящее, чтобы затруднить это решение, возбудить к нему отвращение, которое теперь нужно преодолевать. «Да, я останусь на Земле, — говорил себе Петя, — но не из-за этой бессмыслицы с «Золотой мушкой». Останусь только потому, что ни за что на свете не могу расстаться с Ольгой! Ольга — моя утренняя и вечерняя звезда, в ее

лучах увидел я эту благословенную Землю! Вот единственная — первая и последняя — причина, по которой я принял свое решение!»

— Я не понимаю ваших расчетов,— сказал Петя Эрбану,— вес их, вероятно, меньше, чем вес атома водорода. Конструкторы рассчитали скорость «Золотой мушки» так же точно, как скорость «Стрелы». Авторитет ученых по сравнению с вашими предположениями—то же, что свет солнца по сравнению с коптилкой. Восемь человек, с которыми вы говорили, с полным основанием высмеяли вас. Извините, я присоединяюсь к ним...

— Значит...— прошептал Доминик Эрбан, и искра надежды погасла в его глазах...

— Погодите,— продолжал Петя,— я еще не договорил. Если я все-таки не буду девятым, то — вы должны это понять — для этого у меня совершенно другие основания, не ваши наивные, дилетантские и запугивающие расчеты...

— Что... что вы говорите? — вскочил Эрбан, едва не перевернув кресло.— Мне послышалось, или... Скажите еще раз... повторите...

— Я повторяю, что не полечу на «Стреле».

— Не полетите?! Во имя моей родной звезды, это верно?

— Я решил отказаться от полета еще до вашего прихода,— сказал Петя. И не солгал, так как в этот момент сам верил этим словам.— Запугиванием, в которое, впрочем, и сами не верите, вы едва не испортили все...

Эрбан схватил Петю, поднял его и закружился с ним по комнате. Потом подбежал к креслу и сделал стойку на его спинке. Спрыгнул на ковер и стал делать сальто-мортале на ковре, точно хотел доказать, что, если понадобится, способен и на такие трюки.

Проявление радости было у него настолько искренним, в нем было столько детски-наивного желания развеселить и этим отблагодарить зрителя, что Петя сочувственно следил за его фокусами. Когда юноша, наконец, в изнеможении свалился в кресло, Петя растаял и совсем по-дружески принялся рассказывать.

— То, что теперь побуждает меня остаться, сильнее жажды познания у ученого. Я, так же как вы сейчас, стремился вверх, чтобы постичь неведомое, во имя этого пожертвовал всей своей молодостью, но все это померкло...

— Значит, здесь замешана девушка! — воскликнул Эрбан.

Своим возгласом он, сам того не подозревая, пролил бальзам на сердце Пети. И тот готов был тут же посвятить Эрбана в свою сладкую тайну, поделиться своими опасениями и колебаниями.

Петя разговорился. Раньше он без всяких оснований замыкался, а теперь вдруг разоткровенничался. Рассказывал, как жил до сих пор, как не вылезал из обсерватории, как его мозг превратился в лабораторию, где не оставалось места для песен и ландышей, которые девушки выносили из Дворца цветов. Из-за холодного света звезд в телескопе он не видел рубиновых звезд на вышках высотных зданий и гирлянд огней, окаймлявших магистрали и набережные. Чистое лицо Ольги озарило ему Землю, подобно солнцу.

Молодой человек слушал Петю, но его интерес не выходил из рамок вежливости. Когда Петя умолк, он скромно помолчал, а затем прямо, без околичностей, спросил, что Петя собирается сделать для того, чтобы он, Доминик Эрбан, занял его место на воздушном корабле.

Выслушав его, Петя встал, укоризненно посмотрел на Эрбана, решительно подошел к телефону и позвонил инженеру Покровскому. Вскоре раздался голос Покровского, а спустя мгновение на экране появилось его лицо, и Петя включил свое изображение.

Инженер Евгений Покровский был старым другом и сотрудником знаменитого Криштофа Бернарда, а сейчас, если можно так выразиться, постоянным покровителем его сына. Главным образом благодаря ему удостоился Петя великой чести и был избран из тысяч кандидатов в Девятку экипажа. Инженер Покровский считал своим долгом в память погибшего товарища сделать Петю наследником отцовской славы и вообще оберегать его, насколько это в человеческой власти.

— Здравствуйте, Евгений Павлович! — начал Петя, увидев его сухощавое загорелое лицо с крупным носом. На глазах инженера блеснули круглые очки без оправы.

— Петя, сынок! — послышался обрадованный мелодичный, бархатный голос. На полных губах появилась улыбка. — Поздравляю тебя с великим завтрашним днем! Вот ты и дождался! Твой час настал, попрощайся с Землей...

— Евгений Павлович, — быстро перебил его Петя, — я хочу вам кое-что сообщить... Дело в том, что я передумал... Я не полечу завтра с вами...

— Что ты говоришь, Петя?

— Я не полечу! Остаюсь на Земле!

По лицу Покровского пробежала тень, оно точно погасло. Но лишь на мгновение. Затем лицо его опять прояснилось.

— Не полетишь с нами? Что ж, собственно... это хорошо! Я тебя понимаю, мой мальчик. Понимаю... Мама, да? Ну ничего!

Голос у него был таким же мелодичным, как бы одобряющим, но все-таки в нем чувствовался другой оттенок, более суровый.

— Евгений Павлович, не сердитесь, я не могу иначе...

— Чего мне сердиться, глупыш! Я даже доволен. Рад за твою мать... Передай ей привет! Итак, ты не летишь...— задумчиво повторил он и тут же оживился: — А ты знаешь, что доставишь этим огромную радость одному хорошему человеку?

— Знаю, Доминику Эрбану. Он сейчас здесь, у меня.

— Уже у тебя? Ну и вездесущий! Давай его сюда!

— До свиданья, Евгений Павлович! Вы только не думайте, что... Я полечу с вами, как только немножко осмотрюсь здесь, на Земле. Я потом объясню, почему не мог лететь... Счастливого пути!

Петя отошел от аппарата и кивнул Эрбану. Но вдруг смутился. Он видел, как жадно подскочил тот к телефону, и на миг о чем-то пожалел... Ему не хотелось слушать, что эти двое будут говорить. Он еще увидел, как снова прояснилось лицо инженера Покровского, услышал его ласковый бас:

— Приветствую вас, молодой человек! — и бросился к двери.

* * *

В коридоре Петя подумал о матери, вероятно потому, что о ней напомнил Покровский, и побежал в ее комнату. Как он мог сам не вспомнить о ней?

Конечно, было так мало времени! Дни горячей подготовки, разочарование и отчаяние из-за отсрочки, потом — неожиданная радость и надежда... Ольга вошла в его жизнь и вытеснила образ матери... Сердце юноши дрогнуло от невыразимой жалости. Он должен немедленно разыскать ее! Ей первой сообщить об этом великом событии! Как бездушно он пренебрегал ею, до последней минуты уклоняясь от встречи! Ему была неприятна слабая улыбка матери, за которой — он понимал это — скрывались страх и скорбь, он не хотел слушать ее ободряющие слова, полные притворной отваги и беззаботности. Бежал от них, содрогаясь при мысли, что вот-вот она упадет перед ним на колени и будет умолять сжалиться, остаться с нею...

Бедняжка мама, как она повсюду ходила за ним, прислушивалась у дверей его комнаты... Как-то она, будто случайно, под предлогом, что хочет снять пушинку с его плеча, подошла к нему. И вдруг не выдержала, когда он этого меньше всего ожидал. Плотина прорвалась. Она страстно обняла его и разрыдалась, а он отвернулся, почувствовав на щеке влагу ее слез.

— Мужайся, мамочка, мужайся,— испуганно сказал он тогда.

Как мог он быть таким жестоким, как позволил ей убежать, словно она совершила нечто постыдное!

Он заметил изъян в характере Влади, маленькое пятнышко, а своего возмутительного отношения к матери, увы, не видел!

Петя был доволен, что сейчас обрадует ее. Как счастлива она будет, милая, дорогая, как упадет в его объятия! Ей уже не надо будет играть роль героической вдовы и матери... Слезы, которые хлынут из ее глаз, будут слезами счастья; он больше не отвернется от нее, а может быть, вместе с нею заплачет и будет просить прощения...

Петя сбежал по лестнице в холл, где мать любила сидеть. Здесь она играла на рояле или сквозь окошечко телевизора смотрела, что нового в мире. Но в холле было пусто. Не нашел он ее и в библиотеке. В детской тоже никого — Владя и Иван, вероятно, бегали по парку или что-нибудь изобретали в своей мастерской. Юноша пошел к бабушке, но и там никого не застал.

Петя снова выбежал на лестницу, прошел через зимний сад, комнату для гостей и кабинет отца, превращенный после его смерти в домашний музей. Он думал, что там наверняка найдет мать среди реликвий, которые она украшала цветами. Но ошибся.

Оставалась только одна возможность, если мать вообще дома. Петя вспомнил о мансарде. Он проходил мимо двери мансарды, подымаясь в домашнюю обсерваторию, но в самой комнатке был всего раза два в жизни.

Дверь была полуоткрыта — там разговаривали. Юноша сразу узнал голос бабушки.

— Хороший чемоданчик. Такой же величины, как тот, первый, но гораздо вместительней! Он эластичный.

— Говорю вам, что ничего ему с собой давать не надо! Весь его багаж уже там, — отвечала мать.

— Только еще один свитер под скафандр, ведь ночью на Марсе ужасные морозы, ниже сорока градусов. И напульсники, я сама их связала. И вот еще один шарф...

— Корабль перегружается... Я боюсь этого...

— Глупенькая! На, возьми чемоданчик в руки, он как пушинка.

— И пушинка может оказаться роковой. Одна капля переполняет чашу...

— Еще только кулек с изюмом в шоколаде, он его любит. Вспомнит бабушку, улыбнется, голубок наш. И этот пакетик ваты для ушей на случай сильного ветра. Все! Закрываю.

— Ах, мамочка,— услышал он вздох.

Петя представил мать в объятиях бабушки. Он уже хотел вбежать в комнату и все разом прекратить. Но в это время бабушка опять заговорила. Сама чуть не плача, она утешала мать:

— Ну, выплачься, доченька, никто не видит... Плачь сколько хочешь... Выплачь все слезы. Но завтра, перед всем светом, чтобы ты выглядела... Да что я говорю «выглядела»! Чтобы ты действительно была героической матерью, достойной такого сына!

— Нет, нет, я не смогу!.. Я заранее знаю, что опозорю и его и себя...

— Что ж, если и заплачешь, доченька. Ты имеешь на это право. Кто

еще, если не ты? Знаешь что? Ты не насилуй себя, если подступят слезы... Может, Петя и сам прослезится, кто знает?

— Ах, Петя! Не воображайте, у него для меня и времени не найдется. Обнимет, потому что так полагается, но его мысли будут не с матерью...

— Он еще не раз вспомнит мать, когда ему плохо придется. Знаешь что, детка, я положу ему твою последнюю фотографию.

— Не кладите больше ничего. Чемодан станет еще тяжелее...

— Твое фото воздушный корабль как-нибудь подымет...

Петя уже больше не мог выдержать. Он крепко нажал дверную ручку, чтобы казалось, будто дверь была закрыта. При его появлении на пороге мать тихо вскрикнула. Бабушка быстро поднялась от чемоданчика и приняла торжественный вид. Петя рассмеялся и широко открыл объятия. Мать и бабушка одновременно бросились к нему. Он прижал к себе обеих.

— Слушайте!

— Сыночек, ты сам пришел,— начала мать, поглаживая его рукав.

— Я всюду ищу тебя, мамочка. Что вы здесь делаете?! А это что? — толкнул он чемоданчик носком ботинка.

— Там все, что тебе понадобится и что ты любишь. Даже изюм в шоколаде,— сказала бабушка.

— Ничего мне не понадобится! Я пришел сообщить вам радостную весть!

— Радостную...— повторила мать так безутешно, словно для нее не могло уже быть радости на свете.

Петя рассмеялся и, подражая голосу Ивана, сказал:

— Тебе не угадать, мамочка!

Она глухо, глотая слезы, произнесла:

— Мы все уже знаем эту радостную весть. Завтра... завтра... Я знаю. Мы все рады — и я, и бабушка. Тебя избрали среди миллионов... Я должна гордиться, дорогой мой...

Пани Ксения робко подошла к сыну, неожиданно бросилась ему на шею и опять разрыдалась.

Бабушка, всплеснув руками, с притворной строгостью стала упрекать ее:

— Хороша мать астронавта! Где твоя гордость, плакса? Видишь, как Петя над тобой смеется? — И поспешно отвернулась к окну, стараясь скрыть, что сама вот-вот расплачется.

— Ну, хватит! — воскликнул Петя, освобождаясь из объятий матери.— Знайте, я никуда не лечу!

Обе женщины оцепенели. Мать подошла к нему поближе, точно не расслышав.

— Что ты сказал, Петя?

А пани Елена укоризненно покачала головой.

— Такими вещами не шутят, мой мальчик. Завтра в десять девятнадцать «Стрела» стартует. Ты это знаешь так же хорошо, как и я.

— Конечно, стартует. Но меня там не будет,— смеясь воскликнул Петя.— Я остаюсь у вас на Земле, мамочка!

— Погоди, мальчик, — остановила его бабушка, приставив ладонь к уху,— я не расслышала.

— Вы что же, не рады?

— Рада,— прошептала мать.— Но объясни... почему?

— Потому что я до сих пор ходил по Земле, как слепой! А теперь я увидел окружающий мир. Мне не хочется расставаться с вами! Здесь прекрасно!

— Это верно,— подтвердила старушка и строго, в ниточку сжала губы.— Но ты не будешь в числе Девятки. Они улетят без тебя.

— Я вам все объясню, ты все поймешь, мамочка, и ты, бабушка! Вообразите, что я только что вернулся живым и здоровым с Марса, и вот — я с вами!

Петя открыл свои объятия матери. Но на этот раз пани Ксения не бросилась к нему. Она лишь пристально и изумленно смотрела на сына.

— Что с вами? — встревоженно переводил Петя взгляд с одной на другую.— Я думал, вы обрадуетесь... Бабушка, куда ты?

Пани Елена, ничего не отвечая, подняла с пола чемоданчик и, сгорбившись, медленно, грустно пошла к двери.

— Хорошо, что она ушла,— раздраженно бросил ей вслед Петя.

— Но это ужасно! — вдруг воскликнула пани Ксения.

— Что ужасно? — тоскливо спросил Петя.— Что я не лечу? Почему вы вдруг выгоняете меня из дому? Не понимаю! Ничего не понимаю! Сколько было вздохов и нытья, а теперь ты вдруг гонишь меня из дому! И куда! Ведь ты знаешь, чем кончилось с отцом. Почему, скажи во имя всех созвездий, почему ты не радуешься? Почему вдруг у тебя такой вид, будто я совершил что-то скверное?

Он обиженно смотрел на мать, ожидая ответа. Подавленная пани Ксения опустилась на старую кушетку, стоявшую возле стены. На ее лице была глубокая печаль.

— Как ты этого не понимаешь, Петя? Люди поверили в тебя, ты не имел права их обманывать! Я имела право плакать — я мать. Но я плакала втихомолку, чтобы никто не видел. Лишь изредка мои чувства прорывались — ведь женщина в горе слабее мужчины. Я была недостаточно гордой, хотя имела все основания гордиться. У меня не хватало сил на то, на что их хватило бы у всякой другой. Я жаловалась на свою судьбу, роптала, святотатствовала, говорила, что это фантом, химера, летучий гроб... Если бы я знала, что это так кончится!

— Ты действительно не радуешься, мамочка?

— Это нехороший вопрос, Петя,— покачала она головой.— Ведь ты не собирался остаться там навеки. Мы все верили, что ты вернешься.

— Так ты не радуешься? — упрямо настаивал он.

Пани Ксения поднялась.

— Петя,— вдруг решившись, твердо сказала она.— Если можешь, заяви, что летишь! Сделай это для меня. Может, это была просто шутка? Жестокая шутка? Наказание за мои жалобы и сетования? Но я больше не буду плакать, клянусь! Может быть, ты еще можешь им сказать...

— Поздно!

— Поздно? — содрогнулась она.— Как же ты теперь будешь жить?

— Теперь только начну, вот увидишь! Сначала открою для себя матушку-Землю, а потом придет очередь дядюшки-Марса!

— Тебе не следовало вызываться лететь! — сказала только мать.

Петя, обиженно пожав плечами, вышел, но за дверью на минуту остановился в какой-то безрассудной надежде. В комнате стояла тишина, словно там никого не было. Он упрямо вскинул голову и ушел.

— Никто ни к чему не может меня принуждать, — пробормотал он.

Раздражение постепенно улеглось, осталось только недовольство собой и чувство, что по отношению к нему совершается несправедливость. Теперь он сообразил, что не сказал, забыл сказать матери самое важное, решающее. «Мамочка, все дело в девушке, я полюбил всем сердцем... Пойми, ведь ты тоже была молодой! Может быть, я приведу ее домой, покажу тебе открытую мною звездочку, ты увидишь и наверняка поймешь. Теперь на все хватит времени...»

Но почему мать не радовалась тому, что он остался? В чем дело? Как она плакала, думая, что теряет его! После всех этих страхов в ней должна была вспыхнуть огромная радость. Что с ней произошло? Не думает ли

она, что он струсил? Ведь он все время смеялся над ее опасениями, она столько раз убеждалась в его непоколебимом решении лететь во что бы то ни стало!

* * *

Наступили сумерки. Над куполом Дворца спорта еще горел закат, а на небе уже робко мерцала Вечерняя звезда. Показывались все новые и новые звезды...

И вдруг эти сумерки осветились. Зажглись искусственные солнца, установленные на маяках над городом. Резко разграничились свет и тени. Все стало более четким, чем днем, и вместе с тем каким-то нереальным, пленительным. И дома и люди выступили в каком-то новом, неожиданном аспекте. Сумрак притаился только в парках, в нем было нечто торжественное. Это впечатление создавалось тем, что глубоко в кронах старых лип, дубов и каштанов были спрятаны лампионы. Освещая переплетающиеся ветви, они создавали высоко над головами людей какой-то сказочный мир, далекий и замкнутый в самом себе.

Воздух был влажен после искусственного дождя, только что окропившего город. Его бриллиантовые капли еще сверкали на прозрачных лимузинах и украшенных флагами и фестонами мачтах.

Петя глубоко вдыхал влажный, чуть отдающий тлением аромат осени. До Дворца цветов было уже недалеко, юноша с каждым шагом приближался к нему.

Над головой Пети проходила автомагистраль, пересекавшая бульвар с востока на запад. Даже в эти предвечерние часы там было большое движение: один автомобиль беззвучно проплывал за другим и все, как ни странно, в одном направлении — на восток!

Да, на восток, где далеко за городом, поверх всех куполов и башен вздымался, как оборванный мост, последний пролет звездного виадука — горящий огнями трамплин, откуда завтра девять человек... Да, завтра здесь и след их простынет... Петя поспешно отвернулся, чтобы отогнать мысль об этом.

* * *

На лестнице Дворца цветов Ольга бросилась к нему.

— Милый, милый...

Петя крепко обнял ее. Он был твердо уверен, что никто и никогда не разлучит их.

— Пойдем,— сказала девушка, взяв его за руку. Она вела его по аллее старых, освещенных электрическими шарами каштанов, куда-то в самую глубь парка. В конце аллеи возвышалась арка, словно сделанная из розового кружева. Это была резьба по прочному и мягкому туфу.

— Мы вступаем в Сад первой любви,— с шутливой торжественностью сообщила Ольга, чуть-чуть улыбаясь.

Невыразимая радость охватила Петю. Он даже испугался такого счастья.

— Я здесь впервые,— просто сказала Ольга, глубоко и преданно заглянув в его глаза.

— Я тоже!

— Я еще никогда не проходила под этой аркой. Всегда спрашивала себя — с кем?

Они перешли через золотой мостик, зазвеневший под их ногами.

Держась за руки, бродили по тропинкам, ширины которых хватало как раз для двух влюбленных. Переходили другие мостики, повисшие над ручьями и маленькими озерами. Мостики, словно созданные из шелка или инея, из пара или дутого стекла.

— Говорят, что у каждого из этих мостиков особое название: Мост верности, Мост воспоминаний, Мост обручения, Мост первого поцелуя...

— Вот туда пойдем!

— Я не разбираюсь в этих мостах,— прошептала она, как бы говоря: разве это важно? И посмотрела на него, ожидая, что он сделает. А Петя, угадав ее тайную мысль, храбро сказал:

— Впрочем, зачем нам мост? Мы и без моста обойдемся!

Но он был храбр только на словах. За ними должны были немедленно последовать действия. А Петя и пальцем не шевельнул. «Сейчас или никогда!» — мелькнуло у него в голове, но... поздно. Ольга сделала шаг, потом другой и опередила его. Между тем он твердо знал, чего она ждала. Юноша пришел в отчаяние от своей робости. Ему казалось, что он упустил мгновение, которое бывает только раз в жизни и больше не повторяется.

Он бросился догонять Ольгу, но она прибавила шагу. Чувствуя его близость за спиной, девушка побежала по лужайке, перепрыгнула ручеек, за которым начинался китайский парк. Там, на высокой стальной пагоде, светилось и горело одно из атомных солнц.

Когда Петя нагонял Ольгу, она принималась петлять между ручейками и киосками, вокруг огороженных фонарей, толстых страшилищ, стороживших маленькие храмы, улыбающихся бронзовых, эмалевых и фарфоровых Будд. Проскочив через калитку, она очутилась на другом мостике, как бы вырезанном из куска слоновой кости. По нему, для развлечения влюбленных, дружно шествовали тысячи резных фигурок: лошади, драконы, медвежата, рыбы, зайчики, обезьянки, слонята. Мушка была такой же величины, как слон, лягушка шла рядом с аистом, кошка подле мыши.

Ольга остановилась, очарованная красотой и гармонией искусства резчика. Здесь Петя догнал ее. Но как только он, полный решимости, оказался рядом с девушкой, его отвага снова улетучилась.

Была в этом доля и ее вины. Она ничуть не помогала ему, не шла навстречу! Наоборот, словно стараясь оттянуть решительную минуту, начала по-детски восхищаться фигурками.

— Это наверное Мост вечной любви! — сказал юноша, схватив ее за руку. Он жаждал, чтобы она сама прижалась к нему и со слабой, беззащитной улыбкой протянула свои губы, как тогда, на пороге, прощаясь с ним...

Вдруг он заметил влюбленную парочку, вступившую на мост с другой стороны. Молодые люди остановились в нескольких шагах. Юноша обвил одной рукой шею девушки, другой обнял ее за талию, и они поцеловались. Это было так просто, естественно и мудро. Вот и все, словно сказали они. Заметив растерянного, беспомощного Петю, молодые люди ободряюще улыбнулись ему и тихо, как бы на цыпочках, перешли мост. Казалось, они понимают его робость и потому уступают им место.

— Зайчонок! — сказала Ольга, выбрав одну из шествовавших фигурок, как две капли воды похожую на Петю, и одобрительно улыбнулась из-под длинных опущенных ресниц.

Петя осторожно обнял ее, поцеловал в губы и сразу почувствовал такую отвагу и радость, как никогда в жизни.

— Ты моя любовь навеки, на всю жизнь! — воскликнул он, прижимая Ольгу к себе.— Больше никогда не расстанусь с тобой!

— Я буду ждать,— шептала девушка,— буду верно ждать, сколько бы лет ни понадобилось! Страх и гордость, страх и гордость будут чередоваться во мне, как день и ночь...

— Ты еще не знаешь, Ольга! Я никуда не лечу! Остаюсь с тобой!

Он думал, что Ольга сейчас сама бросится ему на шею, но она оцепенела от неожиданности. Шевелила губами, но не могла произнести ни слова. Наконец с трудом проговорила:

— Это... это... неправда! Ты шутишь! Ведь «Стрела» завтра вылетает...

— Да, но меня там не будет! — заговорщически улыбнулся Петя.

— Тебя там не будет?! — медленно повторила она таким странным голосом, что у Пети мороз пробежал по коже.

— Ты не рада? Или не понимаешь? Мы будем все время вместе, будем видеться каждый день...

Ольга отступила от юноши и строго спросила:

— Зачем ты это сделал?

— Ради тебя! Только из любви к тебе...

— Значит, я виновата? — ужаснулась она.

— Я не могу с тобой расстаться! Минуты не могу без тебя прожить!

— Но я хочу, чтобы ты полетел, — твердо возразила она. — И давай уйдем с этого моста.

Петя с досадой вспомнил мать. Словно сговорились! Сколько жестокости кроется за женскими слезами!

— Вот какова твоя любовь! — упрекнул он.— Если бы ты меня хоть чуточку любила...

— Я тебя люблю,— перебила Ольга, и это прозвучало предостережением.

— ...ты не гнала бы меня в безвоздушное пространство, откуда, быть может, нет возврата!

— Есть возврат! Ты это знаешь так же хорошо, как я! Сомневаются только трусы!

— Я не трус, ты это отлично знаешь. За себя я не боюсь. Но три года не видеться с тобой... Я там умру без тебя!

— Это не любовь! Это жалкая вспышка! Настоящая любовь — страстный огонь ожидания, в котором сгорает все мелкое и ненужное. В ожидании выковывается верность возлюбленных и жен. Сколько таких, выдержавших испытание временем! Месяцы, годы не имеют значения. Чем дольше ожидание, тем больше любовь!

— Если бы я не познакомился с тобой,— уныло пожаловался Петя,— я бы ни о чем не жалел. Но без тебя я не могу! Все утратило смысл...

— Я обещала и еще раз обещаю ждать тебя всю жизнь! Когда загорятся звезды, я буду смотреть на ту, где находишься ты. Я ведь знаю, которая среди миллионов — твоя и моя. Каждый день буду писать тебе в сердце своем, счастливая и несчастная, гордая и отчаивающаяся... И ждать, ждать, пока не наступит день...

— ...когда я вернусь или не вернусь.

До Ольги не дошли сомнение и ирония в его голосе. Она вся горела.

— А потом—возвращение! Когда ты вернешься, ты будешь таким же?

— В том-то и дело, — откликнулся он, но Ольга опять перебила его:

— Петя, ты поколебался! Я тебя понимаю. Вижу, как ты любишь меня. Но есть более высокое чувство. И во имя этого чувства говорю тебе: ты полетишь! Завтра полетишь! Ты должен, должен!

Ее серые глаза были твердыми и холодными, как сталь...

У Пети подкосились ноги.

— Поздно! Все уже решено, мое место занято.

Он стал горячо рассказывать об утреннем посещении Доминика Эрбана. Рассказал всю правду. И головка девушки опускалась все ниже и ниже... Ее гордая мечта померкла... Рассказ Пети чуточку, совсем немножко оправдывал его поступок. Если бы он отказался от участия в экспедиции потому, что уступил место человеку, снедаемому жаждой «узреть»,— она склонилась бы перед необходимостью, поняла бы Петю, пожертвовавшего своей мечтой.

Но Петя признался, что хочет остаться на Земле только ради девушки — пусть эта девушка даже она сама! Ольга ищет для него оправдания — и не находит, не может примириться с его отказом. Именно из любви к ней он должен был все преодолеть. Она не знает того страстного юношу, который одержал верх над Петей, но как она понимает его!

— Вот это герой! Так я представляю себе покорителя планет! Таким представляла и тебя, Петя!

— Я думал, что обрадую тебя! — сокрушенно воскликнул он.

— Мне здесь не нравится, у меня нет настроения смотреть на эти игрушки. Как все это смешно и скучно даже при ночном солнце. Уйдем отсюда!

— Куда?

— Домой. Я очень устала.

Домой ему ничуть не хотелось. Он уговаривает ее, упрекает, просит — тщетно!

Прощаясь на лестнице своего дома, Ольга протянула ему руку и грустно сказала:

— Прощай, астронавт печального образа! Еще не успев расправить крылья, ты очутился внизу! — Она быстро взбежала по лестнице к открытой двери.

— Как же завтра? — крикнул ей вслед юноша.— Где мы увидимся? Где ты будешь завтра?

— Где я буду? Там, где все...— ответила она, обернувшись с последней ступеньки.

* * *

Петя лег спать в состоянии полной растерянности и замешательства. В голове у него был хаос. Было о чем подумать! На него нахлынуло столько непостижимых и неприятных переживаний, что необходимо было все обдумать и привести в порядок свои мысли.

«Самого главного я все-таки не сказал,— грустно размышлял Петя.— Она должна меня понять, надо только объяснить ей. Нужно было действовать по определенной системе. Как я, ученый, раньше не додумался до этого! Дело не в театре, музыке или картинах, а в природе! С природы следовало мне начать, с того, что я по-настоящему знаю! На земле и в воде живут изумительные существа, какие человеческий мозг вряд ли способен выдумать. Зачем нам гоняться за флорой и фауной других планет, если мы еще не изучили полностью жителей морских пучин? В каждой капле воды, в каждом кусочке земли кипит поразительная жизнь. Мы только приступили к изучению микрокосма, атомного ядра и его планет — электронов. Зачем лететь на звезды, если в каждом кусочке материи целая вселенная, полная солнечных систем? Разве бежать сейчас с нашей Земли — не предательство по отношению к ней?»

Так все представлялось ему, когда он засыпал. Петя обладал счастливой способностью засыпать как только захочет. Умел вызывать лишь приятные сновидения. Проблемы упростились, решение было намечено. Он сразу избавился от хаоса и, можно сказать, проскользнул через замочную скважину в таинственное царство сна, где вместо луны над ним покачивался земной шар. Отрадная местность для ботаника — прямо-таки девственная почва. Каждый листочек является уникальным художественным произведением, как бы вырезанным из бумаги искусной рукой гениального китайского мастера. Все было синим, потом вдруг стало фиолетовым, затем бледно-розовым, как бывает, когда смотришь через цветные стекла.

Петя собирал цветы и ликовал — рай для ботаника! Сплошь неизвестные, невиданные экземпляры. Как их назвать? Вдруг он почувствовал, что кто-то сзади закрыл ему руками глаза.

— Угадай, кто?

— Иван! — воскликнул Петя.

— Ошибаешься! — раздался за его спиной глубокий бас, звучавший сейчас угрожающе.

Позади стоял человек в скафандре. Через окошечко шлема Петя сразу узнал инженера Покровского.

— Несчастный! — воскликнул тот.— Как ты сюда пробрался?!

— Где Ольга?

— Там, на Земле! — Покровский указал на небо, где светился кроваво-красный шар.

Юношу окружают люди в скафандрах, грозно наступают на него.

— Прочь отсюда! Прочь отсюда!

— Тебе не место среди нас!

— Ты — наша ошибка!

Они бросаются на него, но Петя уже сидит на «Золотой мушке» и догоняет «Стрелу». Воздушный корабль совсем близко, Петя вот-вот догонит его... Но «Стрела» каждый раз проскальзывает мимо и улетает перед самым носом. Петя снова пытается догнать ее... В окошечко «Стрелы» выглядывает Ольга, там же мать и бабушка.

Ольга смеется, и до него доносится: «Никогда!», и Владя смеется: «Не догонишь!» А Иван кричит: «На что спорим?»

Потом Петя сходит на Землю, его торжественно встречают с музыкой, осыпают цветами. Только... только он никак не может снять шлем, сжимающий ему горло. Люди тщетно пытаются помочь ему... механизм отказал. Приходят специалисты, мастера, пытаются что-то делать своими инструментами, но шлем словно сросся с головой.

— Невиданное дело! — поражаются все.

— Придется ему жить со шлемом на голове! Удивительный случай!

— Но он умрет с голоду!

Петя вдруг чувствует, что он голоден. Приносят вазу с фруктами. Он берет яблоко, открывает рот, но между ртом и яблоком — стекло. Пытаются распилить шлем, стучат по нему молотком... Петя ощущает затылком каждый удар, но шлем не поддается. А удары сыплются все сильней и сильней... пока Петя не просыпается. Он открывает глаза, но удары, которые раздавались во сне, не прекращаются. Только они сыплются уже не на голову, а на дверь. Он слышит голоса:

— Петя, открой!

— Нам надо поговорить с тобой!

— Открой пока не поздно!

Владимир и Иван! Петя улыбается их настойчивости. Но улыбка сразу пропадает: он вдруг вспоминает вчерашний день и приходит в ужас от сегодняшнего, который врывается к нему вместе с этим стуком.

— Петя, Петя,— кричит Владя,— говорят, ты не хочешь лететь на Марс?

— Ведь это неправда? Скажи, что ты летишь! — умоляет Иван.

— Впусти нас и скажи, в чем дело! — горячится Владя. — Ты летишь или не летишь?

— Мама сказала, что ты остаешься дома! Петя, не поддавайся никому!

— Если ты впустишь нас, мы сразу все поймем. А если не впустишь, значит...

Новые удары. Раздается первый пинок ногою в дверь.

— Петя, одевайся! Опоздаешь! — пытается по-иному подступиться Владя.

— Скажи, что ты пошутил! Ведь ты шутишь, правда, Петя? — со слезами в голосе спрашивает Иван.

— Петя, серьезно,— крикнул в конце концов Владя,— если ты не полетишь, я перестану с тобой разговаривать!

— И я тоже,— жалобно присоединился Иван,— еще скажут, что ты испугался...

— Что ты трус,— напрямик выговорил Владя.

Петя молчал, только сжал кулаки и скорчился на постели, как бы прячась от ударов и голосов, бившихся о его виски. Может он ответить? Имеет ли право прикрикнуть? Что им сказать?

Новые удары.

— Петя, Петя, открой!

Когда они, наконец, перестанут? Когда уйдут? Ну, а дальше что? Что потом, когда он встанет с постели?

— Если ты не откроешь, я взломаю дверь! — Иван снова принялся колотить ногой.

— Идем отсюда,— послышался голос Влади,— он этого не стоит.

Иван жалобно расплакался.

Потом раздался новый голос — бабушки.

— Что вы там делаете, озорники?

— Петя закрылся,— пожаловался Владя.— Мы хотим, чтобы он сказал, полетит ли он на «Стреле».

— Это его дело,— строго прикрикнула бабушка.— Вас это не касается. Идите одеваться, если хотите что-нибудь увидеть!

— Но раз Петя не летит...

— Так вместо него полетит другой,— категорически заявила бабушка.— Уже девять часов, давно пора уходить.

Голоса за дверью умолкли, шаги удалились, в передней наступила тишина.

* * *

Только теперь Петя понял весь ужас того, что натворил. Он зарылся головой в подушку, вцепился в нее зубами. Вдруг понял Ольгу, и мать, и бабушку, и Владю, и Ивана. Увидел свой поступок их глазами, ощутил их сердцем. Его исследования, его открытия, проложившие ему путь к высшим целям человечества, его теория, которую он мечтал практически проверить на месте, — все погибло.

Он мгновенно очнулся и вскочил. Это недопустимо! Вдруг удастся еще что-то спасти! Петя торопливо одевался. Хотел побежать к Покровскому, сознаться ему во всем, упасть перед ним на колени, но тут же отбросил эту нелепую мысль. Доминик Эрбан прочно и заслуженно вошел в Девятку, ничто его уже оттуда не вырвет. Было бы смешно и нечестно добиваться места, которое он сам уступил... Он потерял право на честное имя ученого, потеряет и свою любовь... Останется только презрение к нему. Даже Владя, даже самый младший — Иван — презирают его.

И опять у Пети затеплилась надежда: можно обратиться к Покровскому, позвонить ему, взывать к его дружбе, заклинать именем отца... Но он чувствовал, что это немыслимо. Он заранее знал, что если и дозвонится сейчас к Покровскому, то услышит отеческие утешения, может быть удовлетворение и запоздалую радость, что он, Петя, все-таки опомнился. Нет, такого разговора он не вынесет!

Все-таки он позвонил. Хотел услышать приговор, произнесенный самим Покровским... Если он его застанет...

К его удивлению, загорелое лицо Евгения Павловича тотчас же показалось на экране. Стекла его очков блеснули отражением какого-то света. Ни о чем не спрашивая Петю, Покровский сразу заговорил своим глубоким, бодрым басом:

— Все-таки позвонил! Эх ты, растрепа! Чтоб тебя комета причесала! Я знал, что ты одумаешься. Приходи немедленно!

— Есть место?! — восторженно воскликнул Петя.

— Винаржицкий ради тебя заболел аппендицитом. Мы только что отправили его в больницу. В наказание ты будешь кухарить... Но чтобы в два счета быть здесь!

— Лечу!

* * *

Ольга ехала к месту старта по восточной магистрали. С нею ехали три ее подруги-химички, мечтавшие собственными глазами увидеть взлет «Стрелы» в пространство. Билеты у них были на стоячие места в амфитеатре, да и на те они записались уже год назад. Но они запаслись хорошими биноклями, так что смогут рассмотреть «Стрелу» и все происходящее вокруг.

Автоматически управляемый электрический автомобиль, включившись в бесконечную ленту машин, двигался в двенадцатом ряду. Был ясный, солнечный день. Осеннее солнце грело, как летом. В связи с торжеством были зажжены все огни и сверкали атомные солнца. Над городом работали распылители воды, и в воздухе дрожало едва видимое марево. Образовались радуги, маленькие и большие, узкие и широкие, куда ни посмотришь — всюду радуги. Разноцветные, бесшумно плывущие по асфальту автомобили были покрыты, как бриллиантовой пылью, сетью мельчайших капель.

— Мы поцеловались на прощание,— рассказывала Ольга подружкам,— поймите, ведь иначе не могло быть, раз любимый улетает на другую планету... Ему так сильно хотелось этого, да и мне тоже... Пусть вспоминает меня, раз писать туда нельзя. Я собиралась изучить астрономию, чтобы каждый вечер смотреть в телескоп на Марс, где он работает... О, не думала я, что он предаст меня!

— Но он, собственно, тебя не предал!

— А как же? Он предал идею!

— Он виноват лишь в том, что слишком любит тебя.

— Плохо любит! Эгоистически!

— Но и ты виновата, Ольга!

— Я знаю. Мне следовало раньше заметить. Но как я могла подозревать, что он сразу променяет свою мечту «узреть» на любовь? Что это за любовь, если она не способна на жертвы?

— Будь довольна, что он остается вблизи тебя,— сказала Тамара.— Если он полетит к звездам,— философствовала она, чтобы утешить Ольгу, — его уже не будет на Земле, значит он перестанет быть тем, что есть... уже не будет Петей...

Химичек рассмешило такое утешение. Марта, строгая куколка с ямочками на щеках, критически возразила:

— Твоя правда, Тамара, уже давно перестала быть правдой! С тех пор, как сверху вернулся первый человек. Я надеюсь, ты не станешь отрицать, что он существует здесь по-прежнему.

— Ведь и мы живем на звезде,— воскликнула Анча, широко открыв свои блестящие газельи глаза.— Разве это не чудо, что мы живем на одной планете, а смотрим на другие?

Девушки умолкли, чтобы выслушать радиосообщения о «Стреле», которые время от времени передавали размещенные повсюду репро-

дукторы. Вдруг Ольга услышала свое имя. Радиоволны разносили его по обоим полушариям Земли.

— Вызываю Ольгу! Вызываю Ольгу! Вызываю Ольгу! Приходи сейчас же к месту старта! Я хочу попрощаться с тобой. Петр Бернард.

Ольга сначала подумала, что у нее слуховая галлюцинация. Но призыв слышали все.

— Это тебя, Ольга, — сказала Марта, побледнев.

— Он летит! — воскликнула Ольга и расцвела от радости.

* * *

Подле взлетной площадки было отделено пространство для жен, детей и родителей — для самых близких существ, с которыми Девятка хотела на прощание обняться. Среди них стояли и мать Пети с обоими мальчиками, и старая пани Елена. Была там и Ольга.

Пани Ксения и Ольга — мать и любимая — сразу догадались, сразу узнали друг друга. Одна другой поставили в вину и в заслугу решение Пети. Сквозь слезы улыбнулись и протянули друг другу руки. Пообещали теперь вместе смотреть на звезды.

Как только Петя появился, мать первой, обливаясь слезами, начала обнимать его.

— Сынок, дитя мое! Видишь, вот я опять плачу! Прости... Только что я гнала тебя, а сейчас... Я сама себя не понимаю!

— А я понимаю, мамочка! Ты правильно поступила. Спасибо тебе!

— Нет, нет, не говори так! Не мучь меня! Забудь мои слова! Вместо того чтобы радоваться, что сохраняю тебя, я сама подстрекала... Как я только могла... как могла...

Но тут ее сменила Ольга со своими объятиями и слезами.

— Милый, милый! Солнышко мое!

— Ну, довольна ты мной?

— Не издевайся, Петя! Ты хотел остаться из любви ко мне...

— И тебе спасибо, Ольга!

— ...а я прогнала тебя. Кричала, топала ногами: лети, немедленно лети! Что я натворила?!

— Твое желание выполнено. Твой любимый будет среди звезд!

— Я не хочу, не хочу! Я была ослеплена гордыней!

«Женщин не поймешь», — подумал Петя, а между тем, давно их понял. Это не вина их, а заслуга, что он сейчас здесь, что он устоял перед всеми соблазнами и искушениями Земли. И вздумай он вновь колебаться, обе моментально перестанут плакать и непримиримо укажут ему на звезды...

Снова старая, добрая любознательность проникла во все клеточки его мозга, взбудоражила все его чувства, наполнила сердце великим ожиданием. Он вновь чувствовал себя сильным и отважным, жаждущим проникнуть в суть всех вещей. Глаза его опять были устремлены прочь от Земли, в далекие пространства, точно уже видели другой мир...

Владя и Иван тянули Петю за рукав на лестницу, которая вела к открытой двери воздушного корабля, требуя, чтобы он повел их туда. За ними подбежала бабушка. Да, оставались еще ее слезы и объятия. Откуда-то издали долетал голос Покровского, разносившийся по всему земному шару:

— Земля наделила своих сыновей неутолимой жаждой познания, наполнила их ум горячим стремлением посмотреть вблизи на волшебные созвездия, изучить их и поставить на службу человеку. Велико наше желание познать неведомое, но еще больше наша любовь к родной Земле! Наши головы горят от жажды знания, мы гордо несем наши сердца к звездам! Но, несомненно, и на другом конце вселенной мы будем любить

нашу родную звезду. Мы, сыновья Земли, опять вернемся в ее сладкие объятия!

Когда он кончил, воцарилось молчание. Напряжение росло, приближалось мгновение взлета... Последние тихие объятия, последние пожатия рук... Один за другим скрываются астронавты в металлическом корпусе колосса.

Минута странной, жуткой тишины... И вот огненная стрела пролетела по виадуку и тотчас же скрылась в небе... Только в самой утробе Земли послышались рокот и раскаты грома.

Словно Земля родила...

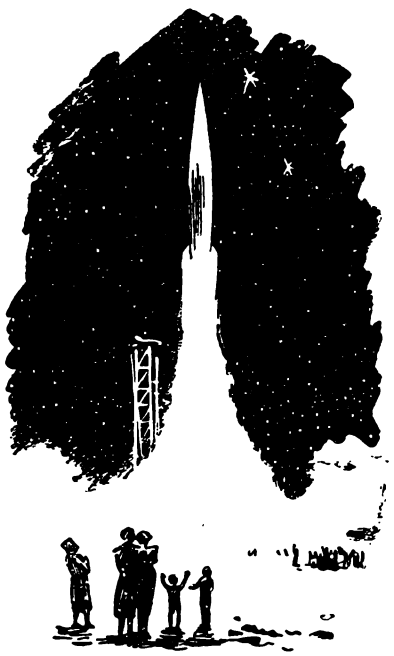
* * *

23 ноября

Я облегченно вздыхаю: рассказ окончен. Петя улетел. Ольга, пани Ксения и пани Елена остались на Земле. Такой была бы первая часть, если бы я писал роман: подготовка ракетного воздушного корабля к полету. Во второй части описывалась бы жизнь экипажа на корабле до момента прибытия на Марс. Третья часть: приключения на Марсе и возвращение.

Размышляю о том, как вел бы себя Петя во второй части. Пытаюсь представить его себе на воздушном корабле как одного из Девятки. Нет, ничего не получается! Мне вдруг кажется, что ему нечего сказать — все, что он мог, он уже сказал. Шум моторов заглушает биение его пульса, его мозг как бы превратился в частицу атомного двигателя, несущего корабль по вселенной.

Между тем, оставшиеся на Земле — любимая девушка, мать, бабушка, оба мальчика,— как это ни странно, возмущаются, протестуют против своего конца. Они бы еще говорили и говорили!



ПОЭЗИЯ *колониальной* АФРИКИ

Голос народа

В настоящее время в португальских колониях, находящихся в Африке, существуют фактически две культуры, совершенно отличные друг от друга. Они не только не стоят рядом, но, наоборот, противостоят одна другой и исключают одна другую. Одна из них — культура португальская, культура колонизаторов, другая — культура африканская, культура народов, населяющих эти колонии (в основном негров народности банту).

Мы не будем здесь говорить о культуре колонизаторов, хотя она и считается официальной. Что касается африканской культуры, то она вот уже много лет подвергается гонениям, третируется и сводится фактически к положению «незаконнорожденной». Несмотря на полную территориальную разобщенность португальских колоний, все они имеют между собой много общего. И для Мозамбика, находящегося на юго-восточном побережье Африки, и для Анголы, расположенной на юго-западе материка, и для островов Зеленого мыса, омываемых Атлантическим океаном, и для острова Сан-Томэ, лежащего в Гвинейском заливе, общим являются, с одной стороны, тяжелейшие условия колониального режима, а с другой — то, что их население составляют негры-банту. Общим для всех этих колоний является также и то, что многие формы самобытной национальной культуры здесь не только выстояли перед натиском колониализма, но и вышли победителями из этой неравной борьбы.

Можно упомянуть для примера музыку «чопе», прекрасно сохранившуюся по сей день на юге Мозамбика. То же самое следует сказать и о танце «батуке» — негритянском танце, сопровождаемом ударными инструментами, о танцах воинственных или традиционно-праздничных, находящихся на высоком уровне мастерства.

До сих пор очень популярны на островах Зеленого мыса песни-танцы, так называемые «морнас». В этих песнях, обычно очень грустных, говорится о любви и о тоске по свободе, а движения танцующих, которым аккомпанируют голоса певцов, медленны и меланхоличны.

В отличие от устного народного творчества, письменная литература португальских колоний в Африке переживает младенческий возраст своего развития. Положение особенно усложняется тем, что все зачинатели нашей литературы были вынуждены столкнуться с подлинной драмой: хотя в содержании своих произведений они следовали традициям устной африканской литературы, тем не менее все они были вынуждены писать на португальском языке — ведь эти наши писатели, вышедшие из среды народов Африки, получили европейское образование.

Примерно из одиннадцати миллионов человек, живущих в Мозамбике, Анголе, на островах Зеленого мыса и Сан-Томэ, только один процент, или около ста тысяч, вообще имели возможность учиться, да и то в европейских школах. А в этих школах обучение велось и ведется на португальском языке, и изучается в них только то, что имеет отношение к Португалии, а не к нашим родным странам.

В результате, несмотря на то, что на юге Мозамбика фактически существует письменный язык «ронго», лишь очень немногие могут читать и писать на этом языке,

так как в школах преподавание его запрещено. Только некоторые протестантские миссионерские организации преподают язык «ронго», да и то для самого ограниченного круга привилегированных африканцев.

Таким образом, наши писатели, вынужденные пользоваться навязанным им португальским языком, оказались перед трудно разрешимой проблемой: как знакомить народы Африки со своими произведениями, если большинство африканского населения неграмотно, если народ не умеет ни писать, ни читать ни на языке колонизаторов, ни на родном языке? Здесь мы не будем указывать способов разрешения этой жгучей проблемы. Подчеркнем, однако, что для ее постепенного разрешения наши писатели прилагают все возможные усилия.

Что же кратко можно сказать о прошлом и о настоящем письменной литературы португальских колоний в Африке?

Основоположниками литературы в Мозамбике явились в первой четверти этого века два журналиста: Жоау Альбазини и Эстасио Диас. Они основали в Лоуренсу-Маркиш, главном городе Мозамбика, еженедельный журнал — «O Brado Africano» («Клич Африки»), который издается и в настоящее время. Борьба за интересы африканских народов — вот отличительная черта, характеризующая его направление. Особо следует отметить, что в каждом номере журнала часть материалов публикуется на языке «ронго».

Несколько позднее, чем Альбазини и Диас, начал свою литературную деятельность Руй де Норонья, который создал произведения, совершенные по своей художественной форме. Руй де Норонья, родившийся в 1909 году и умерший в 1943 году, фактически был предшественником всей современной поэзии Африки. Над ним всегда тяготело его негритянское происхождение — обычная драма его расы. В лучших своих стихах, в том числе и в «Surge et Ambula» («Вставай и действуй»), Руй де Норонья становится подлинным глашатаем своего народа.

Возникновение негритянской поэзии на португальском языке связано также и с именем Франсиско Тенрейро, родившегося на острове Сан-Томэ. Оторванный жизненными обстоятельствами, как и некоторые другие наши поэты, от родной земли, он все же стал истинным певцом своей родины. Значение его как поэта вышло далеко за пределы острова Сан-Томэ; хотя он пишет свои стихи на португальском языке, но все же сумел стать выразителем стремлений всех негров, проживающих в Африке.

В 1942 году Тенрейро опубликовал цикл стихов «Остров под названием Святой». В его творчестве раскрывается жизнь и быт маленького острова Сан-Томэ, затерявшегося в волнах Гвинейского залива. В свои стихи поэт вводит перефразированные народные песни, он отражает повседневную жизнь людей, порабощенных колонизаторами.

На островах Зеленого мыса, населенных, главным образом, людьми, в жилах которых течет кровь португальских переселенцев XV века и гвинейских негров-рабов, с 1924 года начала развиваться поэзия, наделенная специфическими местными чертами. Жоржи Барбоза, Мануэль Лопес, Нуно Миранда и другие поэты островов Зеленого мыса, входящие в группу «Ясность и уверенность», отражают современную действительность своей страны без всяких прикрас.

Свобода, стремление к широким просторам моря с его неожиданностями и капризами, острое ощущение постоянного страдания, вызванного невозможностью вырваться из рабства, — вот темы, преобладающие в поэзии островов Зеленого мыса. Источником творчества целого поколения поэтов были трагические сюжеты, бытующие в народе, сюжеты на тему о побеге с островов и расплате за это тюремным заключением. Во многих стихах отражены тяжелые условия жизни островитян, нищета обитателей хижин, засуха и голод.

Более молодые поэты, такие как Антонио Нунэс, Габриэль Мариано и Фонсэка, еще шире и глубже отражают в своем творчестве трагическую тему колониального рабства. И все-таки режим, установленный колонизаторами на островах, настолько тяжел, что говорить о нормальном развитии литературы там почти невозможно.

Отрадным явлением в негритянской поэзии на португальском языке явилось творчество поэта Анголы — Вириато да Крус. Он воспевает в своих стихах древнюю анголезскую культуру, изображает в них национальные черты анголезцев. Над проблемами,

порожденными колониальным режимом, глубоко задумался и другой поэт Анголы — Агостинью Нето.

После окончания второй мировой войны в нашу литературу пришли молодые писатели. Они в своем творчестве приблизились к источнику традиционной устной литературы, к родному фольклору и откликаются на актуальнейшие проблемы африканской колониальной действительности.

В связи с этим необходимо особо упомянуть мозамбикскую поэтессу Ноэмью де Соуза. С ее появлением наша поэзия шагнула далеко вперед. Она в своих стихах выражает надежды народов Африки. В произведениях Ноэмьи де Соуза всегда живет стремление отобразить национальные и расовые особенности своего народа.

К народному голосу, к народной песне сумел весьма успешно прислушаться молодой мозамбикский поэт Лилинью Микайя, родившийся в 1930 году. Полная испытаний жизнь туземцев представлена этим поэтом наиболее правдиво. Образы его поэмы «Шангáна» можно рассматривать как народный клич. Герой поэмы, Шангáна, является прообразом угнетенного негритянского народа. Вот почему он близок и понятен каждому негру в Африке; даже имя Шангана является столь же распространенным среди негров народности банту, как, скажем, Жан — у французов или Ганс — у немцев.

Не замыкаясь в кругу одних лишь национальных интересов, наши поэты стремятся к общению со всем миром. Хотя эти поэты и теперь еще вынуждены писать на португальском языке, они постепенно и все чаще переходят в своем творчестве на родной язык, иначе говоря, на тот язык, с помощью которого они смогут быстрее установить духовную связь со своими соплеменниками и лучше всего представить миру свою родину.

Карлос Калунгано (Мозамбик)
Марис де Андраде (Ангола)

Лилинью Микайя

ШАНГАНА

1

Шангана на канóэ
Вниз плывет по реке издалёка,
Все спускается к морю река,
А Шангана на каноэ
Плывет вперед и поет:
— О земля, где растут кажуэйро,
Их плоды покрыты румянцем...
Наши люди землей не владеют,
А владеют землей иностранцы!

2

Река все бежит, все струится,
С гор бежит на поля, на равнины,
По долинам зеленого цвета,
Не зеленого —
Горько-зеленого,
И не желтого —
Желто-соленого;

Река все бежит, все струится
По камням, по пескам, по каналам,
Все бежит, увлажняя землю.
Шангана на каноэ
Вниз плывет по реке издалёка,
Все спускается к морю река,
А Шангана на каноэ
Плывет вперед и поет:
— Кукурузу мы сеем и рис,
Сеем мы земляной орех...
Хлопок в поле растет не для всех,
Дождь бичей на полях — для всех!

3

У реки, на больших камнях,
Женщины стирают белье,
Малыши-голыши у реки
Скачут с берега в волны ее.
Говорит черной маме Шангана:
— Ты смотри за своим малышом,
Тут в реке зубасты кайманы,
Не спасешь ребенка потом!
Нет, Шангана!
У нас в стране
Не таскают кайманы детей,
На кайманов садятся верхом
Дети сами, как на коней.
Но ты знаешь, Шангана, зато
Мы становимся зоркими очень,
Прячут матери черных детей,
Прикрывают рукою своей,
Если мимо пройдет иностранец!
И смывая налипшую грязь,
Мать полощет в реке одежду,
Над нагретой водой склонясь;
И лелеет в душе надежду,
Что когда-нибудь будет смыта
Со страны иностранная грязь!
Шангана на каноэ
Вниз плывет по реке издалёка,
Все спускается к морю река,
И Шангана на каноэ
Плывет вперед и поет:
— Одежда пропитана пылью,
Все люди в черной пыли...
А ноги иностранцев
Топчут лицо нашей земли!

4

Река спускается к морю,
Разносится песня Шанганы
Далёко, далёко...
Песня скорби и гнева,

Слова обращает к миру,
Братьев зовет к мятежу,
Зовет своих черных братьев
Голосом всей земли,
Раненной тяжко земли,
Земли в слезах и в пыли,
Земли в крови и в поту.

Шангана на каноэ
Вниз плывет по реке издалёка,
Все спускается к морю река,
И Шангана на каноэ
Плывет вперед и поет:

— С тех пор, как пришли иностранцы,
Земля стала скорбью народа,
Морем крови, горящим морем,
Из которого встанет Свобода!

5

Громкий голос Шанганы
Теперь стал голосом многих,
Потому что путем Шанганы,
По той же самой дороге
Другие люди
В других каноэ
Вперед плывут и поют!

Над морем,
Над крышами хижин,
Под звездами, над песками
Ширится необъятная песня,
Сложенная твоими сынами,
О Мозамбик прекрасный,
Земля сладчайших плодов!
Скоро и ты услышишь
Свободы могучий зов!

ПЕСНЯ ИСТИННОЙ ЛЮБВИ

В качанье пальм,
Листву вознесших в небо,
В меланхолическом движении их крон —
Пою тебе я о любви своей.
В луне, которая восходит над землею,
Завороженная ударами там-тамов
И приглушенным пеньем моих братьев,—
Пою тебе я о любви своей.
И в трепете блестящих рыб, попавших
В закинутые сети рыбаков,
Что возвращаются на берег после ловли,—
Пою тебе я о любви своей.
И в беспокойном щебетанье птицы,
Поющей гимн безжалостному солнцу,
Что отражается в тяжелых каплях пота

На обнаженной согнутой спине,—
Пою тебе я о любви своей.
И в монотонном пенье моей бабки,
И в падающем ритме древних ступок —
Пою тебе я о любви своей.
В улыбке, открывающейся ночью
На темном лике матери моей,
Когда приходит сон, для всех желанный,—
Пою тебе я о любви своей.
В скитаниях по высохшим дорогам,
В игре мячом, что сшит из старых тряпок,
В угрюмом стуке горестных мотыг,
Что разрыхляют путь росткам маиса,—
Пою тебе я о любви своей.
И в звоне кандалов,
которые сковали
мне ноги,
руки,
голос,
даже в том,
Что все еще не может распуститься
Цветок багровый сердца моего,—
Пою тебе я о любви своей.
Я,
проданный на копи Трансвааля
И превратившийся в крупицы черной пыли,—
Пою тебе я о любви своей.
Хотя мое истерзанное тело
размешано с цементом и песком,
Хотя дома,
шоссейные дороги
Имеют все оттенок нашей крови —
Пою тебе я о любви своей.
Хотя сияет каждая монета
цивилизации кровавым блеском,
Хотя я снова и сегодня слышу
Плач матери о смерти сына —
Пою тебе я о любви своей.
И в пламени любви вот этой жаркой —
Ты, Мозамбик, о край любимый мой!
Века глухого тягостного рабства
Не умертвили сердца твоего,
А лишь сильнее сделали тебя
сознаньем правды...
Поднимаю руку
Со всею силой ненависти страстной
и с гневом каждого,
Кто быть рабом не хочет,
Кто гордо осознал:
Я — Человек!
Копье своих отцов возьму я в руки,
Чудовище я истреблю!
Чудовище,
которое рождает
людей, не смеющих людьми именоваться,

Чудовище,
которое взрастило
людей — враждебных людям,
зло земли,
которое, отчаявшись в победе,
агонизирует, уже едва дыша.
Одеты пурпуром Свободы,
о Мозамбик, о край любимый мой,
Твои сыны подхватывают песню,
И вот она уже летит по свету,
По Африке летит, во все концы!
Та песня рождена
Великой ненавистью к рабству,
и к нищете,
и к голоду,
Та песня —
песнь Надежды,
и песня Веры,
песня истинной любви!

Ноэмья де Соуза

САМБА

Как будто мертв огромный этот зал,
Он освещен фальшивым светом,
Наполнен он фальшивым смехом,
Нарядами,
несвойственными тем,
чьи волосы курчавы от природы,
Чьи волосы насильно распрямила
Цивилизации холодная рука.
И вдруг
один удар
родного джаза,
Как крик освобожденья,
как удар
копья,
Прорвавшего обёртку целлофана...
И низкий звук гитары шестиструнной
Объединил горячий вздох ночей
И тысячи желаний,
желаний Африки
и сыновей ее.
И вот поплыли звуки саксофона,
И погремушка-маракá забилась,
Знакомый ритм батýке отбивая,
И прочь ушло из зала лицемерье
Благопристойных, деланных манер,
Все задрожало,
задрожало...
Исчез фальшивый мертвый свет!
Кто скажет, что теперь по залу

Разлит не лунный свет,
    который ночью
    так щедро заливает шингомбелы —
Деревни негров,
    хижины банту?
Кто скажет, что кокосовые пальмы
И кажуэйро не стоят вокруг,
Качая листьями большими в такт батуке?
Родные звуки самбы!
Они раскрыли белые улыбки
И в колебанье танца пробудили
В веках дремавшее неистовство батуке,
И сбросив лицемерные одежды,
Победоносные тела воскресли,
Ликуя и танцуя,
    танцуя!
Родные звуки самбы!
Несущие очарованье
    обряда древнего маку́мбы
И волшебство гудящих барабанов,
Глухих ударов стонущих маримб...
И в душераздирающих призывах
    раба —
Родные звуки самбы!
О ритмы братские
    горячей самбы из Баи́и,
Воспламеняющие кровь мулатов,
Вливающие негу и истому
В движенья женщин,
Вселяющие бешенство веселья
В танцующие ноги негров,—
Звуки самбы!
Наследье Африки,
    которое с собою
        невольники везли
            во чревах кораблей
                и под созвездьем Южного Креста
                в томительные ночи выпускали,
                закованные в цепи
                    и в тоску.
Родные звуки самбы!
О страстные движенья
Под звуки погремушки-мараки́,
О звук чарующей гитары,
Глухой, сухой удар атабаки́...
Родные звуки самбы!
Пускай они объединят народ,
Что дремлет под ветвями имбондэйро,
Пусть скажут
    на языке родного ритма
        народу моему,
Что кандалы на неграх не распались,
Что корабли невольничьи все рыщут,
И все еще на свете существуют,
    лишь изменив название свое...
Об этом звуки самбы пусть напомнят!

Руй де Норонья

ВСТАВАЙ И ДЕЙСТВУЙ

Ты спишь! А жизнь идет, о родина загадок!
Ты спишь! А жизнь летит за временем вослед,
Прогресс обходит мир, но тяжек и несладок
Твой непробудный сон, что длится сотни лет.

Бредет рычащий зверь, до жаркой крови падок,
В лесах твоих, куда не проникает свет...
О Африка! Когда в стране чужой порядок —
Как можешь спать, скажи! Проснись и дай ответ!

Проснись! Уже давно кружится алчный ворон,
И крылья над тобой, над спящей, распростер он,
Чтоб довершить кровавое злодейство...

Проснись! Услышь во сне, о спящая рабыня,
Прогресса голос, прозвучавший ныне:
— О Африка, пора! Вставай и действуй!

Марио де Андраде

ПЕСНЯ САБАЛУ

Наш сын уехал на остров,
Который зовут Святым...
Без всяких бумаг, против воли —
Айюе! —
Расстался он с краем родным.

Наш сын уехал на остров,
Который зовут Святым...
Мать с горя сошла с ума —
Айюе! —
Когда расставалась с ним.

Наш сын уехал на остров,
Который зовут Святым...
Волосы сыну остригли —
Айюе! —
А был он кудрявым таким!

Наш сын уехал на остров,
Который зовут Святым...
Скрылся за океаном —
Айюе! —
Парохода черный дым...

Наш сын уехал на остров,
Который зовут Святым...
Заставили сына работать —
Айюе! —
Кнут засвистел над ним!

Наш сын уехал на остров,
Который зовут Святым...
Ему на спину груз положили —
Айюе! —
Одному, как десятерым!

Наш сын уехал на остров,
Который зовут Святым...
Смотреть только в сторону дома —
Айюе! —
Велел он глазам своим.

Наш сын уехал на остров,
Который зовут Святым...
О мама! Наш сын вернется!
Айюе! —
Мы снова увидимся с ним!

Наш сын уехал на остров,
Который зовут Святым...
Умер он. Домой не вернулся...
Айюе! —
Он умер совсем молодым!

Жоржи Барбоза

ПОЭМА О МОРЕ

Трагедия моря,
Шумящего моря —
Она в нас самих.
О море, о море!
Подходит все ближе,
Хватает наш остров,
Грызет наши скалы,
Оно покрывает безжалостной солью,
Как белой глазурью,
Лицо рыбака,
Рычит на песках
Наших бухт и заливов
И гневно шумит,
Разбивая утесы,
Швыряя на них деревянные лодки,
Что плавают у берегов.
О море! Ты с губ
Срываешь молитвы
И взор наполняешь жестокой тоской
По странам далеким,
Которые видим
Мы лишь на страницах
Журналов и книг;
Которые знаем
По фильмам, по людям,
Что сходят на этот берег убогий
Полюбоваться его нищетой.
О море! О море!
Надежда на письма,
Которые к нам
Никогда не придут...
О море!
Тоска матросов старых,
Что помнят истории прошлых времен,
Как некогда кит спрокинул лодку,
Как пили и дрались в далеких краях...
О море!
Вечно кипящее в людях,
В телах молодых и смуглых женщин,
В их бедрах гибких,
В их бедрах черных,
О море, зовущее вдаль людей!
О море!
Твой зов постоянный —
Бежать!
Отчаянное желанье —
Уехать!
Но люди должны остаться!

Перевод с португальского Лидии Некрасовой

«ОТЕЦ». *Рис. В. Высоцкого.*

ЮГОСЛАВСКИЕ РАССКАЗЫ

Прежихов Воранц

ОТЕЦ

Перевод со словенского М. Рыжовой

Валентин Кравар, которого звали просто Крава *, был старый мужик, или, собственно говоря, мужичок. У него было шестеро детей — четверо сыновей и две дочери; все они уже выросли и разбрелись по свету, работая в разных местах. На старости лет ему одному с женой приходилось надрываться на своей землице. Когда немцы оккупировали нашу страну, младший сын тоже уехал куда-то в Австрию, чтобы не призываться в армию, и поступил там где-то рабочим.

Тогда в наших краях еще не было партизан. Правда, в Крайне уже ходили слухи, что люди бегут в леса и там дерутся с оккупантами; но на севере нашей родины народное сопротивление возникло позже. Пришло время, и на севере ожили горы, и всюду стало слышно о боях с немцами. Наконец стало известно, что партизаны появились и в тех горах, у подножия которых стояла лачуга Кравы.

Однажды пришел Крава домой и сказал жене:

— Мица, в горах партизаны. Я пойду за Мартином.

— Как считаешь нужным, — ответила мать Мица.

Мартин работал на руднике, в двух часах ходьбы от родного дома. Он работал там уже несколько лет, и раньше дела его шли неплохо. Но уже два года как страну заняли немцы, и он за это время несколько раз приходил домой что-нибудь раздобыть.

Валентин Крава отправился в путь и скоро пришел на рудник. Ему повезло, он застал Мартина дома.

— Мартин, я хотел бы поговорить с тобой наедине,— сказал он.

— Мы одни в комнате. Откройте, что у вас на сердце.

— Не решаюсь, и у стен есть уши. Выйдем из дома, погода хорошая,— ответил отец.

Когда они далеко отошли от жилья, на безлюдной дороге старый Крава сказал:

— Знаешь что, Мартин? В горах люди. Я пришел за тобой.

Мартин всегда был послушным сыном.

— Я кое-что слышал. Конечно, нужно идти.

Они уговорились, что Мартин придет домой и оттуда отправится в горы.

На следующей неделе Мартина на руднике уже не было.

Прошло, может быть, полгода. В горах бывало по-всякому, иногда там появлялись люди, потом опять исчезали. Кое-что о них можно было услышать. Немцы несколько раз привозили из города пушки и стреляли по горам. Отколовшиеся от скал камни валились в долину.

В один прекрасный день Крава сказал жене:

---

* Корова.

— Мица, я пойду за Францухом.

— Как считаешь нужным,— ответила мать спокойным голосом.

Целовец находился далеко от гор, у подножия которых жил Крава; туда нужно было ехать два часа на поезде. Крава не был там с тех пор, как сын Францух поступил в городе на какую-то фабрику. Но адрес его у отца был. Крава не знал, как живет сын, тот ему почти ничего не писал. Для поездки нужно было иметь пропуск. Получив его, старик сразу же отправился в путь. Положил себе в заплечный мешок кое-что из съестного, чтобы иметь предлог для поездки к сыну, и поехал. Разыскав, наконец, Француха, он сказал ему:

— Мне хотелось бы поговорить с тобой наедине.

— Выйдем из города, — ответил Францух, который был дальновиднее Мартина. Когда они отошли далеко от города, отец сказал:

— Слышь, в наших горах — люди, а ты тут работаешь на войну. Иди-ка и ты в горы, Мартин уже с весны там.

— Мартин уже там? Почему вы раньше об этом не написали?

— Об этом писать нельзя. Я сам приехал к тебе,— пояснил Крава и уехал из Целовца.

Через два дня исчез из города и его сын Францух — он отправился в горы, к Мартину.

Прошло еще полгода. Стояла зима, и в горах жилось трудно. Старый Кравар с самого начала зимы ничего не знал ни о Мартине, ни о Францухе. Долетали слухи, что они ушли куда-то в Крайну, но ни один из них не подавал никаких вестей.

Была середина зимы, когда старый Крава сказал жене:

— Мица, я должен съездить к Року.

— Как считаешь нужным,— ответила жена.

Рок жил в Градце. Отец знал его адрес, но представления не имел, где находится город, в котором живет сын. Он выхлопотал разрешение на поездку, что стоило немалых трудов, так как уже ходили слухи о Мартине и Францухе, о том, что они скрылись в горах. Получив разрешение, он сразу же отправился разыскивать Рока, который был мясником. Когда отец через три дня нашел его в Градце, Рок ругался и заявлял, что недоволен и ждет не дождется конца войны. Старик молча слушал. Он долго не решался заговорить о своем. Рок уже давно расстался с семьей, учился, потом работал то там, то тут у хозяев и стал совсем чужим родному дому. Но когда отец услышал, как он ругает войну, — это пришлось ему по душе.

— Знаешь, Рок, поедем-ка со мной, и войне придет конец куда скорее. — Он рассказал сыну, что Мартин и Францух уже в горах и зовут его тоже к себе. Рок выслушал, но не мог быстро решиться, так как был влюблен в хозяйскую дочку. Старый Крава не хотел возвращаться домой без третьего сына; он задержался на целую неделю в Градце. Каждый день, встречаясь с сыном, Крава уговаривал его и через неделю, наконец, условился ехать вместе. Они вышли из поезда на три или четыре станции раньше, чем было нужно, и ночью пошли домой пешком. Когда они были близко от лачуги, отец сказал:

— Домой ты не пойдешь, тебя здесь легко могут увидеть. Ступай прямо в горы.

— Мне так хочется повидать мать. Я ее давно не видел,— колебался сын.

Отец не позволил:

— Увидишь мать, когда кончится война. Сейчас для этого не время, слишком опасно.

Теперь трое сыновей Кравы были в горах, а война все еще тянулась нескончаемой лентой дней и событий. Но у Валентина Кравара был

еще один сын, который работал с начала войны где-то близ Вены. До Дуная было далеко, разрешения на поездку старик не получил, так как теперь уже открыто говорили, что трое молодых Краваров — в горах. Старик о пропуске даже просить не стал. Однажды он сказал жене:

— Мица, мне нужно в Вену.

— Как считаешь нужным, — ответила жена, а немного спустя робко прибавила: — Валентин, только с Флорухом зайдите по пути домой. Я давно его не видела.

— Там видно будет,— ответил муж и отправился в Вену. Он сел в поезд за три остановки от дома и всю дорогу прятался, так как не имел документов. На старика с седой бородой не обращали внимания, и он через три дня приехал в Вену, где потратил еще день, пока не нашел сына в каких-то бараках.

— Флорух, я приехал за тобой. Ты должен уйти в горы, чтобы скорей кончилась война.

— Рассказывают страшные вещи, — противился сначала Флорух.

— Мать повидаешь, — пообещал ему отец.

— Мать! — повеселел Флорух.

Они потихоньку уехали из Вены и спустя двое суток ночью приближались к родному дому. Оба несли за плечами мешки. Когда они пришли домой, была уже полночь. Флорух повидал мать, а мать — Флоруха. Часа в два ночи старик сказал:

— Сын, теперь тебе нужно идти. У тебя еще добрых два часа в запасе, но путь туда не близкий. Днем тебя никто здесь не должен видеть.

И правда, Флоруха никто не видел в родном краю. Он ушел к братьям, туда, где были люди, — в горы.

Незадолго до конца войны немцы угнали обоих стариков Краваров в концлагерь, откуда они больше не вернулись. Когда возвратились сыновья, все четверо живы-здоровы, они нашли домишко пустым.

Антоние Исакович

ЛОЖКА

Перевод с сербохорватского Ю. Брагина

В лунном свете поблескивают твердые кустики горной травы, напоминающие разбросанные детские шапочки. Две большие тени движутся по косогору и закрывают эти серебристые шапочки. Тень поменьше постоянно отстает, оглядывается назад.

В горах тихо, только какой-нибудь сорвавшийся камень прошумит по кустам. Два человека остановятся, прислушаются и снова идут.

— Давай сядем. Я не могу больше! — говорит Станко, опуская на землю котел.

Луна отражается своим желтым блеском в котле, наполненном пузырящимся каймаком. К запахам гор примешивается острый запах овечьего молока и сушеной кукурузы.

Станко тянет носом, трясет головой и грубо приказывает Зоче:

— Отодвинь котел в сторону!

Зоча смотрит на котел, хватается за грудь и шепчет:

— Сердце испорчено!

Станко его не слушает: он громко зевает и роется в карманах, отыскивая кисет.

Зоча медленно поднимается и переставляет котел под кустик можжевельника. Потом он снова садится на жесткую горную траву.

— Испорчено, — шепчет Зоча опять.

Он запускает пальцы в пушистые после перенесенного тифа волосы. Эти волосы кажутся ему сейчас чересчур мягкими и курчавыми.

Желтое пятно каймака просвечивает сквозь ветви можжевельника: чудится, что оно шевелится и растет. Станко хмуро смотрит, глубоко засунув руки в карманы и теребя их дырявое нутро. Кажется, все раздражает его: и сухой можжевельник, и подрумянившаяся корочка каймака, и тишина в горах. И почему этот месяц не заходит? Каймак не был бы таким желтым. Но больше всего раздражает его слабое дыхание Зочи.

«Комиссар назначил меня. Станко, мол, человек жесткий, грубый». Вспоминая эти слова, он испытывает чувство удовлетворения, и табачный дым клубами валит из его бороды. «Всю ночь тащишься по этим горам. А достанется ли всем в отряде хотя бы по одной ложке? И сколько еще брести до своих? Измучились как черти. Докатились до того, что командира взвода посылают добывать каймак».

Станко ерзает на месте, отыскивая удобное положение для исхудавшего тела. Ясно слышится дыхание Зочи.

«Навязали мне еще этого... Неужели комиссар сомневается в моей твердости?» У Станко на лбу вздулись жилы, и он выругался.

— Тяжело! — вздохнул Зоча. Хотел еще добавить «мучительно», но промолчал. Станко его не понял.

«Кто этот Зоча? Он меня как будто контролирует. Самый вшивый в отряде... Даже обмотки не умеет наматывать... К тому же он не из моего взвода — пусть убирается ко всем чертям». Усталость, наконец, берет свое, Станко успокаивается и принимается вытряхивать из трубки пепел, ударяя ею о колено.

Щербатая кромка котла отбрасывает ломаные тени, и кажется, что какие-то живые точки падают в каймак. Может быть, это мелькают узенькие листочки можжевельника или какие-нибудь мотыльки? Станко напряженно смотрит на каймак. Трубка снова набита и крепко стиснута в зубах.

— Похоже, мотылек,— глухо шепчет он.— Сейчас увязнет.— Один за другим непрерывно скачут они, едят каймак; на одну ложку будет меньше его, на две ложки, мотыльки все летят и летят.

Станко откинулся назад, толстые губы его искривились.

— Листочки. Они играют... Листочки.

В зубах покачивается черный мундштук.

Станко запрокидывает голову, отыскивает глазами созвездие Большой Медведицы, упирающееся одним концом в самую вершину горы Маглич. Потом украдкой глядит на Зочу.

Стиснув коленями подбородок, Зоча долго и напряженно смотрит на куст. Худые щеки растягиваются, шевелятся, кадык появляется и исчезает на жилистой шее. Зоча прислушивается к неровному биению сердца.

«А каймак... сладкий. Всюду есть сахар, даже в картофеле. Одну ложку, только бы одну, это ведь как лекарство. Не было бы даже заметно. Пусть он первый. Я не смею. Стыдно. Разве можно взять, если они там в отряде ждут?»

Где-то в зарослях заверещала белка. Маленькие глазки Зочи встретились с большими глазами Станко.

— Лесные орехи ест! — говорит Зоча.

— Днем я бы подстрелил ее,— говорит Станко.

— У нее полное дупло этих орехов.

— Целый склад!

— Орехи сладкие.

— Замолчи!

Снова верещит белка. Оба, как по команде, поворачивают головы к кусту. Взгляды их встречаются. Острый, как у ощипанного петуха, кадык Зочи взметнулся к подбородку. На его измученном лице появляется надежда. Голос белки растворяется на дне пропасти.

— Веселая! — неожиданно кричит Станко. — Давай котел! Пошли.

Станко несет котел, звякает дужка. Зоча идет, опустив голову. Наугад старается ступать точно в след огромных ступней Станко. Нестерпимо печет в суставах худых ног и шумит в ушах. «Дужка скрипит. Не смеет... хотел, но не решается...» Зоча глубоко вздыхает.

Станко оборачивается.

— Что с тобой? Не можешь?

— Могу, только ты давай шагай.

Каймак во время ходьбы еще больше шевелится. Он похож на поднявшееся тесто.

Зоча не глядит под ноги, качается из стороны в сторону, спотыкается, глаза, прикованные к котлу, влекут его вперед. Станко не видит, но чувствует этот пристальный взгляд расширенных зрачков.

В тени у склона горы Станко быстро оборачивается.

— Смотришь! Пялишься на котел. Так бы и набросился! Всегда ты слабеньким оказываешься. На!

Станко опускает котел на землю. Зоча молчит, тонкие запекшиеся губы кривятся, маленькие черные глаза наполняются влагой.

— Не думаешь о коллективе. Тебе бы весь котел подавай!

— Не кричи. Не имеешь права...

— Права?! Какого права? Съел бы весь каймак...

— Но и ты ведь не деревянный. Я видел, как ты пялился на котел.

— Врешь!

— Не кричи! Ты... не взял бы, если бы меня не было?

Станко сгреб котел и пошел дальше.

«Все в отряде думают: Зоча развязный проныра. Они не верят, что я могу... Что это так стучит в груди?..»

Зоча вспоминает, что произошло в Герцеговине.

Много голодных дней тянулось за отрядом. Возле реки партизаны наткнулись на пустой каменный дом. Зоча нашел две грядки молодого, только что проросшего лука, оборвал почти всю грядку и набил вещевой мешок. Сломанные перья молодого лука торчали из мешка. Они-то его и выдали. Потом было общее собрание отряда — самые мучительные минуты в его жизни. Он знал наперед все, что скажут ему...

«Они не верят. Не хотят верить»,— снова думает Зоча и ускоряет шаги. Станко поджидает его и все время торопит. В конце концов Зоче надоело это.

— Станко, дай мне котел!

Станко удивленно смотрит на него.

— Тебе котел? Зачем? Я же сильнее...

— Давай я пойду впереди, — говорит Зоча.

Узкие плечи дрожат, шаги у Зочи неуверенные, он изо всех сил старается идти быстрее. Тонкая заросшая шея торчит из немецкой плащ-палатки. Станко не отрываясь смотрит на эту шею, на короткие черные волосы, на два столбика сухожилий, поддерживающих угловатую голову.

— Сколько тебе лет, Зоча?

— Восемнадцать.

Сильнее звякает дужка. Шея Зочи покрывается потом, блестит.

«Почему бы нам не съесть по одной ложке?» — думает Станко.

— Зоча, ты учился в школе?

— Да, учился.

— И не окончил?

— Да, не окончил.

«Разве это так важно для меня?» — Станко вытер лоб.

— Сколько мы прошли, Зоча?

— Не знаю.

— Остановись! Отдохнем.

Станко ставит котел в сторону и сразу закуривает трубку. Зоча сбрасывает с себя плащ-палатку и прикрывает ею котел. Растянувшись на земле, Станко видит темные глаза Зочи — угасшие угли. Вдруг он резко поворачивается в ту сторону, куда положил свою винтовку. Горькая капля скользит по щеке и падает на приклад. Станко размазывает влажный кружочек.

— Укройся!

— Так легче, — едва выговаривает Зоча, вытягивая руки.

— Укройся,— повторяет Станко.— Может быть, наши в отряде сейчас спят? — А может быть, и не спят.

— Бледный ты, Зоча.

Зоча лежит на спине, пустые подсумки давят на желудок. И ложка появляется откуда-то, полная, а рот закрыт и не может открыться. Тонкие губы слабо вздрагивают, колеблется тень над ними, и ветер доносит запах овечьего молока и сушеной кукурузы.

Станко показалось, что они уже долго лежали так, что, может быть, даже спали. Он быстро поднимается и открывает котел.

— Зоча, возьмем по одной!.. Зоча, что с тобой?.. — неуверенно спрашивает Станко и растерянно опускает плащ-палатку. Он чувствует себя побежденным. «Так мне и надо...» Он смотрит на плоские, слабо поблескивающие подсумки Зочи.

Зоча лежит неподвижно, и кадык его больше не вздрагивает. Только сейчас он выпячивается острее и ярче белеет под луной...

На рассвете, волоча за собой мертвого Зочу, с двумя винтовками и котлом, Станко добрался до отряда.

Все в отряде получили по ложке каймака. Станко тихо отошел в сторону и сел на камень. Его раздражало звяканье алюминиевых ложек и громкое чавканье.

Камень под ним был холодным. Станко держал в руке полную ложку каймака. Посмотрел на нее, повертел и отшвырнул от себя.

Ложка звякнула о камень, отскочила, прыгнула два-три раза в траве и исчезла.

Когда Станко поднялся, ему показалось, что он слышит ее звяканье внизу, в ущелье.

Цветко Мартиновский

ЛЮДИ С ГОР

Перевод с македонского Н. Сатарова

I

Солнце, похожее на кусок раскаленного железа, заходило за Крчин. Его сверкающие лучи рассеивались в вечернем воздухе, золотя скалы и вьющуюся между ними дорогу. Возле дороги притаились в сумерках луга. Озаренные угасающим румянцем заката травы слегка колыхались и неслышно шептали вечерние сказки. Надвигалась ночь. Из-за гор поднималась луна. Шепот трав сливался с монотонной песней сверчков; из ближайшего букового леска доносился крик совы. Постепенно замолкал шум села.

Бледный свет луны, проникая сквозь ветки деревьев, тускло освещал две молчаливые фигуры людей, идущих по дороге к засыпающему селу. Один был крупный мужчина с могучей, словно у медведя, грудью; вечерний ветерок играл его волосами, залитыми лунным светом. Его глаза, притаившиеся под раскинувшимися дугой бровями, улыбались. Лицо этого мужчины было спокойно и задумчиво; только изредка вздрагивал на нем какой-нибудь мускул, да лоб вдруг собирался складками, тени возле уголков губ выглядели удлиненными. Описав рукой широкий круг, словно желая охватить раскинувшиеся кругом, покрытые густой травой луга, он промолвил:

— Травы, травы, травы...

— Если скосить только эти луга, нам сена не хватит, — как бы отвечая на невысказанную мысль, отозвался его спутник. — И верхние луга уже поспели для косьбы: трава там пожелтела и шуршит, братец ты мой, как зрелые колосья. Жаль, если перегорит... Погодка стоит как раз для косьбы. Солнышко так и припекает: только коси да сгребай... А о Велко ничего не слышно. Беда: придется и в этом году овец гнать на зимовку в горы...

Тишину нарушил крик потревоженной птицы. Двое мужчин продолжали шагать по дороге между лугами. Уже показались темные, молчаливые силуэты домов села Орлево, разбросанные по склонам гор, сбегавших к долине.

— Знаешь, Ташо, что я хочу сказать?

— Знаю, Кипро: ясно, что трава на этом, ближнем лугу сгорит, если ее сейчас не скосить. А если не будет сена — нельзя и овец на зиму в селе оставлять...

— Об этом я и думаю. Не начать ли нам косить вручную верхние луга, пока еще нет косилки? Не сегодня-завтра приедет Велко и машиной скосит все травы. А мы пока верхние луга снимем...

В темном июльском небе засверкали звезды. Склоны горных хребтов тонули в ночи. Посеребривший их вершины лунный свет поднимался кверху, к рассыпавшимся по небу звездным роям. Идущие мимо лугов председатель артели и заведующий скотным двором продолжали беседу о косьбе.

— Му-у-у, — донеслось из села воловье мычание.

— Сивле... Наш Сивле отзывается, — сказал Кипро, бывший батрак орлевского кулака Дракула. Мягкая улыбка озарила его продолговатое морщинистое лицо. Луна осветила лицо Ташо; оно тоже улыбалось.

— Просто гиблое дело, братец. Все время я думаю об одном и том же; ночью просыпаюсь от мыслей. Так и одолевает меня беспокойство: выдюжим ли...

— Видишь ли, Кипро, — ответил председатель, погасив улыбку на своем лице. — Конечно, овцы могут перезимовать в селе, это ясно... Почему не могут?

— Но, браток, ведь каждый год мы их угоняли на зиму в горы. Мой бывший хозяин Дракул, как только встретит меня на дороге, так и подколет, позвякивая цепочкой от часов и покручивая усищи: «Что, говорит, Кипро, душа моя, хотите оставить овец на зиму спать, как медведей, только чтобы в горы не гнать? Или ваша власть вам этого не дозволяет? Зачем тогда скотину собрали, грех на душу взяли?»

— Ты думаешь, взаправду у Дракула болит душа за судьбу наших овец?

— Нет, Дракулу столько же дела до наших овец, сколько до летошнего снега. А нам боязно: не погубить бы скотинку.

— Видишь, какая ситуация... В горах, ясно, зимой много снега, но много и солнечных дней... Значит, в теплых загонах, где нет ветра, перезимует отара. Вопрос — как ее прокормить. Правда, наши орлевские овцы всегда зимовали в горах. После Димитрова дня, когда задуют метели, гнать туда овец и дорого и тяжело. К тому ж и план ломается, и трудодней много на это уйдет...

— И это при наших таких богатых лугах! Конечно, можно овец оставить в селе зимовать. Мы так и сделаем. Построим им в укрытом от ветра месте теплые хлева, — мечтал Кипро с ясной улыбкой на лице. — Овечки наши сами проблеют нам за это благодарственную резолюцию...

И серьезным тоном продолжал:

— Верхние луга, конечно, далеко. Если начнем косьбу с них, сгорят те, что под боком... Значит, как ты правильно сказал, одно спасение: Велко скосит возле села косилкой, а мы верхние луга — косами. На том и порешим. А овец на зиму в селе оставим...

Подумав немного, Кипро закончил мысль про себя: «Если будет нехватка — от своего рта оторвем, а докажем, что скотинка может и не ходить на зимовье в горы...»

II

Росистое утро спустилось по склонам гор в темные долинки, где еще укрывались последние остатки ночи. Заискрилось солнце. Засверкали рассыпанные по травинкам капельки росы. Вслед за солнцем из темноты каменистого ущелья длинной змеей потянулась колонна косцов. Под бездонным, высоким небом, по которому нетерпеливо поднимался солнечный шар, заблестели, искрясь металлической улыбкой, кривые косы на плечах у людей.

От дуновения утреннего ветерка по зеленому морю ходили травяные волны. Начавшие желтеть сочные стебельки, напоенные горячими солнечными лучами, наклоняясь друг к другу, шептали о небе и о солнце, о песенках кузнечиков, о ягнятах, которых они — травы — должны будут накормить.

Косари засучили рукава. Ясная, как день, улыбка озарила суровые, загорелые лица; в ушах словно зазвенели бубенцы овечьих отар и блеяние ягнят, что должны родиться весной. Колени косарей тонули в траве. Вспорхнула перепелка, пронеслась над головами людей и, провожаемая взглядами, исчезла в утренней синеве. Над острозубой цепью гор рассыпались солнечные лучи.

— Люди! — взметнулся к небу голос Кипро. — Хороший, братцы, кусок отхватим сегодня!..

В ответ ему зазвенели металлическим смехом косы. Через пять-шесть шагов один за другим шли люди, глубоко врезаясь в густую траву, и, напрягая мышцы рук, косили. Косы летали над землей, оставляя густые полосы скошенного сена. Разыгравшийся ветерок шептал над травой, развевал волосы косарей. Люди, глядя прямо перед собой, плавно взмахивали косами, описывая одинаковые дуги.

— Фить, фить, фить... — неслось в воздухе.

— Дзинь... — звенели ударившиеся одна о другую косы.

Косари шли вперед и вперед.

— Фить, фить, фить...

Неровная цепочка косарей продвигалась все дальше и дальше. Сверху по-дружески улыбалось солнце, косы, поблескивая, прокладывали широкие дорожки в густой траве. Запах мелколистного чебреца и цветущей мать-мачехи, струящийся из-под свистящих кос, наполнял легкие.

Долог день! Как зеленые змеи, ложатся густые валки скошенной травы. Косари шагают и шагают, дружно взмахивая руками, словно машущие крыльями птицы, готовые взлететь в солнечную высь. Вокруг — холодный блеск кос и радостное сверкание широко раскрытых глаз шагающих друг за другом людей.

Вместе со всеми по лугу размашисто шагает и Кипро. Он идет, немного сгорбившись и стискивая ручку косы своими узловатыми пальцами; коса послушно посвистывает в его сильных руках. Глубоко запавшие под потным лбом маленькие и беспокойные глазки Кипро смотрят вдаль, на зеленое море. Ноги ступают в такт взмахам рук, свободно и твердо — по-хозяйски. Под опинками* потрескивают срезанные косой стебельки; только пройдут косари, они снова выпрямляются вверх, к синему небу.

— Хорошая, братцы, травка. Густая, а? — говорит Кипро, поворачивая покрытое капельками пота лицо к косарям. Поплевав на руки, он проводит языком по пересохшим губам и снова берется за косу. Прежде чем сделать широкий взмах, он сплевывает, качает головой и, показывая глазами назад, говорит:

— Много сена соберем...

Не ожидая ответа от почерневших под летним зноем односельчан, Кипро подмигивает и начинает новый ряд, всматриваясь вперед, в волны густой травы.

— Фить, фить, фить, — свистят металлические змеи. Солнце продолжает свой бег по небу, брызгая светом на косарей и скошенную траву.

— Фить, фить, фить...

Потом над полем заходили вилы. Деревянные трезубые вилы заползали по земле, загребая и переворачивая траву для просушки. Пальцы Кипро привычны и к вилам. Вместе с другими он сгребает сено для артельных овец. Прозрачный воздух напоен солнцем, ароматом трав, какой-то крылатой радостью, что скользит над лугом и сбегает в долину, покрытую зеленым леском, над которым резвятся веселые облачка. Не только запах трав заставляет вздыматься грудь Кипро, но и радость, какой не бывало в прошлом, в темную пору батрачества. Да, сейчас так... А прежде?..

---

* Простая крестьянская обувь из грубой сыромятной кожи.

Прежде черные и злые тучи остервенело мчались по небу его серенькой, горькой жизни. Кипро, разбрасывая вилами сено, вспоминает о прошлом.

Он служил в работниках у кулака Дракула, из года в год продавая свою батрацкую силу за пару опинок и рваную одежонку из грубого, домотканого сукна. Всем он был чужой. Годы тянулись медленно, время казалось ему лютым врагом. У Дракула было много овец, и Кипро был их рабом. Гонял стадо по Бистре, наигрывая на свирели грустные песенки, а в ответ слышалось только жалобное блеяние. Ветерок ласкал его крепкую, выпиравшую из-под рваной рубашки грудь.

Незаметно подкралась старость. Солнце сожгло истощенное и почерневшее от горестей и непогоды тело. Часто поздним вечером он возвращался в село обессилевший и сонный; казалось, вот-вот свалится от усталости в угол под навесом. И всегда заставлял его встрепенуться острый, как пила, голос хозяина Дракула:

— Поворачивайся, скотина! Нос повесил, а козы стоят не доены...

Кипро, шатаясь, брел с фонарем от одной козы к другой и доил их. Козы всматривались в бледный свет фонаря, а пастух слушал журчание теплого, пахучего молока, соблазнительно пенившегося в ведерке. Как хотелось ему отпить хоть несколько глотков из бадейки, но всегда чудилось, что сквозь какую-нибудь дырку в плетне следит за ним всевидящий волчий глаз хозяина!..

Зимой, когда снаружи завывал бездомный ветер, Кипро, такой же бездомный и беспомощный, ежился в хлеву, зарывшись в солому и стараясь согреться. Помнил Кипро и тогдашнюю косьбу. Никак она не была похожа на теперешнюю, как не может походить весенний день на Бистре, когда цветет полынь и благоухают травы, на хмурый зимний день, когда в горах беснуется, плачет и ревет лютая метель, разбрасывая снежные хлопья. В те времена вместе с зарею, еще не успеет погаснуть утренняя звезда, появлялись на лугу, словно поднимаясь из-под черной, каменистой земли, мрачные фигуры людей и, злобно поглядывая друг на друга, брались за косьбу. Случалось и так, что в розовом свете рождающегося дня лилась кровь, орошая хрупкие травинки. Было такое время и прошло. Кипро тогда гнул спину на чужого, на хозяина. Но... теперь все это кануло в вечность и никогда не всплывет, как не всплывет камень, брошенный в озеро.

Однако в голове Дракула не переставали бродить черные мысли. Когда в ясный, солнечный день улыбающийся Кипро переворачивал еще не успевшее пожелтеть сено, чтоб оно впитало побольше солнечного тепла, — на другом краю луга, за оврагом, между пригретыми солнцем и погрузившимися в дремоту каменными домами бродил Дракул. По его подбитой мехом куртке протянулась золотая цепочка от часов, которой кулак изредка поигрывал, а притаившиеся под косматыми, нахмуренными бровями покрытые красными жилками глазищи так и шарили по земле. Под длинными, стоящими торчком усами сердито подрагивали губы; скрипучий голос произносил бранные слова:

— Лодыри, голытьба, они еще мной управлять станут...

Сердит и грозен кулак Дракул! Взглянет, бывало, своими неподвижными, волчьими глазами — и будто шилом пронзит его острый взгляд душу Кипро, мурашки так и забегают по спине батрака...

Залита солнечным светом сельская площадь. Возле домов сидят старики, покуривают и греют на солнышке спины. Вместе с табачным дымом парят в воздухе их слова.

— Хорошо солнышко божье припекает, — говорит Дамян.

— Хорошо-то хорошо, а травка на лугах горит, — отвечает ему из-за дымной завесы Алтан.

— Что поделаешь, такие хозяева, — скрипит Дракул.

Старики поворачивают головы в его сторону. Он делает вид, что засмотрелся вниз, где под селом раскинулись зеленые луга. Ждут деды, что скажет Дракул. Шутка ли, когда-то был первым богачом в селе! От него можно услышать умное словцо...

День только что начался: большой путь должно проделать солнце, пока поднимется над головами людей. Ждут старики...

— Да, такие хозяева, что ж поделаешь? И времена хорошие наступили, и люди поумнели...

Позвякивает цепочка на животе.

— Взялись бездельники управлять нами. В голове у них крупицы мозга нет, за душой — ни гроша... Пошли, умники, косить верхние луга, а тут, под носом, трава горит... А еще говорят, что овец на зимовку в селе оставят...

— Слышали, — хмуро в один голос соглашаются старики.

— Новые хозяева, значит, интенсивное скотоводство подымать хотят... Кто-то, наверное, не позволяет им овец на зимовье в горы гнать. Что поделаешь, старики, погибнет скотинка... Откуда взять столько сена для той уймы овец, что собрали в одно стадо?

— Ничего, хоть мясца отведаем за зиму, — вставляет Алтан.

Молчат старики. Не веселит их шутка Алтана. Мрачно глядят, нахмурив брови, на потрескавшуюся от зноя землю, и глубокие морщины ложатся на лоб. Все-таки это не чьи-нибудь, а их овцы. В артель вошло большинство их сыновей. А какое Дракулу дело до всего этого: он ведь не в артели... И Алтан тоже... Не то что они...

«Совсем другой породы они, сыновья наши», — думают старики, и мрачные мысли лезут в голову, морщины еще сильнее бороздят хмурые лица. Подходит зима. Погибнуть могут овцы. Внучата весной и не понюхают молочка...

— Прав Дракул, — шепчут деды.

— Погибнет скотинка, погибнет, — качает головой Дракул.

Яркое, раскаленное солнце бежит по улыбающемуся синевой необъятному небу. Далеко, над горами, повисли, задержавшись в своем беге, маленькие, белые, кудрявые, как пена, облачка. Молчат старики. Назойливо, как бурав, сверлят мозг слова Дракула: «Погибнет скотинка, погибнет...» И старики, согнув спины, словно под стопудовой тяжестью, задумчиво глядя под ноги, разбредаются по каменистым улочкам. Идут к своим внучатам.

Дракул, довольно покручивая свои длинные усы, насмешливо смотрит на стариковские согбенные спины. Идут крестьяне, постукивая палками по камням дороги, а кулак проворными, лисьими шагами направляется к другой кучке людей, что сидят на припеке.

Ползет по каменистым улицам неспокойная, полная тревоги думка, ползет мимо молчаливых домов: «Погибнет скотинка, погибнет...» Настороженный взгляд всех, кто проходит возле лугов, полон тоски и неясного, скрытого страха. Люди испуганно отворачиваются в сторону, будто мимо покойника проходят...

III

Ночь набросила на землю свое темное покрывало. Старая черешня на церковном дворе протянула над забором ветви, словно руки, погрузив их в сгустившийся мрак узкой улочки. Высоко над домами равнодушно мерцают неподвижные звезды. По темной улице медленно и устало, как тень, возвращается в село Кипро. Наверху, на горных лугах, сено уже сложили в копны, и они стоят, словно молчаливые сторожа. Вдруг из-за крутого поворота неслышно выскользнула тень человека и,

крадучись, заспешила вниз, навстречу Кипро. Шум сельской чешмы* заглушал шаги.

— А-а-а, вот и наш ударник... — в голосе Дракула слышалась деланная приветливость.

Кипро насторожился. Встреча не обрадовала его. И все-таки интересно узнать, что хочет сказать Дракул. Давно уже они не встречались. Кипро молча ждал.

Впившись в него своими волчьими глазами, Дракул заговорил. Скрипучий голос резал слух Кипро.

— Косите, а? Ладно, ладно... Только, душа моя, что это за мода? Новая система что ли, пролетарская? Хорошая, говоришь, травка на верхних лугах... А эта, здесь, пускай горит? Что ж, пусть горит, какая вам забота до этого. И тебя это мало трогает. А? Правда ведь? Есть сено, нет сена для овец — тебе дела мало. Не так ли, Кипро?

Кипро слушал кулака, не прерывая, и нетерпеливо ждал, когда тот кончит, чтобы пройти мимо. Хотел обойти, но ноги отяжелели, словно приросли к камням. Черешня шумела своими ветками... В голове, как остервенелые вороны, кружили картины прошлого: голод и холод, руготня хозяина, его поднятая над головой палка. Вспомнился тот вечер, когда в душе Кипро что-то словно оборвалось. Он шел тогда в темноте, еле передвигая по грязи ноги и поеживаясь под холодными каплями дождя, и смотрел во мрак, за густой пеленой которого видел, как ему казалось, солнечный свет будущей, свободной жизни...

Кажется, что это случилось давным-давно. Стояла мокрая, холодная, дождливая сентябрьская ночь. Уставший от шлепанья по грязи в течение целого дня, согнувшись, нес он два ведра с козьим молоком. В хлеву животные надышали и было тепло. А за дверью ветер так и впивался острыми зубами в тело полуодетого Кипро.

— Айда, поворачивайся, лежебока, чтоб тебе сдохнуть, — ворчал стоявший на крыльце Дракул.

Голодный и плохо одетый, в рваных опинках, сгорбленный Кипро заторопился, подстегнутый тяжелым взглядом хозяина. Батрак едва держался на ногах. Холодный дождь колол, как иголками. Кипро заспешил и... перед крыльцом поскользнулся и упал. А потом? Дальше в памяти все стоит, словно покрытое серой мглой. Пока изнемогший от дневной работы Кипро пытался подняться из лужи пролитого молока, по его измученной спине загуляла палка Дракула.

— Собака никудышная, я тебя сейчас... Негодяй, бездельник, я тебя... — злобно рычал взбешенный хозяин, избивая батрака.

Когда Кипро поднялся на ноги, с трудом державшие его исхудавшее тело, двор был пуст. Возле старика завывал Мурджо. Дождь равнодушно смывал кровь с лица бедняги. Из дома, из-за закрытой двери, слышался рев хозяина:

— Я тебя, как собаку... Два ведра молока... Я тебя...

А дождь все лил и лил. Холодный и противный осенний дождь. Капли падали на обнаженную голову Кипро и стекали по полуприкрытой, волосатой груди, наполняя тело мокрым холодом. Казалось, дождь что-то монотонно шептал...

Кипро вздрогнул. Над головой низко, почти касаясь крыш сельских каменных домов, бежали темные, хмурые тучи. Не помнил он, сколько времени простоял в темноте, с непокрытой головой и опустошенной душой. Холодный дождь не успокоил, а еще больше усилил горечь обиды. Казалось, что батрак стоит и все еще считает удары крепкой хозяйской палки, которые только что сыпались на него. Потом пошел к хлеву, спе-

* Источник..

ша поскорей свалиться на солому. Не поужинав, он лег; тяжелый ком подкатывал к горлу и мешал дышать. Хотелось ему плакать, горько плакать. Он провел рукой по лицу, измазанному кровью, и почувствовал, что глаза сухи. Взгляд, суровый и строгий, впивался в темноту. Кипро погладил стоящую рядом козу. Она лизнула его руку...

Наутро, когда зарделась заря, молочная белизна света залила охапку соломы, на которой Кипро лежал ничком, ожидая первых лучей солнца. Неясные думы о чем-то неизвестном, но желанном бередили его душу. Когда солнце, огненно-красное солнце бросило на землю свою улыбку, в хлев вошел Дракул.

— Низкий поклон тебе, ага, — заговорил он, криво усмехаясь. Но заметив, что Кипро смотрит каким-то отсутствующим взглядом вдаль, куда-то поверх его головы, Дракул, делая вид, что не понял этого взгляда, нахмурил косматые брови и нетерпеливо заорал: — Вставай, пес, пока не загуляла по тебе палка. Айда доить коз...

Кипро взглянул на руки хозяина, давно уже отвыкшие от грубой, черной работы, смерил кулака взглядом снизу вверх и впился в его волчьи глаза. Впервые в жизни он почувствовал в себе какую-то непонятную силу, которая наполняла его душу. Усмехнувшись, он сказал просто:

— Коз... подоишь сам...

— Что, что ты сказал? — не веря своим ушам, промолвил Дракул и замахнулся палкой.

А Кипро вышел на солнце. Над ним раскинулось смеющееся, синее, бездонное небо. По нему бежали перистые облачка; казалось, что они машут Кипро руками. Давящая тяжесть свалилась с его сердца.

Несколько раз потом приходил Дракул к Кипро, уговаривал вернуться на работу. Бывший батрак только смотрел на хозяина тяжелым взглядом и, словно раздумывая о чем-то, молчал, покачивая головой. Потом Дракул перестал звать его и только, как волк, обходил при встрече, пристально глядя своими налитыми кровью большими глазами. Но их взгляд уже не пугал Кипро.

...Где-то на востоке рдели, будто охваченные далеким пожаром, скалистые горы. Над ними проглядывала сквозь ветви буков луна; как челн, спокойно плыла она по небесному морю. А Дракул продолжал начатый разговор:

— Подумай, ты... Подумай, куда тянешь, как необъезженный конь. Своими руками вас передушим, если погибнут овцы. Ведь их придется вернуть тем, у кого взяли...

Бледный луч лунного света глянул украдкой и осветил насмешливую улыбку на щербатом лице кулака.

— Или ты веришь, что все так и останется? Разве не видишь, куда ветер дует? Берегись, Кипро, завтра мы на железных весах взвесим все ваши прегрешения. За каждый грамм по килограмму платить заставим... Одумайся... Возвращайся ко мне; найдутся для тебя в моем доме и мамалыга и одежонка. Завтра, помни, будет уже поздно: призовем вас к ответу...

Усталость от долгого дня, проведенного с косой и вилами в руках, тяжестью разливалась по телу Кипро. Ярость и раздражение заставили его пальцы сжаться в кулаки. Ему хотелось ударить Дракула, похожего на змею, лежащую клубком на дороге и высунувшую жало.

— Уйди прочь с дороги, Дракул, или худо будет, — сказал Кипро, задыхаясь, и поднял руку. Слегка отстранив богатея, он продолжал путь по залитой лунным светом улице.

— Но-но, не горячись... Еще встретимся...

Кипро обернулся. Его захлестнула горячая волна ярости. Так и хотелось схватить жирную, бычью шею мироеда и сдавить ее своими пальцами...

— Замолчи, язва, гадина, — сдерживая себя, процедил сквозь зубы Кипро. — Заткни свою глотку, пока я не отправил твою душонку к господу на исповедь...

IV

Дорога, извиваясь змейкой, врезалась в скалы. Слышалась песня мотора: к селу шел грузовик. В кузове, поглаживая железный остов косилки, сидел Велко. Вольный горный ветер трепал его волосы. Скалы проносились мимо машины...

Вскоре возле каменистой дороги блеснули сельские луга; буйная зелень трав отливала на солнце желтизной.

— Не начали еще, — вздохнул с облегчением Велко.

Целую неделю без устали он сновал по Скопле, пока не получил для артели двухколесную косилку. Велко знал, что значит для артели машина: она одна может накосить сена для овец на целую зиму.

Грузовик въехал в село. Крыши отливали на солнце золотом, и казалось, что дома заулыбались при виде машины. За грузовиком запрыгала орава ребят, их радостный крик слился с ревом мотора.

Велко соскочил с грузовика. Перед ним стоял, расставив ноги, Ташо и вопросительно смотрел широко раскрытыми глазами. Он молчал. Улыбка Велко рассказывала обо всем...

— Вижу, что получил...

— Да. Из области тебе письмо.

— Машина, конечно, в порядке?

— Ага, — кивнул головой Велко.

Пока шофер копался, нагнувшись над заглохшим мотором и что-то проверяя, вокруг Велко и Ташо собралась толпа ребят и женщин. Люди все подходили и подходили.

— Велко! — позвал Ташо.

— А?

— Когда?

— Когда скажешь, — кивнул головой Велко.

— Ты знаешь, ждем тебя, не дождемся. Ясно, надо поторопиться. Пересохнет трава... После обеда?

— Ага, — улыбнулся Велко.

— Отдохнуть бы тебе...

— Успеется, — успокоил Велко председателя.

Ташо кладет свою похожую на медвежью лапу руку на плечо Велко, и они идут к дому, где помещается правление артели. Еще не просохшая после недавнего дождя земля прилипает к ногам людей, уверенно и твердо шагающих навстречу радостному завтра. Им весело улыбается солнце. Под его лучами блестит свежевыкрашенный металл давно жданной и только что прибывшей машины.

И вот два мула, впряженные в косилку, тянут ее железный корпус. Колеса оставляют в высокой траве глубокий след. Велко сидит на сиденье, посматривая сверху на народ, и, словно охваченный каким-то беспокойством, приподнимается и, взмахивая кнутом, кричит:

— Ди-и!

Нажимает на ручки, режущие части зарываются в волнующуюся траву, затем звякают ножи — и первые полосы полегшей, притихшей травы падают возле колес и тянутся за ними двумя длинными зелеными лентами.

— Ага, — повторил Велко свой излюбленный возглас и, кивая головой, обернулся назад, к стоящим на лугу кучками женщинам и мужчинам. Они пришли с вилами на плечах ворошить сено. За машиной, медленно ступая, шагал Ташо и переворачивал скошенные рядки. Ташо подмигнул Велко.

— Ага, — тоже подмигивая, ответил Велко, взмахнул кнутом, и его звучный, грудной голос разнесся над зеленым лугом, слился с шепотом трав и затерялся вдали, заглушенный шумом взлета потревоженных перепелок. Велко, сильно нажимая своими мускулистыми руками на рычаги косилки, привставал на сиденье во весь рост и кричал:

— Ди-и-и!..

Прошло три солнечных дня, и под ножами косилки легло много валков скошенной травы. Вилы сметали высушенное сено в копны, и они стояли теперь на лугу, озаренные лучами заходящего солнца, бросая длинные тени навстречу ночи. Старики собрались возле луга, смотрели на копны и на машину, которая докашивала последние полосы, качали головами и, дымя цигарками, тихо говорили:

— Вот ведь чудище какое... Косцам нашим здесь бы хватило работы недели на две...

Тут же стоял Дракул. Он молчал, так как знал — скажи он хоть слово, все набросятся на него. Глубокие морщины бороздили его лоб, звериные глаза неподвижно смотрели на копны. В голове, как стаи галок, носились зловещие мысли.

— Ну что, Дракул, говоришь — погибнет скотинка? — со скрытой под длинными усами кривой усмешкой спросил кулака Дамян.

Старый Мерджан, поворачиваясь к улыбающимся старикам, лукаво произнес:

— Конечно, погибнут... Объедятся и подохнут...

Низко склонив к земле голову, тяжелыми шагами уходил хмурый Дракул, стараясь не слышать смеха стариков, что катился ему вслед и дробился, ударяясь о камни, на мелкие стеклянные осколки, которые больно кололи богача.

Отойдя подальше, он обернулся и, возбужденно играя цепочкой и задыхаясь от злобы, расхрабрившись, кивнул головой:

— Я вам покажу... Молоком материнским... вас рвать будет.

...На западе рассыпались и гасли последние алые искорки уходящего солнца. Облитые пурпуром облака темнели и вытягивались, сливаясь с синевой вечернего неба. Ночь, как прилетевшая издалека усталая птица, распростерла свои большие, темные, бархатные крылья над горами, над деревьями и над замолкшими скошенными лугами.

В напоенном ароматом трав воздухе неслась усыпляющая песнь сверчков. Вдруг в густой тени копен скользнула неясная человеческая фигура и, крадучись, неуверенными, робкими шагами направилась к одной из них. Это был Дракул. Сверчки продолжали свое монотонное пение. При свете звезд было видно, как Дракул наклонился с пучком травы в руке. Огляделся вокруг. Прислушался — никого. Тогда он присел и запустил свою длинную руку в копну. Скоро в сене образовалась глубокая, черная дыра. Дракул сунул пучок принесенной травы в отверстие, поспешно поднялся и пошел прочь быстрой, тревожной походкой.

Над горами, долинами и сельскими домами пронеслось несколько погожих дней. Солнечные лучи золотили копны янтарного сена.

Одним таким ясным утром, когда солнце еще не успело разметать разбросанные над полями клочья тумана, Кипро, прислушиваясь к попискиванию перепелок, шагал между копнами. Он смотрел на них с радостью и надеждой, ласково касаясь стогов своими огрубевшими, потрескавшимися от работы руками. В глазах его отражалось беззаботно

улыбающееся небо, а взгляд скользил над цепью гор и следил за шаловливо бегущими пушистыми облаками. Вдруг его внимание привлекла одна копна. Пальцы Кипро сжались в кулаки, и глубокая морщина прорезала лоб. Не веря своим глазам, он нерешительно направился к стогу. Да, никакого сомнения! Следы плесени темной полосой протянулись по низу копны. Ноздри Кипро расширились от едва заметного запаха сопревшего сена. Он присел. Несколько мгновений качал головой, огорченно стиснув губы. Пропал труд: сено горело, плесневело...

— Эх, люди, люди... Что наделали! — замахал он руками в бессильном гневе. — Непросушенное сено собрали в копны...

Он опустился возле копны и нетерпеливо начал ворошить сено. В лицо пахнуло затхлой теплотой. Он осмотрел копны: не все сено заплесневело. Спустя немного, его цепкие пальцы вытащили из сена заложенный туда Дракулом пучок чемерицы, и он сразу догадался, в чем дело. Закусив до боли губу, Кипро так сильно сжал высохший пучок, что стебельки, как иголки, впились в его ладони. Яростно комкая траву, он озирался вокруг и бормотал что-то невнятное. Кровь бурлила и тяжелыми волнами ударяла в голову, а сознание царапала острая и колючая, как проволока, мысль: «Попадись ты мне только в руки...»

* * *

Как и всегда, украдкой, осторожными шагами из долин пришла ночь. Загорелись звезды. Спрятавшись в копне, Кипро ждал. Медленно тянулось время. Жалобно прокричала сова и замолчала. Травинки лезли в рот и мешали дышать. Кипро напряженно вслушивался. Вдруг что-то зашуршало. «Идет!» — подумал он, сгорая от нетерпения. Но снова наступила тишина. Мелкие, сухие стебельки лезли в рот, в уши, щекотали веки.

Налетел ветерок, и тихо зашумели обласканные его невидимой рукой буки ближнего леска. Шепот их зашелестевших листочков заглушил крадущиеся шаги вынырнувшего из темноты Дракула. Прикрытый ночной темнотой, уверенный, что, кроме него, здесь никого нет, он шел с пучком зеленой травы в руках. Кипро, услышав шорох, насторожился. Шаги смолкли перед копной, где он спрятался. Вглядываясь сквозь густую сетку сухих травинок, Кипро старался разглядеть, что это за темная душа стояла перед ним. Наконец он узнал Дракула. Тот, наклонясь, вполголоса проворчал:

— Помоги, господи...

Прошло несколько коротких мгновений, показавшихся Кипро такими же долгими, как вьюжные зимние ночи. Он почувствовал, что какая-то сильная рука так и толкает его вылезти и броситься на Дракула. Волнение сжимало пересохшее горло, Кипро силился проглотить слюну, а ее не было. Хотелось закричать громко-громко...

Дракул начал шарить в копне. Кипро насторожился и затаил дыхание. Когда засунутая в сено рука Дракула коснулась Кипро, он схватил ее крепко, как железными клещами. Дракул что-то выкрикнул и задергал рукой, но кряжистый, закаленный на солнце и дожде Кипро изо всей силы держал злодея.

— Продажная ду-у-ша, — вырвались из глотки Дракула хриплые и дрожащие звуки.

— Вот... тебе... разбойник, — послышалось вперемежку с тупыми ударами каменного кулака Кипро, — вот... а? Получи... и за сено... и за овец... и за меня... и за мое... и за ветер, что дует в твою сторону... вот... на... и за мою долю батрацкую... и за ваше «завтра» кулацкое... за грамм с кило... а? На... вот...

Оба покатились. Потом поднялись и усталые, со свистом вдыхая воздух, молча двинулись к селу. Звезды мерцали в небе и освещали бледное лицо Дракула, который, пошатываясь, шагал впереди, злобно переживаясь от прикосновения сжимавших его шею пальцев Кипро. Мироед старался вырваться, но потные и грубые пальцы давили его все сильнее и сильнее.

— Неблагодарный, — старался обернуться кулак, — мой хлеб ел...

Про себя же думал: «Скотина, взбредет ему в голову — еще задушит...»

При этой мысли сердце у него сжималось, холодело, а жизнь казалась такой прекрасной, что просто хотелось изо всех сил вцепиться в нее. И еще сильнее поднималась в нем обида от того, что бил-то его бывший батрак...

Когда, немного позднее, в глазах собравшихся крестьян, в их поднятых единодушно руках Дракул прочел такой же гнев, какой видел у Кипро, он, ссутулившись, пошел, дико крича с пеной у рта что-то непонятное и испуганно вглядываясь своими волчьими глазами в туманные, пустынные дали, лежащие теперь перед ним.

Прошел Димитров день. На склонах гор пожелтели последние стебельки опечаленных трав. Опали цветы. С хмурого неба, словно белая, беспокойная пыль, повалил снег и засыпал притаившиеся между белесыми камнями змеевидные стебли дикого чая, еще сохранившую зеленый цвет чемерицу и редкие, увядшие желтые гроздья бессмертника. Побелели погрузившиеся в дремоту горы. Закрылись ворота домов. Не слышно больше ни пастушьей свирели, ни блеяния овец. Только ночью в село долетал волчий вой, далекий и голодный.

Тоскливо свистит ветер в ноябрьскую ночь, когда снег с дождем, как иголочками, пронизывает все тело пастухов, ведущих по расквашенной длинной дороге гурты к югу. А за стадом огоньками светятся волчьи глаза...

Но в этом году чабаны не ходили в намокших зипунах, напряженно вглядываясь в темноту. Не успело еще миновать бабье лето, всех овец согнали в артельные отары. Каждое утро Кипро спускался из села в дол, где стояли укрытые от ветра новые, теплые хлева. Там ходил он между лежащими на соломе овцами, и с его лица не сбегала улыбка. Он надергивал из стога сено и, бросая его овцам, не мог удержаться, чтоб не запустить пальцы в их густую грязноватую шерсть. А возле хлевов сверкал белизной выпавший за ночь снежок...

Когда в ветреный день на дворе завывала вьюга, Кипро довольно оглядывал теплый хлев и, взмахивая руками, насмешливо шептал:

— Погибнет скотинка...

А потом, наклонив голову к своей любимице — черноголовой овечке, — долго шептал что-то, почесывая у нее за ухом. В ответ слышалось блеяние и довольное похрустывание.

Кипро с трудом закрывал двери хлева и выходил наружу, где бездомный ветер поднимал с белого покрова длинную, колышащуюся снежную пелену и играл ею. Кипро закутывался поплотнее, окидывал взглядом побелевшую землю и, вслушиваясь в скрип снега под ногами, словно говорил кому-то: «Не знавал ты, братец, раньше ничего такого...»

Славко Яневский

ОДНАЖДЫ ПОСЛЕ ОБЕДА

Перевод с македонского Н. Сатарова

За железной решеткой повозки живодера раздался вой: протяжный крик боли задрожал и растаял в воздухе. В летний зной всякий шум, всякий голос, всякий звук рождался только затем, чтобы сразу же умереть, раствориться в духоте, исчезнуть бесследно.

Картина не столь уж занимательная и не новая: длинная, узкая улица городской окраины с двумя рядами старых, похожих друг на друга домов, разделенных булыжной мостовой. По ней вяло плетется слепая лошадь и равнодушно тащит за собой свою участь — старую телегу с клеткой, грубую и отвратительную, как всякая тюрьма.

Слышно лишь мерное позвякивание четырех сбитых подков да стук четырех расшатанных колес. Безучастный ко всему окружающему, примирившийся с невеселой долей коняга вяло тянет еще одну судьбу: в клетке сидит белый, желтоглазый пес — уличный бродяга, безопасный повсюду, и за решеткой и на свободе.

За повозкой плетется и третья судьба: мальчуган с пересохшими от волнения губами и мокрыми от слез бледными щеками. Судорожно вцепился он обеими руками в железные прутья и лишь изредка тихо-тихо, почти неслышно, всхлипывает. Взгляд заплаканных детских глаз не может оторваться от собаки. Он понимает, что и пес плачет: по-своему, по-собачьи, но все равно плачет.

Перед лошадью маячит мужчина средних лет, хозяин всех трех судеб. В руке у него длинная палка, на конце которой прикреплена петля из стальной проволоки.

Теперь, кажется, все... Скрипят колеса, подпрыгивая на мостовой. Шум, сдавленный рядами старых, неуклюжих построек, напоминает монотонный погребальный звон.

В клетке опять заскулила желтоглазая собака. Мальчик обеспокоенно поднял голову, крепче сжал пересохшие губы, сильнее ухватился за решетку и повис на руках. Но крепка решетка — не сломать ее детским ручонкам. Повозка неумолимо движется вперед и тянет ребенка. Наконец он понял, что лучше шагать, чем волочить ноги по камням.

— Белчо!..

Малыш думает, что позвал своего друга. Но это ему лишь показалось: губы так стиснуты, что только ножу под силу их разжать. И все-таки собака услышала; она попятилась назад, сделала круг и снова вернулась к решетке. Влажный нос ткнулся в руку мальчика и еще больше взволновал ребенка. Конечно это слезы: собачьи слезы, но такие же теплые, как и у людей.

Человек все так же уныло плетется впереди. Изредка оглянется назад, увидит босые ноги за колесами и вздохнет. Вздохнет не от сожаления, а от усталости: зной давит, как тяжесть... Обернется и снова погрузится в свои мысли: стоит ли отдавать ботинки в починку, пока еще можно босиком походить, или трепать их до полного износа? А мальчишка мешает думать, и нет сил в такую жару пойти прогнать его.

Стоят дома, похожие один на другой: ветхие, облупившиеся. Кажется, нет улице ни конца ни края. Но конец должен быть, только конь очень неповоротлив, едва плетется... А когда кончится улица,

что будет? Ничего... Потащится повозка по другой. И так день за днем, с железной петлей на палке в руках.

— Дяденька, выпусти мою собаку... — слышится сзади детский голос.

Человек, не поворачивая головы, хотел вздохнуть, но только шмыгнул носом; обжигает ноздри горячий воздух, и не хватает его, чтобы надышаться. Легче, когда откроешь рот... Вернуть собаку?!. Ишь чего захотел!.. Зачем же тогда закон, чтоб ловить и уничтожать собак?.. И зачем... Нет, правда, лучше немного босым походить. Так будет практичнее: дольше продержится обувь... Этот чертов мальчишка!.. А зачем вообще собаки на этом свете? Если бы для пользы, не издавали бы закон против них... Нет, нет, лучше босиком походить... Так будет лучше... Ясно. Решено... А от собак, конечно, нет пользы...

Мальчик оставляет решетку и осторожно подходит к мужчине. В его влажных глазах — мольба: за себя и за друга. Если доказать, что Белчо спокойный пес, не кусается и играет с детьми, дяденька отпустит его! На что ему Белчо? Пускай поймает другую собаку, какую угодно, только не Белчо, которого все так любят. Никто из ребят никогда не замахнулся на него камнем...

— Дяденька...

— Чего тебе?

— Дяденька, смотри!

Человек только чуть скашивает глаза в сторону мальчишки. Взгляд ребенка решителен и светится каким-то внутренним огнем. Но чем больше мальчик напоминает взрослого, тем по-детски недоверчивее становится мужчина.

— Что это у тебя?

На двух маленьких, худеньких ладошках лежит несколько вещиц: кузнечик, прикрепленный булавкой к деревяшке, шелковый шнурок и ключ.

— Собрал все это в мусорном ящике?

— Нет, не в мусорном ящике. Все это новое... Кузнечика поймал в поле...

— Врешь. Наверное, стащил...

— Нет, не стащил. Мое это. И Белчо мой...

Живодер, по-прежнему не оборачиваясь, смотрит вперед. Но перед глазами у него — две детские, словно восковые, ладони. И все на них тоже кажется прозрачным: прозрачны и желтый кузнечик, и красный шнурок, и бесцветный ключ. Куда ни взглянет человек — на лошадиные подковы, на ветхие стены домов, на свои старые башмаки, — перед глазами стоят худенькие ладошки. Они мешают человеку думать и решить — ходить босиком или нет?

Грустно смотрит мальчонка на сгорбленную спину живодера. Надежды почти нет, но, может быть...

— Дядя...

— Что тебе?

— Отпусти Белчо...

Человек косится на мальчика. Лицо его спокойно и безразлично. Ребенок плачет. Ничего, пусть поплачет: все дети из-за чего-то ревут, часто просто так. От этого они растут, а когда вырастут, больше не проливают слез. Сами сердятся, когда возле них хнычут дети.

— Дяденька...

— И тебя, баловник, надо бы запереть. Марш отсюда...

Мальчуган отстает немного. Подбежать к лошади и повиснуть на уздечке? Броситься под колеса? Но нет сил... Хочется пить... Вернуться

что ли домой и напиться? Нет... Упрямо шагает малыш и, слизывая с губ соленые слезы, просит:

— Дяденька, хочешь принесу тебе черепаху? Могу и рака поймать...

— Убирайся, говорю тебе. Не приставай.

— Дома у меня есть еще краски, звоночек...

— Из помойки все вытащил?

— Нет, не из помойки..

— Тогда украл...

— И не украл. Мои...

— Убирайся, парень. Не раздражай меня.

— Пусти Белчо. Хочешь, птицу тебе поймаю?

Человек уже не слушает. Не слушает и конь. И собака не слушает и даже не скулит; может быть, так надо, чтобы она ехала, а маленький друг шагал возле телеги.

— Дяденька, ключик совсем новый...

Мужчина идет не оглядываясь: тяжело поворачиваться в такую жару. Тяжело передвигать ноги и слышать шаги мальчика за собой.

— Дя-я-дя...

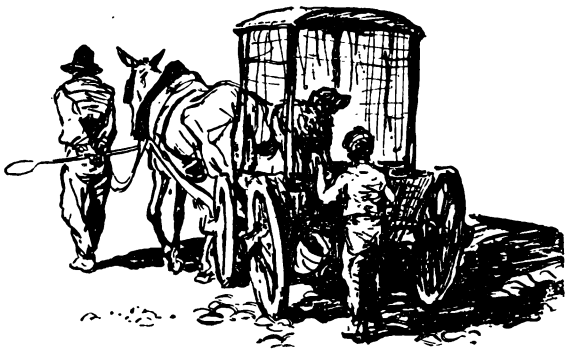
Движутся четыре связанные между собой судьбы. Впереди — человек, за ним конь тянет повозку с собакой, позади всех — мальчик, впившийся взглядом в решетку.

— Белчо...

Ребенок не говорит, а только плачет. Собаке кажется, что она слышит свое имя. Она машет хвостом, лижет вцепившиеся в прутья клетки бескровные ручонки. Ясно, что это какая-то новая, незнакомая игра!..

Всему приходит конец. Кончается и длинная, узкая улица с двумя рядами старых, скучных построек. Телега заворачивает за последний дом. Еще некоторое время в воздухе стоит глухой топот лошадиных копыт и стук колес. Но вот и эти звуки постепенно замирают вдали. На мертвой улице остается накаленная солнцем глухая пустота.

А на мостовой лежит мертвый кузнечик, приколотый булавкой к деревяшке. Поднимет его какой-нибудь ребенок и откроет в нем новый мир, новую радость. Если же не найдет никто, прилипнет козявка к чьей-нибудь подошве...



ПОЭТЫ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

Это было осенью прошлого года. Но можно ли отнести к осенней поре то солнце, ту землю, всю в зелени садов, то синее небо и ту горячую заинтересованность, которыми встретила нас Италия? Не без опоздания (хотя и не по нашей вине) прилетели мы в древний город Рим на первую встречу с итальянскими поэтами, и встретили нас по-итальянски тепло, гостеприимно.

Памятны всем нам взволнованные приветственные слова старейшего итальянского поэта Джузеппе Унгаретти. Унгаретти долгие годы жил в Париже. Уйдя в формальные поиски, поэт «попал в рабство к слову», и это рабство, как пишет он сам, «на части раскололо и разум, и сердце». Творчество этого поэта во времена фашизма являлось своеобразной формой протеста, хотя и пассивного. Непрекращавшиеся в течение ряда лет нападки официальной критики вынудили поэта покинуть фашистскую Италию. Он эмигрировал в Латинскую Америку, откуда спустя несколько лет вернулся на родину. Мы печатаем стихи Унгаретти, который, наряду с Монтале, считается одним из крупнейших поэтов современной Италии.

Надолго останутся в памяти встречи и беседы с другим известнейшим итальянским поэтом — Сальваторе Квазимодо. В его творчестве военных и послевоенных лет убедительно звучат мотивы социального протеста и гневного осуждения войны. Эти мотивы ломают прежнюю замкнутость его стиха. Квазимодо широко известен как переводчик древних классиков, а также стихов, написанных на диалектах итальянского Юга. Поэзия Сальваторе Квазимодо популярна и за пределами Италии. На римской встрече поэтов он выступил с докладом.

Нам, советским поэтам, радостно было видеть и слышать свои стихи, переведенные на итальянский язык. В знак ответа и признательности мы — участники встречи в Риме — рады ознакомить советского читателя с помещаемыми ниже стихотворениями наших итальянских собратьев по перу.

В этой подборке, помимо произведений уже упомянутых выше Унгаретти и Квазимодо, представлены также стихи писателя-коммуниста Чезаре Павезе, автора талантливых романов «Товарищ», «Луна и факелы», «Дом на холме». Павезе начал свой путь как поэт, и его поэзия оказала свое влияние на итальянскую литературу последнего времени.

Молодой поэт Вельсо Муччи выпустил два сборника стихов. Он тоже участник римской встречи. В его творчестве находит прямое отражение борьба рабочего класса Италии.

В реалистических стихах поэтов Джакомо Новенты и Антонио Гуерры звучит обличение непосильных тягот крестьянской жизни. В творчестве Новенты и Гуерры продолжается демократическая традиция итальянской диалектальной поэзии.

В подборку включено «Письмо американскому другу», стихотворение, написанное Пьетро Буттитой, сыном известного поэта Иньяцио Буттита.

Перу Марио Сократе принадлежит поэма «Рим в наши дни». В этой поэме слышится биение пульса сегодняшнего Рима, в ней нашли живой и яркий отклик его

трудовые будни, встречи рабочих в своих партячейках, свидания влюбленных на площадях предместий. Стихам Марио Сократе присущ напряженный и четкий ритм, цельность образов, ясность повествовательной интонации.

Римская встреча была кратковременной. Мы надеемся, что она — лишь начало широкого дружественного обмена мнениями, первый шаг к установлению взаимопонимания. И можно с уверенностью сказать, что именно дружественностью, взаимозаинтересованностью, стремлением завязать личные контакты и лучше узнать друг друга — всем этим была отмечена радующая атмосфера римской встречи. Да она и не закончилась в Риме. Она продолжалась во время наших поездок по городам Италии, выступлений и диспутов с писателями, поэтами и общественными деятелями, продолжалась во время бесед с рядовыми тружениками и подлинными энтузиастами укрепления дружбы между Италией и Советским Союзом. Нам приходилось отвечать на бесчисленные вопросы, касающиеся жизни советского общества, работы наших литераторов и работников искусств.

Мы увидели в Италии священные камни древности, землю, облагороженную терпеливым трудом человека, посетили могилы бессмертных поэтов и возложили на них венки, любовались шедеврами архитектуры, живописи, ваяния, внимательно присмотрелись к современному облику этой страны, к ее роскоши и к бедности. Мы рады, что солнечная, демократическая Италия встретила нас крепкими рукопожатиями, добрыми улыбками, словами привета из уст интеллигенции, рабочих и людей сельского труда. Мы словно присутствовали за большим круглым столом дружбы, хотя за этим столом и звучали порой разные мнения, разные суждения, разные взгляды на искусство, с которыми мы иной раз согласиться никак не могли.

Мы убедились, что в Италии у нас много настоящих друзей, и теперь знаем, что в старом Риме растут цветы нашей молодой дружбы.

Всем нашим бескорыстным итальянским друзьям мы говорим от чистого сердца:

«Спасибо за хорошую встречу! Давайте встретимся теперь у нас в Москве, в Советском Союзе. Вы убедитесь, что под небом нашей родины у вас тоже найдется очень много друзей. Друзья эти ждут вас, они готовы продолжить начатый разговор на благо укрепления творческих связей, дружбы между народами Италии и Советского Союза».

Сергей Смирнов

Вельсо Муччи

Поездка по Италии

Поездка по Италии —
Это праздник.
Чудесно весною ранней
Увидеть Сицилию, Флоренцию, Рим.
Но внезапно возникнет у вас желание
На два дня заглянуть в Турин.
Впрочем, и здесь нынешний год
До чего хороша весна!
Тотчас же за Альпами
Вам в глаза
Хлынет голубизна.
И даже в музее египетских мумий

Повеет дыханием вдруг.
Попасть бы туда!
Но как раз очень занят
Ваш итальянский друг.
Он занят.
Внутризаводские комиссии
Выбирает завод «Фиат».
Шестьдесят тысяч рабочих — шутка ли:
Весь город — сплошной плакат.
На стенах самых различных зданий
«ЧИ-ДЖИ-ЭЛ», «УИЛ» и «ЧИЗЛ» *.
В чем суть этих начертаний,
В чем их сокровенный смысл?
«Независимые профсоюзы»
Вам тоже ясны не вполне.
Для того, чтоб понять
Все это как следует,
Надо многое знать о стране.
Ваш друг лелеял иные планы:
Он вам показать был бы рад
Дом, в котором жил Тассо;
Правда, после бомбардировок
Остался один фасад.
Показать вам Эразмовский университет,
Госпиталь, где умер
Клеман Маро,
Старинный французский поэт.
Туринку юную показать,
Красивей которой нет.
Он хотел свезти вас в городок,
Где некогда жил Руссо.
Но взамен того — со старым рабочим
Встретиться вам помог.
Итальянский шахтер с французскими шахтами
Одиннадцать лет был знаком.
Пролетарий с ясным разумом,
С ярким, образным языком.
Друг ваш молча начнет улыбаться:
Ведь вы, буржуа, не очень
Верите в существованье людей
Таких, как этот рабочий.
Так знайте же —
Он один из тех,
Кто в сорок третьем году
Против фашизма, против войны
Был первым в первом ряду.
Вы слушаете его внимательно.
И вас удивит едва ли,
Что «Независимый профсоюз»,
Детище предпринимателей,
На выборах будет провален.
А «Всеобщая конфедерация труда»,
Наше детище, наша любовь,
Солидарность рабочих на выборах

* «ЧИ-ДЖИ-ЭЛ» — Всеобщая конфедерация труда; «УИЛ» и «ЧИЗЛ» — профсоюзные объединения, не входящие во Всеобщую конфедерацию труда.

Продемонстрирует вновь.
Мы против войны и ракетных баз,
Против атомной вакханалии.
И если бы не рабочий класс —
Не ездить бы вам по Италии...
Поездка в Италию —
Это праздник.
Чудесно весною ранней
Увидеть Сицилию, Флоренцию, Рим.
Но как хорошо,
Что прежде всего
Вы попали в рабочий Турин.

Перевод Веры Инбер

Умберто Саба

Три улицы

Лазаретто Веккио в Триесте —
Улица печалей и обид.
Все дома в убогом этом месте
Сходны с богадельнями на вид.
Скучно здесь: ни шума, ни веселья,
Только море плещет вдалеке.
Загрустив, как в зеркале досель я
Отражаюсь в этом уголке.
Магазины, вечно пустоваты,
Здесь лекарством пахнут и смолой.
Продают здесь сети и канаты
Для судов. Над лавкою одной
Виден флаг, он — вывески замена.
За окном, куда не бросит взгляд
Ни один прохожий, неизменно
За шитьем работницы сидят.
Словно отбывая наказанье,
Узницы страданий и мытарств,
Шьют они здесь ради пропитанья
Расписные флаги государств.

Только встанет день на горизонте —
Сколько в нем я скорби узнаю!
Есть в Триесте улица дель Монте
С синагогой на одном краю
И с высоким монастырским зданьем
На другом. Меж ними лишь дома
Да часовня. Если же мы взглянем,
Обернувшись, с этого холма —
Мы увидим черный блеск природы,
Море с пароходами, и мыс,
И навесы рынка, и проходы,
И народ, снующий вверх и вниз.

Есть в начале этого подъема
Кладбище старинное, и мне
С детских лет то кладбище знакомо.
Никого уж в этой стороне
Больше не хоронят. Катафалки
Здесь не появляются с тех пор,
Как себя я помню. Бедный, жалкий
Уголок у края этих гор!
После всех печалей и страданий,
И лицом и духом двойники,
Здесь лежат в покое и молчанье
И мои родные старики.

Как не чтить за памятники эти
Улицу дель Монте! Но взгляни,
Как взывает улица Росетти
О любви и счастье в эти дни!
Тихая зеленая окрайна,
Превращаясь в город с каждым днем,
До сих пор она необычайна
В украшенье лиственном своем.
До сих пор в ней есть очарованье
Стародавних загородных вилл...
И любой, кто осенью с гулянья
На нее случайно заходил
В поздний час, когда все окна настежь,
А на подоконнике с шитьем
Непременно девушку застанешь,—
Помышлял, наверное, о том,
Что она, избранница, с любовью
Ждет к себе его лишь одного,
Обещая счастье и здоровье
И ему, и первенцу его.

Перевод Н. Заболоцкого

Сальваторе Квазймодо

Пятнадцати с площади Лоретто *

Эспозито, Фиорани, Фоганьоло,
Казирачи — кто вы? Звуки, тени?
Вы, Сончини, Гасперини, Принчипато,
угасающие начертанья.
Темоло, дель Риччи, Вертемати,
вы, листва на древе крови,
Галимберти, Бравни, Раньи,
Мастродоменико и Полетти?

* Весной 1945 года на площади Лоретто в Милане были казнены пятнадцать партизан. Сейчас эта площадь называется площадью Пятнадцати мучеников.

О, не запятнает дорогая
наша кровь покрытую ей землю,
а ее возвысит в час мушкетов;
но зияют на наше униженье
ваши раны — эти пули в спину.

Бездна времени прошла, и жерла пушек
тянутся к смертоубийствам новым,
и зовут к смертоубийствам новым
флаги иностранные над кровом
тех домов, где жили вы. Живыми
мнят себя, от вас боятся смерти.
Но не стража злобы наша стража,
наше бдение не плач у гроба,
смерть не смерть, когда она — бессмертье.

Перевод Леонида Мартынова

Плач о юге

Какая красная луна
Над снегом северной равнины,
Как женщины бело лицо
Под ветром севера унылым.
Теперь я сердцем здесь —
Среди лесов и вод,
Окутанных туманом.
Я позабыл о Юге,
Я позабыл о сицилийских пастухах.
Теперь мне чужд
Напев телег скрипучих
На пыльных колеях дорог,
Где горький дым костров
Дрожит, и стелется,
И на стерню ложится.
Я позабыл о криках птиц
И горных пастбищах зеленых.
Но Юг —
Ведь это родина моя.
И человек
О судьбах родины
Заплачет поневоле,
Когда от родины далек.
Я больше не вернусь на Юг.

А Юг устал.
Он так устал,
Что волочить не в силах
Покойников своих
К болотам малярийным.
Наш Юг устал
От одиночества и боли.
Устал от ругани,
Повисшей на устах,
И от проклятий мертвецов,

Застывших эхом
На дне колодцев гулких.
Наш Юг устал
От отраженья крови
В застойных водах.
И Юга сыновья
Теперь уходят в горы,
Где над тропой
Акация цветет.
От крови красная
Акация цветет,
Где снова красная
Акация цветет.

Я больше не вернусь на Юг,
Пусть этот зимний вечер
Холодом своим
Навис над нами.
Пусть северный закат
Моим закатом станет,
И пусть абсурден контрапункт;
Мелодию свою
Сыграю,
И нежность с яростью сливая
И больше не любя,
Я о любви пою.

Перевод Г. Брейтбурда

Джузеппе Унгаретти

Из цикла «Конец Кроноса»

Апрель

Сегодня — впервые
глаза свои юное солнце
могло бы открыть.
Но ты не решаешься, солнце,—
ты в облаке горькой печали скорбишь.

Июль

Когда он приходит,
в багровых огнях лихорадки
сникает прохлада листвы.
Идет, выжигая овраги, глотая потоки,
безжалостно, дико сверкает
и в ярости скалы дробит;
летит, пожирая пространство...
Так из года в год наше лето
глазами, как известью жженой,
зеленую землю клеймит.

Из цикла «Мечты и аккорды»

Ясное небо

Все летом сожжено.
Но лишь опустится полоска тени —
земля прозрачной кровью розовеет,
и с высоты луны прозрачный голос
летит и замирает в камышах.
И в это время гаснут боль и страх.

День за днем

(НА СМЕРТЬ СЫНА)

1

Ребенок так страдал,
Звал маму мальчик мой.
К окну тянулся он,
Уже полуживой.
Влетали воробьи,
Касались рук и плеч:
Им раскрошили хлеб,
Чтобы дитя развлечь.

2

Остался лишь во сне
Его ручонок след.
Беседую с людьми,
Курю... А сына нет.
Такой же, как и был,
По виду я почти.
Но как мне эту ночь
Опять перенести?

3

Быть может, ждет меня
Тяжелый ряд годов.
А будь со мною ты —
Я был бы к ним готов.

4

Ушел ты навсегда.
Но знал бы кто-нибудь,
Как озаряет путь
Мне маленькая тень.

5

Люблю тебя.
И сердце
Болит, как в первый день.

Перевод Веры Инбер

Антонио Гуерра

Кирпич

Всю жизнь мой дед выделывал кирпич,
Всю жизнь отец выделывал кирпич,
И мой удел — выделывать кирпич.
Но все ж не смог никто из нас притом
Себе построить дом.

В Суффраджо храм — его построил я,
Дома, что рядом с ним, построил я;
Я воздвигал и башни, и мосты,
И виллы небывалой красоты,
Но сам я — без жилья.

Гетто

Я видел гетто брошенных лачуг,
Где пахло прелым сеном и соломой,
И колокол над крышами зеленый —
Ночами совы на него садятся.

То был квартал, где жили бедняки,
Ютились за открытыми дверями;
Вдоль шатких стен их жалкий скарб виднелся,
Как будто это выставка какая.

Потом пришла холодная зима,
С деревьев листья сорвала сурово
И бедняков заставила убраться,
И до сих пор над ними нету крыши.

Перевод М. Исаковского

Джакомо Новента

Чтоб увидеть мне солнце

Для того, чтоб увидеть мне солнце,
Что сияет за тучею черной,
Я оставил родную долину,
Ввысь поднялся тропинкою горной.

Ввысь тропинкою горной поднялся,
Солнце в небе увидел я с кручи.
Но увижу ль долину родную
За тяжелой свинцовою тучей?

Перевод М. Исаковского

Пьетро Буттита

Письмо американскому другу

Пора
тебе напомнить
вечера
на берегу реки
и наши речи
о будущем...
И упрекнуть пора
за то, что ты
забыл
про наши встречи,
забыл друзей,
потерянных в бою,
и поле боя —
вроде преисподней.
Я не люблю
Америку твою,
в которой ты
бездействуешь сегодня,
где ты забыл
солдатский неуют
и лица негров,
полные вниманья,—
когда солдаты Севера
поют,
сражаясь за Флоренцию
в Тоскане.
Пора спросить —
как поступаешь ты,
когда разбой
врывается в лачуги
и белого
владычества костры
горят, горят
на негритянском Юге?
Когда —
не сосчитать в который раз! —
избитый негр
застыл в предсмертном хрипе
и стынет кровь,
из ран его струясь,
и обагряет
воды Миссисипи?
Бесчинствуют
сородичи твои.
А ты, быть может,
не стыдясь нимало,
задумываешь
добрые статьи

для университетского
журнала.
И в праздник
с благочинными людьми,
кряхтя
во время каждого поклона,
ты шепчешь в церкви:
— Господи, прими,
меня — раба —
в свое святое лоно?!

Перевод Сергея Смирнова

Эудженио Монтале

Достигнутое счастье

Не ради ли тебя,
достигнутое счастье,
шагаем часто мы по острию ножа?
Для глаз — ты огонек,
мигающий во мраке,
для ног —
ты лед, готовый затрещать.
Тебя не тронет тот,
кому ты всех дороже.
Когда спускаешься ты в сумрак
наших душ,
ты озаряешь их, как утро
птичьи гнезда.
Но все это ничто
перед слезой ребенка,
чей мячик
закатился в водосток.

Перевод Леонида Мартынова

Чезаре Павезе

Простота

Человек, отсидевший в тюрьме, возвращается снова в тюрьму

Каждый день,
Всякий раз, когда хлеба куснет.
А в тюрьме он о зайцах мечтал,
Что бегут по замерзшей земле.
Человек проживает средь стен городских,
Пьет холодную воду и кусает свой хлеб.

Кое-кто полагает, что после тюрьмы
Возрождается жизнь, словно жизнь можно снова начать,
Что вино будет пахнуть вином,
Что вернется зима,
А в трактире за столиком
Будет тепло и светло.
Есть такие, что верят —
Сидят в заключенье и верят.

Но кончается срок,
И они понимают, что зайцев убили другие.
Да, другие, веселые люди
Едят их в трактире, в тепле,
А тебе полагается молча глазеть сквозь окно.

Но когда ты замерзнешь настолько,
Что смелеешь,
И входишь в трактир,
И берешь свой стакан, и глядишь на вино —
Дымный запах, наверное, терпко на вкус, —
И кусаешь свой хлеб,
Тот, что зайцами пахнул в тюрьме, —
То выходит, что хлеб
Уже больше не пахнет ничем —
Даже хлебом.
И вино не пахнет ничем.

И тогда человек вспоминает родные поля.
Оттого, что их пашут уже,
У него хорошо на душе.
В зале пусто. Он вполголоса что-то поет.
На замерзших полях
Появляются зайцы.
И вот — человеку тепло.

1935.

Перевод Бориса Слуцкого

Я пройду по площади Испании

Будет ясное небо,
Улицы распахнутся,
И холм,
Сосною поросший,
Камнем устланный,
Вдруг покажется в створке.
Улицы гул не смутит
Безмятежное утро.
Красками брызжущие цветы
Рассмеются у фонтана,
Как женщины,
Которым хорошо на душе.

Ласточки, лестницы и балконы
Запоют под лучами солнца.
Улица распахнется,
Петь будут камни,
Сердце подскочит,
Как вода в фонтане.
Голос твой
Подымется этой лестницей.
Раскрытые окна узнают
Ароматы умытых камней,
Запахи римского утра.
Улицы гул
Станет гулом сердца.
Луч задрожит и рассыплется.
И все это сделаешь ты,
Безмятежная,
ясная,
милая.

Перевод Г. Брейтбурда

Марио Сократе

Из книги „Рим в наши годы"

С водоворотами вокруг устоев
сплелся По́нте Ми́львио, рыдая
всей протяжностью костей своих усталых;
встала дыбом хребтовина седая,
оседая перед лающей рекою,
укрывающейся в разворотах грома,
бьющего во тьму внезапной бездны,
где блистающая молния исчезла.

После этого косой дождь под ветром
сеет капельки на тополя, на кровли,
на хрусталь задержавшихся трамваев;
теплый лучик прорезается сквозь тучи,
и на фоне окошек возникает
день, из вечера вынырнувший снова,
и на миг с камней и черепицы,
с темной почвы, с мостовой, с тротуаров
валит валом, тяжелым и горячим,
запах города на его границе.

Время! Близится назначенный час тот,
час любовного вечернего действа,
на углах свершающегося так часто.
Здесь в кварталах, где привычные с детства
имена, затерявшиеся в сердце,
обнаруживаются с первым поцелуем,

с первым ласковым соприкосновеньем
в сумраке белеющей ладони,
с головою, доверчиво склоненной,
чтоб потом, устав от созерцанья
мощного любовного потока,
из-под моста бросить взор на город:
не найдется ли где такого места —
комнатки одной, но той, в которой
было б можно сохранить навечно
первых вечеров очарованье.

Но давно до дна полна Фламинья,
и воздвигнутые там домовладенья
расцветают в недоступные палаццо,
и одно лишь только остается —
направляться прямо к Примо Порто,
в тот простор, где смытая дождями
парфюмерия уже не пахнет,
и дорога сливается с равниной,
и в обочинах ручьистая грязища
закипает все гуще, и деревья,
точно срам, обнажают корневища.

Вот куда уходят эти дети,
эти дети тех первых новоселов,
разместившихся вдоль боков Фламиньи
там, где не было ничего, кроме лужиц,
да известки, да дневного света,
да огня, что жрет сырые сучья.
Эти люди упорно, днем и ночью,
год за годом тянули старый город
к берегам своим, и вот огромный
новый город здесь переметнулся
через мост своим бетонным шагом.
Если так и дальше — ладно! Дети
продолжают путь отцов. И тают
в зябкости уже слепого мрака
испарения низины смрадной;
девушка и дышит и не дышит,
позволяя губам своим закрыться
поцелуями и тишиною.

Перевод Леонида Мартынова

Анджело Мария Рипеллино

* * *

Пришел февраль огромный, бородатый,
Над каждым листиком, над каждой малой птицей
Он плачет и томится, словно Горький.
Я весь опутан крыльями газет,
Распластанных по комнате. Я вижу
Сквозь строки надоевшего дождя
Оскаленную пропасть океана,
Землетрясенья дальние и снег,

Подобный белым клавишам рояля.
Я вижу пушки, вижу их огонь,
Я замечаю строй марионеток,
Передвигающих орудья, чтобы дым
Клубами опускался на дорогу.
И нет мне радости от тех газетных крыл:
Убит дождем словесной схватки пыл.
Под завыванье желтых хроникеров
Жизнь скорчилась в гримасе, и томится,
Засосанная липкою трясиной,
О лучшем мире пленная мечта.

Перевод Н. Заболоцкого

Утро

Утром, когда молочницы приносят
Холодные, белые, блестящие бидоны;
Утром, когда городская травка
Продирает глаза, засыпанные грязью;
Утром, когда гремучие трамваи
Весело кидают солнечные зайчики
Друг дружке из окошка в окошко;
Утром, когда люди завернулись с головою
В свежие газеты, пахнущие краской;
Утром, когда глаза еще закрыты,
Но жизнь уже пляшет под веками свой танец
На тонких, похожих на козьи, ножках, —
Утром я вытягиваю руки и бросаюсь
В кипящую речку звуков и красок —
Она течет через все мирозданье.
В лицо мне летят холодные брызги
И теплой радугой блестят надо мною,
Полотенце топорщится, как проволочная изгородь.
Солнце ставит на нашем балконе
Зеркала и чаши ряд за рядом,
И ножки моей дочурки немедля
Бьют на куски зеркала и чаши,
Чаши, что налиты солнцем до края.
Нет для меня ничего дороже
Этих рассветов, когда я снова
Вижу солнце на прежнем месте,
И под веселыми плетками душа
Жизнь запевает во мне свою песню.

Перевод Бориса Слуцкого

«ЛЕТОПИСЬ ХУТОРА БРЕККУКОТ». *Рис. О Верейского*

Халлдор Лакснесс

Летопись хутора Бреккукот

РОМАН

Перевод с исландского Н. Крымовой

20

ЛАТЫНЬ

Что, собственно, Бьорн из Бреккукота думал о латыни? Может быть, он считал, что это сезам, открывающий все скалы Исландии? Если так, то я не склонен считать его правым. У нас в Исландии там, где кончается соленая рыба, начинается латынь.

В старые времена в нашей стране было, пожалуй, больше людей, знавших латынь, чем в других государствах. Латынь в Исландии была признаком благородства. Нищий, уснащавший свою речь латинскими словами, всегда пользовался бóльшим уважением, чем тот, кто подавал ему милостыню. Человек, не знавший латыни, считался в Исландии поистине неграмотным.

До этой поры мир, в котором я жил, казался мне вполне удовлетворительным, и я не чувствовал никакой потребности в другом. У меня было все. Все в нашем доме было, в моих глазах, совершенным. Мне никогда не могло прийти в голову, что капитану Хогенсену, или Руноульфуру Йонссону, или инспектору чего-то не хватает. До той поры я думал, что у бабушки никогда не было других Гримуров, кроме меня, ее Аульфгримура. И я верил, что поскольку она для меня все, то ей достаточно видеть меня таким, каким создала меня природа. И вдруг я обнаружил, что у нее было три Гримура и ей хотелось, чтобы хоть один из них знал латынь, как ее предки. А когда бабушке это не удалось, она проделала путешествие через пустоши, равнины и горы, нашла меня в Рейкьявике и воспитала в надежде, что я выучу латынь вместо ее Гримуров. Я чувствовал себя в какой-то степени обманутым.

Но плакал я только в то памятное утро, а после этого безропотно вступил на путь учения. Постепенно я примирился с тремя Гримурами, которых мне навязали во время рыбной ловли.

Начались другие поездки на лодке, иная поэзия. Я распрощался с соленой рыбой и пинегором, с коровой и лошадью, с навозными мухами и курами, с низким забором, утопающим в кустах пижмы и репейника... Созвучие серебра и меди в кладбищенском колоколе и фамильных часах тоже исчезло.

Но когда дошло до дела, оказалось, что меня нужно учить не только латыни. Мне пришлось купить и разные другие книги, в том числе на

Окончание. Начало см. в № 4.

таких языках, о которых я и понятия не имел. Например, была приобретена книга на датском языке, и в ней рассказывалось, сколько костей в собаке и как каждая из них называется. Был и знаменитый учебник английского языка, который начинался так: I have a book, you have a pen, there is no ink in the inkstand.

Однако эти языки почти не считались наукой. Мне велели их выучить самому, походя, за едой. Единственная наука, всеми признанная и имевшая значение, заключалась в умении склонять латинские существительные и спрягать латинские глаголы. Эти склонения и спряжения и были тем сезамом, о котором я говорил.

Затем меня научили таблице умножения, которую поэт Бенедикт Грёндаль * называл плохими стихами. И к середине лета, когда меня спрашивал рекомендованный пастором студент с бледным, землистым цветом лица, таблица умножения, подобно стихам, лилась из меня сама собой. А на сенокосе я просклонял пастору Йохану все местоимения во всех трех родах и проспрягал все четыре спряжения глаголов во всех временах и формах. Это восхитило пастора, и он сказал, что тот, кто умеет правильно спрягать, — и думает правильно, а тому, кто думает правильно и живет правильно, — помогает господь бог.

Осенью я должен был сдавать экзамен во второй класс классической гимназии.

И хоть я примирился с волей бабушки, но еще много лет упорно противился той резкой перемене жизни, которую влекла за собой гимназия. Некоторое время я еще наполовину чувствовал себя дома и был исполнен недоверия и отвращения ко всему чужому: чужому запаху, чужим людям, чужой рыбе.

В эти годы мною овладела апатия. Меня охватило состояние тупости, которое не могла уничтожить даже радость юности. Люди, которых я не знал, казались мне туманными образами, они пытались принять определенную форму, но превращались в шерстяные чучела. Людская речь казалась мне шумом, вносимым ночным ветром в окошко. Редко-редко я мог расслышать слово. Я полюбил сидеть около печки, когда бабушка готовила обед, беседовать с ней о погоде, слушать, как она напевает старинную народную песню или за вязанием бормочет псалом.

В гимназии мне сказали, что я отношусь к простакам, страдающим болезнью зубрежки. В Исландии считали, что подверженные этой болезни могут стать только пьяницами, журналистами или конторщиками. Поскольку мне не позволили стать рыбаком, будущее было мне совершенно безразлично, и я ничем особенно не интересовался, ничего особенно не хотел. Может быть, эта духовная леность пошла мне на пользу. Я заучивал все бессознательно и механически и отвечал уроки как во сне. В любое время я мог без запинки назвать все кости собаки, как будто они были у меня в кармане. Разбуди меня в три часа ночи, и я мог бы рассказать о каждой из них подробно, как будто они лежали рядом.

Такое состояние души ранее считалось одаренностью. В этом крылась причина того, что меня любили учителя, и, несомненно, это избавило меня от тех неприятностей, которые я навлек бы на себя, показав в годы юношества свое настоящее лицо.

На фотографиях того времени я похож на человека, выпущенного из дома для слабоумных. Я очень быстро вытянулся вверх — виной тому были, конечно, печенка, икра и жирная рыба, которой меня кормили в Бреккукоте.

---

* Бенедикт Грёндаль (1826—1907) — исландский ученый и поэт.

В год своей конфирмации, когда я учился во втором классе, я был одним из самых высоких мальчиков в гимназии. У меня, например, были такие длинные ноги, что они мешали при ходьбе, а руки висели как плети, от которых я никак не мог отделаться. На моем лице никогда не было улыбки, будто из меня вынули душу и остался только страх своей внутренней пустоты. Я был похож на приговоренного к пожизненному заключению, который изредка выглядывает через решетку. Волосы стояли на голове дыбом; никакая сила не могла их уложить, пока само время не нашло на них управы и я не начал лысеть.

Мне не хочется утомлять читателей рассказом о том, как выглядел и как был одет парень, пришедший из землянки и теперь расхаживающий по натертому полу классической гимназии среди сыновей купцов, чиновников и землевладельцев. И все же не могу не упомянуть о своих башмаках, поскольку они позже сыграли некоторую роль в моей жизни.

А дело было так. Для меня нашли башмаки, забытые у нас одним деревенским парнем, когда он лет двадцать пять тому назад уехал в Америку. Мне разрешили их носить зимой, после того как бабушка и дедушка отказались от надежды, что владелец вернется за ними. Но эти башмаки невозможно было износить. Я не буду говорить о том, были ли они уродливы или красивы, ибо в отношении обуви существуют самые различные вкусы. В разное время обувь самых разнообразных фасонов считалась в мире красивой. Было такое время, когда башмаки считались тем красивее, чем длиннее у них носы, пока однажды носок не загнулся кверху, доходя почти до колена. В другие времена в моде была обувь совсем без носков. Возможно, те ботинки, которые я носил в год своей конфирмации, когда-нибудь станут модными, ибо это хорошие ботинки, и редко кто был так доволен своей обувью, как я, во всяком случае в первое время.

Я был поистине счастлив, когда сбросил с себя непрактичные мокасины из недубленой коровьей кожи. Единственное возражение, какое можно было привести против моих ботинок,— это огромное количество гвоздей в подметках; они были похожи на ящик с гвоздями. Каждый раз, когда я доходил в этих ботинках до города, из подметки вылезали сразу несколько гвоздей и впивались мне в ногу. Поэтому, надевая эти ботинки, я должен был захватывать с собой и клещи. Тогда я еще не был выскочкой и не стеснялся садиться на край тротуара и вытаскивать гвозди. Отчетливее всего я помню, какой страшный шум производили эти ботинки в классической гимназии. Толстые и жесткие подметки, а также железо, которым были подкованы ботинки, задолго до моего приближения предупреждали о том, что идет Аульфгримур из Бреккукота.

21

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КИТАЙЦЕВ

Я надел на себя маску равнодушия — это привело к тому, что я стал похож на гусеницу в коконе. Каким бы жалким я ни выглядел, надо мной никто не насмехался. Я был чудаком, но не забавным глупцом. Возможно, что надо мной издевались больше, чем мне казалось, но в юности я был совсем толстокожим и не понимал, что надо мной смеются, до тех пор пока надо мной не начинали издеваться.

Говорят, что каждый человек находит себе подобного. Я нашел уроженца западных долин, старого Йоуна, а он меня в первый же день моего поступления во второй класс. Йоун был вдвое старше меня и каждый день брился. Некое общество, издававшее в Норвегии религиозные брошюры,

возложило на него высокую миссию — обращать китайцев в христианскую веру.

Над стариком Йоуном часто смеялись, говорили всякие обидные слова и пытались его разозлить. Широкоплечий, белокурый — он был искренне убежден в том, что людям станет лучше жить на свете, если они будут читать христианские брошюры на норвежском языке, и что китайцам полезно изучать толстые иллюстрированные библейские истории большого формата, напечатанные в Христиании. Над его идеями беспрестанно смеялись, поскольку в Исландии укоренилось понятие, что всем верующим не хватает винтика в голове.

Учиться старику Йоуну из-за его возраста было уже поздновато. Но замедленность восприятия у этого человека не шла ни в какое сравнение с его совершенно невозможной памятью. Латынь, в особенности спряжения, казалась ему бесполезным и отвратительным изобретением. Он считал, что только князь мрака мог додуматься до того, чтобы у одного глагола были десятки форм в латыни и сотни в греческом. Но он без колебаний изучал их, поскольку на него снизошло призвание. И так как вся эта премудрость уже с первого дня пребывания в гимназии хлынула на меня стройным и ровным потоком, учитель предложил мне помогать старику Йоуну изучать латынь.

Часто до поздней ночи я вдалбливал в него латынь, брал его с собой ночевать в Бреккукот и вставал чуть свет, чтобы проверить его знания. Старик Йоун уже давно привык вставать на рассвете, убирать в коровнике; утром он всегда был в чудеснейшем настроении, но уже забывал всю выученную вечером латынь. Он хотел, чтобы мы молились за китайцев на новонорвежском языке; разумеется, я ничего против этого не имел, хотя считал более целесообразным просить господа, чтобы тот помог Йоуну выучить латынь. Новонорвежский язык очень подходил для старика Йоуна — это такой обрубленный язык, что в нем нет даже падежей, только какой-то намек на немецкий родительный падеж: например, «мужчины собака». На этом удивительно комичном языке мы и обращались к господу. Школьные товарищи прозвали нас «Длинный и Толстый», на улице на нас оглядывались, а пьяные увязывались за нами.

Однако было нечто, что роднило нас больше, чем латынь и новонорвежский язык,— это музыка. Ничто не пугало старика Йоуна, не было такого препятствия, через которое он бы не перешагнул, если был уверен, что это приблизит срок его поездки в Китай. Йоун оказался обладателем маленького органа и пытался извлекать из него звуки. Но дело не шло — и он считал, что виной тому слишком маленькие клавиши. Он, собственно, не испытывал особой любви к музыке, но слышал, что преподавание библии нужно сопровождать игрой на органе. И вот он решил найти себе преподавателя музыки.

В те годы мне казалось, что песня умерла. Я никогда не знал, какой издам звук, если открою рот. Я перестал слышать ту песню, которая раньше наполняла собой все вокруг меня, и довольствовался чтением газетных заметок о Гардаре Хоулме. Теперь сообщалось, что он поселился в графском замке.

Вспоминаю. Была ранняя весна, я собирался переходить в третий класс и конфирмоваться у пастора Йохана.

Девушка, одетая как датчанка, остановилась на другой стороне улицы и пялила на нас глаза. Ничто не было для Йоуна и меня более чуждым, чем мысли о женщине. Я даже не взглянул на ту сторону улицы. И все же мне показалось, что на девушке красные перчатки с кисточками. Мы давно уже привыкли к тому, что на нас глазеют на улицах, и не обратили на нее внимания. Но вот я вижу, что девушка пересекает улицу, идет

нам навстречу и пристально смотрит на меня. Неужели я ее знаю? Так ли это?

— Ты не узнаешь меня? — спросила девушка.

— Нет,— ответил я.

— Почему же ты меня не узнаешь?

— Сними шляпу,— обратился ко мне Йоун.

— Зачем? — спросил я.

— Неужели ты такой невоспитанный?

Рассмотрев девушку поближе, я увидел, что она еще далеко не женщина, хоть на ней и были красные перчатки с кисточками: она выглядела старше меня года на два, не больше.

— Почему не приходят открытки от Гардара Хоулма? — спросила она.

— Какие открытки? — удивился я.

— До чего же ты непонятлив! А это что еще за чудак с тобой?

— Какое тебе дело?

— Скажи мне честно,— она понизила голос и приблизилась ко мне.— Это действительно был золотой?

— Конечно.

— Иисусе, как я рада, что ты это сказал! Отец говорит, что это была медная монета.

— А что он об этом знает?

— Дело не в том, — сказала она. — Спасибо. Ты учишься в гимназии. Кем же ты хочешь стать?

— Морской воробьихой.

— Когда ты, наконец, перестанешь изображать из себя чудака?

Вскоре после этого я обратился к моему новому другу.

— Послушай, Йоун, мне захотелось научиться играть на органе.

— Никому не посоветую этим заниматься,— ответил Йоун.— И скучно, и банально. Я ни за что не стал бы этому учиться, если бы не поездка в Китай.

Музыка в Исландии еще со времен средневековья была не признаком образованности, а считалась, в особенности среди образованных людей, чем-то искусственным, каким-то заблуждением. Так было до тех пор, пока Гардар Хоулм не сделал Исландию страной музыки, знаменитой во всем мире. Тогда исландцы начали думать иначе. Но все же еще долго считалось нелепым прославиться пением. Поэтому-то в мои молодые годы невозможно было себе представить, что кто-то, кроме духовного пастыря, возьмет на себя труд изучать пение и музыку. Песня нужна только тогда, когда людей опускают в землю,— таково было общее мнение.

Вместе с Йоуном я пришел в собор просить органиста научить нас играть на органе. К моему удивлению, органист знал меня. Он спросил:

— Не тебя ли пастор Йохан вел за руку по кладбищу и просил петь?

— Только на маленьких похоронах,— извиняющимся тоном сказал я, ибо знал, что органисту выпадали честь и труд участвовать в больших похоронах.

— Это ничего не значит, я все же знаю тебя,— сказал органист,— ты немного сродни нашему Гардару Хоулму. Может быть, ты тоже собираешься выступать перед султаном в Алжире? Или в Китае, как наш друг Йоун?

У органиста я впервые познакомился с тем, что называется человеческим жилищем в том смысле слова, какое оно приобрело в мире после 1000 года: тут была столовая, гостиная, настоящая кухня, а не только печка, была мебель с мудреными французскими названиями — шифоньерка,

буфет, канапе. Жена органиста была датчанка, и, очевидно, она обставила квартиру по своему вкусу. Впервые я сидел в плюшевом кресле с бахромой. В кабинете около двери стоял орган. Но совершенно покорил мое воображение блестящий рояль в гостиной. Вначале я подумал, что инструмент с такой большой клавиатурой включает в себя все звуки, какие только можно услышать во вселенной, и удивился, узнав, что каждый звук имел свое постоянное ложе, если оно только не было нарушено, и что из скрипки, хотя у нее всего четыре струны, можно извлечь много звуков.

— Слышал ли ты когда-нибудь музыку? — спросил органист.

— Только когда был маленьким,— ответил я.

— Ну, это уже кое-что. Впечатления детства всегда самые сильные.

Я не объяснил ему подробно, какую музыку имел в виду, поскольку, откровенно говоря, в эту минуту подумал о навозной мухе, жужжание которой мне и сейчас еще слышалось в зимние вечера, когда я засыпал.

— Блайр, — крикнул органист, подходя к двери, ведущей в кухню.— Сядь за орган.

В двери показалось видение, которое лишило меня дара речи. Лучи света как бы сконцентрировались в этом образе. Солнце сияло в ее волосах, и они тоже излучали свет. Она посмотрела на меня своими сине-зелеными глазами. Потом села за орган.

Я уже не помню, что она играла, но, кажется, это был Гаде * или Люмбю **. А может быть, Хартманн ***? Возможно, это была «Снежинка». Хорошо ли она играла? Не знаю... У нее были большие с голубыми прожилками руки. Прекраснее этих рук я не видел. Движения ее тела напоминали о спокойных ударах хвоста пинегора по воде. Никто не слушал музыку с таким благоговением, как я в этот благословенный день. Это была сама жизнь, и я хотел, чтобы вечно звучала мелодия и вечно продолжалась жизнь.

Но вот музыка кончилась. Девушка встала и улыбнулась. От игры у нее заблестели глаза, разрумянились щеки. А у меня потемнело в глазах, словно я вот-вот упаду в обморок. Посмотрев на меня, она перестала улыбаться. И вышла. Она, наверное, подумала, что не стоит труда играть для таких, как мы.

У покосившейся стены в доме пономаря стоял орган в четыре с половиной октавы, каждый второй клавиш в нем молчал. Его оставил здесь Гардар Хоулм.

— До чего же расстроен твой орган, милая Кристина,— сказал я.

— Что ты говоришь, дитя? — ответила она. — Я мою его с мылом каждую весну и осень.

— В нем молчит каждый второй клавиш.

— А я слышу все прекрасно. И если бы он издавал больше звуков, мне было бы страшно. Только дотронусь до одного клавиша — и вижу перед собой все так, как это было раньше у нас на кладбище.

И все же Кристина разрешила Йоуну починить орган. Никто из нас обоих никогда прежде этим не занимался, но мы помолились богу на новонорвежском языке, и нам удалось заставить большую часть клавишей зазвучать.

По вечерам, когда я начал упражняться в гаммах, старая Кристина приходила, садилась и слушала. К ней возвращалось утро ее жизни, утро вечности, и она видела кладбище таким, каким оно было раньше. И вскоре она засыпала на своем стуле.

---

* Нильс Вильгельм Гаде (1817—1890) — датский композитор.

** Ганс Христиан Люмбю (1810—1874) — датский композитор.

*** Йохан Петер Эмилиус Хартманн (1805—1900) — один из создателей датской национальной музыки.

22

ШУБЕРТ

Раз в неделю, а иногда и несколько чаще я приходил заниматься к этому доброму человеку с длинным, худым лицом, с карими глазами и большим кадыком, в котором жил мягкий бас; в детстве я изредка слышал его на кладбище. Кадык выглядывал из воротничка, точь-в-точь как на портретах славных датских композиторов. Прелестная жена композитора угощала меня кофе и хлебом с сыром. Я был в таком восторге от своих занятий, что, приходя в дом пономаря, когда все ложились спать, садился за орган Кристины и мог сидеть за ним до утра, когда наступала пора идти к старику Йоуну.

Органист преподавал без всякого метода; наши занятия не имели ничего общего с уроками музыки. Это походило на приятную беседу о том о сем, на невинное и веселое развлечение в свободное время. Никто не замечал, чтобы этот музыкант — самый известный в Исландии — считал потерей времени учить неуклюжего парня гаммам. В одном мы — учитель и ученик — были схожи: никто из нас не говорил об оплате. Только много лет спустя я понял, что то время, которое органист собора и к тому же единственный композитор в Исландии тратил на меня, могло быть обращено в деньги. Но он, быть может, и не думал об этом.

Его солнечный дом привлекал меня настолько, что классическая гимназия тонула, словно в сумерках. Все остальное бледнело перед музыкой. Я бы охотно ходил к органисту каждый день. Поздно вечером мною вдруг овладевало страстное желание без всякого видимого повода бросить свои уроки и уйти из дому. И прежде чем я успевал опомниться, я уже стоял перед красным деревянным зданием, с крышей из волнистой жести, с белыми наличниками окон или сидел на каменном пороге землянки напротив и смотрел на окна этого дома. Иногда оттуда доносилось пение и звуки рояля. Изредка за занавеской мелькала тень, которая казалась мне силуэтом девушки. Хотя я стараюсь избегать громких слов, все же, не колеблясь, скажу, что ни одно видение не волновало меня сильнее. Вначале сердце как будто переставало биться, потом неистово колотилось, и я, как вор, бежал в безопасное место. Ночные сторожа смотрели на меня довольно косо. Трудно представить, чтобы какой-нибудь вор переживал более сильные угрызения совести, чем я, пытавшийся украсть эту тень. Иногда мне думалось — единственное мое оправдание в том, что это могла быть тень другого человека.

Я всегда чувствовал, дома ли она. И мне всегда становилось легче, когда я обнаруживал, что ее пальто не висит в передней. Если я улавливал ее присутствие в доме то ли по скрипнувшей ступеньке, то ли по открывшейся наверху двери, или по шагам в кухне, я становился растерянным, застенчивым и мне приходило в голову, что мои ботинки, может быть, слишком велики.

— В чем дело? — спрашивал органист.— Ты опять не спал всю ночь и вместе с Йоуном молился за китайцев?

Когда мне везло и ее не было дома в течение всего урока, органист говорил:

— Я уверен, что ты можешь научиться играть на органе. Кем же ты, собственно, собираешься стать, когда окончишь школу?

Я всегда отвечал, что собираюсь ловить рыбу, но как-то не решался сказать — пинегора. И добавлял:

— А вообще определенных планов у меня еще нет.

— Значит, ты не собираешься стать гражданином мира, как Гардар Хоулм? — спрашивал органист.

— По чести сказать, не знаю,— говорил я и впадал в задумчивость, а потом прибавлял: — Но было бы приятно послушать, как Гардар поет, например, «Лесного царя».

— Да,— откликался органист,— этого мы все ждем.

— Может быть, он самый знаменитый певец в мире? — спрашивал я.

— Не знаю,— отвечал органист.— Когда я с ним познакомился, он стоял за прилавком у старого Йоуна Гудмунсена. Помню, старик даже платил за его обучение, но это, очевидно, продолжалось недолго. Человек, собирающийся стать мировой знаменитостью, не засиживается на школьной скамье.

— Разве он не стал всемирно известным? — допытывался я.

— Во всяком случае, он настолько знаменит, что мы оба слыхали о нем,— отвечал органист,— а это что-нибудь да значит.

— Вы слышали, как он поет? — спрашивал я.

— Нет,— отвечал органист,— но меня не было и тогда, когда Христос спас мир.

Я был немало удивлен, найдя единственного человека, если не считать жителей Бреккукота, явно не желавшего высказывать свое мнение об истинности славы и величия Гардара Хоулма.

Я не помню, чтобы мне когда-нибудь еще удалось втянуть органиста в разговор о человеке, которого многие называли моим родственником и которого, как и меня, послали в город купить на три эре перца.

Органист давал мне ноты с экзерсисами. Однажды среди них попалась настоящая музыка. Это были мелодии Шуберта, и по этим нотам я выучил «Лесного царя».

Я начал перелистывать нотную тетрадь, сидя за маленьким органом в доме пономаря, и быстро понял, что эти ноты для меня еще слишком сложны: они написаны для соло с аккомпанементом и к тому же снабжены немецким текстом. Все же я начал их разбирать и, поскольку в те годы у меня еще не было голоса, пытался наигрывать эту мелодию. Изучив латынь прежде, чем немецкий, я вынужден был по словарю искать каждое второе слово, чтобы понять стихи. Удивительное акционерное общество, написавшее тексты к мелодиям Шуберта, вызывало во мне такое любопытство и восхищение, что вряд ли даже пигмеи в девственных лесах Африки могли изумляться сильнее.

Конечно, я едва справлялся с аккомпанементом, и то лишь кое-где, да и орган не подходил для этой музыки, но я находился во власти гармонии. Шум воды и ветра, сопровождаемый ударами барабана, долго преследовал меня. Постичь сущность немецкой изобретательности в эти годы моего становления было настоящим событием. Однако железная дисциплина речи, царившая в Бреккукоте, одерживала верх. Красноречие немецкого акционерного общества нам не подходило. В Бреккукоте слова были дороги, потому что они кое-что значили. Наши слова были похожи на деньги до инфляции; глубокое переживание не выразить словами. А пышные немецкие тексты говорили, в сущности, очень мало или даже совсем ничего и только удивляли. Зато как много говорил мне звук, когда он гармонически сочетался с другими звуками:

Так натяни скорее лук и смерти
Предай меня, небесная жена!

Если придерживаться теории, что слово существует для того, чтобы скрывать мысли, и что оно означает нечто совершенно другое, а иногда даже нечто прямо противоположное всему сказанному, то нередко приходится примириться с ним и простить поэта. Иные слова, при всей их странности, стремятся донести до нас правду музыки. Тогда следует, хоть в некоторой степени, признать их ради музыки.

Однажды весной я, как обычно, пришел к органисту на занятия. Шагая по ступенькам, я думал о том, подходящие ли у меня ботинки. Но как бы там ни было, я еще не успел постучать в дверь — она открылась, и появилась Блайр.

Я не буду пытаться описывать эту девушку, ибо всякое описание покажется чрезвычайно далеким от истины. В моих глазах она была не только красивой девушкой с мельницы, рыбачкой, печальной маленькой девочкой в роще, гневной Дианой и молодой монахиней, она была также форелью и липой, песней воды и литанией, короче говоря — Шубертом.

— Отца нет дома, — предупредила она, глядя мне в глаза. — Он просил меня позаниматься с вами.

Я ничего не ответил и по-прежнему стоял в дверях. Она продолжала смотреть в мою сторону. У меня потемнело в глазах.

— Пойдемте, — сказала она, взяв меня за руку, поскольку я не двигался. Повела и усадила за орган. Я чувствовал, что смерть моя близка, может быть, я даже почти мертв, или, вернее, начал умирать подобно тому, как кокон куколки отмирает по окончании зимы. Но, к сожалению, я умер не полностью, а продолжал жить, чтобы воскреснуть в образе бабочки.

— Какие упражнения вам на сегодня заданы? — спросила она.

— Я ничего не могу вспомнить.

Она раскрыла ноты и сказала:

— Сыграйте что-нибудь из того, что вы разучивали.

— Я забыл.

— Тогда сыграйте гаммы. Их вы не забыли?

— Забыл... забыл и гаммы.

— Не может быть. Гаммы нельзя забыть, ведь это просто ряд нот.

Но, клянусь, я не мог вспомнить и гамм. Девушка расхохоталась. Я встал и пошел к двери. Я шел по полу в своих больших башмаках, с клещами в кармане, с торчащей во все стороны щетиной волос на голове. Девушка следила за мной глазами.

Больше я туда не ходил. Я перестал играть на органе. Наступила весна. Я конфирмовался и сдал экзамены. Старик Йоун уехал на запад. Я не решался появиться поблизости от дома органиста, не осмеливался даже смотреть в том направлении. Иногда я думал, что прокрадусь туда как-нибудь темной ночью, но мысль о ночных сторожах отпугивала меня.

23

ГАРДАР ХОУЛМ ВТОРИЧНО ПРИЕЗЖАЕТ ДОМОЙ

Мне шел восемнадцатый год, когда Гардар Хоулм вторично приехал в Исландию. К тому времени табак у инспектора давно весь вышел и кисет, сморщенный и запыленный, лежал на полке, но в кисете с золотом еще кое-что оставалось.

В газетах стали появляться статьи о том, что Исландия может ждать своего прославленного певца, но никто не знал когда. Наконец сообщили, что он приедет на почтовом пароходе «Полярная звезда» в первой неделе августа. Он давал концерты на другом краю земли — в Австралии и Японии. Его наперебой приглашали оперные театры Европы и Америки, но он предпочел не связывать себя контрактом с какой-либо оперой, поскольку у ног певца лежал весь мир.

В начале сенокоса начали поговаривать о том, что необходимо подготовиться к приему Гардара Хоулма. Нация должна показать свое лицо, когда волна славы принесет на своем гребне всемирно известного певца в

его жалкий родной город, о котором иностранные туристы по-прежнему утверждали, что он примостился чуть ли не у самого Северного полюса.

Собрались пассажиры первого класса нашего национального корабля: городской совет, пожарный корпус, литературное общество, духовой оркестр и женский союз «Браслет». На этом совещании было решено воздвигнуть на пристани увитую гирляндами почетную арку, под которой четыре великана на руках пронесут знаменитого певца. Духовой оркестр сыграет торжественный марш, а девушки в белых платьях встретят певца с букетами цветов. Предполагалось, что городской судья выступит с краткой речью, а один из уважаемых литераторов, по всей вероятности редактор «Фолдина», напишет стихотворное приветствие. Ожидали, что Гардар Хоулм, сойдя на берег, будет приветствовать свой родной город песней, но только никак не могли договориться, с какого балкона ему лучше выступить.

Перед прибытием «Полярной звезды» в спешном порядке красили фасады домов. Гудмунсеновский дом и здание редакции газеты «Фолдин» были окрашены в серо-зеленый цвет. Воспользовалась случаем и духовная семинария: ее здание тоже было выкрашено в серо-зеленый цвет. Лавочники на боковых улицах не захотели отставать и выставили в своих витринах среди мыла и губок, спичек и кастрюль увеличенные фотографии певца. Продавались булавки с миниатюрным портретом артиста — еще одно изображение человека, в мечтах видящего, как по небу мчится золотая карета.

Если случалось, что в течение нескольких недель в газетах не писали о Гардаре Хоулме, у нас дома иногда можно было слышать такие слова: «Да, сын Кристины был хорошим мальчиком, когда рос здесь на кладбище». Но чем больше трубили о нем в городе, тем больше замыкался в молчании Бреккукот. Волна восторга, вызванная его именем, никогда не была так далека от нашего хутора, как в те дни, когда она с особой силой билась о стены Бреккукота.

Я никогда всерьез не думал, что эта торжественная встреча состоится, и прямо говорил: «Ее не будет». Я считал, что обитатели столицы каждый раз попадались на удочку Гардара Хоулма, а он никогда не шел ни на какую приманку, даже на почетную арку и духовой оркестр. Иначе все его воспитание на кладбище пошло бы прахом. Разве можно было предположить, что он подчинится планам, составленным за него другими?

День прибытия «Полярной звезды» я помню, как будто это было вчера. Конечно, лил проливной дождь и завывал ветер. Кто ожидал иного? Восемь-десять промокших насквозь девушек стояли на пристани, дрожа от холода, с мокрыми цветами. Несколько усталых ремесленников — среди них косой сапожник — с духовыми инструментами чуть было не умерли от холода, а дождь лил им прямо в трубы. Городской судья пришел в пальто и в галошах. Еще до того, как показалась лодка, отчалившая от парохода, музыканты, чтобы согреться, решили сыграть торжественный марш. Городской судья снял галоши. В эту минуту к музыкантам подошел какой-то человек и сообщил, что среди пассажиров «Полярной звезды» Гардара Хоулма нет и все это сплошное недоразумение, ибо певец дает концерты в Париже. Музыканты перестали играть, вылили воду из труб и разошлись. Городской судья снова надел галоши. Девушки с цветами разбежались по домам под проливным дождем. Почетная арка с гирляндами была снята.

Все это я предчувствовал заранее.

Но однажды, кажется через неделю, когда я шел в город по тропинке через кладбище, я неожиданно натолкнулся на прогуливавшегося господина с тростью в руке. Я обычно не заглядывал встречным в лицо, ибо уже

на далеком расстоянии узнавал, кто идет мне навстречу. Однако сейчас я случайно посмотрел на него. Это был не кто иной, как Гардар Хоулм.

Я не сразу узнал его — на первый взгляд он показался мне незнакомым. Ведь прошло пять лет, а это огромный срок в жизни человека. Знаменитый певец постарел, черты его загорелого, обветренного непогодой лица стали строже, морщины — глубже, а взгляд — слегка косоват. Он был, конечно, одним из тех, кто видит небесный свет, как об этом говорится в латинской книге об орле: «Adspicit lucem celestem»*, — и вряд ли можно было надеяться, что он узнает Аульфгримура. Но хотя Гардар Хоулм шел задумавшись, словно находясь вне времени и пространства, он посмотрел на меня необычным, косящим взглядом.

Как ни странно, когда я пожирал глазами этого человека и сравнивал его с портретом певца, прозревающего небо, с портретом, который сохранился в моей памяти с детства и который я создал на основании почтовых открыток, он вдруг показался мне несколько будничным. Во всяком случае, он не был таким шикарным, как прежде. И я был уверен, что на нем та же шляпа, что и в прошлый раз, пять лет тому назад. Зато на нем уже издали виднелись блестящие новые ботинки — а в годы моей юности это было редким явлением. Откровенно говоря, даже не помню, чтобы до той поры я видел кого-либо в новых ботинках. На его платье не было ни пятнышка, ни морщинки, как и пять лет назад. Но мне показалось, что на нем тот же самый костюм, что и прежде; во всяком случае, он был сшит из такой же синей материи с красными квадратиками.

Когда Гардар Хоулм проходил мимо, я остановился и стал смотреть ему вслед... Он повернулся на каблуках и тоже остановился.

— Ты меня знаешь? — спросил он.

— Да,— ответил я.

— Кто ты?

— Аульфгримур.

— Так это правда,— и, по-прежнему погруженный в свои печальные мысли, он улыбнулся.

Я стоял, как пригвожденный. Наконец он подошел и протянул мне руку.

— Значит, ты существуешь! А я думал, что мне это приснилось. Это ты ел пирожные по пять эре?

— Да, мне предложили пирожные, но я съел только одно.

Гардар Хоулм сбросил с себя бремя мировой славы и засмеялся.

— Во всяком случае, ты шел в город за перцем! Купил ты его? И отдал ли бабушке?

Я считал невозможным ответить на этот вопрос и перевел беседу на другое.

— Мы думали, что вы уже не приедете, — сказал я. — Почетную арку сняли.

— Это на них похоже,— и он снова улыбнулся, стремясь показать, что он в хорошем настроении,— мне это не понравилось. Приходи ко мне. Мы пойдем и купим пирожные по пять эре за штуку.

— Большое вам спасибо,— вежливо поблагодарил я.

— Не нужно говорить мне — вы. Это все равно, что быть на вы с самим собой. Если я могу что-нибудь для тебя сделать, скажи об этом.

Он заторопился, очевидно считая, что мне не о чем просить его. А ведь я в течение многих лет носил в себе одно желание, и теперь для него пришло время.

— Я хочу попросить тебя спеть «Лесного царя».

— Лесного царя? — удивленно спросил он. — Какого лесного царя?

---

* Он видит небесный свет *(лат.)*.

— „Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?“
— Что я слышу? Откуда это у тебя?
— Я перелистывал Шуберта.
— Шуберта? Зачем?
— Случайно.
— Поговорим об этом поподробнее. Приходи ко мне как-нибудь... в «Hotel d'Islande». Я попробую сделать для тебя, что смогу.

Он пожал мне на прощание руку, и я заметил, что рука у него была грубая и шершавая.

24

«ЛЕСНОЙ ЦАРЬ»

В это лето передо мной как бы забрезжил новый свет. Годами я не осмеливался петь при других, боясь звуков, которые могут вырваться из моего рта. Но когда я гулял в окрестностях Бреккукота, мелодии рвались наружу и превращались в хрупкие дробящиеся звуки — они уже отдаленно напоминали тот тон, к которому я стремился. Поэтому я пользовался любым случаем, чтобы поупражняться в пении там, где меня никто не слышит.

Однажды я увидел, как пастор Йохан, которому тогда исполнилось восемьдесят лет, совсем согнувшийся, ковыляет по кладбищу за гробом какого-то чужака. Я подошел, как в былые времена, когда был маленьким, и, не дожидаясь просьбы пастора, пропел над покойником «Подобно одинокому цветку». Когда я кончил, пастор Йохан бросил горсть земли на гроб, затем, растроганный, подошел, взял меня за руку и сказал:

— Ты так вырос и стал таким способным, дорогой Аульфгримур, что мне неудобно дать тебе десять эре. Зато я буду молить господа, чтобы он помог тебе.

— Спасибо вам,— сказал я, хоть и предпочел бы получить десять эре. Я не верил, что заслуживаю помощи бога за свой визг. Я был почти убежден, что больше никогда не смогу издать ни звука.

Тогда пастор Йохан сказал:

— Некоторые голоса всегда находятся в переходном периоде. Но во всяком добром человеке, как мышка в мышеловке, или, скорее, как мышка в норе, живет чистый тон. И это особая милость господа, если человек поет тем звуком, который он сам слышит. Я стар, но мой голос все еще в переходном периоде. Мне никогда не удавалось петь тем звуком, какой я слышу. Но тон от этого не стал хуже.

В то лето, когда ко мне вернулся голос, я думал о пении. Это неудивительно — я был на седьмом небе от счастья, что сам певец вернулся в Исландию. Надеясь услышать «Лесного царя», я не стал медлить с ответом на его любезное приглашение. Смазал овечьим жиром свои скороходы, попытался пригладить вихор, смочив его водой, и отправился в город. Войдя в вестибюль гостиницы, я подошел к хозяину «Hotel d'Islande», сидевшему за конторкой с опущенной головой, и поздоровался.

Голова поднялась, хозяин взглянул на меня поверх очков, но продолжал листать свои бумаги, не ответив на приветствие. За его спиной в клетке висела птица. Я кашлянул.

— Кто вы? — спросил он на каком-то смешанном полудатском-полуисландском языке.

— Меня зовут Аульфгримур.

— Что вам нужно?

— Ничего. Я хотел только с кем-то поговорить.

— С кем-то? — хозяин гостиницы оглядел меня с ног до головы.— Здесь кто-то не живет.

— Извините, но разве Гардар не живет здесь?

— Не понимаю.

— Я хочу поговорить с Гардаром Хоулмом.

Человек встал и торжественно снял очки, чтобы лучше разглядеть меня.

— Вы хотите сказать — с знаменитым певцом?

— Да.

— Зачем же он вам нужен?

— Он просил меня прийти.

— Милый молодой человек,— сказал хозяин и подошел вплотную к барьеру.— Вы, наверное, из деревни?

— Я живу здесь, в городе, в Бреккукоте.

— Вы от старого Бьорна из Бреккукота? — спросил хозяин.— Как вам пришло в голову, что вы можете говорить с оперным певцом?

— Я ему почти родственник.

— Этого никогда нельзя знать... Что я могу для вас сделать?

Я вновь высказал свое пожелание.

— Если вы знаете Гардара Хоулма, то вам должно быть известно, что не всякий человек может беседовать с оперным певцом. — Хозяин говорил теперь на чистом датском языке.— Если пустить к нему одного, сюда скоро прибежит весь город. Вам кажется, что он ваша собственность. Вы говорите, будто вы его родственник, и так как я не могу этого опровергнуть, то вынужден вам верить. Но позволю себе усомниться в том, что такое родство ведет к дружбе, если вы считаете, что можете ввалиться к вашему кузену, или кем он вам доводится, так же легко, как съесть сосиску. Правда, когда наша национальная знаменитость находится в Исландии, его адрес — мой отель. Я имею честь получать на его имя письма и отвечать, что его нет дома. Время от времени он дает мне за это золотую монету. Но письма никогда не приходят, ибо никто из его друзей не относится к нему с таким презрением, чтобы подумать, что этот великий человек на самом деле живет в «Hotel d'Islande». Он называет мое заведение семейным пансионом. Иногда он заходит сюда, но, услышав канареек, сразу же убегает сломя голову.

— Не окажете ли вы мне услугу, сказав, где он живет?

— Живет? — повторил хозяин. — Гардар Хоулм нигде не живет. Он, очевидно, находится на французском военном корабле, который прошлой ночью привез его в Исландию. Корабль там... за островами. А если певец днем сошел на берег, то, конечно, он у губернатора.

Через несколько дней снова хоронили человека без роду и племени, может быть бродягу, и пастор Йохан попросил меня спеть над могилой, пообещав за это тридцать эре.

Я пришел на кладбище в назначенный час. Там был пастор Йохан, и гроб, и полицейский, и могильщики, которые стояли, упершись подбородками в свои лопаты. Траур, как и в прошлый раз, выражался только в том, что гроб был покрашен разведенной сажей. Пастор Йохан бросил лопату земли на гроб и, по ритуалу, пообещал покойнику воскресение в Судный день. Затем он подал мне знак, и я запел. То ли мне надоел псалом Хадлгримура Пьетурссона «Подобно одинокому цветку», то ли по какой-то другой причине, но я решил спеть «Лесного царя» Шуберта.

Как всем известно, «Лесной царь» это, собственно, то же самое, что и наша древняя песня «Улаф мчался вдоль подножия горы», только в немецком стихотворении эльфы манят Улафа при помощи лесного царя, а в нашей народной песне смерть приходит в образе девушки-феи. И хотя совершенно не по-исландски и несовместимо с мировоззрением Бреккукота, чтобы один мужчина вырывал мальчика у другого, все же эта народная немецкая песня затрагивала какие-то скрытые струны в моем сердце.

Может быть, виной тому были звуки объятого страхом тамбурина, которые слышались мне перед рассветом, когда мы с дедушкой ловили пинегора.

— Я никогда не был против новых мелодий,— сказал пастор Йохан, когда я над прахом чужака пропел «Лесного царя» на немецком языке. — Ведь старые мелодии не становятся хуже от того, что хороши новые. Вот тебе двадцать пять эре, но этого мало.

— Мне захотелось попробовать спеть эту мелодию,— сказал я.— Я знал, что тут немного людей, которые могут ее услышать.

— Совершенно правильно,— ответил пастор Йохан.— Здесь на кладбище, кроме бога, тебя никто не слышит. А бог приемлет как новые, так и старые мелодии... Кажется, мой кошелек прохудился. Но вот, наконец, я нашел еще два эре.

— Большое спасибо, пастор Йохан,— поблагодарил я.— Не платите мне больше. Я ведь знаю, что вы сами ничего не получаете за похороны бедных.

— Я мог бы получать за них столько же, сколько за любые другие похороны, если бы только потребовал этого от властей,— сказал пастор.— Но, по правде говоря, я всегда с бо́льшим удовольствием хороню бедных, чем богатых. Это потому, что чем ничтожнее они в этом мире, тем больше для них места в сердце спасителя... Вот, нашел еще два эре... Мне нужно, наконец, обзавестись новым кошельком. Я даже не могу наскрести тридцать эре, которые я тебе почти обещал. Прошу считать одно эре за мной.

Я сел на могилу святого архангела Гавриила, держа монетки за похоронный псалом в руке, а пастор Йохан ушел. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь могильщиками, которые с шумом забрасывали могилу неизвестного землей.

Вдруг кто-то присаживается рядом со мной. Снимает шляпу — было тепло — и приглаживает ладонью волосы. Он явно поседел, и на лбу у него появились морщины. Он смотрит на меня.

— Как тебе удалось добиться этого тона? — спрашивает Гардар Хоулм.

— Какого тона?

— У тебя есть тон.

— Я иногда пою для пастора Йохана.

— Береги этот тон.

— Я на днях приходил к тебе. Но ты был на французском военном корабле.

— Почему ты стоял на краю могилы, когда пел? Не думаешь ли ты, что тот, кто поет над покойником, может стоять впереди вдовы? — спросил он.

— Никакой вдовы не было,— ответил я.— Меня никогда не просят петь над людьми, у которых есть вдовы.

— Нельзя же петь для собственного удовольствия,— заметил он.

— Знай я, что ты здесь, я попросил бы спеть тебя.

Он поднялся, как будто мои слова были ему неприятны. Рассердился ли он на меня? Или скрытность — спутник славы?

— Есть только один тон, — сказал он, как бы продолжая слова пастора Йохана. — Но тот, кто его услышит, уже никогда больше не будет петь.

Глядя на его одежду и обувь, без единой морщинки или пятнышка, я вижу кусочек соломинки, прилипший к брюкам на колене. В этот раз певец не был со мной слишком любезен, хоть и сказал мне несколько странных комплиментов. Но я все же считал, что пушинка на таком человеке — это катастрофа! Я встал и снял с него соломинку.

— Что такое? — спросил он несколько сердитым тоном.

— Соломинка.

— А... я сидел на земле... — и он улыбнулся благодарной и одновременно милостивой улыбкой, подал мне руку, простился и исчез среди могил.

25

ЧЕЛОВЕК НА КЛАДБИЩЕ

У здания газеты «Фолдин» что-то происходило. Редактор, не удовольствовавшись покраской дома, пригласил рабочих украсить балконы колоннами. В то время многие считали вероятным, что после выборов редактор «Фолдина» станет министром. Ходили слухи, что в ближайший субботний вечер этот большой человек устраивает пиршество, на которое приглашены все крупные лавочники и наиболее уважаемые иностранные консулы, а также офицеры датских кораблей, находящихся в исландских водах. Но почетным гостем должен был быть тот, кто прибыл в Исландию на французском военном корабле,— оперный певец Гардар Хоулм. На этот раз газеты заранее ничего о нем не писали, сообразив, наконец, что не следует проявлять поспешность, когда дело идет о знаменитости. Но, хотя в газетах не было ни анонсов, ни заметок, население города догадывалось, что на балконе воздвигаются колонны для того, чтобы Гардар Хоулм вышел после обеда и приветствовал страну песней.

Утро позднего лета. Над морем ни ветерка. Оно спокойное и чистое, без ряби. Я, как всегда, встал раньше других, чтобы вывести корову пастись за калиткой хутора. Я веду ее на поводу, чтобы она не пробралась сквозь ветхую изгородь на капустные грядки. Затем усаживаюсь на большой камень и слушаю, как в утренней тишине корова жует траву. Из бабушкиной печи поднимается дымок. Все кругом еще спит, но несколько рабочих-торфяников с рыжими бородами уже восседают на своих тележках, торжественные, как пророки на картинках в библии, и, подхлестывая ленивых кляч, направляются на южное болото, где самые большие торфяные залежи в мире. Кудахтанье хлопотливых, лишенных юмора кур достигает своего апогея.

Вдруг я слышу, как открывается калитка, ведущая на кладбище, как поют ее петли. Я поворачиваю голову и вижу, что с кладбища выходит женщина и закрывает за собой калитку. Это толстая девушка с лоснящимся лицом, одетая по-датски, в расстегнутом пальто, в руке она несет шляпу на завязках, как ведро. Глубоко задумавшись, она смотрит на меня отсутствующим взглядом. И я представляю себе, что она решила утром пойти на кладбище погоревать на могиле умершего друга. Она направляется к городу. Мне кажется, что она с грустью ступает по земле и, во всяком случае, не следит за тем, как идет; волосы ее словно растрепаны ветром, хотя никакого ветра нет.

Пройдя сотню шагов, она внезапно остановилась и оглянулась. Увидев меня, кивнула все с тем же отчужденным выражением лица. Может быть, она долго не могла догадаться, кто этот парень, сидящий на большом камне и стерегущий корову. Неужели она поворачивается и идет ко мне? Спереди она даже толще, чем сзади, может быть потому, что ела слишком много французских булок? Мне стало не по себе — я не привык к женщинам. Если бы она хоть застегнула пальто!.. Она направляется ко мне. Я отвожу глаза и смотрю на корову, которая по-прежнему жует траву.

— Здравствуй! — говорит девушка.

— Здравствуй! — запинаясь, отвечаю я и смотрю куда-то в сторону.

— Сегодня хорошая погода, — пытаясь быть вежливой, обращается ко мне девушка.

— Да, терпимая, — отвечаю я.

— Я гуляю для собственного удовольствия, — объясняет она. — Доктор говорит, что я слишком толста.

Когда она подошла ближе, мне показалось, что щеки у нее немного ввалились и глаза усталые, а под ними темные круги. В волосах у нее застряли соломинки.

— Ты меня не узнаешь? — спросила она. — А я тебя узнала. Как тебя зовут?

— Лаунгафлоун.

— Лаунга... что? Почему ты лжешь? Не кажусь ли я тебе глупой?

— У тебя сор в волосах...

Она подняла руку и вытащила несколько соломинок.

— Еще остался мох, — сказал я.

— Как я рада, что ты мне это говоришь! Помоги мне, я без зеркальца.

Я исполнил ее просьбу.

— Можно тебя о чем-то спросить? — обратилась ко мне девушка.

Она вынула из кармана пальто фотографию и протянула мне. На ней была женщина средних лет с двумя детьми — мальчиком и девочкой. Мне сразу же показалось, что это одна из фотографий, которые мы иногда получали из Америки, потому что у женщин на этих фотографиях было такое же напряженное и застывшее выражение лица, как у крестьян, живущих в лесах, а их большие обветренные руки были испорчены то ли лопатами, то ли переноской камней, то ли загрубели от постоянной стирки; они были одеты и причесаны по устарелой заграничной моде. Платья на детях сидели так, словно их спешно сшили только ради того, чтобы сфотографировать. У девочки волосы были заплетены в два крысиных хвостика, она таращила глаза от страха и любопытства, мальчик же глядел пытливо. Больше всего меня удивило, что имя фотографа явно было датским, и под ним красовалось название одного ютландского торгового городка.

— Чья это фотография? — спросила маленькая фрекен Гудмунсен.

— А я почем знаю? Откуда она у тебя?

— Я нашла ее на кладбище.

— Странно, — сказал я и с удивлением посмотрел на нее.

— Она лежала на могиле. Ты уверен, что не видел ее раньше?

— Вполне.

— Извини,— сказала она,— и прощай... Как твои успехи в гимназии?

Я рассказал ей кое-что об этом.

— Кем же ты хочешь стать?

— Ловцом пинегора.

— Ну, не дразни меня. Я пойду домой и лягу спать. Тебе не кажется, что я похудела?.. Да, кстати, в каком ты родстве с Гардаром?

— Не знаю.

— Да, да, вы родственники. Когда он приедет, приведи его как-нибудь к нам. Пожалуйста.

— С удовольствием.

Она отошла на несколько шагов, остановилась и с силой ударила по земле острым носком своего модного ботинка.

— Как зовут жену Гардара Хоулма? Она датчанка? И где она? — спросила фрекен.

— Жена Гардара Хоулма? Ты с ума сошла?

— Да, конечно, это глупо с моей стороны. До чего же это нелепо, чтобы такой знаменитый человек был женат и никому не сказал об этом ни слова!.. Не оставить ли тебе фотографию?

— А что мне с ней делать?

— Может быть, ты будешь так добр и отнесешь ее обратно на кладбище.

— Эта фотография не имеет ко мне никакого отношения.

— Неужели ты не можешь оказать мне эту маленькую услугу? Кто знает, может быть, когда-нибудь и я отплачу тебе тем же.

— Я с удовольствием могу бросить эту фотографию на кладбище.

— Нет, не бросить, а передать тому, кто спит там, на кладбище. Это иностранец, он спит на могиле.

— Неужели ты засунула руку в карман спящему иностранцу?

— Какая ты свинья! Но хоть ты и думаешь обо мне так дурно, все же я надеюсь, что ты никому этого не скажешь. Может быть, позже и я окажу тебе услугу.

На этот раз она не обернулась. Я сидел на каменной изгороди с фотографией в руках и смотрел вслед девушке. Корова продолжала пастись. Из трубы бабушкиной печки тянуло чудесным ароматом пахнущего торфом дыма.

Когда девушка исчезла из виду, я пошел на кладбище, чтобы поискать иностранца, которому фрекен Гудмунсен засунула руку в карман и украла фотографию его жены, пока он спал на могиле. Но как я ни искал, я не нашел никого, кто бы спал на какой-нибудь могиле.

26

ТОН

Когда наступили сумерки, гости в праздничных платьях съезжались в дом редактора «Фолдина», где уже горел свет.

Вечером жители столицы собрались на улице. Это были люди, которые не заботились об устройстве пиршества и никак не собирались участвовать в нем, — портовые рабочие и рыбаки в куртках, надетых на вязаные рубашки; людей этого сорта в годы моей юности называли неимущими крестьянами, потому что у них дом был полон ребят, а коровы не было. Находились здесь и пекари, и кузнецы — создатели городской культуры Исландии,— именно они ввели в обиход твердые шляпы, резиновые воротнички и палки. Эти люди жили в постоянном страхе, как бы одного не повесили за грехи другого. Пришли также женщины, работавшие на солке рыбы, которых по старости уволили из порта. Исландия была первой страной, принявшей закон о пенсии для стариков, но этой пенсии хватало только на сухари. Было в толпе много и хорошеньких девушек из окрестных деревень в национальных костюмах. Несколько таких же скучных, как я, парней, слонялись возле дома. Не было недостатка и в зубоскалах, которые всегда заполняли площади еще со времен античной греческой комедии.

Упомянул ли я, что шел дождь?

Время ползло медленно, мы стояли под осенним дождем. Иногда в окне показывалось чье-то лицо или за гардиной мелькала тень; тогда по толпе словно пробегала дрожь. Это он!

Но каждый раз это был не он.

Чего мы ждали от певца? Не были ли мы нацией певцов, потерпевшей когда-то в далеком прошлом кораблекрушение здесь, на этом молчаливом берегу, и с той поры из поколения в поколение ждавшей одного-единственного певца?

Я не буду затягивать свой рассказ. Был уже поздний вечер, все промокли насквозь. Когда мрак спустился над городом, дверь на балкон в доме редактора «Фолдина» отворилась. Оттуда изливался свет и веяло запахами жареного и табачным дымом. Прекрасно одетый господин вышел на балкон — это был хозяин дома. Многие зааплодировали. Он дал знак успокоиться и начал говорить. Он просил толпу разойтись, поскольку почетный гость, которого ждали целый вечер, не прибыл; но только что от него получено письмо, и в нем говорится, что французское военное судно, привезшее его, как гостя главнокомандующего, сейчас уходит в море. Гардар Хоулм уехал и просил передать привет всем высоко и низко стоящим исландцам и пожелание благополучия и процветания всему исландскому народу.

И публика, уставшая от ожидания, стала расходиться под дождем. Ее терпение свидетельствовало о том, что она не впервые переживает это небольшое разочарование. Я повернул фуражку козырьком назад, чтобы вода не стекала за воротник, и зашагал домой.

Я уже говорил, что была ранняя осень, уличные фонари еще не зажигались, и лишь в окнах домов то тут, то там светились огоньки. Пройдя несколько шагов, я увидел женщину, закутанную в темный платок и почти невидимую в вечернем мраке. Она шла на некотором расстоянии от меня неуверенными шагами, шатаясь, как пьяная, и, наконец, споткнулась и упала в канаву. Я поспешил помочь ей и увидел, что это Кристина из дома пономаря.

— Ты ушиблась, Кристина? — спросил я, поднимая ее и выводя на дорогу. Платье на ней было мокрое и грязное.

— Я стала так плохо видеть в темноте, — извиняющимся тоном сказала она, хотя мы все знали, как ослабли ее глаза.

Она все наклонялась, что-то ища на дороге. Наконец мы нашли то, что она искала. Это была корзинка.

— Я только что заходила к Фредериксену, — сказала она.

Это была правда, потому что от корзинки пахло гвоздикой, корицей и другими пряностями. Я предложил проводить ее домой. Кристина согласилась и взяла меня под руку. Я заметил, что она насквозь промокла — наверное, так же как и я, стояла на улице под дождем.

— Благословенный ливень! — сказала она. — Подумать только, промокнуть насквозь из-за того, что я ходила в кондитерскую Фредериксена.

Я помог ей подняться по крутой тропинке до дома пономаря. В темных окнах, конечно, не было никаких признаков жизни, поскольку пономарь умер двадцать пять лет назад.

— Как хорошо, что ты помог мне, дитя, — сказала Кристина, не подозревая, насколько я вырос, не говоря уже о том, что она, к сожалению, перестала давать мне, как прежде, десять эре. — Войди и выпей чашечку кофе, — предложила она.

Старый просмоленный дом пономаря, с резными наличниками, с маленькой кухней и печкой, состоявший из одной комнаты внизу и двух наверху, стоял на самом высоком месте около кладбища. Старый пономарь жил здесь всю жизнь, и Кристине повезло, что ей разрешили остаться в этом доме после смерти его хозяина.

За последние годы муниципальные власти косили сено на лужайке перед домом и кормили им лошадей, которых впрягали в погребальные дроги. Коровник покойного пономаря стоял за домом, и там теперь находился всякий кладбищенский хлам, а наверху хранилось сено. После Нового года его забирал конюх, ухаживавший за лошадьми, совершавшими рейсы между часовней и кладбищем.

— Я не предлагаю тебе молока, — сказала Кристина. — Ведь это все равно ваше молоко, из Бреккукота. Но тут у меня немного холодного кофе, оно подкрепляет — я налью тебе.

Она зажгла лампу над плитой и налила кофе в большую чашку. Потом порылась в корзинке, содержимое которой, судя по аромату, не пострадало от неудачной прогулки, и дала мне не венскую плюшку с малиновым вареньем, покрытую зеленой глазурью, а рожок. Но рожки тоже хороши, в них много корицы, которой нет в плюшках, а в самой середине — корица. Оказалось, что Кристина купила только одну плюшку, и я не сомневался, что у нее была какая-то особая цель, потому что, хотя люди, живущие по обе стороны кладбища, добросердечны, они никогда не были расточительны и не выбрасывали денег на ветер. Кристина отрезала кусок французской булки, намазала его маслом и мясным паштетом, затем разрезала плюшку на три части и положила все это на блюдо. Потом из маленького деревянного ведерка налила в кувшин молока и сказала:

— Я так плохо вижу ночью... Прошу тебя, отнеси это в хлев, поставь кувшин и блюдо через люк на сеновал бедной мышке.

— Какой мышке?

— Какой мышке? — повторила она. — На такой вопрос сразу и не ответишь, милый Аульфгримур. И будь осторожен с огнем, если станешь чиркать спичкой.

— Боюсь, что мышка не достанет молока из этого кувшина, — заметил я. — А если она и доберется до края, то упадет в кувшин и утонет. Когда я кормлю мышей, то всегда наливаю молоко в блюдечко.

— Ты так много всего знаешь, дитя,— сказала Кристина. — Неужели ты воображаешь, что мышка не сумеет напиться из кувшина? Иди и перестань болтать, дурачок! И не испугай мышку. Ведь ей все угрожают: и люди, и собаки, и кошки.

Я зажег свечу и осторожно поднялся по стремянке, стараясь не разлить молоко и не испугать мышку. Я посветил вокруг люка, желая увидеть удивительную мышь, которую кормили плюшками и бутербродами с мясным паштетом и которой, к тому же, давали целый кувшин молока. А может быть, Кристина подразумевала не какую-то определенную мышь, а Мышь вообще, всех мышей мира.

Чердак коровника был разделен перегородкой на две части, на сеновал и чулан. Возле люка чулан был почти пуст. Сено с лужайки пономарева дома давно уже лежало на сеновале, и оттуда доносился запах гниющих трав. Но, подняв свечу, я увидел, что в передней части чердака, по эту сторону перегородки, на полу устроено ложе из сена, и на нем лежит что-то вроде большого узла, завернутого в иностранные газеты, в несколько номеров «Таймса» — газеты, которая в дни моей юности считалась крупнейшей в мире; ее иногда привозили к нам из Англии в качестве упаковочной бумаги. Какую же драгоценность, завернутую во всемирно известную газету «Таймс», прятала Кристина на чердаке над коровьим хлевом? Я, может быть, не стал бы продолжать исследования, если бы, собираясь уже погасить свет, не увидел возле узла пары до блеска начищенных штиблет, на которые был живописно наброшен крахмальный воротничок и галстук в крапинку.

Я направил свет в этот угол. И вот под всемирно известной газетой «Таймс» что-то зашевелилось. Какое-то живое существо осторожно повернулось, как бы зная, что газета — это всего лишь бумага. И пока я с величайшим удивлением наблюдал за этими движениями, из-под газетного листа появились ноги, и мне показалось, что узел повернулся в мою сторону! То, что я испытал при виде этого странного зрелища ночью на

чердаке над коровьим хлевом у Кристины, в доме пономаря, трудно передать словами.

— Поставь свечу около люка, дружок, я хочу поговорить с тобой, — сказал Гардар Хоулм.

Я поставил свечу, а певец выпутался из газет, которыми был накрыт, и сделал это так ловко, что ни одна из газет не порвалась. Он аккуратно свернул их и тщательно отложил в сторону, надел штиблеты, воротничок и галстук. Вынул из кармана маленький футляр с расческой, привычным движением пригладил волосы и провел пальцами по складкам брюк.

Передо мной сидел человек, о котором думали, что он живет если не у губернатора, то уж, во всяком случае, в самой роскошной гостинице. Я никогда не испытывал большей радости, чем в тот момент, когда мне — юнцу — не приходилось самому обращаться к взрослому человеку. Я сел на край люка, вынул клещи и стал вытаскивать из башмаков гвозди.

— Друг, — сказал Гардар Хоулм, приведя себя в порядок, — как я уже недавно говорил тебе, мне кажется, что ты, когда пел, стоял слишком близко к могиле. Если я могу дать тебе добрый совет, учти, что поющий всегда должен стоять на приличном расстоянии от могилы.

— А если в могиле был бродяга?

— Тем более, — сказал он. — Все-таки я сердечно благодарен тебе за пение. Пой так всегда! Пой, как будто ты поешь над бродягой. Всякое другое пение фальшиво. Бог слышит только один этот тон. Тот, кто поет для развлечения других, глупец, но еще больший глупец тот, кто поет для собственного развлечения. Я бы хотел, чтобы ты это понял с первых твоих шагов, ведь я, как и ты, вырос здесь на кладбище.

— Ты считаешь, что я могу научиться петь?

— Чепуха, никто не может научиться петь. Зато я вижу, что тебе малы башмаки. Возьми мои.

— Не нужно.

— Нужно. Мы друзья. Ты поёшь. Я даю тебе ботинки. И, пожалуйста, вот бутерброд с паштетом. Или ты предпочитаешь плюшку?

И мы, два певца, съели, сидя на чердаке, то, что Кристина купила для мышки. Ничего нельзя было поделать — мне пришлось надеть его штиблеты, а он влез в мои ящики с гвоздями.

— Я хочу попросить тебя об одном пустяке, — сказал певец. — Хорошенько закрой дверь в хлев, задвинь засов и ложись спать здесь со мной на чердаке. И прошу тебя, если кто-нибудь постучится, спустись вниз и скажи любому, кто спросит, что оперного певца Гардара Хоулма здесь нет.

Я исполнил его просьбу, закрыл дверь на засов и снова поднялся на чердак.

— Дорогой друг, — продолжал он. — Ты спросил меня, можешь ли ты научиться петь. Этого я не знаю. Очень может быть, что из тебя выйдет певец. Может быть, мир даст тебе лучшее из того, чем он располагает: богатство, власть, почести. Что еще? Может быть, дворцы и сады? Или веселых вдов? Что еще?

— Я бы очень хотел, чтобы ты хоть немного поучил меня петь, — попросил я. — Спой для меня «Лесного царя», один-единственный раз.

— Есть только один тон, — сказал Гардар Хоулм. — Тому, кто его слышал, больше ничего не нужно. Мое пение — ничто. Но помни одно: когда мир даст тебе все, когда безжалостное ярмо славы будет надето на твою шею, а ее клеймо навеки выжжено на твоем лбу, словно ты самый закоренелый преступник, помни, что твое единственное прибежище — вот эта молитва: «Боже, возьми от меня все, только не этот единственный чистый тон».

27

СОВЕТНИК

Кто-то пытается открыть нашу старую, покосившуюся дверь. Я просыпаюсь от стука и визга ее ржавых петель. Я не могу сразу вспомнить, где я, но чувствую, что спал недолго. Пьянящий запах сена щекочет мне ноздри. Высоко под потолком открыто маленькое четырехугольное окошечко, и через него пробивается солнечный луч, в нем кружатся радужные пылинки.

Раннее утро. Что я здесь делаю?

В дверь внизу все стучат. Оглядываюсь по сторонам и вижу, что я один. Как я сюда попал? Я вспоминаю, что меня послали отнести корм мышке. Но, озираясь, не вижу ни кувшина, ни тарелки, ни следа того, что здесь был кто-то, кроме меня, ни даже клочка всемирно известной газеты «Таймс». По-видимому, все это был сон, но что обо мне подумают, если найдут здесь? Дверь буквально срывают с петель. Я слышу женский голос:

— Где ты?

— Здесь, — отвечаю я и спускаюсь по лесенке вниз.

Кто же стоит на пороге в солнечном свете раннего утра, если не маленькая фрекен Гудмунсен, толстая, лоснящаяся? Я вижу ясно, что она разочарована, обнаружив меня.

— Иисусе! — говорит она. — Что ты тут делаешь?

— Ничего.

— Ты один? — спрашивает она, я это подтверждаю и в свою очередь задаю ей вопрос:

— А что тебе здесь нужно?

— Иисусе, я, наверное, схожу с ума! Здесь на самом деле никого нет?

Наклонясь, она проходит под низкой дверью, поднимается по лесенке и заглядывает на чердак. Грустно спускается вниз.

— Что ты тут делал?

— Ни-ичего. Просто заснул.

— Один? Это правда, что здесь никого не было?

— Никого, кроме тех, кто посещает тебя во сне.

— Может быть, тебе кто-то снился?

— Это другое дело. Но теперь я проснулся.

— Я не сомкнула глаз всю ночь и, по правде сказать, ревела.

— Почему?

— Почему? Какое тебе дело? Конечно, потому, что отец и мать заперли меня в комнате. А когда начало светать, я вылезла в окно.

Она шлепнулась у самого входа. Волосы ее были растрепаны, на лице — следы слез. Она совсем выбилась из сил и в своем расстегнутом платье, из-под которого были видны ее колени, казалась бесформенным тюком. Она закрыла лицо руками и стонущим голосом беспрестанно повторяла имя спасителя; наконец в отчаянии отняла от лица руки, с внезапной яростью посмотрела на меня и сказала голосом, соответствовавшим смыслу произнесенных ею слов:

— Ты с ним в заговоре! Где он? Давай его сюда!

— Кого?

— Кого? — повторила она. — Кого ты имеешь в виду? Ты думаешь, я идиотка? Думаешь, что тебе поможет твое кривляние? Что произошло здесь ночью?

— Насколько мне известно, ничего. И я не обязан давать отчет ни тебе, ни кому-либо другому в том, что мне приснилось.

— Ты всегда был свиньей,— сказала она и посмотрела на мои ноги.— Ты украл его ботинки. Может быть, ты убил его?

Тут я впервые увидел на своих ногах ботинки, блестящие штиблеты из чужих стран, и убедился, что все происшедшее не было сном. Эти ботинки были удивительнее любого сна.

— Если ты спрашиваешь об одном человеке, — сказал я, — то я знаю только одно: он отдал мне свои новые ботинки и взял мои старые башмаки.

— А куда он пошел?

— Разве не на военный корабль?

— Никакого военного корабля нет. Ай-ай-ай! Ты лжешь. У-у-у! Как тебе не стыдно!

Я ничего не ответил и дал ей выплакаться. Откровенно говоря, я считал бесцельным препираться с девушкой, болтавшей такую чепуху. Мы в Бреккукоте не привыкли к подобному языку. В ярости и отчаянии, зажав голову мокрыми от слез руками, она все бормотала:

— Отец годами оплачивал его счета в самых лучших, дорогих гостиницах, чтобы сделать его знаменитым во всем мире! Сотни, и сотни, и сотни!.. Тысячи и тысячи... Миллион!.. Золото, которое он сыплет направо и налево, — отцово! А как он к нам относится! Какой позор!.. И «Фолдин» — отец содержит эту газету на жалкие доходы от рыболовства, а она делает Гардара посмешищем на всю страну. Добрый Иисус! О боже! А ведь он обещал мне показать весь мир. Я почти уверена, что он женат на этой бабе с вшивыми ребятами.

Постепенно я понял, что продолжать разговор при таких обстоятельствах весьма трудно. Слова, если их выкрикивать, перестают что-либо значить. Когда гамма становится естественным звуком природы, музыка прекращается. Я молча смотрел на эту толстую девушку, валявшуюся на пороге ветхого, прогнившего и заброшенного сарая, давно уже переставшего давать кому-либо приют.

Она сказала все и теперь заливалась слезами. Она пыталась взять себя в руки и подолом платья вытерла глаза. Но была еще настолько не в себе, что, не считая меня мужчиной, да и вообще не видя во мне человека, подняла к лицу подол платья. Осушив слезы, она встала и тяжело вздохнула. Свет раннего утра окрашивал в красное голубоватые горы за озером, зеленую, тяжелую от росы осеннюю траву на лугу и уставшую за лето пижму на могилах. Было так рано, что даже дым еще не поднимался из бабушкиной печки. Я опомнился и решил, что мне здесь ждать нечего и лучше пойти домой прежде, чем в Бреккукоте кто-либо встанет.

— Прощай, я ухожу!

Она подтянула чулки, опустила платье, отряхнулась, как будто поняла, что здесь сидеть бесполезно. Каким-то беспомощным, жалким голосом она попросила не оставлять ее.

— Не могу же я идти одна в город, — сказала она. — Там на улицах страшные собаки и пьяные мужчины. — Затем откинула со лба волосы и спросила: — Я плохо выгляжу?

— Да.

— Видно, что я не спала?

— Да, но это ничего не значит.

— Нет, значит. Но разве можно выглядеть лучше, если тебе приходится вылезать в окно? Пойдем.

Когда мы прошли немного по кладбищенской тропинке, она начала снова:

— Почему я тебе не нравлюсь?

— Ты хочешь сказать, почему ты мне нравишься настолько, что я провожаю тебя домой в такой ранний час вместо того, чтобы пойти спать?

— Я не нравлюсь тебе потому, что ты беден, а я богата?

Я не знал, что на это ответить, и посмотрел на нее с удивлением. Мне никогда не приходило в голову, что я беден. Во всяком случае, я никогда об этом ни от кого не слышал. Я принял это за неуместную шутку.

— Если ты мне не нравишься, то потому, что ты бедна, а я богат,— ответил я.

— Как тебе не стыдно! — возмутилась девушка, и я подумал, что сейчас она снова примется за свое. — Как тебе не стыдно носить его ботинки и скрывать от меня, где он сам!

— Чего ты, собственно, от него хочешь?

— Я расскажу, если ты мне покажешь, где он.

— Об этом и речи быть не может.

— Тогда тебя не касается, чего я от него хочу.

— Дальше не пойду, — решительно заявил я.

— Не уходи, — попросила она и схватила меня за руку. — Я буду молчать и ни о чем тебя не спрошу, потому что не могу ничего требовать. Я просто глупая девушка, вылезшая в окно. Но, хоть ты и не хочешь отвечать, скажи мне одно — ты знаешь, где он?

— Я ничего ни о ком не знаю, и меньше всего о нем.

На главной улице перед зданием «Фолдина» и по всему пути до самой духовной семинарии все еще продолжался праздник. У здания газеты собралась какая-то странная толпа, очевидно, для того, чтобы сгладить слишком уж резкое завершение вчерашнего пиршества. Мне подумалось, что это наступает само тысячелетнее царство, как об этом сказано в священном писании.

Посреди улицы стояло полсотни крестьянских лошадей, связанных друг с другом хвостами; они не могли сдвинуться с места, многие одры спали стоя, нижние губы у них отвисли, седла и вьюки свалились под брюхо так, что повсюду в лужах валялись тресковые головы. Несколько городских лошадей присоединились к ним, чтобы составить компанию своим деревенским коллегам. Трое крестьян в паголенках, рассевшись на пороге и прикладываясь к фляжке, пытались петь «Через холодную пустыню», но они были явно не в голосе. Свора утомленных собак, высунув языки, улеглась на тротуаре. Два датских коммивояжера, спортивная одежда которых свидетельствовала о том, что они собираются взобраться на Геклу *, стояли, опершись на свои велосипеды, и наблюдали за народной жизнью в датской провинции. На балконе здания «Фолдина», увенчанном колоннами, восседали несколько кошек. Двое французских моряков улеглись в сточной канаве и, подложив под голову свои деревянные башмаки, сладко дремали в нашей стране, расположенной не так уж далеко от Северного полюса.

На лестнице духовной семинарии наискосок от магазина Гудмунсена стоял человек. Пока все спали, он произносил речь в честь восхода солнца. При данных обстоятельствах можно было подумать, что это Франциск Ассизский или какой-нибудь другой знаменитый святой вещает от великого своего гения неразумным созданиям:

Братья дорогие!
Кони и французы,
Грузчики и кошки,
Велосипедисты!
Раз пришел советник,
Значит, так и надо!
Тридцать лет проплавать в море!
Тот, кто греб для Гудмунсена,
Должен править кораблем!
Эта вот тебе рыбешка
Доброй женщиной дана,

* Вулкан в Исландии.

Видны звезды и солома
В Бреккукоте из окна.
Тот, кто греб для Гудмунсена,
Должен править кораблем!

Раз пришел советник,
Скажем сразу: «Здравствуйте!»
Значит, так и надо!
Тридцать лет, и — здравствуйте! —
Отправляйся-ка домой!
Впредь сиди на скучном вздоре,
Называемом землей.
Значит, так и надо.
(Эта женщина в Ландброти
На восток одна идет).
Но из глаз моих как будто
Вдруг соленое течет,
Вздор сухой и неподвижный!
Не хочу я даже знать,
Как они его привыкли
Здесь обычно называть!
Раз пришел советник,
Раз пришел советник,
Раз пришел советник,
Скажем сразу: «Здравствуйте!»

Значит, так и надо!
Братья дорогие,
Кони и французы!
Тот, кто греб для Гудмунсена,
Должен править кораблем!

Кораблем военным правит
Человек с пустой мошной.
Ты выходишь из гальюна —
Звезд сиянье над тобой.
Ах, когда бы человека
Мог ты этого сыскать!
В корабле тебе военном
Он не смел бы отказать!

Человек с пустой мошною
Дарит людям корабли!
Жить тебе теперь придется
От волны морской вдали.
Значит, так и надо!
Тот, кто греб для Гудмунсена,
Должен править кораблем!
В небесах звезды последней
Гаснет бледный свет.
Остается лишь солома...
Ничего здесь больше нет.
Раз пришел советник...
Братья дорогие!
Кони и французы,
Грузчики и кошки,
Велосипедисты!

Раз пришел советник,
Скажем сразу: «Здравствуйте!»
Значит, так и надо!

— Перейдем поскорее через улицу. Этот забулдыга насмехается над моим отцом, — с возмущением сказала девушка и, крепче взяв меня за руку, быстро пошла вперед.

Мы, не задерживаясь, прошли мимо оратора, который все еще произносил речь. Но он или не видел нас, или же думал, что мы — лошади либо французы.

28

ТАЙНОЕ УЧЕНИЕ В БРЕККУКОТЕ

Как-то в конце зимы какой-то человек, ведя за руку женщину, подошел к дому Бьорна из Бреккукота.

— Это моя жена. Ее зовут Клоя, — сказал он.

— Глоя? — спросил дедушка. — Откуда же у нее, извините, такое имя?

— Это греческая пастушка, которую любил Дафнис, — объяснил гость, — ей отдавал предпочтение поэт Гораций.

Отведав учености в классической гимназии, я понял, что женщину зовут Хлоя, но это имя плохо поддается исландскому правописанию и еще менее произношению. Со временем ее стали звать просто Кло.

— Вот как... Но все же... — как обычно пробормотал дедушка.

— Но в этой жизни она происходит от одного из древнейших родов северной Исландии.

— Ну что ж, пусть, — промолвил дедушка. — Ее род, надеюсь, не древнее адамова. Входите, пожалуйста, погрейтесь. А кто ты, разреши спросить, добрый человек?

— Меня зовут Э. Драумманн, — ответил гость. — Эбенесер Драумманн. Я из Тингере, магистр сельскохозяйственных наук.

— А что вас привело сюда? — спросил дедушка, помогая пришельцу вести женщину, которая передвигалась с трудом.

У женщины были длинные золотые волосы, какие тогда были в моде, голубые глаза, красивые тонкие черты лица, нос такой формы, какой в датских романах называют греческим, в общем, она была настоящая Мать-Исландия. Но она была несколько излишне полна — это ей не шло. Возможно, полнота женщины объяснялась болезнью, надолго приковавшей ее к постели и вынуждавшей к спокойной жизни.

— Мы приехали в Рейкьявик к врачу, Бьорн, — сказал муж этой благородной женщины. — И я прошу, дай ей возможность полежать у тебя в каком-нибудь удобном углу, пока мы не устроимся.

Супругов поместили на чердаке, в чуланчике, где я родился и где умерла женщина из Ландброти.

Эбенесер Драумманн был маленький, толстенький, широкоплечий человечек неопределенного возраста: ему можно было дать и тридцать лет, и все шестьдесят. Голова и руки у него ни на минуту не оставались в покое. Он отличался необычайной бледностью и веснушками на руках. Он был лыс, что часто является следствием перхоти, а, может быть, в детстве он страдал паршой. Вместо бровей, явно только что выщипанных, у него были две длинные красные черточки. Свою редкую, росшую кустиками красновато-рыжую бороду он, очевидно, тоже не брил, а выщипывал. Глаза у него были ясные, голубые, а взгляд его — пронзителен. Человек, увидевший такие глаза у бессловесного животного, например у тюленя, не удержался бы и в изумлении и восторге воскликнул: «Боже великий, у этого животного человеческие глаза!»

Когда супружеская чета прибыла к нам, на Э. Драумманне была жилетка в поперечных полосах. Синий шевиотовый пиджак казался узок в плечах, и рукава его были коротковаты. Он носил белый резиновый воротничок и белую манишку — к ней прикреплялся воротничок, галстука не было. Манишку он надевал вместо рубашки, ибо рубашки у него тоже не было. Э. Драумманн был облачен в узкие брюки из грубошерстного некрашеного сукна, слишком короткие, что особенно бросалось в глаза, поскольку он ходил в ботинках на босу ногу. Эти кожаные ботинки иностранного происхождения мало подходили для зимы в наших краях.

Кто-то в первый же день пребывания новых гостей спросил Драумманна, почему он не носит носков.

— Учителя не носят носков, — ответил он.

Говорил он негромко и при этом улыбался, моргал глазами и шевелил губами, словно молча беседовал сам с собой.

Немного погодя он счел необходимым сделать дополнительное разъяснение:

— У меня есть преимущества, которых лишен человек в носках. Экономя на них, я трачу деньги на марки и могу писать письма мудрым людям во все страны света и получать от них правильное толкование трудно понимаемых санскритских слов. Что означает, например, слово «прана»? Или «карма»? Или «майя»?

Конечно, на это никто в Бреккукоте ответить не мог.

— И ты, молодой человек, посещающий классическую гимназию, этого не знаешь?

— Нет, — ответил я.

— Вот видите, — промолвил Эбенесер Драумманн. — Все вы в носках, но никто не знает, что такое «прана». Даже этот молодой человек из классической гимназии.

— Где ты нашел такую красивую жену, коллега? — спросил капитан Хогенсен. Он был таким рыцарем, что охотно говорил о женщинах, как это обычно делают зрячие.

— К сожалению, никто из вас не слышал о людях из Лаунгулида,— гордо начал Э. Драумманн. — В их роду были чиновники, поэты и управляющие королевскими землями. Моя жена происходит от той ветви этого рода, которая обладает способностями и добродетелями, хотя не имеет ни денег, ни положения в обществе. У них, конечно, всегда были высокообразованные частные учителя, воспитывавшие детей. У Клои четырнадцать братьев и сестер. Я не буду утверждать, что многодетность в роду всегда находилась в соответствии с квалификацией учителей, если измерять это меркой нашего мира, которая, увы, слишком коротка с одного конца. Когда я впервые увидел эту юную девушку, то понял, что передо мной высшее существо, а ей стало ясно, что до меня у нее не было подлинного наставника. И я сказал самому себе: это египтянка.

— Самое важное, что она тебе понравилась с первого взгляда,— заметил Хогенсен.

— Понравилась? Наоборот, — возразил Э. Драумманн, — она мне не понравилась. Мне вообще никто не нравится. Я слишком хорошо знаю, что вся жизнь — это сон. Я верю, что высшее существо, которое я называю своей женой, принадлежит к отдаленным сферам и к другой эпохе.

— Она, наверное, придерживается старины, как многие из ее славного рода Лаунгулида, — предположил капитан Хогенсен.

Э. Драумманн улыбнулся, поморгал глазами и пошевелил губами, будто читал про себя какой-то текст, но ничего не ответил. А Руноульфур Йонссон решил не вмешиваться в разговор и положил ноги на постель, поскольку тема беседы была очень далека от жизни на борту шхуны и от усовершенствованных выгребных ям.

Дверь в чуланчик стояла закрытой, но было слышно, как женщина со стонами укладывается в постель. Эбенесер Драумманн направился туда и помог ей.

Сквозь дверь слышалось, как он говорил:

— Сейчас я тебя хорошенько укрою, мой друг.

Но боли не оставляли Кло, и она продолжала стонать.

— Теперь я тебя немножко похлопаю по спине, мой друг, — говорил ее муж.

Но ничего не помогало, она не переставала стонать.

— Я положу руки тебе на виски, мой друг, — предложил он.

Казалось, что похлопывание и наложение рук слегка облегчило боли, но далеко не сняло их.

Наконец женщина заснула.

Э. Драумманн вышел из чуланчика; спать он должен был с нами.

— Как, коллега, зовут твою жену? — спросил Хогенсен.

— Ее зовут Клоя.

— Как бы ее ни звали, ей плохо, — констатировал Хогенсен.

— Трудная обязанность быть ее врачом, — откликнулся Драумманн. — Ее дух выше, чем ее плоть. Она как бы на пороге нового рождения.

— Да-а, бывает, что род вырождается, — понимающе заметил капитан Хогенсен. — Род Лаунгулида, наверное, уже сыграл свою роль. В нем, должно быть, всегда были пасторы, красивые женщины, пьяницы и драчуны, а также прекрасные рыбаки, знаменитые кучера и люди, умевшие говорить стихами.

Эбенесер в знак согласия только кивал головой.

— Всевышний мудр, — сказал он. — В роду все бывает. Твоя сестра может стать королевой Атлантиды, хотя ты крал овец в Исландии.

— Я что-то плохо слышу, — откликнулся Хогенсен; в окружавшем его мраке он никак не мог уразуметь, куда клонит этот, непонятный ему, новый постоялец.

А Руноульфур Йонссон уже захрапел.

29

ХОРОШАЯ СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА

Э. Драумманн давно уже подозревал, как он сам об этом говорил, что его жена, хоть и происходит из знаменитого рода Лаунгулида, однако не имеет ничего общего ни со своим отцом, ни с матерью и вообще с кем бы то ни было в Исландии, или в этой части мира, или в этом веке, или в этом тысячелетии.

— Когда я разговаривал с ней, — объяснял нам Э. Драумманн, — Клоя, не слушая меня, часами смотрела куда-то в пространство. Мне удавалось усыплять ее, и во сне она все рассказывала. Так выяснилось, что в одной из своих предыдущих жизней она пасла коз и слушала, как поет пастушья дудка, то есть была Клоей. Потом стала знаменитой гетерой в Риме. Но это оказалось только началом. Все связанное с этой женщиной было удивительно.

Драумманн решил, что его призвание заключается в том, чтобы помогать своей жене, которая только иногда поднималась с постели: она была слишком совершенна духом, чтобы жить в нашем мире. Он женился на Хлое, когда ей было шестнадцать лет, и с тех пор носил ее на руках.

Его голова была занята только тем, как бы лучше услужить этому созданию. Он почитал свою жену больше, чем любой идолопоклонник, который видит бога в своем сознании, а не в книге и мертвой догме.

Он не останавливался ни перед чем, чтобы найти ей хороших врачей. Медицину, даже простые микстуры, супруги считали чем-то магическим, чем-то сверхъестественным. Пытаясь овладеть искусством врачевания, Э. Драумманн неустанно обращался к новым и новым волшебным заклинаниям и упражнениям дыхания, как это предписывали йоги, вводил соленую воду через нос, налагал руки на виски жены и прибегал ко многим иным, не менее эффективным средствам.

Она же смотрела на мужа, как на единственного человека, способного распоряжаться ее жизнью, жизнью тяжело больного человека.

Эбенесер был ее опорой и прибежищем, несмотря на то что не мог предоставить жене ни угла, ни супружеской постели, ни даже одежды, чтобы прикрыть ее наготу.

И вот теперь они перебрались к нам в Бреккукот, на чердак. Для своего супруга она оставалась греческой пастушкой, возлюбленной Горация, но прежде всего душой, самой душой. Знакомство с этой супружеской четой у каждого разумного человека вызывало сомнение в том, что душа является привилегией рыб, как утверждают некоторые современные философы. Хлоя была душой своего мужа — и это не преувеличение, ибо она была также его цветком, птицей, рыбой, драгоценностью из драгоценностей, святой, ангелом, архангелом.

У Драумманна был маленький восточный коврик. Он раскладывал его на полу перед постелью жены и в позе Будды просиживал на нем часами, занимаясь упражнениями дыхания по методу йогов и пытаясь сосредоточить свои мысли на самых странных и нелепых вещах, какие только могут прийти в голову. То он собирался передвинуть неодушевленные предметы, стоявшие где-то на севере, на определенном месте, то посылал призывы каким-то неведомым учителям на восток, то упражнялся в попытках покинуть свое тело. При этом он поглощал через нос большое количество соленой воды, что успокаивало его. С наступлением ночи Э. Драумманн ложился на этот коврик и спал у постели своей жены.

Я, незрелый юнец, держа на коленях свои учебники, одним ухом прислушивался к долгим рассказам Драумманна о душевных блужданиях этой женщины. А поскольку капитан Хогенсен стал теперь и слышать плохо, а Руноульфур Йонссон засыпал, у Драумманна становилось слишком мало слушателей, если только изредка поздно ночью не приходил наш инспектор, чтобы послушать странного проповедника. Он ничего не отвергал, молча со всем соглашался, будто всему верил, но поступал так, как ему шептала укусившая его муха.

А Эбенесер Драумманн продолжал без конца говорить о своей жене.

— Я пытался учить ее счету и датскому языку, однако по глазам видел, что она витает где-то далеко. И вдруг она начинала писать какие-то удивительные знаки и занималась этим долгие часы. Как только у нее в руках оказывалась иголка и нитка, она начинала вышивать на своем платье какие-то письмена. Я пытался разгадать их, но безуспешно. Я посылал их различным ученым и в нашей стране, и за границей, чтобы узнать, каков их смысл, но мне никто не отвечал — вероятно, меня считали недостаточно ученым, — и наконец некий пастор обратил мое внимание, что это не письмо в нашем понимании, а своего рода язык образов, похожий на те самые китайские иероглифы, которые ему доводилось видеть на чайных кувшинах из Гонконга. Другому ученому показалось, что это изображение насекомых, а третьему — что это олений мох. Не получив удовлетворительного ответа, я начал экономить деньги на марки и вступил в переписку с прорицателями из далеких стран. Мое скромное знание английского языка, полученное в реальной школе, пригодилось: я начал писать в Лондон спиритам и оккультистам, прилагая образцы письмен Клои. Но в Англии не нашлось никого, кто разгадал бы эти руны. Тогда мне пришла в голову мысль обратиться непосредственно к мудрецам Востока. И вот пришел ответ одного знаменитого епископа, который рекомендовал мне обратиться к некоей тайной оккультной книге, где собрано больше учености, чем во всех других кладезях науки. Но чтобы только взглянуть на нее, нужно обладать высокой степенью учености, которая вряд ли кому-нибудь свойственна в нашем мире. Таким образом, совет епископа мне ничего не дал. Наконец знаменитый индийский прорицатель нашел правильную разгадку. Оказывается, эти знаки — письмена языка лепча, на котором говорили у подножия Гималаев четы-

ре тысячи лет назад. По мнению этого тайновидца, из письма можно понять, что моя супруга некогда была дочерью короля этого государства.

Э. Драумманн считал, что у него не может быть иного занятия на земле, как излечить сверхъестественную женщину от мучавших ее сверхъестественных болезней. Он не только сам выступал в роли врача, но и неустанно искал специалистов, помощь которых принесла бы ей пользу. Прибыв в Рейкьявик, он сразу же стал посещать разных людей, занимавшихся медициной: и ученых врачей, и невежественных знахарей. Он говорил о жене, четко выговаривая буквы «к» и «р», как это свойственно жителям северной Исландии, что всегда вызывает восхищение у людей юга с более мягким произношением.

Вначале Драумманн приводил к нам на чердак всевозможных дешевых врачей, назначавших больной кровопускания и клистиры. Ему даже удавалось притащить на чердак и настоящих докторов, заинтересовавшихся сложением женщины, бывшей в древние времена королевской дочерью в Гималаях, пастушкой в Греции и любовницей Горация, а кроме того, происходившей из рода Лаунгулида. Они пичкали женщину сильно пахнувшими микстурами, от которых чихал капитан Хогенсен и сам Руноульфур Йонссон. Однажды пришел даже главный городской врач с тростью, лорнетом и в высоком воротничке. Приходила и знахарка в платке, опиравшаяся на палку с железным наконечником и курившая трубку. Наконец Эбенесер Драумманн напал на каких-то забытых знахарей, лечивших торфом и навозом. В наше время эти навозники, к сожалению, исчезают, но они заслуживают специальных монографий, ибо, как утверждают некоторые авторитеты, искусство врачевания основывается на том, чтобы вдохнуть мужество в самого врача, а навозникам нельзя было отказать в мужестве.

Известно, что врачи охотно соглашаются лечить друг друга. Э. Драумманн вместо гонорара за лечение своей жены предлагал врачам и их семьям свои услуги в области наложения рук или телепатии.

Хлоя всегда была готова подвергнуться любому медицинскому эксперименту в надежде, что головные боли утихнут. Никогда ни одна жена так безгранично не верила в силу и ум своего супруга, как эта женщина: ни на минуту она не могла в нем усомниться. Ничто не казалось ей более естественным, чем то, что ее обкладывали торфом или пытались, по предписанию знахаря с заячьей губой, заткнуть ей нос и рот теплым коровьим навозом опять-таки для того, чтобы облегчить головные боли.

Я думаю, что это был один из самых счастливых браков в Исландии, даже самый счастливый. Но, к сожалению, не успевали врачи спуститься с лестницы, как эта сверхъестественная принцесса и пастушка вновь начинала стонать в своем чуланчике.

У нас на чердаке никогда не было по-настоящему светло; маленькое окошечко за постелью Хогенсена могло устроить только слепых, философов и людей с изъеденными солью глазами. При его свете почти невозможно было изучать латынь. Но в чуланчике было еще темнее — ведь свет там был нужен только тогда, когда кто-нибудь рождался или умирал. К больной женщине от Хогенсена и от нас через щелку в двери проникал лишь очень слабый свет. Как только боли ее оставляли, Хлоя при этом недостаточном, мутном свете бралась за вышивание. Я слышал, она однажды рассказывала бабушке, как нечто само собой разумеющееся, что ее вышивание — это воспоминания о жизни в Гималаях, которые овладевали ею с такой силой, что она разрезала на куски свои платья и вышивала на лоскутках. Больше того, с тех пор, как они поженились, Хлоя для этой же цели распускала на нитки носки своего мужа.

Сначала Хлоя вышивала каких-то удивительных насекомых и редкие цветы, а когда уже не хватало места, она нашивала одно насекомое на другое, одну розу на другую, пока не получалась выпуклая вышивка. Она украшала эти композиции локонами своих золотых волос и перьями, которые выдергивала из подушки. Эти вышивки были настолько выразительны, что вряд ли кто-либо мог их забыть.

Из всех людей на свете Хлоя признавала только врачей. Она никогда ни за чем не обращалась к нам, жителям чердака, кроме просьбы закрывать дверь. В течение многих дней при открытой двери я, бывало, видел ее лежащей в постели под натянутой до подбородка периной, светлую как солнце, белую как молоко, настоящую Мать-Исландию с голубыми глазами. Виднелись только ее обнаженные руки; вышивая, она обнимала ими перину.

А мудрец Эбенесер Драумманн не терял даром времени — он стал желанным гостем у многих, не только докторов и иных врачевателей, которых он посещал ради своей жены, но и у их друзей и друзей их друзей. Его начинали считать высокоодаренным человеком, и постепенно у Драумманна не стало хватать времени ухаживать за женой, потому что он только и делал, что произносил в городе проповеди. Неудивительно, что его больная жена часто выглядывала из чуланчика, нетерпеливо ожидая своего мужа, когда он слишком задерживался в своих духовных экспедициях. И единственное, что мы слышали от нее, это обращение к капитану Хогенсену с просьбой выглянуть в окошечко и посмотреть, не идет ли ее супруг.

30

ДУША В ОДЕЯНИИ ИЗ ВОЗДУХА

Я — на главной улице, где обычно прогуливаются девушки. Одна из них, высокая, хорошо сложенная, идет мне навстречу. Как и всегда в таких случаях, я стараюсь смотреть в противоположную сторону, ибо чувствую себя неуверенно в обществе этих странных созданий и не считаю их настоящими людьми. Поняв, что я хочу избежать встречи, девушка трогает меня за руку и смотрит с той странной улыбкой, которая как будто живет в воздухе и отражается на ее лице подобно искре неведомого света, словно воздух, одетый в душу, или душа, одетая в воздух. Это — Блайр! Когда она говорит «Здравствуйте!», ее голос звучит почти вдохновенно. Я застываю, как всегда, и ничего не вижу. Мир исчезает в белом тумане. Пришел тот час, которого я в глубине души так боялся с той самой поры, как убежал от нее.

— Какие на вас красивые ботинки! — говорит девушка, смотря на меня из тумана.

Я молчу.

— Почему вы избегаете нас? Что мы вам плохого сделали?

— Ничего,— почти неслышно бормочу я.

— Разве вы не замечали, как мы все ценим вас? Отец говорит, что я вас обидела. Чем я провинилась?

Я хотел ответить и посмотрел ей в лицо. И увидел, что она глядит на меня с той же улыбкой. Мне показалось, словно кто-то схватил меня за горло.

— Почему? — снова спрашивает она и пристально смотрит на меня.

— Когда вы были поблизости, мне казалось, что я не могу этого пережить,— неожиданно выпаливаю я.

— Что я слышу? Неужели я такая скучная?

— Прощайте! — говорю я.

— Вы даже не хотите подать мне руку?

Я подаю ей руку.

— Прощайте,— говорит она.— И хотя я очень скучная, отец все же надеется, что вы придете. Он говорит, что вы впитываете в себя все, что относится к музыке. Я тоже узнала стороной, что вы можете выучить все что угодно. Кем вы хотите быть?

— Я хотел бы остаться дома в Бреккукоте.

— Не могу ли я пригласить вас к нам? Я знаю, отец будет рад. Ему все кажется, что я вас обидела.

— Бабушка послала меня в кондитерскую к Фредериксену.

— И вы не хотите прийти к нам поговорить о том, чего я не могу понять?

Она не знала, что именно из-за нее я не мог выговорить ни слова.

В тот же день, а может быть, на следующий, я посетил одну датчанку. У этой дамы были черные усы. На ее носу, самом остром и длинном из всех носов в столице, сидел громадный лорнет на черном шелковом шнурке. Эту даму звали мадам Струбенхольц, но многие исландцы называли ее по-своему — тóпор Риммугигур *. Она состояла в родстве с женой видного датского чиновника и, повинуясь велению рока, о котором мне ничего не известно, лет двадцать-тридцать назад поселилась в Исландии. Эта дама зарабатывала на жизнь, обучая дочерей из благородных семейств нехитрым приемам игры на гитаре или мандолине и пользовалась особым уважением в хороших домах столицы. Она выступала также на всех общественных лотереях с исполнением рапсодий Листа. Позже я узнал, что ремесленники, торговцы и даже некоторые рыбаки обращались к мадам Струбенхольц с просьбой научить их играть. И оказывалось, что не имевшие образования простые люди, которые относились к низшим или в лучшем случае к полунизшим классам, обладали наивысшим чутьем к музыке, а абсолютное отсутствие музыкальности и полное презрение к музыке было характерной чертой ученых и знатных людей Исландии.

К этой даме я и направился. Мадам Струбенхольц посмотрела на меня в лорнет и спросила — кто я и чего хочу. Я сказал, что хочу научиться петь и играть.

— Вот как, — промолвила она и оглядела меня сверху донизу, поднимая и опуская голову, поскольку хотела обязательно осмотреть меня через лорнет, поверх лорнета и из-под лорнета. Это заняло немало времени, ибо я был высокого роста.

— Вы учитесь столярному ремеслу?

— Нет.

— Рыболов?

— Ловлю пинегора.

— Это что-нибудь дает?

Я понял, что она подразумевает деньги, и несколько смутился, поскольку я не понимал, что музыка стоит денег.

— Да, мне тоже нужно жить,— сказала мадам Струбенхольц.— Но я надеюсь, по крайней мере, что вы честный человек.

Кончилось тем, что она пригласила меня в гостиную, обставленную красной плюшевой мебелью с бахромой. Семейные фотографии в рамках стояли на шифоньерке, тесно прижавшись друг к другу: мужчины в пальто «дипломат» и в шляпах, важные дамы в платьях со складками, с колоссальными шлейфами сзади и зонтиками в руках. Посредине комнаты стоял рояль, а в углу орган.

— Я хочу вас послушать, — сказала учительница музыки.

В этой датской комнате у дамы с большим носом, с такой чуждой нам речью, что я не в состоянии ее воспроизвести, я вдруг перестал

---

* Топор, принадлежащий одному из героев известной исландской саги о Ньяле.

стесняться. Меня не смущала эта женщина, словно она была вырезана из дерева. Я подошел к органу, сел, сразу перевел регистр, без нот сыграл «Лесного царя» и запел. Мадам Струбенхольц смотрела на меня с изумлением.

— Бог да поможет вам! — сказала она, как только я заиграл. Но не рассердилась, не поправляла меня, а только сказала: — Вы можете приходить два раза в неделю, посмотрим, что из этого получится.

Шла моя последняя зима в школе. С той поры, как мой друг, старик Йоун, уехал в Норвегию, где больше почитают христианство, чем у нас, у меня совсем не было товарищей.

Я вернулся домой с учебниками, завернутыми в платок, и бабушка стала меня кормить. Когда она протягивала мне мясо и рыбу, я с молчаливой радостью смотрел на ее руки, синие и узловатые, и старался возможно дольше растянуть обед, рассказывая ей во всех подробностях, какая с утра была погода, будто все дело заключалось в этом, а не в том, что она еще существует и я сижу около нее.

Потом я поднялся к себе и пытался убить время, то заглядывая в задачник или думая о домашней работе, то вынимая свои красивые ботинки и рассматривая их. Эти ботинки — подарок Гардара Хоулма; иногда мне трудно было поверить, что такая драгоценность, вызывающая восхищение мужчин и женщин, — моя собственность. И надевал я их только в особых случаях.

Вообще, чем ближе весна, тем дольше тянется время. Капитан Хогенсен стал таким дряхлым, что ему трудно быть долгий день на ногах, и он больше лежит в постели. В такое время года у нас всегда мало гостей: пока страна скована льдом, все остаются дома и не происходит ничего особенного, только за окном все еще колышется под морозным ветром одинокая соломинка и, если небо ясное, ночью появляются звезды. А в чуланчике стонет женщина.

Откровенно говоря, вначале мне казалось, что эта женщина умрет так же скоро, как и женщина из Ландброти, окончившая у нас свой земной путь несколько лет назад. Мы, жители Бреккукота, были менее обязаны оказывать благодеяние Хлое, чем женщине из Ландброти, поскольку та была вдовой, а у этой есть муж. Я считал, что вместо того, чтобы вечно заниматься чудесами на востоке и на западе, у всех и у каждого, вместо того, чтобы совершать чудеса со своей женой, ему следовало хотя бы менять ей компресс, поскольку ни одно из его чудес, в том числе и теплый коровий навоз, не помогало. Я сделал вид, что здоровье этой женщины меня совершенно не касается, и не смотрел на нее, когда случалось, что дверь в чуланчик открывалась. Я был доволен тем, что и она не замечала моего присутствия.

Как-то однажды, в конце зимы, как и раньше в тихие предвечерние часы, я со своими книгами поднялся на чердак. Капитан Хогенсен, как обычно, лежал на постели; его храп заглушал и мои шаги, и скрип ступенек. Но, поднявшись на середину лестницы, я через люк увидел нечто такое, что заставило меня застыть на месте, ибо никогда раньше моему взору не представлялось ничего подобного. На чердаке стояла обнаженная женщина. Несмотря на старательное изучение латыни, я был настолько несведущ, что вначале подумал, что это животное, которое забыли включить в учебник зоологии, или фея. Я остановился и замер, глазея на нее, как будто решил навечно остаться на середине лестницы. Она стояла у постели спящего Хогенсена и наклонялась, чтобы посмотреть через маленькое окошечко, за которым о стекло ударялась соломинка. Ее золотые волосы были связаны шнуром и свисали лошадиным хвостом на спину. Я видел ее в профиль. Как чиста была ее кожа, как тонки черты лица, какой красивой формы нос, подбородок и правильно очерченный рот!

И эти длинные, светящиеся волосы!.. Зато расплывшееся тело походило на карикатуру, и трудно было представить, чтобы она могла страдать от чего-либо, кроме хорошего здоровья, если это только может считаться болезнью. Тогда мне это не пришло в голову, но позже я часто думал, что если бы в Исландии когда-нибудь возродилась богиня изобилия Корнукопия, выкормленная козой, то это была бы она — Хлоя.

К тому же она четыре тысячи лет тому назад была принцессой в Гималаях, затем пастушкой, которая вместе с Дафнисом пасла коз, и Хлоей, о которой Гораций настоятельно просил богиню любви, чтобы она ее побила. И она же была беднейшей и самой обнаженной женщиной Исландии. А если ей попадался лоскут, она резала его на клочки и вышивала художественные произведения из лоскутков и распущенных на нитки носков своего мужа.

— Боже милостивый, помоги мне и прости меня! — испуганно промолвила женщина, почувствовав, что кто-то стоит сзади и смотрит на нее. — Я ведь только глядела в окошко, не идет ли муж.

С этими словами она отпрянула от окошка, убежала в чуланчик, легла в постель и натянула на себя перину. Вскоре у нее снова начались боли, и она страшно застонала.

В один из первых мартовских дней я решился пойти к дому органиста. Капустные грядки в его огороде выглядели запущенными, но дом имел прежний вид. Я сразу узнал лестницу, на которой мне однажды показалось, что у меня разорвется сердце, ибо на мне были мои большие башмаки. А вот и дверь с порогом, перед которой я стоял и ждал, пока ее откроют, и пуще всего боялся, как бы вместо приветствия у меня из горла не вырвался писк.

Шел дождь. В доме зажгли лампы. Я не решался сесть на порог, боясь, что кто-нибудь выйдет из дома и увидит меня, и уселся на камень возле капустных грядок. Я смотрел и смотрел на окна в надежде, что за занавеской покажется тень. Хорошо, что бабушка не знала, куда и зачем я пошел, не знала, что я собираюсь украсть тень. Узнай она это, несомненно завтра же послала бы меня к жене органиста с большим хлебом.

Я просидел под дождем весь вечер. Из развалившейся хибарки вышел человек, прозрачный от старости, с палкой и костылем. Поравнявшись со мной, он спросил, как меня зовут.

— Аульфгримур, — отвечал я.

А ему, как всем глуховатым старикам, послышалось, что меня зовут Аусгримур.

— Благословенная влага! — сказал он. Это было сказано в шутку, ибо о влаге упоминают только в пору сенокоса, когда хотят сказать, что трава влажная и ее легко косить.

Когда старик вернулся к себе, я заметил, что промок до костей. Я решил переменить место и пошел через огород этого старого человека, где неизвестно зачем были положены тонкие железные пластинки и какие-то обломки железа. Никогда раньше я не видел ничего подобного. Я сел на другой камень и продолжал наблюдать за домом с противоположной стороны. Но тень в окне не показывалась. Прошло много времени, из хибарки снова вышел старик, посмотрел на небо — не изменится ли погода.

— Ты здешний? — спросил он.

— Да.

— Можешь ли ты рассказать что-нибудь новенькое?

— Нет. Но скажите, зачем у вас на огороде лежат листы железа?

— Я кладу их летом, чтобы согревать грядки, — сказал он. — Они притягивают к земле солнечное тепло. Картофель уродится крупнее.

Прошло бесконечно много времени, а я сидел на камне под дождем. Я ждал и ждал, но тень все не показывалась. Наконец у меня от холода заныли зубы.

Старик вышел в третий раз и снова взглянул на небо. Обошел свою хибарку, оглядел все вокруг и обнаружил, что я по-прежнему сижу на камне.

— Как, ты сказал, тебя зовут?

— Аусгримур, — теперь ответил я.

— А кого ты ждешь?

— Я жду тень, — ответил я.

31

МОЖЕТ БЫТЬ, Я БОГ

К вечеру я поднялся на чердак и, как сейчас помню, начал решать уравнение второй степени с несколькими неизвестными. Капитан Хогенсен, как обычно, лег спать.

— Аульфгримур! — позвала меня Хлоя.

Я был уверен, что ослышался. До той поры я и не представлял себе, чтобы такое неземное создание заметило меня, да еще знало, как меня зовут.

— Аульфгримур! — снова позвала Хлоя. Ошибиться было невозможно. Она обращалась именно ко мне, поскольку во всей Исландии не было другого человека с таким именем.

Я отложил задачник, поднялся с места и приоткрыл дверь. Женщина натянула перину до самого носа, волосы ее рассыпались на подушке.

— Не спустишься ли ты вниз, чтобы принести мне в этой чашке холодной воды?

Я молча пошел вниз и принес холодной воды.

— Будь добр, положи мне компресс, — обратилась ко мне женщина.

— Вам хуже? — спросил я.

— Это не то слово. Если бы только знать, какое преступление я совершила в одной из своих прошлых жизней! Моя голова горит огнем. Потрогай мой лоб.

Я положил руку на ее лоб, как она этого хотела. Возможно, что она и горела огнем, но, наверное, внутри, поскольку лоб казался скорее холодным.

— Тебе не кажется, что это страшно? — спросила она.

— Может быть.

— Послушай, как бьется сердце. Дай руку!

Она взяла мою руку и положила ее под перину себе на грудь.

— Чувствуешь?

— Нет, — ответил я, потому что фактически я ничего не чувствовал, не считая того, что женская грудь гораздо нежнее собственных ребер. А кроме того, я не мог отличить нормального пульса от ненормального.

— Подержи руку подольше и подожди, пока не почувствуешь,— сказала Хлоя.

Я сделал как она хотела, но не почувствовал ничего, кроме того, что сосок ее груди упирался в мою руку.

— Я вся горю. Положи скорее компресс, — попросила она.

Вечером все собрались на чердаке, дверь в чуланчик была приоткрыта, чтобы Хлоя могла слышать голоса и хоть немного развлечься. И вдруг она заговорила, да так громко, что заглушила всех нас:

— В руках Аульфгримура много духовного. Он положил мне компресс на голову, и мне сразу стало легче. Только он дотронулся до моего лба,

как я почувствовала излучение, а через секунду испытала дрожь и заснула, а проснулась такой здоровой, какой уже давно себя не помню. Я уверена, что у него бóльшие способности к тому, чтобы исцелять наложением рук, чем у многих целителей, которые пытались меня лечить.

Ее муж поднялся со своего коврика, подошел ко мне и со знанием дела стал разглядывать мои руки. Он ощупал их, немного подумал и торжественно объявил:

— Это руки целителя, хотя они и велики и неуклюжи. Клоя инстинктивно чувствует возле себя все потустороннее. В этих руках есть что-то напоминающее тюленьи ласты.

— Ах, соленые тюленьи ласты! — отозвалась женщина. — Можно ли представить себе что-нибудь вкуснее!.. Если бы только можно было считать их пищей для души...

— Ты хочешь сказать, для избавления от болей, Клоя, — поправил ее муж и, обратившись к нам, продолжал: — Тюлени, как мы знаем, потомки древних представителей человеческого рода, стоявших на высокой ступени развития. Поэтому у них глаза и руки, как у людей.

Некоторые наши постояльцы готовы были поверить в целебную силу рук и в другие сверхъестественные методы исцеления, как например в лечение навозом, применявшееся в Рейкьявике, но они никак не могли признать эту способность за неуклюжим парнем, зубрившим латынь.

— А может быть, это особенность северян? — предположили они.

В этот поздний вечер против обыкновения инспектор был дома. Возможно, он не решался выйти из-за плохой погоды или ему не нужно было ничего инспектировать.

К нему и обратились, ожидая умного ответа. Несколько помедлив, он сказал:

— По-моему, наоборот. С тех пор, как Драумманн и его супруга прибыли к нам на чердак, мы впервые в жизни избавились от чудаков.

Тогда его спросили — не бабья ли это болтовня, что тюлени — потомки древних людей?

— Об этом я ничего не скажу, — авторитетно ответил инспектор,— но замечу, что учение о странствовании и переселении душ не менее распространено в мире, чем, например, христианство. В Азии многие придерживались примерно таких же взглядов, как наша честная и уважаемая супружеская чета. А ведь христианская Европа — только небольшой полуостров, за исключением Исландии, которая, как известно, является островом. Наши воззрения — это мудрость жителей полуострова, и ничего больше. Я чувствую, что наконец встретил людей, мыслящих так же, как большинство населения земли.

— А разве нужно верить большинству, а не мудрецам? — спросил кто-то.

— Я не отрицаю, что ворона — птица, — ответил инспектор, — и зимой, когда нет других птиц, иногда приятно даже слышать ее карканье. Но чайка, в некотором смысле, во сто крат больше птица, чем ворона...

Тогда ночевавший у нас гость из Ньярдвика промолвил:

— А я-то думал, что бóльшая часть населения земли ничего не знает о переселении душ. Меня учили, что только лгуны и дураки могут ответить на все вопросы.

— Это другое дело, — возразил ему инспектор. — И все же я думаю, что не так уж трудно ответить на любой вопрос, если только он правильно сформулирован. Однако часто не хватает ответов на вопросы, которые задают глупцы, а еще чаще на вопросы, задаваемые лгунами.

— Тогда я предложу тебе два вопроса, которые может задать обыкновенный человек, вряд ли более глупый, чем все: к чему люди ближе —

к небу или к земле? И что ты думаешь насчет бритья? — обратился к инспектору человек из Ньярдвика.

— Что ж, — промолвил инспектор. — Орел не будет зарываться в землю. Орел, как сказано в стихах, живет в жилище ветров. Легко ли летать? Это зависит от того, как смотреть на дело. Маленькая мышь считает, что нелегко. Такой же точки зрения придерживается кошка. Но нельзя же всем отвечать одинаково. Зато мне хочется назвать вам одного человека, он отвечает на любые вопросы, и его ответы относятся и к орлу, и к мыши. Это Бьорн из Бреккукота, гостями которого мы являемся. Что же касается предложения о бритье, то я скажу: брейся где хочешь, когда хочешь и как хочешь, лишь бы ты не мешал другим.

— Позволю себе поблагодарить нашего инспектора, — сказал Э. Драумманн. — Мало найдется людей здесь в Рейкьявике, которые защищали бы нас, северян. Я не утверждал, что в молодом человеке, который сегодня лечил мою жену наложением рук, душа древнего целителя. Но важно, что у мальчика врачующие руки, и это облегчает боль. Может быть, он бог Вишну.

32

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ В ДОМЕ ТРЕЗВОСТИ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О БРИТЬЕ

— Возложи на меня руку, Аульфгримур!

Эта история повторялась теперь ежедневно. Как только я возвращался из школы домой, в послеобеденной тишине я шел в чуланчик и возлагал на нее руку; через женщину проходил ток, она дрожала, и это придавало ей силы. Исходившее от меня излучение, по мнению Хлои, ее мужа и наиболее близких им врачей и знатоков, приносило женщине значительное облегчение. Однако ученые, которые тщательно считают, сколько костей у собаки, но сомневаются в существовании души, поскольку ее нельзя оформить в виде нотариального документа или анализа мочи, возможно, придерживались другого мнения.

Как бы то ни было, но, когда уважаемая чета в один прекрасный день покинула Бреккукот, женщина была совершенно здорова и не нуждалась в посторонней помощи, а ее муж успел прославиться во всей столице как ясновидец, мыслитель, пророк, врачеватель душ и уж не помню кто еще — тогда это было в моде. Он даже начал печатать в газетах свои размышления о душе, стал ходить в новехоньком костюме и даже в носках.

В первый раз, когда я возложил руку на женщину, я почувствовал себя примерно так, как человек, на которого напали в его собственном доме. При повторении этой процедуры на другой день я был еще больше удивлен поведением женщины и еще меньше понимал самого себя. Потом меня стал интересовать вопрос: кто из нас глуп — я или женщина?

Все это происходило перед выборами муниципалитета. Как-то в доме общества трезвости происходило очередное предвыборное собрание, на котором, как и много раз до этого, обсуждался вопрос о бритье. Я не интересовался политикой, но, оказавшись на собрании, слушал, о чем там говорили.

Ораторы спорили, нужны ли вообще парикмахерские и если нужны, то не следует ли как-то регулировать их деятельность? Работать ли им с шести-семи часов утра и до полуночи? Или установить более подходящее время: скажем, открывать в девять часов, а вопрос о наиболее приемлемом часе их закрытия решить дополнительно?

Обсуждение длилось уже довольно долго, а записавшихся было еще много. Зал был набит до отказа, и мне пришлось стоять в дверях. Говорил какой-то строительный рабочий, высокий человек с большими усами — как и многие одаренные люди, он с трудом подыскивал слова. Он сказал, что считает дурной привычкой бриться по утрам, — простого человека пойти на это не заставишь. По его мнению, наводить красоту следует, только когда идешь на собрание или на вечеринку, или когда молодые люди собираются повеселиться приличным и достойным образом, но, в особенности, когда молодой человек хорошего поведения, официально обрученный, идет на встречу с невестой. В общем, он за то, чтобы бриться, скажем, раз в неделю. А наводить красоту по утрам, когда собираешься на работу, ни к чему, и уж если случается такое несчастье, что тебя публично отделяют от бороды, то следует ограничиться вечерними часами, к примеру, между семью и восемью, потому что в это время обычно и собираются на общественные развлечения, проводимые с разрешения городских властей. И было бы хорошо в таких случаях требовать документа о том, что подобные клиенты парикмахерской не имеют возможности бриться дома.

Затем на трибуну поднялся бородатый человек, в прошлом крестьянин в Рейкьянесе, а теперь торговец колониальными товарами в столице, очень интересовавшийся муниципальными делами. Этот оратор утверждал, что посещать парикмахерские среди бела дня и сидеть там, ожидая очереди, — значит бесцельно тратить время. Люди занимаются бесполезными разговорами и недостойной критикой муниципальных властей и этим только обогащают трутня, называемого парикмахером.

Далее он сказал, что Гуннар из Хлидаренда* никогда не брился; так же поступали и другие герои, в том числе и те, у кого не росла борода. По мнению оратора, для тех, кто хочет следовать моде, достаточно бриться раз в месяц, но при условии если они будут делать это у себя дома, без разговоров, без приглашения посторонних, ибо бритье — дело частное. В крайнем случае бородатый торговец считал возможным прибегать к помощи жены, но ни в коем случае не тратить время и деньги на такое бесцельное занятие, как бритье в парикмахерской.

Следующим на трибуне оказался черноволосый мужчина с впавшим ртом; он все время жевал табак и сплевывал. Этот оратор умел излагать свои мысли, но был несколько фанатичен. Он сказал, что не желает жить в городе, если его лишат свободы посещать парикмахеров в любое время дня и ночи и вознаграждать их за работу по своему усмотрению. По его мнению, парикмахерам, как и врачам, нельзя запретить принимать нуждающихся в их услугах по ночам.

— Это ложь,— сказал он,— будто Гуннар из Хлидаренда не брил бороды,— и призывал предыдущего оратора доказать свое утверждение.— Но ни один разумный, здоровый человек, — утверждал оратор, — никогда не отращивал бороду, ибо она мешает любой работе. Бороды не бреют только люди, страдающие кожными болезнями, и единственное средство исцеления таких людей состоит в том, чтобы схватить их за бороду и таскать взад и вперед по городу. Мало найдется людей, настолько полезных обществу, как брадобреи. В старые времена брадобреи одновременно были врачами. Они не только брили, но и пускали кровь, вскрывали нарывы, потому что у них были очень хорошие ножи. Все приличные люди брились ежедневно. Уже тогда существовал хороший обычай пойти к цирюльнику и, дожидаясь своей очереди, поговорить там с согражданами о благе страны. Поэтому деньги, идущие на парикмахеров, затрачены с пользой, вне зависимости от того, происходит бритье днем или ночью.

* Один из героев саги о Ньяле.

Вслед за ним на трибуне оказался худой человек с пергаментно-желтым лицом, в пальто «дипломат», с лорнетом и в необычайно высоком воротничке. Он заявил, что хотя врачевание и бритье в прежние времена и были неразлучными профессиями, и можно утверждать, что бритье — это лекарство против бороды, но вряд ли соответствует христианской морали, чтобы тебя брил другой человек. Это значит превращать его в раба, в лучшем случае — в лакея. Такое низкое занятие унижает и того, кто бреется, и того, кто бреет. Услуги подобного рода должны оказываться друг другу только родственниками. Бриться нужно, но самому. Прибегать к посторонней помощи можно только в том случае, если человек страдает паршой или чесоткой, но тогда следует обращаться к врачу.

После него выступил не менее умный и не менее ученый человек и изложил совершенно противоположную точку зрения. Он был рыжий, почти лысый, с торчащими усами, в смятом воротничке. Многих зубов у него не хватало, живот выдавался горой, и он непрерывно нюхал табак. Как всем известно, сказал оратор, он в течение тридцати пяти лет является вечным студентом в Копенгагене и никогда не сталкивался с подобными взглядами. Он не собирался вступить в спор с предыдущим диспутантом по поводу того, является ли бритье лекарством против бороды или нет. Однако он разрешает себе заметить, что если бритье — лекарственное средство, то оно гораздо естественнее и приятнее, чем, например, обкладывание людей теплым навозом, давно применяемое в нашей стране при головной боли, хотя высокоуважаемый предыдущий оратор не сказал об этом ни слова.

— Я считаю настоятельно необходимым, — продолжал этот оратор,— иметь общественные парикмахерские, в которых приятно пахнет и где одетые в белые халаты мастера приветливо здороваются и так ловко обращаются с острыми бритвами, что не перерезают по нескольку раз в день горло посетителям, как бы ни было велико искушение. Что же касается вопроса о том, допустимо ли, с точки зрения морали, использовать для этой цели чужой труд, то тут многое зависит от того, какой смысл вкладывается в понятие морали. Я расскажу вам,— объявил он,— историю о том, как в разных странах по-разному понимают мораль. Как вы знаете, немец Гете написал книгу под названием «Фауст». В ней говорится о человеке, который был осужден за то, что спал с девушкой. Конечно, в книге написано и о многом другом, но главное это. В конце своего сочинения Гете не отправляет человека в ад, хотя тот вполне это заслужил, а по милости бога спасает его и посылает целую стаю ангелов доставить его душу ввысь, в лоно божье. А теперь я расскажу совершенно противоположную историю. В Копенгагене жил один прекрасный человек по имени Педерсен, рыжий, лысый, с черными зубами, вечно немытый — он экономил мыло. Вообще, по внешности и характеру он мало чем отличался от меня, за исключением того, что он был обручен сразу с сорока пятью девушками. Как ни странно, но этого прекрасного человека потащили в суд и стали допрашивать и его, и его возлюбленных. Невесты, прижавшись друг к дружке, плакали и, хотя они временами ссорились между собой, иногда даже вцеплялись в волосы, а изредка даже плевали одна другой в лицо — все они просили о снисхождении к жениху, ибо каждая из них была убеждена, что она и есть Гретхен, к которой он питал истинную любовь. Каждая из них отдала ему свое сердце и готова была отдать последнюю крону, чтобы он мог купить себе кружку пива. Каждая находила в Педерсене такие замечательные качества, что не могла ими нахвалиться. Хотя было доказано, что у него оказалось одновременно сорок пять невест, с которыми он спал, ничто не могло умалить в их глазах его достоинств. Они не только прощали его перед богом и людьми, но все, одна за другой, заявляли, что готовы по-

жертвовать для своего жениха всем. Многие даже просили, чтобы их посадили в тюрьму вместо него, если вообще кого-нибудь нужно сажать. Некоторые из невест принимали всю вину на себя. Судьи долго размышляли, какое преступление больше: один мужчина с сорока пятью девушками или сорок пять девушек с одним мужчиной? Дело кончилось тем, что Педерсена приговорили к штрафу в пятьдесят крон. А поскольку он был беден, как все мужчины, для которых самое главное в жизни — любовь к женщинам, возлюбленным пришлось сложиться и уплатить штраф; на каждую пришлось по одной кроне и одиннадцать эре. Так отнеслись к этому делу в Дании. То, за что немец хотел наказать адом, обошлось у датчан в одну крону и одиннадцать эре на душу. Не так ли обстоит дело и с вопросом о бритье?

От всей этой диалектики вокруг проблемы бритья у меня голова пошла кругом. Я вышел на улицу и под открытым небом размышлял об этой острой дискуссии.

У меня щемило сердце, как у человека, который в чем-то виноват. Мне казалось, что я сделал нечто дурное, несовместимое с моим достоинством. Но чего стоит мудрость, если она запрещает человеку приносить другим здоровье и счастье? И чего стоит достоинство бедного, глупого мальчика? Как будто богу и людям не безразлична его судьба? Может ли хороший поступок быть дурным? Может быть, действительно был прав Э. Драумманн, когда, узнав от жены о том, что произошло, назвал меня богом Вишну?

Одно мне было ясно: я никогда больше не увижу Блайр. Это было мое единственное и настоящее горе. Я обманул женщину, лишенную плоти, небесную женщину, «вечную женственность», как сказано в конце той книги, над которой рыжий так издевался на собрании. Наложением рук я сверг этот идеал с неба и бросил его в бездну плоти, в черную яму материи. Теперь нельзя было ожидать тени на занавеси. Воздушное видение исчезло.

33

СЛАВА

В тот день, когда я окончил гимназию, бабушка приготовила для всех обитателей чердака горячий шоколад. Это был густой, сладкий, крепкий шоколад с корицей — теперь такого уже не варят. К нему она подала холодные блинчики с сахаром. Какая торжественная минута — пить шоколад в обществе людей, символизирующих мир в мире! Какое счастье, что я делил с ними ночи!

Но вскоре, как и несколько лет назад, когда дедушка сообщил о своем намерении послать меня в гимназию, я снова впал в уныние, и мной овладела тревога. Раньше я боялся потерять чувство безопасности, которое кончалось за пределами Бреккукота, теперь я пугался новых, нехоженых путей, которые должны открыться передо мной, поскольку мне не нужно больше ходить проторенной дорогой вдоль моря по утрам в гимназию и вечерами возвращаться домой. Куда я, проснувшись утром, пойду теперь?

— Кем же ты хочешь быть, мой друг? — спросил инспектор, который против своего обыкновения разрешил себе прийти с работы на полчаса раньше, чтобы выпить по случаю такого торжественного события вместе с остальными чашку шоколаду.

Я помедлил с ответом.

— Мне никогда и в голову не приходило, что Аульфгримур будет кем-нибудь ниже окружного судьи, — сказал капитан Хогенсен.

— Разве этот благословенный ребенок не знает, кем он хочет стать? — заметил Руноульфур Йонссон. — Не может быть.

Но он не сказал, кем же я должен стать, может быть потому, что в данную минуту не мог вспомнить, как называется должность, на которую он меня прочит. Я же был уверен, что как только он получит свой военный корабль, то вспомнит, кем я должен стать. В глубине души я верил, что он не удовольствуется для меня меньшей должностью, чем королевский советник.

— А не будет ли это ловля пинегора? — спросил я наполовину в шутку, наполовину всерьез, ибо, независимо от того, сколько я выучил латинских склонений, я никогда не переставал ценить эту рыбу выше всех других рыб.

— Вот как, — по обыкновению заметил дедушка, скорчив гримасу.— Но все же...

Другими словами, мой ответ ему не понравился.

— Может быть, Бьорн предпочтет, чтобы ты ловил треску? — высказал предположение инспектор.

— Пинегор,— начал дедушка, — когда у него весной появляется новая окраска, радует сердца людей. Но случается также, что пинегор вообще не появляется у наших берегов. А теперь на кораблях лавочника Гудмунсена и других за один раз вылавливают в двадцать раз больше, чем я на своей лодке. Вот и пришел конец мне и мне подобным. Руноульфур Йонссон может рассказать, что значит ловить треску для Гудмунсена; поэтому я предлагаю тебе, мальчик, учиться на пастора — в Исландии это всегда хорошая должность. То, что им не доплачивают рыбой, они получают маслом.

Я от изумления широко раскрыл глаза и подумал, что дедушка шутит. Неужели я должен стать пастором только потому, что дедушка, который в припадке религиозности по воскресеньям читал проповеди Видалина, взвесив и обдумав вопрос, пришел к этому выводу?

Я понимал, что Бьорн не всегда говорил свои слова, был в Бреккукоте и другой Бьорн, который был мне еще ближе, — бабушка.

— Бьорн всегда хотел дать маленькому Гримуру что-нибудь от нас обоих, чего нельзя было бы у него отнять, — сказала бабушка.

— И все-таки у него всё отнимут, — предсказал Руноульфур Йонссон.

Но бабушка с этим не согласилась:

— Тому, кто не делает другому зла, не может повредить то, что делают другие. Учение — это свет в сердце, похвала и слава в мире. Богатство это то, чего у тебя не могут отнять.

— На моей полке два кисета,— сказал инспектор.— Время действует на них, как и на все остальное. Правда, оба они пусты, только в одном лежит золотая монета. Она твоя, мой друг. Хочешь ты ее взять сейчас или позже?

— Потом.

Вечером, когда я пошел к Кристине в дом пономаря, оказалось, что она не одна: у нее кто-то был. Я это почувствовал, как только открыл дверь. В комнате сидела молодая женщина, хорошо одетая, надушенная, в шляпе с большими полями и в красных перчатках с кисточками — маленькая фрекен Гудмунсен. Она читала вслух старухе газету. На столе стояли фрукты и цветы.

— Поздравляю, Аульфгримур! — сказала девушка, увидев меня в двери, и, не вставая, протянула руку.

— С чем? — спросил я.

— О тебе пишут в газете. Аульфгримур Хансен из Бреккукота! Странно, что ты не в студенческой шапочке.

— Еще более странно, что ты знаешь Кристину.

— Милая девушка совсем меня не знает и все же приносит мне апельсины,— сказала старая женщина.— Как они хорошо пахнут! Слишком хорошо для такой старухи, как я.

— Как может мать Гардара Хоулма так говорить? — и фрекен протянула мне последний номер «Фолдина», который она только что читала вслух.

На первой странице был напечатан большой портрет Гардара Хоулма; далее следовала статья, написанная тем странным старомодным языком, которым в дни моей юности пользовались для сообщения важных газетных новостей: например, о короле, или о кораблекрушениях, или о смерти великого человека. Вот что там было написано:

«Через море к нам дошла весть о том, что вскоре всемирно известный певец Гардар Хоулм высадится в Исландии. Великий человек направляется сюда из Франции. В последнюю зиму он своим чудесным пением услаждал людей в больших городах к югу от Альп. Певца в тех странах приветствовал простой народ, а также важные князья и большие люди, даже сам папа, в роскошном дворце богини Талии и в других пышных жилищах.

Ходят слухи, что его святейшество просил Гардара спеть для него в соборе святого Петра, ибо голос нашего певца граничит с небесным и в нем отблеск света и добра. Папа пригласил певца к себе, благословил его именем господа бога и передал через него наилучшие пожелания всем жителям Исландии».

Статья была на двух-трех столбцах, я счел ненужным читать дальше и вернул газету девушке.

— Иисусе! — воскликнула она. — Неужели ты настолько горд, что не хочешь прочесть то, что напечатано в газете?

— А разве то, что напечатано, может измениться, если я это прочту?

— Вот уж... Пожалуйста, ради меня, Аульфгримур, не важничай. Я ведь, извини, постарше тебя. Мне кажется, что ты можешь уже носить студенческую шапочку и, не стесняясь, читать газеты, тем более когда пишут о твоем родственнике... А правда ли, что ты тоже собираешься стать певцом?

— Кто это говорит?

— Наш друг, мадам Струбенхольц. Я учусь у нее играть на гитаре.

— Я пойду,— сказал я.— Извините, что помешал. Я не знал, что у Кристины гости.

— Я тоже пойду,— маленькая фрекен Гудмунсен встала и поцеловала старуху.— Да будет с тобой бог, дорогая Кристина! Скоро я опять приду, если только смогу. Проводи меня в город, Аульфгримур. Мне нужно поговорить с тобой.

Мы вышли вместе, но я не мог удержаться, чтобы не напомнить фрекен, что не впервые провожаю ее отсюда в город.

— Да, Иисусе, вон тот сарай,— и она показала пальцем прямо на старый хлев, — у двери которого мы встретились однажды утром. Я была глупа?

— Да.

— Но и ты. На тебе были его ботинки.

Пока мы спускались по тропинке, она молчала, а потом начала снова:

— Какая странная женщина!

— Кто?

— Его мать. Я прихожу к ней в третий раз с цветами и ничего не могу узнать. Я уверена, что ни одна живая душа не знает, о чем думает эта женщина. Она даже никогда не слышала, как поет ее сын.

— Зачем она тебе?

— А ты слышал, как он поет?

— Нет.

— Постарайся хоть раз в жизни быть откровенным и скажи мне правду, ты ведь разбираешься в пении? Скажи!

— Я слышал песню Исландии,— сказал я,— и навозную муху, жужжащую летом. Иногда я слышал щебетание птиц. А осенью — крик лебедей, который в датских романах называют лебединой песней. И, конечно, я слышал рев пьяных моряков, когда шхуны приходят в гавань. И на кладбище слышал псалом «Подобно одинокому цветку».

— Ты думаешь, это ложь, что он пел для папы?

— Не знаю. Кто был свидетелем того, что Иисус спас мир?

— Она могла бы, во всяком случае, сказать, женат ли ее сын. Но даже этого я не могла из нее выжать.

— А какое тебе дело?

— Какое мне дело?.. Ты всегда был свиньей...

— Скажи мне откровенно, чего ты хочешь от Кристины из дома пономаря?

— Еще с той поры, как я была маленькой девочкой, я всегда думала только о нем и ни о ком больше. Это не секрет. Я знаю, он больше всех больших людей. Если даже он женат, я все равно готова всю свою жизнь быть его любовницей. Но я разузнала все: слава богу, если он и был женат, то теперь отказался от своей прежней жизни.

— И ты мучила Кристину всеми этими глупыми расспросами?

— Называй как хочешь. Я разговариваю с тобой не потому, что доверяю тебе, а потому, что ты в родстве с ним и стал студентом. И потому, что мне нужно с кем-нибудь поговорить. Ты ведь знаешь, как я боялась в прошлом году... Но вот письмо.

Она вынула из сумочки письмо и протянула мне. Письмо было из Дании, я даже вспомнил, что прошлым летом читал название этого города на фотографии, найденной возле человека, который спал на кладбище. На этой фотографии была изображена измученная простая женщина с двумя детьми.

Я пробежал письмо. В нем, очевидно в ответ на запрос, сообщалось, что в этих краях никто не знает имени Гардара Хоулма, что вообще в городе нет исландцев, и никто из жителей не имеет отношения к Исландии, может быть за исключением некоего Хансена. Он женат на женщине, владелице маленькой мясной лавки; живет замкнутой жизнью, ни с кем не общается и часто подолгу не бывает дома. Иногда он нанимается на какой-нибудь корабль, забирающий сухую треску в исландских портах и направляющийся в Испанию. Под письмом был какой-то штемпель и неразборчивая подпись.

— Зачем ты мне это показываешь?

— Чтобы ты видел, что все это плод воображения или недоразумения. Разве ты не знаешь, что он скоро вернется? Разве ты не знаешь, что отец пригласил его в Исландию петь на юбилейном вечере в честь пятидесятилетия фирмы Гудмунсена? Может быть, с моей стороны ребячество писать и спрашивать? Но я не могла иначе. Мне хотелось убедиться. Мне хотелось знать. Ведь я жду его. И он снова написал мне. Теперь я знаю, что если он приедет, то ради меня. Он приедет, потому что начал новую жизнь.

34

ГАРДАР ХОУЛМ В ТРЕТИЙ РАЗ ПРИЕЗЖАЕТ ДОМОЙ

Мы, исландцы, обязаны вечной благодарностью папе еще с той поры, как он написал утешительное письмо епископу Йоуну Арасону * незадолго перед тем, как некий Христиан III, немецкий злодей в Дании, приказал казнить нашего величайшего духовного отца. Мы давно подозревали, что папа выше кайзера, но его высказывания в области веры считали далекими от правды и даже несколько смешными. Однако верили его святейшеству, когда речь шла о религиозных событиях, свидетелями которых мы не являлись,— ведь нас не было и в то время, когда был спасен мир. Как это ни парадоксально, но мы кончили верой в одно из самых невероятных учений, которое по праву или без всякого права связано с именем папы.

В лето после концерта в соборе святого Петра солнце славы Гардара Хоулма поднялось у нас в Исландии выше, чем когда бы то ни было раньше. И нет ничего удивительного в том, что студент из Бреккукота никак не мог поверить себе самому, что в прошлом году у Кристины в пономаревом доме, на чердаке над коровником, он обменялся с этим человеком обувью.

— Я отдал их одному датскому моряку,— сказал Гардар Хоулм, когда я спросил, что сталось с моими башмаками.

Благодаря посредничеству Гудмундсена, мне было поручено помогать всемирно известному певцу в те осенние дни, какие он проведет на родине, чтобы развлечь добрых исландцев в связи с пятидесятилетним юбилеем фирмы. На этот раз певец был гостем фирмы, и, конечно, на время пребывания в столице ему собирались предложить апартаменты не менее, чем из трех комнат в «Hotel d'Islande».

Гардар Хоулм сразу же послал меня в кондитерскую Фредериксена, чтобы купить двенадцать пирожных по пять эре каждое, и в аптеку к Микаэлю Лунду за содой. На нем был не тот костюм, что в прошлый раз, правда, он сидел не лучше старого, но был с иголочки, и мне показалось, что певец не выглядит таким подавленным, как в прошлый раз. Но небесный свет, который мне запомнился по его портрету в юности, как бы померк. Вместо него появилась улыбка мировой знаменитости, и она не сходила с его лица, когда певец с кем-либо разговаривал, но, к сожалению, быстро превращалась в усталую гримасу, едва только он оставался один. Часто у него на лице появлялось выражение высокомерия, что некоторых сразу отталкивало. Такое выражение лица характерно в нашем веке для пациентов сумасшедшего дома, а в прошлом веке — для гениев и мировых знаменитостей, в особенности для поэта Бодлера, если судить по литографии на заглавном листе его сборника «Fleurs du mal».

Гардар Хоулм часто подходил к зеркалу и строил гримасы, одну невероятнее другой, затем, совершая свой туалет, смазывал волосы бриллиантином и натирал глицерином руки. Вынимал свое пальто и старательно обследовал его снаружи и изнутри, тщательно выдергивая из него кончики ниток. Я должен был помогать ему складывать его тяжелые чемоданы в штабеля самой различной формы. Заставив меня перекладывать каждый из чемоданов сверху вниз и снизу вверх, он вдруг вспоминал, что в отеле есть слуги, и звонил. Он приказывал принести нож, чтобы разрезать пирожные с кремом. Когда приносили нож, ему приходило в голову, что вилка была бы более подходящим инструментом, а когда доставляли вилку, он посылал за ложкой.

* Последний католический епископ в Исландии. Казнен в 1550 году.

В конце концов он ел пирожные руками и звонил, чтобы ему принесли салфетку. Получив же салфетку, вытирал руки носовым платком.

Он часто употреблял таинственные, как бы пересекавшие друг друга обороты и вдруг замолкал, потому что его фразы можно было с одинаковым успехом закончить любым образом, а лучше всего никак не заканчивать. Нередко казалось, что он думает не о том, о чем идет речь, а о чем-то совершенно другом; он не всегда слушал то, что ему говорили, многое пропускал мимо ушей. Иногда он вскакивал, словно проснувшись от страха, при самом будничном замечании или поднимался с таким блеском в глазах, будто это незначительное замечание открыло для него истину. Но уже через минуту взгляд у него снова становился отсутствующим. Если его спрашивали о чем-нибудь важном, он всегда отвечал невпопад. Издевался ли он над людьми? Вряд ли можно было представить себе более безнадежное занятие, чем расспрашивать его о личных делах, например о том, что он думает о папе.

Я обратил внимание на некоторые странности в его поведении, которых до той поры не замечал, поскольку никогда не бывал с ним подолгу вместе. Он мог неожиданно вынуть из кармана бумагу и карандаш, чаще всего огрызок карандаша, и начинал что-то высчитывать по какой-то неизвестной системе. Мне казалось неуместным спрашивать его или следить за тем, что он пишет. А он самозабвенно предавался этому счету, насупив брови, иногда тяжело вздыхал, потом приходил в себя, осматривался каким-то чуждым взглядом и улыбался так, будто извинялся, что впал в задумчивость. Однако в этой улыбке одновременно было и что-то вызывающее, словно он говорил: «Я знаю итог, но никому его не скажу». Может быть, он подсчитывал какие-то случайные денежные суммы. Не знаю. Но во всяком случае он мог заниматься этим до бесконечности.

Одно несомненно: в его карманах были неисчерпаемые запасы небрежно скомканных бумажных денег, и, если он ронял их на пол, ему не приходило в голову нагнуться и поднять деньги, хотя бы это была сумма, равная стоимости овцы. Посылая меня за пирожными с кремом, он протягивал пригоршню бумажек.

— Это слишком много,— говорил я,— достаточно одной кроны.

Иногда я шутя спрашивал его:

— Неужели есть такое место, куда можно пойти и собрать сколько угодно денег?

— Однажды вечером, к твоему великому изумлению, — начал свой рассказ певец,— ты обнаруживаешь, что не истратил всех своих денег. На другое утро ты просыпаешься и идешь купить себе шляпу, а вернувшись домой в новой шляпе, видишь, что денег в твоем кармане стало больше. Ты приглашаешь знакомого, может быть двух или трех, в ресторан, вы заказываете лучшие вина и самые изысканные блюда, какие только можно найти в меню. Выходя оттуда сытым по горло, ты замечаешь, что, пока ты сидел в ресторане, денег у тебя прибавилось. Ты теряешь равновесие и немедленно покупаешь дом и усадьбу, чтобы отделаться от этих денег, но, заплатив наличными за собственность, обнаруживаешь, что после покупок денег у тебя стало в несколько раз больше. Тебя охватывает безумие, которое никогда не понять Бьорну из Брекукота и тем более твоей бабушке. Ты отправляешься в кругосветное путешествие, швыряешь обеими руками деньги другим безумным бродягам и не решаешься распечатывать приходящие к тебе письма, ибо знаешь, что во всех них написано одно и то же: твои капиталы бог знает во скольких банках всего мира растут и растут все быстрее и быстрее!..

— Что же случилось? — спросил я.

— Ничего. Это старая сказка. Ты хотел завоевать мир и пошел в обучение к колдуну. Он научил тебя нескольким заклинаниям. Однажды утром колдун попросил тебя, пока он пойдет собирать милостыню, принести воды в бочку. Носить воду — очень тяжелая работа, и ты предпочитаешь вместо того, чтобы таскать ведра, произнести заклинание. Ты говоришь заклинание номер один, и ведро само бежит к колодцу. Но когда ты видишь, что бочка уже полна, а ведро все еще само продолжает носить воду, ты произносишь заклинание номер два. Однако действие его таково, что ведро начинает таскать воду еще быстрее, и вскоре вода заполняет весь дом. В ужасе ты произносишь заклинание номер три, и тогда все летит вверх тормашками. Наводнение угрожает затопить всю страну. А ведро все продолжает таскать воду.

— А что же стало с колдуном?

— Он сидит, съежившись, где-то в городе, на ступеньках лестницы и протягивает руку за милостыней, а ветер насквозь продувает его лохмотья. Колдун — это, собственно, тот, кто садится за карточный стол, не интересуясь выигрышем.

35

БАНТ

К вечеру, придя в гостиницу, Гардар Хоулм сказал мне:

— Сходи домой и приоденься, я хочу вечером взять тебя с собой в отель де ля Гвендур.

Это был старый торговый дом. Старожилы называли его именем одного еврейского купца, который прибыл сюда из Шлезвиг-Гольштейна еще в прошлом веке. Магазин состоял из трех отделов. В первом торговали продуктами, которые тогда начали называть колониальными товарами или пряностями из отдаленных частей света. К ним относились перец, корица, гвоздика. Во втором отделе были всевозможные мелочные товары, называвшиеся галантереей. Здесь на гнилой деревянной дощечке красовались написанные черной краской слова «Магазин Гудмунсена». И наконец, был еще третий отдел, называвшийся «Шнапс» — слово это южнонемецкого наречия и введено у нас датчанами; означает оно — водка. Колониальные товары и шнапс раньше находились в одном отделе, пока удачное рыболовство не принесло людям столько денег, что забулдыги и поющие пьяницы, покупая у Гудмунсена вино, загораживали дорогу женщинам, пришедшим за продуктами. Тогда продажу спиртных напитков перевели в другой конец магазина, чтобы водка не мешала другим товарам.

Квартира купца из пяти комнат находилась над лавкой; окна ее выходили на улицу. Снизу были слышны громкие речи и пение.

Как и во всех старых купеческих домах, потолки здесь были низкие. На крашеных белых подоконниках стояли горшки с тропическими сорняками, вроде пеларгонии и фуксии. Горшки эти были поставлены в блестящие медные вазы, а вокруг них бантом завязаны зеленые ленты.

В этом доме банты украшали буквально все. Гардины были завязаны гигантскими бантами вверху и маленькими шелковыми — внизу. На диване красовался широкий шелковый бант величиной с бычью ляжку, и нужно было остерегаться облокачиваться на спинку, иначе этот бант-великан ударял тебя по спине. Банты были на фарфоровых собачках, и на хлебных блюдах, и на корзине с углем. На клетке с кана-

рейкой тоже висел голубой шелковый бант. Кошка входила, подняв хвост трубой и осторожно ступая, как будто на полу разбросаны горящие угли, могущие ее обжечь. Ее украшал голубой, тщательно повязанный на шее бант. В этом доме кошка носила такую же форму, как и канарейка. Подобные банты в те времена украшали дома богатых людей во всем датском королевстве, и один бог знает, откуда они появились.

Я осмотрел все банты в доме Гудмунсена. А что дальше?

Вслед за этим я обратил внимание на членов семьи, в особенности на старух. При взгляде на них становилось совершенно ясно, к чему привели родственные связи между богатыми крестьянами и мелкими торговцами, — в моей молодости это была черта, характерная для знатных жителей столицы.

Недавно иностранные газеты писали, что наша столица — это город, где у крупных купцов вкусы мелких лавочников. Может быть, здесь будет уместно сказать, что в моей юности богатым крестьянам нравилось то же, что мелким лавочникам, а мелким лавочникам — то, что приходилось по вкусу богатым крестьянам.

Исландские дамы из высшего общества, в нарядных национальных платьях, употребляли в разговоре бездну датских слов, а некоторые даже говорили на южнонемецком наречии, чуждом исландскому больше любого другого языка. Переходя на исландский, они выговаривали «р» гортанно, как в Северной Германии и в Дании, причем делали это с чувством и истинным наслаждением. Может быть, основная разница между образованностью в Исландии тогда и в наше время заключается в том, что если теперь с молодыми людьми случается беда и они выговаривают «р» по-датски, гортанно, то немедля обращаются к врачу, чтобы переместить эту букву на кончик языка.

В остальном в этих старых дамах не было ничего, что говорило бы о датской сердечности, отзывчивости или юморе.

Эти дамы и их супруги — бухгалтеры, чиновники или иные конторщики высших рангов, которые совершенно исчезли из моей памяти,— были родственниками молодого Гудмунсена по материнской линии. Мужская линия была представлена только его отцом, старым Йоуном Гудмунсеном, основателем фирмы. Худой и согбенный, он только что откушал и, опираясь на палку, направлялся к двери. Его лицо напоминало скалу. Может быть, было бы правильным сравнивать таких старцев с идолами, которым поклоняются еще и сейчас. Что за беда, что у него больше кораблей, чем у других? Я не имею никаких оснований сомневаться в том, что старый Йоун Гудмунсен был очень способным человеком, как об этом говорили. Подобно многим торговцам вином, он был умнее своих покупателей.

Старый Гудмунсен происходил из Миднеса, одного из самых нищих рыбацких поселков на Судурнесе. В его времена если нищий человек в исландском поселке хотел стать богатым, то за отсутствием другого выхода он жил впроголодь, а на сэкономленные деньги покупал лодки и продавал их другим рыбакам, наживая на каждой сотне тысячу.

Над дверью этого старого датского торгового дома по-прежнему висела маленькая прогнившая деревянная дощечка, та самая, которую Йоун Гудмунсен прикрепил у двери землянки в рыболовном поселке в Рейкьянесе, когда открылась глава его торговой истории, связанная с продажей вина. Он сразу же написал на этой дощечке «Магазин Гудмунсена», что свидетельствовало о его честолюбии.

— Кто этот парень? — спросил старик у внучки, указывая на меня палкой после того, как он каким-то невнятным хрюканьем приветствовал бывшего приказчика своей мелочной лавки Гардара Хоулма.

— Это студент Аульфгримур, дедушка,— ответила маленькая фрекен. У нее на шее были красные пятна, на кончике носа блестели капельки пота, и она почти задыхалась.

— Аусгримур? Откуда он?

— Это приемный сын Бьорна из Бреккукота.

— Бьорн из Бреккукота! — воскликнул старый купец.— Разве я не знаю Бьорна? Мы гребли вместе у блаженной памяти Магнуса на Миднесе. Нас роднило одно: мы оба не прикасались к водке. Но в отличие от меня, Бьорн никогда не ставил себе никакой цели, и никто никогда не жил в такой нищете, как он. Мне говорили, что через порог его дома переступали только нищие, бродяги и эмигранты в Америку. Но Бьорн всегда был работягой. И никто не умел лучше него сушить пинегора. Что ж, я не побоюсь взять его парня к себе за прилавок.

Не могу умолчать о некоторых гостях, ибо на них нельзя было не обратить внимания. В первую очередь я назову мадам Струбенхольц, которую некоторые исландцы окрестили топором Риммугигура, мою учительницу пения,— об ее заслугах я уже писал в этой книге. Затем — профессора доктора Фаустулуса, приглашенного сюда прямо из Копенгагена с голубями в цилиндре, чтобы он мог продемонстрировать свое искусство публике на юбилее фирмы вместе с Гардаром Хоулмом. Вначале я подумал, что доктор Фаустулус сродни смешному немецкому Фаусту, о котором говорили на собрании по вопросу о бритье. Но оказалось, что он родом из Фальстера и пользуется заслуженной славой на рынках Ютландии. Предполагалось, что доктор Фаустулус сумеет оживить это несколько чопорное семейное собрание настоящей датской шуткой и остроумием.

Трудно забыть и важного господина, которого часто можно было встретить на улицах в пальто «дипломат», с палкой из слоновой кости, увенчанной серебряным набалдашником, и с золотым лорнетом. Он проходил по городу с миной властителя и орлиным взглядом; на нем всегда были крахмальные манжеты и обсыпанная табаком жилетка. Это был редактор «Фолдина», он же депутат альтинга и — я не хочу сказать национальный поэт, ибо в те дни каждый второй из высшего общества являлся таковым,— просто поэт, что будет доказано на последующих страницах. Однако в доме Гудмунсена он снимал с себя маску властителя и склонялся до земли перед другими гостями. От смущения он поклонился и мне, обнажив при этом зеленые от винного камня зубы, поздравил меня с окончанием классической гимназии, назвал алладином Исландии, студентом Хансеном, надеждой родины и наговорил много таких слов, которые у нас в Бреккукоте считались кривляньем.

Не менее изысканно меня приветствовал и сам хозяин.

— Bonjour, дорогой земляк и господин сту-дент,— сказал купец Гудмунсен, делая ударение на окончании «дент», как это тогда полагалось людям, умевшим себя вести. — Неожиданная честь! Italia terra est. Sardinia insula est! * Да будет мне позволено представить студента всемирно известному профессору и доктору, прибывшему к нам с птицей в цилиндре, а также нашей высокочтимой датской музе топору Риммугигуру, которую я разрешу себе назвать мадам Лорнет. Она обещала сыграть для нас после ужина «рапсолодию» Листа.

Я думаю, что Гудмунсен — единственный человек в этой семье, сохранивший остатки датского характера: он умел быть гибким и обладал чувством юмора, что помогает полностью или частично скрывать сущность

* Италия — страна. Сардиния — остров *(лат.)*.

человека или во всяком случае обманывать окружающих. Возможно, что он научился вести себя так в Дании, где в молодости обучался торговому делу.

Он взял меня под руку и подвел к стене, где висела огромная олеография, изображающая льва.

— Дорогой студент Хансен,— сказал он. — Ничего подобного вы никогда в Бреккукоте не видели. Это лев.

— Вот как,— ответил я.— Да, я, к сожалению, никогда не видел льва.

— Именно таковы львы в зоологических садах, но этот лев вдвое больше обыкновенного,— сказал купец.— Невесело, если такой зверь набросится на человека и укусит его.

— Разве львы кусаются? — спросил я.— Я думал, что они пожирают.

— Yes, yes, конечно, yes, конечно, львы пожирают,— сказал купец и расхохотался.— Нужно быть настороже. You have a map and a ruler *.

Природа по рассеянности забыла увенчать этого пятидесятилетнего человека признаками его возраста. У Гудмунсена были маленькие усы щеточкой над верхней губой и аккуратно подстриженные волосы. Глядя на его щеки, я невольно вспомнил сливу из бабушкиных стихов. Но, хотя он и в пятьдесят лет оставался краснощеким веселым парнем или именно поэтому, среди шуток в нем вдруг проявлялось нечто серьезное и резкое. А поскольку он не всегда был уверен, что умное слово сказано к месту, то украдкой оглядывался, чтобы убедиться, что его замечание понято. Если он этого не обнаруживал, то разражался хохотом, чтобы дать понять, что он просто шутил, либо затем, чтобы задеть собеседника смелым словом или испытать доверчивость людей, но всегда готов был взять свои слова обратно.

Я думаю, что в глубине души купец Гудмунсен был застенчивым и чувствительным человеком. Так в моей юности называли различные качества — теперь же они характеризуются фрейдистскими терминами. Но было одно лицо, по которому он читал, как в книге,— правильно ли ведет себя, и это было лицо его жены, привязывавшей шелковые банты на кошку и на птицу, хотя кошка предпочитала бы ее съесть. В этом нет ничего удивительного, так как фру Гудмунсен происходила из более старого и более почтенного рода, чем он сам. И хотя у нас в Бреккукоте род фру Гудмунсен не считался более старым и почтенным, чем род Адама, все же в похвалу фру скажу, что Исландия в ней победила Данию; это сказывалось во всем ее существе, в одежде и, по-видимому, в душе: она никогда не показывалась в датских платьях и никогда не ездила в Данию. Исландская национальная одежда, как известно, бывает трех разных видов. И даже платье самого низшего вида увешано большим количеством золота и серебра, чем платье любой другой нации, за исключением мундиров кайзера и генералов. Таким образом, национальное платье исландских женщин не годится для невзрачных бедных людей. Фру Гудмунсен обычно надевала платье того вида, которое подходило к собравшемуся обществу, и я не могу даже сосчитать, какую ценность, выраженную в золоте и камнях, она носила на себе.

Но несомненно, что немного генералов или кайзеров носили свое золото с большим достоинством, чем эта насквозь исландская фру Гудмунсен, когда она выступала в своих комнатах, хотя она и произносила «р» по-датски и следила за тем, чтобы на всех вещах были банты.

В соответствии со странным исландским обычаем хозяева, желавшие прослыть щедрыми, предлагали гостям перед ужином кофе с пирожными. Возможно, что этот обычай остался с давних времен: тогда не было иного топлива, кроме плохо горевшего торфа, и гости часами дожидались жар-

* У вас есть карта и линейка *(англ.)*.

кого и каши; поэтому и приходилось угощать их сладким, чтобы заморить червячка. Но в наше время причина заключалась не в том, что пища готовилась медленно, а в приверженности больших людей к старым обычаям. После того как гости насладились блинчиками, пирожными, тортами, венскими булочками, печеньем и всякими другими кондитерскими изделиями и кофе со сливками, стали наконец накрывать стол для пиршества.

Я уже сказал, что это общество было несколько чопорным. Разве не странно, что такой столп общества, как Гудмунсен, вместо того, чтобы устроить в честь своего протеже — знаменитого исландца, который, судя по сообщениям газет, только что дал концерт для папы,— настоящий пир и пригласить на него других столпов общества, довольствуется скромным ужином в семейном кругу? Разве такой именитый гость не имеет права на более пышный прием, чем тот, какой устроил его благодетель и меценат? Что означает это общество? Может быть, этим хотят без обиняков сказать Гардару Хоулму, что его принимают в семью?

Несмотря на банты на кошке и канарейке, несмотря на увешанных золотом членов семейства, несмотря на рапсодию Листа, несмотря на самое изысканное в Исландии угощение — от куманики до овсянки, — я никак не мог понять, в чем смысл этого вечера.

Обращение семьи со знаменитым человеком отдавало, мягко выражаясь, хитростью. Предположим, что люди, не знающие, что такое песня, не могут оценить по достоинству и знаменитого певца. Но кем был этот человек в их глазах? Или приказчика Георга Ханссона из дома пономаря вытащили на один вечер и украсили бантом, чтобы кого-то ввести в заблуждение? В таком случае, кого и зачем?

Что произошло с той поры, как маленькая фрекен Гудмунсен прошлым летом сидела под домашним арестом? Ведь всего несколько недель тому назад она поверяла мне, что ждет Гардара Хоулма, но в течение всего вечера я не обнаружил никаких признаков близости между певцом и дочерью купца. Очевидно, в доме царил закон, что дочь не может знать этого гостя ближе, чем любого другого. Они почти не глядели друг на друга. Какую комедию они разыгрывали и для кого — мне было неясно. Не для меня ли и мадам Струбенхольц? Или для профессора доктора Фаустулуса? Вряд ли для доверенного фирмы, редактора «Фолдина», надевавшего ежедневно маску властителя, но сменявшего ее на личину батрака, как только его приглашали за прилавок. Но одно не могло быть комедией: красные пятна, подобно быстро плывущим облакам, то появлявшиеся, то исчезавшие на щеках и шее дочери Гудмунсена.

Вначале подали жареный картофель, затем последовали всевозможные соленья и соуса, такие густые, что с ними трудно было справиться. Их сменили другие деликатесы — подсушенный французский хлеб и баранина, копченная на можжевеловых ветках, соленое китовое мясо, сардинки и кровяная колбаса, неожиданно выскочившая, как чертик из коробки. Затем по фарватеру проследовали поджаренные бараньи головы, черника, смешанная с чудесной красной куманикой, а также другие лакомства, перечисление которых заняло бы слишком много времени. Было похоже на то, что мы ворвались в магазин съестных припасов.

Каждый мог есть, что хотел, в зависимости от его привычек и врачебных предписаний,— и каждый следовал собственному вкусу. Одни начинали с подсушенного французского хлеба и кончали соленым китом, другие, начав с куманики, заканчивали бараньей головой или кислым молоком. Были поданы и напитки: молоко, французское красное вино, помимо уже названного кислого молока. Пиршество завершилось миской густой овсяной каши, которую поставили перед главой рода, старым Йоуном Гудмунсеном. Эта пища в то время по одной из шотландских теорий считалась особенно полезной для желудка.

Когда блюда были расставлены, хозяин попросил гостей занять места за столом, и каждый сел, куда ему хотелось; только хозяйка по исландскому обычаю стояла, наблюдая за подачей блюд.

Купец Гудмунсен попросил мадам Струбенхольц, сидевшую рядом с профессором Фаустулусом, взять мандолину. Редактор «Фолдина» вынул из кармана и роздал всем присутствующим текст застольной песни, которую он сам сочинил и напечатал. Она называлась «Семейная и дружеская застольная песня»; исполнять ее следовало на мотив «Дон Жуана» Моцарта. Как это ни странно, но в заголовке ничего не было сказано о поводе для этой семейной и дружеской встречи, и каждому следовало догадываться самому — собрались ли здесь отпраздновать юбилей магазина Гудмунсена или приветствовать земляка и друга, познакомившего широкий мир, а также папу и Магомета бен Али с Исландией. Однако вне зависимости от того, по какой причине собрались люди,— может быть, просто на обычный ужин,— все начали петь по розданному тексту. К сожалению, не все могли принять участие в этом хоровом пении, поскольку некоторые из гостей забыли дома очки.

Автор явно наслаждался своим произведением и не только пел вместе со всеми, но и исполнял целые строфы соло. Время от времени Гудмунсен, когда ему удавалось найти нужную строчку стиха, разражался страшным ревом, заглушавшим все голоса. Гардар Хоулм во время исполнения песни строил непонятные гримасы и делал такие же непонятные жесты. Глава семьи старик Йоун Гудмунсен, не обращая никакого внимания на происходящее, ел свою овсянку и что-то бормотал про себя. Как только мадам Струбенхольц отложила мандолину, профессор доктор Фаустулус вынул из декольте этой талантливой дамы семь яиц и маленькую сухую треску.

Вот первая строфа стихотворения — я привожу ее по печатному экземпляру, который хранится в Национальной библиотеке:

Все боги — слыхано ль такое! —
В пивных дрожжах находят вкус.
Я ж масло предпочту, жаркое,
Из спелых ягод сладкий мусс.
Они дрожжей полезней вдвое —
За это смело поручусь.
Но боги — слыхано ль такое! —
Имеют очень странный вкус.

Одна из пожилых дам в национальном платье обратилась к всемирно известному певцу Гардару Хоулму, которого она спутала с профессором доктором Фаустулусом, и с важностью спросила:

— Правда ли, что в Дании мало мяса, господин доктор? Я слышала, что бедные люди питаются там по преимуществу капустой и бобами.

Едва окончилась песня, как вдруг знаменитый певец, разряженный подобно старой деве, жалким фальцетом затянул последнюю строфу застольной песни, но пропел ее, хоть и на тот же мотив, однако шиворот-навыворот.

Я не знаю, как расценили гости этот внезапный припадок. Все, за исключением Йоуна Гудмунсена, занятого овсянкой, устремили взоры на певца. Вряд ли кто-нибудь думал, что именно этот бабий визг мог очаровать папу. Во всяком случае, никто даже не улыбнулся. Мадам Струбенхольц только поднимала и опускала голову, разглядывая Хоулма через лорнет, поверх лорнета и из-под лорнета. Однако профессор доктор Фаустулус прекратил вытаскивать продовольствие из декольте мадам Струбенхольц и безмолвно таращил глаза. Впервые в Исландии услышали голос всемирно известного певца:

В стране, где мяса вовсе нет,
Капусту варят на обед.

О фру любезная, привет!
Чудак какой-то там сидит,
То горько плачет, то кричит,
Одно и то же он твердит:
Где мяса нет, едой была
Всегда капуста, тра-ла-ла!

Когда Гардар Хоулм закончил этот странный номер, наступила мертвая тишина. Купец оглядывал стол, чтобы убедиться, какое впечатление это произвело на гостей, и увидел, что никто не смеется. Тогда, чтобы рассеять впечатление от этого неожиданного и странного развлечения, он разразился оглушительным хохотом, крикнул «ура!», «браво!» и захлопал в ладоши. Потом еще раз оглянулся и внезапно умолк. Никто не хлопал. Все были поглощены едой. Купец встал, прикрыл рот рукой, скромно откашлялся и сделал движение, характерное для заправского оратора. В это время он был похож на мальчика, играющего в оратора. Хозяин деликатно отодвинул стул, с напускным спокойствием поднял голову, прищурился и, с трудом подыскивая слова, заговорил:

— Я позволю себе сказать несколько слов, чтобы приветствовать нашего всемирно известного друга, хотя он так знаменит, что, если бы мы могли себе представить его славу, ни один из нас не осмелился бы заговорить с ним, а говорили бы только о нем, да и то вряд ли.

Оратор бросил взгляд на свою жену, чтобы убедиться — гордится ли она мужем, не каждый ведь может вот так сразу произнести речь.

Подражая опытным ораторам, которых он видел своим духовным взором, купец прибегнул к тексту из немецкого учебника:

— В одной знаменитой книге говорится: "Ein Engländer, der kein Wort Französisch sprechen konnte, reiste nach Paris" *.

Тут купец снова пристально посмотрел на жену. Воцарилось долгое мучительное молчание; мелкие бисеринки пота выступили на кончике носа оратора.

— Я сказал — знаменитый человек? Я сказал — большой человек? Гм. Да... И стою на этом. Стыдно тому, кто в этом сомневается. Не правда ли, господин редактор? И все же, Гардар Хоулм не слишком велик для того, чтобы бывать в этом доме и более десятка лет сидеть за этим столом, хотя теперь его слава и достигла зенита, в особенности после того, как он пел перед Магометом и папой. Короче говоря: „Italia terra est!" Ха-ха-ха! Выпьем, дорогие земляки! Приветствую вас! И вот что я еще хотел сказать... С той поры, как Гардар Хоулм, называемый также маленьким Георгом из дома пономаря, Георгом Ханссоном, стоял за прилавком винной лавочки там внизу, он был мне братом и сыном, и не только мне, но и моей жене, и моему отцу, и моей дочери. Как сказано: „Sardinia insula est!"

Теперь наступили новые времена. Прежде, когда мой отец был еще в расцвете сил, люди довольствовались водкой, стоившей всего двадцать пять эре. В те времена непьющие рыбаки в лучшем случае оставляли в сундуке своим наследникам несколько риксдалеров**. Теперь нельзя заниматься рыболовством, не владея банками или, по крайней мере, не имея дела с кредитными учреждениями. Мы не довольствуемся установкой моторов на шхунах и покупкой траулеров, а создали банки, в которых все могут копить деньги. И во главе нашего банка стоит знаменитый финансист, теолог и социалист.

Это вам не торговля бакалеей. Ты приезжаешь в Копенгаген как благородный человек, и что же? Газеты тебя называют тресковым графом. Хотя треска и является одним из драгоценных грузов, отправляемых в разные страны, все же это смешной товар... Что я хотел сказать, дорогие дети,

---

* Один англичанин, не знавший ни слова по-французски, поехал в Париж *(нем.)*.
** Старинная датская монета, равная четырем кронам.

любимые родственники и высокоуважаемые земляки?.. Да... Треске нужен бант. И недостаточно, чтобы у трески был датский бант, ей нужен бант международной славы. Короче говоря, мы должны убедить мир в том, что в рыбе заключена прекрасная песня. Поэтому мы, продавцы рыбы, сжав кулаки, напрягаем все свои силы для повышения культуры народа, чтобы доказать, что мы не только вытаскиваем из глубин моря серую треску, но и украшаем ее бантом на радость всему миру, ибо сказано: „Er ging in ein Wirtshaus hinein um zu Mittag zu essen" *.

Я знаю, милая дочка, что ты считаешь меня необразованным, но когда я был маленьким мальчиком, отец послал меня в лавочку, а не в классическую гимназию. Для того, чтобы уметь вести себя в свете, я изучал языки по ночам, когда ты, моя дорогая жена, спала. Однако одному я научился в винной лавочке — никогда не напиваться пьяным. Моим девизом всегда было, как это знает отец, «машина, а не пьянство».

— Да, мой Гвендур, — старый Йоун Гудмунсен оторвался от овсянки и поднял голову.— Ты прав. Я тоже всегда был трезвенником и говорил, что нужно не пить водку, а копить деньги. Люди должны жениться, рожать детей и, будучи на суше, сидеть дома. Это главное благо. А потом так приятно снова уйти в море. Пьющие всегда опаздывают на рыбную ловлю. Мне это хорошо известно, потому что я понес убытки на пьяницах и лентяях большие, чем любой другой судовладелец в Судурнесе.

— Совершенно справедливо, дорогой отец. Мы живем в век прогресса,— снова заговорил купец Гудмунсен.— Появились машины. Куда теперь годятся деревенские пасторы, каким был мой прадед, господин Снорре, хотя он и умел загонять призраки в землю. Теперь требуется культура. Самые красивые девушки хотят взять себе в мужья знаменитых мужчин, все, за исключением моей жены, которая влюбилась в меня. Твое здоровье, любимая, приветствую тебя: "Er setzte sich an einen Tisch und nahm die Speisekarte"**. Мы послали тебя, дорогой оперный певец Гардар Хоулм, чтобы ты нес исландскую культуру за границу.

— Что? — старик снова поднял голову. — Это ложь. Я знаю, что мы просто выставили его за дверь, как нерадивого лентяя; да к тому же повышавшего голос и скандалившего в магазине.

Купец Гудмунсен невозмутимо продолжал:

— Признаюсь, нам не было дано сразу понять оперного певца. Кто может сказать в Исландии, что он признал певца? Простите за откровенность, но кто в Исландии понимает искусство пения? Зато я был первым, кто признал певца, как только его признали в Дании. Я никогда не забуду, до чего был потрясен — это произошло вскоре после того, как мы выгнали Георга. Я поехал в Копенгаген и вместе с хозяином булочной из Ольборга был в гостях у моего старого друга, владельца бойни Йенсена. Ведь мы, если ты помнишь, господин оперный певец, послали тебя в Копенгаген на бойню, поскольку потеряли надежду на то, что ты сможешь хорошо работать в винной лавке. Несмотря ни на что, мы хотели тебе добра, дорогой земляк. И вот Йенсен говорит мне: «Исландец, тот, кого ты ко мне послал, поет, заглушая всех на бойне. Я позвал его и своего зятя Сэренсена, который в Ольборге играет на трубе. На бойне, как известно, много шуму, в особенности когда закалывают тысячу сто свиней в день. Сколько раз я говорил Сэренсену: «Послушай, Сэренсен, есть только одна бойня в Дании, которая может заглушить оркестр в Ольборге,— это моя. Но когда мы услышали, как исландец орет о троллях, бродягах и призраках, что водятся в Исландии, мы не выдержали. Мы немедленно послали парня к профессору. На другой день он явился с дипломом».

---

* Он вошел в трактир пообедать *(нем.)*.

** Он сел за стол и взял меню *(нем.)*.

— Давай сюда парня, — сказал я. — Не будь я Гвендур Гудмунсен!

И кого, вы думаете, приводят мои датские друзья? Георга Ханссона из пономарева дома, которого отец выгнал год тому назад из лавки. И диплом у него был самый настоящий, как любой диплом королевского учреждения в Дании, с печатью и всем, что полагается в консерво-лаборатории. Этот человек — мировое чудо, ему не хватает только немецкой и итальянской школы, чтобы стать мировой знаменитостью.

Или это была лотерея-обсерватория? Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что я сунул руку в карман, вынул кошелек и обратился к датским властям с одним только словом: «Сколько?»

Я догадывался, что мои датские друзья собирались послать этого исландца в Германию и в Италию. Я же считал, что он как исландец должен приумножать славу нашего отечества. Так же думал и мой высокочтимый отец, известный тем, что не слыл расточителем и жил на более скудном рационе, чем кто-либо другой в Исландии в его время: никогда не брал в рот ничего, кроме овсяной каши, и носил ту одежду, какую выбрасывали наши слуги. Так вот, нам обоим казалось позорным для всей Исландии, если громкоголосый парень, которого нельзя было даже держать в винной лавке Гудмунсенов, будет возвышен в мире датчанами и, может быть, даже объявлен гением, как они это сделали с Альбертом Торвальдсеном * и Нильсом Финсеном**.

Мы — отец и я — хотим отделения от Дании, этого хочет и наша газета «Фолдин». Я спросил, отец спросил, и вся фирма спросила: не пришло ли время, чтобы мы, исландцы, показали, что мы не те тюлени, которыми были до восемьсот семьдесят четвертого года, когда купец Ингоульфур Аурнарсон открыл лавочку на том месте, где мы сейчас находимся? Если владельцы крупных датских предприятий клянутся, что исландец поет громче всей бойни, где забивают в день тысячу сто свиней, и громче целого оркестра в Ольборге, и это подтверждается дипломом известнейших датских профессоров, то разве не ясно, что мы, вытаскивавшие молчаливую рыбу, должны напрячь все силы, собрать денег и перестать быть грязными тресковыми графами, как говорят о нас датчане, а дать рыбе возможность широко открыть глотку. Поэтому я приказал купить парню пальто «дипломат» и цилиндр, сделать его за счет фирмы гением и послать в широкий мир, чтобы мир узнал о нашей стране. Довольно говорить об Эгиле Скадлагриммсоне***, он ведь плевал на народ. Пришло время осуществить великий исландский парадокс, который я уже приводил:

Рыбки водят зачастую
И на суше хоровод.
Знаю я овцу такую,
Что живет в глубинах вод.

Я говорил, говорю и буду говорить: «Рыба, не поющая на весь белый свет, — мертвая рыба»! Давно пора, чтобы у нас в Исландии была поющая рыба — и при этом с бантом. Добро пожаловать, дорогой земляк, к твоему старому и новому столу здесь, на нашей улице. Мы верим в тебя. Ты — поющая рыба нашей страны, хотя это говорю всего-навсего я — деля Гвендур. Твое здоровье!

Купец Гудмунсен был награжден приличествующими аплодисментами. Он даже не успел взглянуть на свою жену, чтобы понять ее отношение к его речи, как Гардар Хоулм встал и начал ответное слово.

— Я имею честь,— сказал оперный певец,— присутствовать на одном из замечательнейших пиршеств с великолепнейшими яствами и напитка-

---

* Бертель (Альберт) Торвальдсен (1770—1844) — знаменитый датский скульптор.
** Нильс Финсен (1860—1904) — датский врач, лауреат Нобелевской премии.
*** Эгил Скадлагриммсон — исландский скальд X века.

ми, какие когда-либо устраивались в честь самых важных персон в расшитых золотом мундирах в Европе нашего времени, начало которого отмечено в календаре, хотя у нас и нет доказательств, что время идет вперед. Однако независимо от того, идет время вперед или назад, наступил день, когда я должен сказать слово благодарности этому дому, этому прекрасному дому, где не только повязывают банты кошкам и канарейкам, но и покупают рыбе славу, опровергнув тем самым старую пословицу, что дурак должен погибнуть.

Жили однажды король и королева в своем королевстве, и мужик и баба в своей хижине. Так начинается сказка. В этом доме, где наш любимый родоначальник Йоун Гудмунсен был королем бóльшего количества безгласных рыб, чем любой другой исландец, и начал свою песню бедный парень, вернее, здесь он стал известен своим криком и воем. Это было в те годы, когда вошло в моду говорить по-французски и наш хозяин де ля Гвендур осознал свое призвание. Он отправился в Копенгаген, где вел торговые дела с булочниками, мясниками и контрабасистами, как он нам об этом сегодня рассказал.

В те времена в лавочку приходили исландцы, уже не находившие удовольствия в том, чтобы зачинать детей в трезвом состоянии; в известной степени они были правы, ибо суша в Исландии всегда столь же опасна для детей, как море для их предков. Многие взяли себе за правило — опустив добрую половину своих детей в землю, остальных посылать на военные корабли, выражаясь словами старого Руноульфура Йонссона — одного из величайших мореплавателей, плывущих только назад, и советников, которые когда-либо были в Исландии. Получив свой военный корабль, эти люди пели «Через холодные пески пустыни» до тех пор, пока не начинали плакать. Потом затягивали песню «Ты, чудная прохлада прекрасного мира», пока не теряли дара речи и не сваливались на пороге носом кверху, что в Исландии называется «быть мертвым». Уважаемые дамы, приходившие в лавочку, чтобы купить перцу для приправы к своей вечной рыбе, вынуждены были шагать через этих людей.

— Я всегда был противником спиртных напитков,— прервал его старик Гудмунсен. Он склонился над своей овсянкой и приставил руку к уху, чтобы лучше слышать.— И я не виноват, что эта глупость так укоренилась в народе. В молодости я любил рыбий жир, но смешивал его со смолой, чтобы не пить слишком много. Мне восемьдесят пять лет, и я никогда не пил ничего, кроме кислого молока, и не ел ничего, кроме каши со снятым молоком.

Гардар Хоулм продолжал:

— Похоронив сорок-пятьдесят детей из каждой сотни, как это было тогда в обычае среди исландцев, и погоревав над ними здоровой и искренней печалью, они отправлялись в лавочку, напивались там до потери сознания и орали римуры. Нужно было уметь всех их перекричать, уважаемые дамы и господа. В те времена я только что вышел из младенческого возраста. Не могу описать вам свою величайшую победу, когда, состязаясь в пении с одним из знаменитейших пьяниц нашего города, я добился того, что он совершенно охрип и не мог издать ни звука, и концерт пришлось закончить тумаками. Да, сколько было таких песенных битв, в которых пришлось участвовать, стоя на страже доброго имени и славы нашей лавочки! Я это говорю не для похвальбы, но факт, что, хоть мне и не было еще восемнадцати, я в одну минуту мог перепеть любого горластого пьяницу, приходившего в лавочку.

Ты, Йоун Гудмунсен, старый друг моря и водки, ты, никогда далеко не уезжавший и никогда не видевший, как южные мысы опускаются в море, никогда не пробовавший ничего, кроме кислого молока, и ты, доро-

гой де ля Гвендур, кавалер Данеброга *, изучивший иностранные языки и многое другое, чего я не смогу перечислить, вас обоих я от всей своей души благодарю за то, что мальчишку — рассыльного в лавке — вы сделали подручным на бойне в Дании.

36

ВЕЧЕР НА МОГИЛЕ АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА

— Может быть, ты собираешься стать у них приказчиком? — спросил Гардар Хоулм, когда мы вышли на улицу.

Произнеся благодарственную речь, он вскоре поднялся, объяснив свой уход тем, что обещал заглянуть к королевскому министру, и попрощался. Но когда мы вышли на улицу, он не сделал и попытки направиться к дому министра, а пошел прямо на кладбище.

— Кто знает? — ответил я. — Дедушка, правда, хочет, чтобы я стал пастором. Но мне не повезло: я оказался первым учеником в гимназии, а говорят, что из первых учеников никогда ничего путного не выходит.

— Не сомневаюсь, что тебя пошлют учиться пению и даже будут платить за тебя, если обнаружат, что ты можешь петь громче тех пьяниц, которые приходят в их лавочку, и в особенности, если услышат, что ты в Дании перекрываешь визг свиней. Но скажу тебе заранее — ты не наживешь двойного подбородка, получая крохи с их стола. На рождестве ты будешь бродить по окраинным улицам иностранного городка, наскребая случайно залежавшиеся в твоем кармане шиллинги и высчитывая, хватит ли тебе на чашку кофе в каком-нибудь кабаке, где, может быть, топится печка. Дело в том, что чек, который ты ждал из Исландии, как и в прошлое рождество, не пришел. Друзей у тебя нет. Ты возвращаешься в свою комнату. Натягиваешь принадлежащее хозяйке рваное одеяло, покрываешься сверху стареньким пальто, надеясь избавиться от рождественского холода. Я знаю, что человек должен отдать себя всего чистому тону. Многие отдавали все, что у них было: душу и тело, и даже жизнь, но никогда не достигали его. И все же как завидна их доля по сравнению с теми, что стали знаменитыми певцами, не зная, что такое чистый тон! Насколько они счастливее тех немногих, кто на секунду приблизился к этому тону или даже постиг его.

Мы уселись на могилу святого архангела Гавриила.

— И чек так никогда и не приходит? — спросил я.

— Когда раздается звонок почтальона, иногда три раза, иногда даже шесть раз в день, твое сердце учащенно бьется. Ты надеешься, что чудо произойдет перед самым праздником. Рождество за рождеством ты ждешь в иностранном городке до последней минуты сочельника. Но тщетно: хваленый чек из Исландии не приходит. Во всем мироздании нет ничего более далекого, чем чек из Исландии. И это не потому, что лавочка Гудмунсена — плохая лавочка. Но это же не певческая лавочка. Снабдив десятки судов гнилыми сухарями, привязав бант на корзину с углем и новый шнур к лорнету редактора, раздобыв булавки для сорок девятой дамы в семье, возможно, Гвендур вдруг вспоминал: «Где английский учебник, который мне нужно изучать сегодня ночью, когда заснет жена, и не послала ли фирма какого-то певца за границу?» Но очень может быть, что к тому времени наступал уже февраль, а может быть, и апрель. Кто знает, увидишь ли ты фунт стерлингов и весной?

---

* Датский орден, учрежденный в 1671 году.

— Я бы на твоем месте предпочел найти за границей какую-нибудь работу, хотя бы ловить рыбу, чем ждать и почти умирать с голоду, — сказал я.

— И перестать петь?

— Почему бы и нет. Во всяком случае, дедушка считает, что соленая рыба — самое главное в жизни каждого человека.

— Если ты не хочешь голодать в это рождество, как и в предыдущее, и во все последующие сочельники, просыпаться в рождественскую ночь с опухшими пальцами и морозной дрожью в груди, и вдобавок отягощенным всеми страданиями мира, значит, в тебе нет струны.

— Я наверно, слишком глуп, — сказал я, — какой струны?

— Той, что не дает владычества над землей и небом.

— А что же она дает?

— Слезу восторга перед мирозданием, — ответил певец.

Мы молча сидели у мраморного изваяния архангела в осеннем мраке; даже ветерок не колыхнул кустов пижмы.

— А потом наступают другие дни, — продолжал Гардар Хоулм. «Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen» *... Шуман. Гейне. И Рейн. Однажды утром группа молодежи отправляется на прогулку по реке и вы проводите там весь день. Приходите в старинный парк и танцуете народные танцы с девушками, одетыми, по старинному обычаю, в национальные костюмы. Затем направляетесь в средневековый трактир и пьете из старинных кружек. Вечером, когда вы плывете на лодке домой и луна поднимается на небосводе, ты сидишь на корме и следишь за течением. Неожиданно одна из девушек прижимается к тебе под ночным ветерком. Это с ней ты танцевал весь вечер, это она была в твоих объятиях. Она устало прячет лицо на твоем плече, делая вид, что дремлет. А расставаясь, шепчешь: «Ты придешь завтра?»

Но завтра нет уже народных танцев и национальных костюмов. Есть образованная светская девушка, одетая по последней моде больших городов, и очень, очень важная. Есть ресторан, в котором тебе назначено свидание. Девушка рекомендует тебе заказать икру. Она спрашивает, когда ты научился петь. И добавляет: «...эти песни». А потом говорит «эти чудесные песни», другими словами: «Когда ты прекратишь заниматься этим глупым воем?» Что ты на это ответишь?

Если ты ответишь: «Никогда», — ей покажется, что ты очень остроумен, и она будет смеяться. И ее смех, к тому же, оправдан.

Она спросит, чем ты думаешь заняться, когда закончишь свое учение. И если ты ответишь: «Ничем», — она засмеется снова. Редко можно встретить такого необыкновенно остроумного человека. Ты самый странный из всех ее знакомых мужчин. Ты, должно быть, миллионер, если позволяешь себе быть таким остроумным.

— Я из лавочки Гудмунсена в Исландии, — отвечаешь ты.

Что же странного, если она хочет почаще встречаться с таким остроумным молодым человеком? Наконец она ведет тебя домой к родителям: воскресный обед с белым вином и приличная прогулка по парку. И она говорит: перестань петь, сделай это ради меня — ты будешь работать в конторе отца, его рабочие выпекают сотни тонн кренделей в день или закалывают тысячу или, кажется, тысячу восемьсот свиней, а он по воскресеньям играет на контрабасе. Может быть, когда мы поженимся, отец сделает тебя своим секретарем. А через год, может быть, помощником директора. А потом мы — ты и я — будем владельцами пекарни, если это пекарня, бойни, если это бойня. И ты по воскресеньям будешь играть на контрабасе с пекарями и мясниками.

---

* В прекрасном месяце мае, когда все почки распускаются *(нем.)*.

Рассказав эту часть истории моей жизни, Гардар Хоулм задал мне самый трудный вопрос, который когда-либо звучал на могиле архангела Гавриила. Он спросил:

— Кем ты хочешь стать?

Многим было трудно ответить на этот вопрос.

— Бабушка бы сказала: тем, чем ты являешься, ибо ты именно ты, и никто другой, — сказал я.

— И в этом старая ошибается, — заметил Гардар Хоулм. — То, чем человек является, это единственное, чем он не является. Он — то, чем его считают другие. Не воображаешь ли ты, что император Японии — император? Нет, он самый обыкновенный нищий. Поэтому ты говоришь девушке: «Нет, спасибо, я хочу стать оперным певцом».

— Я знаю, что это трудный момент в твоей жизни, — продолжал Гардар Хоулм. — Ты оглядываешь девушку с ног до головы, видишь, какая у нее нежная кожа, как красиво причесаны ее волосы, какая у нее осанка, великий боже! Не воображаешь ли ты, что можешь сделать лучшую партию? В сказке дело доходит до того, что бедный парень встретил королевскую дочь. В тот день, когда ты перестанешь петь, ты получишь и ее, и королевство. Что же ты делаешь?

— Ты ничего не говоришь, — продолжал Гардар Хоулм. — Она смотрит на тебя и ждет ответа. Но ты молчишь, ибо не родилась еще та женщина, которая поняла бы тебя. Если ты не знал этого раньше, то узнаешь сейчас, что нет ничего более совершенного на земле, чем женщина, при всей ее ограниченности. Ты молча прощаешься с ней и уходишь — навсегда.

Ночью, вернувшись домой, ты укладываешь то немногое, что у тебя есть: пару носков, рубашку и старые башмаки, которые ты носишь в мокрую погоду, два воротничка — ведь ты человек светский — и семь носовых платков, потому что у Франца Шуберта, когда он умер, не было больше семи платков. И к тому же ты, как и все певцы, склонен к простуде. Не забудь экзерсисы... и книгу псалмов, полученную от твоей матери из Исландии, ибо, когда ты умрешь, мой друг, ее положат тебе на грудь. Ночным поездом ты уезжаешь из этого города. И никогда туда не вернешься.

Теперь история моей жизни зашла так далеко, что мой ответ уже ничего не мог изменить, и я промолчал.

— Не гляди так грустно. Таковы все стихи Гейне, и только поэтому простые деревенские жители не смеются над ними. Если ты действительно выглядишь грустным, к тебе на улице большого города подбегает толстый клоун, машет перед тобой чековой книжкой и приглашает работать в цирке. Тебя учат ездить на велосипеде, который разваливается на куски, как только ты пытаешься взобраться на него, или палкой от метлы играть на скрипке без струн.

А не поехать ли тебе лучше с певческим хором в Америку, мой друг? Сто долларов в месяц на всем готовом. Это счастье стучится в твою дверь, громадное счастье, колоссальное счастье, единственное счастье, признаваемое добрыми исландцами, — удача!

Я знаю, что в Америке выступает один из этих напыщенных германо-скандинавских хоров, которые претендуют на то, чтобы представлять культуру Европы и содействовать взаимопониманию между двумя частями мира. Такая блестящая капелла, несомненно, выступает в том торжественном одеянии, которое в Дании называется фраком; в Америке в него обряжают главным образом покойников. Там хоровое пение считается комическим номером, так что, когда шуты выступают в саванах, это вдвое смешнее. Немногие плотники из эмигрантов, купившие билеты потому, что они приходятся родственниками певцам, быстро засыпают или ухо-

дят; остаются только едкие критики, женщины, охотящиеся за любовниками, и директора цирков, ищущие новые номера.

И вот тебя просят выступить соло в хоре, предположим спеть что-нибудь из Генделя. Ты выходишь вперед. На тебя направляется свет прожекторов. Твое лицо в этом обществе одетых в саваны безумцев кажется более серьезным, чем мерзлая еловая шишка. Ты поднимаешь глаза, и тебе кажется, что люди просыпаются. А когда ты открываешь рот, в твоем горле рождаются первые звуки, выталкиваемые сердцем... Нет, не будем говорить об этом, никто ведь не понимает сердца. Но, во всяком случае, уже давно никто не видел такого серьезного лица в стране, где улыбка, не сходящая со страниц газет, является общественным долгом. Для песни действует закон: «всегда улыбаться», sempre sorridente. Твой голос летит ввысь, но теряется в этом чужом зале. Пастораль, исполняемая героическим тенором, что может быть смешнее!.. И на тебя лавиной обрушивается хохот.

Неудивительно, что у меня покраснели уши, и я спросил:

— Неужели я так пою?

— Да, ты поешь именно так, — ответил он. — Этот проклятый исландец испортил триумфальное шествие германо-скандинавского хора в самом его начале, и дирижер говорит: «Если ты снова высунешь морду в хоре, может случиться, что нас в Америке задушат смехом».

— После концерта, — продолжает Гардар Хоулм, — запершись в своей комнате в отеле, ты пытаешься все вспомнить, хотя в твоем положении это совершенно бессмысленно. Может быть, ты говоришь самому себе: «Это вина Гардара Хоулма. Это он сидел на могиле архангела Гавриила и слушал, как я пою «Подобно одинокому цветку» над человеком, не имевшим лица. Это он навел меня на мысль, что у меня, божьей милостью, есть тот тон, та струна, которые доходят до сердца и могут вызвать бесполезную соленую влагу, именуемую слезами».

Именно в этот вечер, когда твой путь певца закончился, совершенно неожиданно распахиваются двери твоей комнаты; перед тобой стоит известный импрессарио, обнимает и целует тебя: «Дорогой, милый номер! — говорит он и машет чековой книжкой. — Ты почти так же хорош, как клоун, играющий палкой от метлы на скрипке без струн. У тебя такие усталые, безнадежно мягкие собачьи глаза, что ты заткнешь за пояс всех клоунов мира. Я дам тебе матросскую тельняшку и пошлю тебя с другими веселыми парнями ездить вдоль и поперек по Соединенным Штатам. Я не требую ничего, кроме того, что ты будешь петь это комическое соло Генделя и петь для себя самого, как ты это делал сегодня вечером, не обращая внимания на тех, кто пришел слушать, если только ты обещаешь иногда щурить твои бесподобные исландские глаза»...

Когда рассказ об истории моей жизни дошел до этого пункта, Гардар Хоулм снова остановился и спросил:

— Что ты сделаешь теперь?

— Я не хочу быть знаменитым дураком, — ответил я.

— Слава одинаково хороша, чем бы ты ее ни завоевал, дружок. Слава похожа на драгоценный камень «Кохинор», который преступник из Пенджаба украл и отдал английской королеве, чтобы та носила его в своей короне. Германо-скандинавский культуртрегер, с которым ты был связан, попросил тебя убираться к чертям. Но в ту же минуту появляется американская труппа комиков и предлагает тебе все деньги и всю славу, которых клоун может добиться на этом свете. Что ты делаешь? Ты оказываешься перед выбором: стать трагикомическим певцом, которому всюду будут указывать на дверь, или печальным клоуном, перед которым открыты все двери. Нужно только понять, чего ты

хотел добиться своим искусством. Хотел ли ты быть забытым? Или ты искал славы?

— Незаслуженная слава, по-моему, не слава. Это чужая слава, — ответил я.

— Достойна ли английская королева того, чтобы носить драгоценный камень «Кохинор»? — спросил Гардар Хоулм.

— По-моему, только тот по праву может носить драгоценный камень, кто этого заслуживает.

— Это недоразумение, дорогой друг. Тот, кто имеет какую-то ценность, никогда не получает драгоценных камней. Чего же ты хочешь?

— Может быть, только вернуться домой.

— Ты не можешь вернуться домой. У тебя нет денег. И бабушка твоя умерла. Ты можешь, конечно, по ночам мыть машины или тарелки в гостинице, надеясь в каких-нибудь три-четыре года скопить денег на поездку домой, и тогда ты, наконец, как потерпевший крушение, вернешься домой, в лавочку к Гудмунсену, в то место, откуда ты уехал. Но твоя проблема не разрешена. Почему ты не хочешь иметь деньги и славу вместо того, чтобы стоять за прилавком у Гудмунсена?

— Если я не достигну чистого тона, я не хочу быть знаменитым! — заявил я.

— Да, только в этом тоне и заключена гарантия славы. Но он, к сожалению, является и наиболее коротким путем к полному забвению. Если ты раскроешь энциклопедию, то убедишься, что о подлых ворах и особенно об убийцах, главным образом о тех, руки которых обагрены кровью множества людей, пишут гораздо больше, чем о самых значительных гениях духа. Ты отправляешься, как будущий певец, чтобы добиться денег и славы. Тебе предлагают завоевать мир в качестве дурака, а может быть, и в качестве преступника. Выбирай! Выбирай здесь и теперь!

Я ответил приблизительно так:

— То, что мне говорят о славе и обо всем подобном, выше моего понимания, хотя я и люблю иногда попеть... Я так привязан к Бреккукоту. И так долго надеялся, что останусь здесь и буду ловить пинегора, а когда мне стукнет сто и я потеряю зрение, слух, обоняние, осязание и вкус, то буду сидеть в кабаке и думать о том времени, когда я с дедушкой в конце зимы вытаскивал пинегора в Скерьяфьордуре и притом так рано, что никто еще не вставал, и ни одна труба еще не дымила над лачужками.

— Ты странный парень, — сказал Гардар Хоулм, глядя на меня в осеннем мраке. — Ты ни во что не веришь, решительно ни во что! Даже в севильского цирюльника!

— Кто это? — спросил я.

— Севильский цирюльник! Неужели ты не знаешь величайшего цирюльника в мире? Чему вас учили в классической гимназии, если ты ничего не знаешь об этом брадобрее, перед которым бледнеют все другие его собратья?

— Мы, к сожалению, не дошли еще до этого в дискуссии о бритье,— пытался оправдаться я. — Извини, что я так глуп. Но где бреет этот цирюльник, о котором ты говоришь? И кого он бреет?

— Более чем сомнительно, — сказал Гардар Хоулм, — что цирюльник из Севильи вообще умел брить. Во всяком случае, когда он в третьем акте пытался побрить дона Бартоло, дела его пошли плохо, ибо дон Бартоло вскочил с намыленным лицом и бросился на графа Альмавиву. Все, что мы знаем об этом цирюльнике, это то, что он при помощи гитары пытался соединять влюбленных. Но если даже будет до-

казано, что Фигаро не умел брить, неужели ты посмеешь отвергать всего «Севильского цирюльника», самого Россини и весь оркестр?

— Я слышал интересную дискуссию по вопросу о парикмахерских — у нас в Исландии это величайшая проблема. Но я никогда раньше не слышал, что нужно верить в брадобрея, который не умеет брить.

— Ты, наверное, веришь в истории о призраках?

— Поди ты прочь со своими призраками!

— Вот именно. Я вижу, что ты напыщенный молодой человек, ставящий себя выше других, если можно так выразиться. Ведь люди охотно верят в истории о привидениях. Если ты не будешь считаться с этой истиной, боюсь, тебе не избегнуть возмездия, дорогой друг.

— Я не верю в привидения.

— Духовные ценности человечества созданы на основе веры в то, что умные головы отвергают. Я спрашивал тебя: «Что же ты изберешь на перепутье своей жизни?» Но ты мне не ответил. Теперь скажи, как ты собираешься жить, если отрицаешь не только «Севильского цирюльника», но и культурную ценность историй о привидениях?

— Я собираюсь жить так, словно никаких привидений нет, — ответил я. — И как можно меньше заниматься этим всемирно известным цирюльником, который никого не мог побрить.

— Если будет доказано естественной историей, или просто историей, или даже юриспруденцией, что факт воскресения господня не установлен, неужели ты отвергнешь мессу, написанную на эту тему? Не закроешь же ты собор святого Петра, если тебе докажут, что он — вещественное доказательство ошибочного мировоззрения и что куда полезнее превратить этот собор в конюшню? Какое громадное несчастье, что Джотто и фра Анжелико были ослеплены неверной теорией вместо того, чтобы придерживаться в живописи натурализма! История о деве Марии — это хитрая выдумка мошенников.

37

НОЧЬ В «HOTEL D'ISLANDE»

Закончив историю моей жизни, Гардар Хоулм поднялся с могилы архангела Гавриила.

— Иди ночевать ко мне в гостиницу, — предложил он. — Если меня спросят, я в гостях у губернатора.

Певец встал и исчез. Я слышал, как шуршала пижма, когда он, задевая кустарник, шагал во мраке среди могил. Я пошел в город, как он меня попросил.

В номере гостиницы горел свет. Там сидела маленькая фрекен Гудмунсен и ждала. А пришел я. Она тупо посмотрела на меня и спросила:

— Где Гардар Хоулм?

— В гостях у губернатора.

— Ты тоже начал лгать?

— Тоже? Как кто?

— Как все. Разве ты не знаешь, что все лгут, или сознательно, или бессознательно, или словами, или молчанием? Мне безразлично, что Хоулм лжет. У него только нет никаких оснований смотреть на меня сверху вниз, хотя он и презирает всю нашу семью. Я ему ничего не сделала.

— Почему тебе пришло в голову, что он смотрит сверху вниз на тебя и на всю вашу семью?

— Ты же видишь, как он ведет себя. И ты слышишь, что он говорит. Он здоровается со мной так, будто не знает меня. Он даже не посмотрел

на меня, а ведь он писал, что начинает новую жизнь, и если приедет домой, то только ради меня. Ему не нужно мне лгать. Мне совершенно безразлично, если он и не живет во дворце в какой-нибудь стране, названия которой я не знаю. И ему нечего стыдиться меня, хотя он и знает, что мне все это известно. Если любишь человека, безразлично, что он не живет во дворце и что не существует всех тех банков, в которых у него хранятся деньги, и всех тех городов мира, в которых он пользуется славой.

Я промолчал. Она вытерла глаза, но слезы лились по ее лицу.

— Отведи меня к нему, — сказала она наконец. — Я не переживу этой ночи, если не поговорю с ним.

— Он ночует у губернатора. Разве я тебе этого не сказал?

— А я знаю, что он спит на этом противном чердаке над коровьим хлевом. Отведи меня туда. Ты же все знаешь.

— Что я знаю? Мне ничего не известно. Но ты должна понять, что если он не назначил тебе свидания, значит он не рассчитывает сегодня вечером встретиться с тобой.

— Ты все та же свинья, какой был всегда; об этом не нужно спрашивать, — сказала она и на минуту перестала всхлипывать, а на ее лице появилось жесткое выражение. — Как будто я не знаю, что он издевается надо мной и над всеми нами. Правда, я не знаю, сам ли он выдумал все эти истории, но, во всяком случае, он сумел заставить миссионеров и другой сброд распространять их повсюду. И он не стесняется: заставляет нас за все платить.

— Может быть, твой отец жертвует деньги не только на то, на чем можно заработать, — сказал я.

— Как это на тебя похоже! Я равнодушна к пению; я даже не знаю, что такое песня. Мне безразлично — хорошо или плохо он поет. Я была маленькой девочкой, любившей сказки и рассказы о концертных залах, где все, затаив дыхание, слушают его, рассказы о великолепных отелях, где все склоняются перед ним, о всех банковских счетах, которые только и делают, что растут; и как только он приехал сюда, я почувствовала, что лечу, а наша маленькая страна, известная как колония другой, еще менее известной страны, стала частью целого мира. Когда я шла рядом с ним по улице, мне казалось, что я возвышаюсь над той жизнью, какой мы здесь живем. И он раздавал золотые монеты всем, кто этого хотел. Но теперь мне уже стало безразличным все, как будто все его золотые монеты были фальшивыми.

— Что же случилось? — спросил я.

— Ничего не случилось. Просто я люблю его. Я написала ему, что, будь он батраком в никому не известной стране, которая называется Ютландией и даже не является страной, будь у него там жена и дети, я все равно готова была бы подарить ему все, что он захочет. Он — единственный человек в моей жизни, которого я люблю, и никого другого я никогда не полюблю. Если не хочешь отвести меня к нему, передай ему это. Кто-то должен ему об этом сказать!

— Считается неумным шептать свои тайны ветру, — заметил я.

Она посмотрела на меня, долго молчала и наконец мрачно спросила:

— А разве ты ветер?

— Я — порыв ветра.

Часы на соборе пробили час, а может быть, два. Говорить больше было не о чем. Во всяком случае, я ничего не мог сказать. Ведь я однажды сидел на камне под проливным дождем всю ночь и ждал, что на занавеске появится тень. И потерял эту тень навсегда.

— Поздно, — промолвил я.

— Поздно? — переспросила она. — Что значит поздно?

— Уже далеко за полночь, — ответил я.

— Это не поздно.

Она сидела, уставившись в одну точку, как человек, сердце которого разрывается от горя.

— Просто начинается новый день, — добавила она.

Ее красные перчатки с кисточками были брошены на стол. Сама она съежилась на диване, руки ее лежали на коленях; сидя, она казалась полнее, чем когда стояла в длинном платье. Разница между фрекен и большинством девушек ее возраста и ее сословия заключалась в том, что она не пыталась изображать из себя опытную женщину и не умела принимать эффектных поз. Только красные перчатки свидетельствовали, что она не прирожденная Гретхен, из-за которой погиб Фауст. Ведь дела его были бы совсем плохи, если бы вовремя не явились ангелы.

Не знаю почему, но мир никогда не верил слезам толстых женщин; толстый мученик считался бы отрицанием здравого смысла, это невозможно и в жизни и на картине. В искусстве и культуре действительной считается только соленая влага, изливаемая худым и бледным человеческим существом. И все же история, которую мне рассказала девушка, будет гораздо естественней, если подать ее в мокрой соленой упаковке. Но тут я заметил, что и история и слезы подошли к концу.

— Не пора ли нам? — напомнил я.

Она очнулась от своих мыслей и сказала коротко и зло:

— Иди один. Я сама решаю, где мне быть. Ведь это мой дом. Я обставляла эти комнаты... И я плачу за них.

— Извини, — сказал я, — тем больше для меня оснований уйти.

Я стал искать фуражку.

— Ты торопишься? — спросила она. — Для меня ново, что ты стал порывом ветра, которому некогда.

Я продолжал искать фуражку, пока не нашел.

— И ты даже не хочешь немножко утешить меня, видя, что я жду?

— Боюсь, что тебе придется ждать до утра.

— Может быть, разбудить слуг и попросить принести чего-нибудь освежающего?

— Освежающего? После сегодняшнего пиршества!

— У меня за весь день во рту крошки не было. Неужели ты думаешь, пиршество было задумано для того, чтобы есть и пить?

— Я наелся досыта.

— У тебя нет души.

— Если ты голодна, в шкафу на полке пирожные по пяти эре,— вспомнил я.

— Давай сюда! — сказала она и удалила носовым платком следы слез. — Это все равно мои пирожные.

Я молча поставил перед ней остатки пирожных.

— Ты их кидаешь мне, как собаке. Ты даже не сказал «пожалуйста».

— Я положил тебе нож, вилку и ложку.

— Не бросишь же ты меня, словно крысу, среди его пирожных! Может быть, ты, как любезный кавалер, составишь мне компанию? Пожалуйста, садись!

— Нет, спасибо. Я заблудился в городе. И я не кавалер. Прощай.

Она реагировала на эти слова, словно худой кувшин, в который налили воды, и она потекла через все щели.

— Иисусе, ты самая большая свинья, которую я когда-либо видела в жизни, — сказала она, заливаясь слезами. — Я никогда не думала, что на свете может существовать такой человек... И от тебя пахнет сажей и рыбьим жиром.

Мне самому не приходило в голову, что я такой плохой; поэтому я сел рядом с девушкой и попытался утешить ее. И как это часто случается, когда нужно успокоить ребенка или простить какое-нибудь прегрешение, то не хватает благоразумия, и вступают в силу другие законы, может быть, сама жизнь.

Так короткие ночные часы прошли в «Hotel d'Islande».

Утром, когда рассвело и в порт отправились рабочие, Гардар Хоулм вошел в свою комнату к маленькой фрекен Гудмунсен и ко мне. Он пожал нам руки и улыбнулся своей мрачной улыбкой финансиста. Ночной пир не повлиял на него. Как всегда, на его костюме не было ни пятнышка, ни складочки, может быть, только две-три соломинки на спине. И он казался чуть бледным. Вынув из кармана несколько номеров всемирно известной газеты «Таймс», певец положил их на стол. Поздоровавшись с нами, он подошел к зеркалу и погладил себя по подбородку.

— Как мило, что вы меня дождались, — сказал он, рассматривая себя в зеркале. Затем обнажил зубы и внимательно их обследовал.— Надеюсь, вы хорошо спали, милые дети? Вечеринка, на которой я был, затянулась до утра. Мне нужно побриться. А потом будем пить кофе.

— Боюсь, что мы съели твои пирожные с кремом, — сказал я.

Маленькая фрекен Гудмунсен привела в порядок волосы и спросила как бы издалека:

— Где моя вторая туфля, Аульфгримур?

Я поискал туфлю и нашел ее под диваном, где фрекен сидела вчера вечером. Гардар Хоулм снял пиджак и начал намыливать перед зеркалом лицо.

— Идя сюда с вечеринки, я побывал в месте великого блаженства,— сказал Гардар Хоулм.

— Ага, там, куда ангелы вознесли доктора Фауста? — попробовал я догадаться, ибо никак не мог забыть дискуссию о бритье.

— Это приятное место, — продолжал Гардар Хоулм, — единственное место в городе, где больше пахнет аптекой, чем в самой аптеке. Там у открытого окна сидит мой добрый друг и смотрит на море. И все океанские чайки пролетают мимо него.

— Так говорят, наверное, только знаменитые люди, — промолвила маленькая фрекен Гудмунсен.

— Не убирай постель, милая, — сказал певец. — В отеле достаточно горничных.

— Мне нужно поговорить с тобой, Гардар, с глазу на глаз и как можно скорее, — обратилась к нему маленькая фрекен.

— Я пойду, — сказал я.

— Нет, не спеши, мой друг, — остановил меня Гардар, продолжая намыливать лицо... — Оставить маленькую фрекен Гудмунсен и меня, когда мы собираемся пить утренний кофе! Я не думал, что у нас троих есть какие-нибудь секреты друг от друга. А достаточно ли пирожных с кремом?

Маленькая фрекен села на стул.

— Я и Аульфгримур обручились. Сегодня ночью.

— Ура, браво! — воскликнул Гардар Хоулм. — Это чудесно! Сердечно желаю вам счастья. Теперь я побреюсь. А потом мы устроим пир в честь обручения. Закажем шампанского.

Я стоял у окна и смотрел вниз на улицу, где батрак гнал коров. Теперь, когда ночь прошла, мне, по правде говоря, не хотелось продолжать ее.

— Не преждевременно ли так утверждать, милая. Разве мы должны сообщить об этом Гардару Хоулму?

— Что ты хочешь сказать? — спросила она.

— Я хочу сказать, что в сущности, может быть, ничего особенного и не произошло. Мы просто вели себя, как все дети человеческие.

— Дети человеческие? Вот уж действительно! Ну, продолжай, покажи себя!

— Случилось только то, что обычно происходит при подобных обстоятельствах: мужчина — это мужчина, а женщина — женщина. Все остальное — просто естественный ход событий.

— Значит, ничего не случилось? Ничего, кроме самого обычного? Другими словами, я только грязная тряпка, это ты хочешь сказать?

— Аульфгримур, — вмешался Гардар Хоулм, он уже намылил лицо, подошел к окну, вынул из кармана пачку денег и протянул мне.— По-моему, нам нужны пирожные с кремом. Сбегай к Фредериксену.

Он стал править бритву, а я взялся за разрешение проблемы покупки пирожных.

Мне пришлось долго ждать в кондитерской, не было еще и семи часов.

— Фредериксен украшает пирожные кремом, — сказала Мадонна.

Я устал ждать. И хотя я читал не так уж много датских романов, все же мне в голову вдруг пришла мысль, что в такое утро я оставил возлюбленную певца с ним наедине, а у него в руках бритва...

— У меня нет времени ждать, — сказал я Мадонне. — Я возьму те пирожные, которые Фредериксен уже успел украсить кремом, а позже зайду за остальными.

38

ПЕНИЕ В СОБОРЕ

Когда я вернулся с пирожными, Гардар Хоулм уже побрился. Маленькая фрекен Гудмунсен ушла. Певец сидел за письменным столом, погруженный в комбинации с цифрами, которые он выписывал на маленьком клочке бумаги. Он не сразу меня заметил или же не мог оторваться от своих расчетов. Наконец сунул исписанный клочок бумаги в карман и повернулся ко мне. На его лице появилась улыбка, но сразу же исчезла.

— Пока ты ходил в кондитерскую, я тут кое-что придумал. Я думаю устроить завтра концерт.

— Да, в газетах объявлено, что фирма Гудмунсена празднует юбилей в здании общества трезвости, — сказал я.

— Нет, я не о том. Я хочу дать концерт днем, в церкви, только для приглашенных, для моих гостей, которым и в голову не придет искать развлечений в доме Гудмунсена. Я хочу просить тебя помочь мне в этом деле.

— У тебя осталось мало времени для приглашения гостей, — заметил я.

— Мы разошлем приглашения сегодня. И я договорюсь с пастором Йоханом об аренде церкви.

— Ты, конечно, пригласишь мадам Струбенхольц?

— Я хотел, чтобы мне аккомпанировал ты, — предложил Гардар Хоулм.

Эта дикая выдумка не была для меня абсолютно неожиданной, но, естественно, я всячески пытался отказаться от такой чести и приводил для этого всевозможные аргументы; и это не были пустые отговорки, ибо никто лучше меня самого не знал, что об этом и речи быть не может.

— Я ведь играл только на твоем старом органе в доме пономаря,— возразил я. — Но некоторые клавиши в нем и сейчас не издают никаких звуков. В соборе же орган с трубами, и на нем может играть только опытный органист. А как его найти?

— В алтаре стоит хорошая фисгармония, будем играть на ней,— решил певец.— Когда я был мальчиком, половина ее клавиш молчала. Будем надеяться, что теперь и вторая половина тоже не издаст ни звука.

Услышав эти слова — а они предвещали недоброе,— я лишился дара речи. Но о моей глупости лучше всего говорит то, что я не расхохотался этой шутке, а пытался привести убедительные доводы против такого предложения. Всемирно известный певец посмотрел на меня и еще раз улыбнулся той особой улыбкой, которая, возможно, вовсе и не была улыбкой.

— Пойди к моей матушке и пригласи ее на завтрашний концерт в соборе, — сказал он. — Я зайду за ней.

По дороге домой я увидел впереди себя старика с большой бородой; он курил трубку и нес в одной руке плакаты размером с газетный лист, а в другой — горшок с клеем. Эти плакаты он наклеивал на стены домов. В них сообщалось о том, что завтра в здании общества трезвости состоится вечер в ознаменование юбилея фирмы Гудмунсена. Внизу были напечатаны три портрета: один большой — Гудмунсена с сигарой и при орденах, под ним два меньших — Гардара Хоулма в юности, на котором он был изображен следящим за небесной колесницей, и — профессора доктора Фаустулуса в цилиндре и с голубем. Под ними красовалось множество похвальных отзывов в классическом стиле по адресу этих замечательных людей, но главным образом по адресу фирмы.

Проходя мимо здания общества трезвости, я увидел, что дом выкрашен в серо-лиловый цвет. Позже, пытаясь вспомнить этот оттенок, я часто даже сомневался в том, что он вообще существовал. Я думал, что мне изменяет память, но много лет спустя увидел ту же странную окраску в отелях и квартирах Парижа. В этой столице мировой культуры мне и самому довелось жить в серо-лиловой комнате. На фасаде здания общества трезвости и внутри дома развешивались венки из цветов и листьев, сделанных из кожи, и я — бедный простак, видевший нечто подобное только на картинках в библии, — подумал о вербном воскресенье.

Как уже говорилось, я взял на себя обязанность утром и вечером заглядывать в дом пономаря к Кристине и приносить ей что-нибудь поесть, поскольку от старости она почти потеряла зрение и слух и с трудом передвигала ноги. На этот раз у меня было поручение более важное, чем доставка рыбы и молока.

— Это, наверное, не так, дитя! — сказала она. — Мой сын недавно ушел отсюда и ничего не сказал о пении в церкви.

— И все-таки это так. Это будет концерт для тех, кого он сам приглашает, а не для гостей фирмы.

— Вот уж! — отозвалась Кристина и впала в задумчивость. — Он, конечно, хочет проявить любезность по отношению к властям: они ему так помогали в годы учения, посылали даже по сто крон в год.

— А может быть, он хочет петь для своей матери? — предположил я.

— Да, Георг угадал — я уже давно мечтаю услышать, как он поет. У меня в жизни было много невзгод, но все они искупаются тем, что у меня есть этот мальчик. Я очень довольна, что он поет не только для старого торговца вином Йоуна Гудмунсена и его семьи, но и для тех, кто этого заслуживает: для министра и епископа и, конечно, для датчан. Не надо забывать и католиков из монастыря. Но скажи Георгу, что ни к чему приглашать такую старуху, как я. Зачем мне показываться на людях?

На меня неожиданно напала странная тоска, и я долго бродил вокруг пономарева дома, по кладбищу и по полям. Я завидовал лошадям — им не нужно завтра аккомпанировать, и они будут продолжать спокойно пастись на лугу. Не шутка ли это? — думал я. А может быть, он хотел отомстить мне за то, что я невольно и неожиданно для самого себя стал

близок с его возлюбленной, за которой он приехал в Исландию? Не выброшен ли он кораблекрушением на рифы? Не настигает ли его уже вода? И не я ли толкнул его на эти рифы жизни? Если это так, то как найти выход из опасности, которую я на него навлек? Только теперь я понял тех, кто прибегает к самоубийству, чтобы опередить смерть.

Вечером я опять пришел к старой Кристине, она сидела на трехногом стуле, ее слепые глаза были открыты, она вся была полна благодарности к сыну. Услышав, что я вошел, она сказала:

— Слава богу, дитя! Мне обязательно нужно поговорить с тобой! Что-нибудь новое?

— Разве нужны какие-нибудь новости?

— В городе все полны ожидания?

— Я в этом уверен.

— Я так медленно думаю, — жалобно сказала она. — Только когда ты ушел, я вспомнила, что хотела попросить тебя об одной маленькой услуге. Ведь певцам всегда преподносят цветы. Хотя я, как всем известно, убогая женщина, все же прошу тебя: нарви цветов и поставь их завтра около него, когда он будет петь, но не говори, от кого они. Он, может быть, подумает, что их прислала какая-нибудь добрая, важная дама.

Не могу сказать, чтобы у будущего аккомпаниатора было более ясное представление о концерте, чем у старой Кристины из дома пономаря. Я даже не представлял себе, что нужны цветы; тогда они были для меня очень отдаленным понятием.

— Сейчас поздняя осень, — сказал я, — луга скошены, цветы давно отцвели и увяли, за исключением, может быть, ромашки, которая считается сорняком.

— Тсс, тсс,— почему-то шепотом заговорила старая женщина. — Тут всюду цветы, и они цветут. Медуница сейчас похожа на ароматную пшеницу или полевой львиный зев — темно-красный и пахнущий медом, он так красиво наклоняется, когда лето уже на исходе; а вереск и куманика — это самое багряное из всего, что произрастает осенью в Исландии. Вереск на пустоши очень хорош именно поздней осенью.

— За этими цветами нужно далеко идти, — сказал я, — а у меня нет времени.

— Я уверена, что твоя бабушка в Бреккукоте даст тебе Грауни, если ты скажешь, что это нужно для меня. Поезжай на ней к озеру, где плавают два лебедя. Там на склоне растут цветы. Я была там однажды в молодости.

— А не лучше ли нарвать цветов здесь, на кладбище, например на могиле святого архангела Гавриила или на могилах других иностранцев, умерших пятьдесят лет назад и не оставивших потомков?

— Какие ужасные вещи ты говоришь, дитя! Ни одной соломинки с кладбища, ни одной ромашки! За это с нас взыщется. Кладбище принадлежит спасителю.

— А не найдется ли немного цветов на могиле покойного пономаря?

— Да, но это цветы пономаря, — ответила она. — Добрый пономарь никогда не захотел бы видеть или слышать моего Георга. Пусть эти цветы останутся на своем месте.

Мне пришлось пообещать ей нарвать настоящих цветов, и она сказала, что это очень мило с моей стороны.

— И попрошу тебя достать мою праздничную юбку; она висит там в углу, за занавеской. Мне никогда не удавалось обзавестись хорошим платьем, я ведь всегда была только экономкой у пономаря, и мне, следовательно, не полагалось сидеть в церкви на том месте, которое полагалось бы его жене, если бы она у него была. Но у меня еще с прежних времен сохранилась красивая безрукавка — голубая с черными розами.

Уже вечерело, и у меня не было никакого желания отправляться к озеру за цветами; я нарвал анютиных глазок и маргариток на кладбище. Мне казалось, что я имею право взять эти цветы у жителей кладбища, поскольку я так часто пел здесь, когда был маленьким.

В течение целого дня я вновь и вновь пытался найти в гостинице Гардара Хоулма — ведь мне нужно было о многом с ним поговорить именно сегодня. Но Гардара Хоулма не было дома целый день, и мне так и не удалось его разыскать. Вечером я получил от него записку. Певец просил меня снова переночевать в его номере, поскольку он должен быть на одном вечере. «Завтра рано утром будь в церкви. Помни — в алтаре!» — так заканчивалась записка Гардара Хоулма.

В то утро я проснулся раньше всех и пошел к церкви с букетом цветов — хотя Кристина и не считала их настоящими,— как человек, который во сне должен выполнить то, что ему поручено, и все же полон дурных предчувствий. Больше всего я боялся за концерт. Я встал за церковью и оглядывался по сторонам, подобно человеку, не уверенному в своей безопасности и желающему в этом убедиться, и с удивлением взирал на цветы в своих руках. Я надеялся, что это шутка и что алтарь закрыт. Одно было несомненно: на площади все спокойно, никто на концерт не направлялся. Какой-то крестьянин в кожаных чулках шел по дороге, неся сухие тресковые головы и направляясь с ними, очевидно, на восток; наверное, его путь займет несколько дней. Я завидовал ему, но все-таки подошел к двери, ведущей к алтарю. Она открылась. Кошмар продолжался. Может быть, приглашенные уже пришли и ждут меня в церкви?

В алтаре было темно, и я ощупью добрался до входа на хоры. Дверь оказалась приоткрытой; я заглянул в нее. Церковь была пуста. Я прошел на хоры. Лучи раннего утреннего солнца сюда не достигали, потому что в церквах окон на восток не делают. Печальный, серый свет освещал здесь белую известку на потолке, стенах и ряды стульев. Это напоминало рябь на реке под облачным небом. Тусклый свет падал на икону вознесения спасителя, висевшую над алтарем.

И вот я в соборе перед ступеньками на хоры, с цветами в руках. Действительно, здесь стоит старый запыленный орган, а я-то надеялся, что он существует только во сне. Но как я ни был потрясен при виде органа, наиболее удивительное заключалось в том, что я сам стоял здесь. А если меня кто-нибудь увидит? Я быстро положил цветы на пол, будто они не имели ко мне никакого отношения. Потом мне пришло в голову, что пол — не место для цветов. Не положить ли их на ступеньки? Или на алтарь? Но что скажет пастор Йохан, если найдет на алтаре цветы? Он сразу узнает их и поймет, что они украдены. Я поднял цветы с пола. И сейчас, когда я пишу эти строки, мне кажется, что я держу их в руках, хотя с той поры и прошли десятилетия. Не помню, как я в конце концов освободился от цветов. Куда я положил их? Что с ними сталось?

И вот открывается главный вход в церковь, и входят двое — элегантно одетый, видный мужчина в расцвете лет, а рядом с ним бедная старая женщина. Он ведет женщину под руку. Она с трудом передвигается на своих больных ногах, опираясь на своего сына и черпая в нем силы, чтобы продолжать двигаться. На ней широкая юбка с множеством складок и красивая безрукавка, на голове праздничный платок. Она стала совсем маленькой, как это часто бывает со старыми людьми, она почти похожа на парализованную девочку, а на ее лице странное выражение слепца, видящего иной свет.

Гардар Хоулм ведет себя, как и подобает знаменитости, князю искусства, который появляется в торжественном храме Талии и которого приветствуют тысячи взглядов знатных и требовательных слушателей, которого публика встречает с особой теплотой, тронутая тем, что он ведет

свою мать, старую простую женщину. Поднявшись на вершину славы, он помнит, откуда вышел. И он со скромной улыбкой кланяется направо и налево рядам стульев, как будто видит на них знатных людей и не может в этот торжественный час не высказать им своего уважения. Перед некоторыми, наиболее почетными гостями он останавливается посреди церкви, щелкает каблуками и кланяется. А старая женщина опирается на своего сына, и, когда он останавливается, она тоже поклоном приветствует знатных людей.

И вот он ведет свою мать через всю церковь на хоры, к стулу, который поставлен перед ступеньками, и усаживает ее с нежной заботливостью, почтительностью и любовью во взгляде, словно хочет сказать, что, хоть здесь и много более знатных людей, чем она, ей нечего стыдиться, ибо это ее место — перед людьми и богом.

И вот она сидит, торжественная и величественная, в своей широкой юбке, в черном праздничном платке, сложив на коленях свои узловатые, немного опухшие руки с черными венами и белыми суставами.

Гардар Хоулм поворачивается ко мне.

— Садись к органу, — шепчет он.

Я сажусь.

— Играй!

— Но, но...

— Ничего...

— Но, я, я, я...

— Безразлично что, но играй! Я буду петь. Нажимай на педали!

Как только я дотронулся до педалей, орган сам начал издавать звуки, вызвавшие в пустой церкви такое эхо, что, казалось, все рушится. Достаточно мне было нажать на педаль, как трубы начинали звучать сами по себе, издавая громкие всасывающие звуки.

Гардар Хоулм откашлялся и запел. Концерт начался.

Я еще раз подчеркиваю, как я уже неоднократно давал понять на предыдущих страницах, что не мне описывать пение Гардара Хоулма. Мы родились каждый на своей стороне кладбища, нас всегда называли близкими родственниками, а некоторые даже путали нас. Но, если бы этого и не было, все же я, говоря о священном для меня его юношеском портрете, должен проявлять к нему ту вежливость, которой каждый обязан себе самому, согласно английскому поэту, написавшему об этом в своем тридцать девятом сонете:

Могу ли восхвалять тебя я в песнопенье?
Ты — часть меня, все лучшие мои стремленья!

Меня часто спрашивали, хорошо ли он пел? Я отвечал: «мир — это песня, но мы не знаем, хорошая ли это песня, потому что нам не с чем ее сравнивать». Кое-кто считает, что искусство пения возникло из шума солнечных систем, мчащихся в мировом пространстве. По мнению других — из жалобы ветра в осине, о которой в древние времена писали в стихах: «жалуется старое дерево».

Возможно, что Гардар Хоулм был ближе к огромному океану неродившихся песен, чем большинство певцов. Я не стал бы сравнивать его пение с искусством других, когда-либо певших во храмах Талии во всем мире: в театре Колон, в соборе святого Петра, а может быть, и в Санкт-Петербурге или перед Магометом бен Али. Но никто никогда не слышал ничего подобного той песне, которую я слушал в самом невзрачном из всех соборов, и я уверен, что ни один человек, услышавший ее, не мог бы остаться таким же, каким пришел сюда. Однако те, кому она предназначалась, были глухи.

Может быть, я слушал пение один-единственный раз в своей жизни. Оно было так истинно, что любое другое пение, самое мастерское, рядом

с ним становилось искусственным и фальшивым, а все другие певцы — обманщиками. И не только певцы, но и я, и все мы: женщина из Ландброти, Хлоя, Эбенесер Драумманн, и капитан Хогенсен, и Руноульфур Йонссон, и инспектор. Эти звуки действовали на меня так, что я не видел иного выхода, как, изо всех сил нажимая на педали разбитого органа, заглушить эту песнь или, по крайней мере, идти с ней в ногу, чтобы только иметь силы выдержать.

Меня спросят — что он пел? Я задаю встречный вопрос: а какое это имеет значение? Печатной программы не было. Какова была мелодия? Возможно, это были новые мелодии, которые еще добьются признания, если время по-прежнему будет возвращаться вспять, к своему истоку, и возможно, что их выражение будет еще проще. Может быть, люди договорятся петь одну только букву «а», чтобы выразить свои мысли, вместо того чтобы спрягать глаголы и склонять местоимения. Может быть, это была мелодия, которую осел и бык пели ангелам в рождественскую ночь. И все же у меня осталось такое чувство, что в этой песне неродившихся времен ощущалось какое-то смешение бессвязных отрывков из малопонятных старинных текстов.

Сначала он пел, прибегая к широким жестам, что, по-моему, приличествует только актерам. Но, может быть, в этом безумном смешении смеха и печали было больше правды, чем в любой другой песне, и больше души, чем этого требовало исполнение роли на нашей сцене в Бреккукоте. Однако вскоре певец закашлялся, лицо его исказилось судорогой, он задыхался и не мог больше выдавить из себя ни одного звука. Гардар Хоулм упал к ногам своей матери и спрятал лицо в ее коленях.

На этом концерт окончился.

39

ЮБИЛЕЙ ФИРМЫ

Вечер. Поздняя осень. Мы слышим порывы ветра и удары дождя по могилам и кустам пижмы. Я обхожу дом, останавливаюсь и прислушиваюсь, не раздастся ли звук шагов, как будто кого-то жду.

Его последними словами, обращенными ко мне утром, были: «Будь дома, чтобы тебя можно было найти, если ты понадобишься». Но нигде никого, только изредка пройдет кто-то, спеша в город. Вдруг я вижу бегущую под дождем маленькую фрекен Гудмунсен. Она останавливается около меня. Я почти догадывался, что так оно и будет.

— Он не поет, — говорит она.

— Ну?

— Его нет в гостинице. Я искала его и в другом месте. Может быть, он, как всегда, уехал за границу?

— Разве вы ждали чего-либо иного?

— Спаси положение. Прошу тебя. Зал полон, редактор выступил с речью, духовой оркестр играл уже три раза. Мадам Струбенхольц закончила рапсодию Листа и фокусник повторил свой номер и покажет его в третий раз. Ты должен спеть.

— Я не умею.

— Все знают, что ты умеешь. Пойдем.

— Нет.

— Неужели ты хочешь сделать отца посмешищем всего города?

— Какое мне дело до твоего отца?

— Я не хочу думать, что ты такой злой, Аульфгримур. — И она заплакала.

— Я не понимаю, чем я помогу твоему отцу, если сам стану посмешищем.

— Мадам Струбенхольц часто говорила нам, что ты умеешь петь.

— Не думаю, чтобы даже опытный певец согласился выступить без подготовки и предупреждения.

— Я знаю, что ты готовился вместе с мадам Струбенхольц по немецким нотам. И ты можешь надеть костюм фокусника.

— Об этом и речи быть не может!

— Хотя бы ради Гардара Хоулма, твоего родственника!

— Он бы спел сам, если бы считал это необходимым.

— Неужели ты не хочешь, чтобы отец был тебе благодарен? С этого вечера он никогда тебя не забудет.

— Ах, разве твой отец не знает, что он делает? Вряд ли Гардар Хоулм мог доставить ему большое разочарование.

— Вот как ты относишься ко мне! Допустим, ты не хочешь сделать это ради отца, но ведь ты готов нанести удар и мне. Вот ты какой: соблазняешь меня, когда я плачу ночью, отбиваешь меня у человека, которого я люблю, и он уезжает и никогда больше не вернется. Ты превратил меня в грязную тряпку. Ай-ай-ай, у-у-у, и-и-и!..

Когда мы появились за кулисами сцены в обществе трезвости, духовой оркестр уже три раза сыграл марш до самой последней ноты и профессор доктор Фаустулус уже в третий раз вынимал голубя из цилиндра. С него немедленно сняли костюм и напялили эту роскошь на меня.

Незачем описывать, как сидел на мне его фрак — мы были совершенно разного роста — или его воротник, насквозь промокший от пота во время демонстрации сложных фокусов. В этом одеянии меня без лишних слов вытолкнули на сцену, а за кулисами стоял профессор в одних подштанниках, держа голубя и цилиндр. Но главным украшением вечера был номер долговязого парня из Бреккукота, который вышел на сцену в качестве заместителя всемирно известного певца. Мадам Струбенхольц уселась за рояль.

Надеюсь, от меня не ждут, чтобы я описал свое пение. И все же могу сказать, что это не было тщеславием. Первой моей мыслью, когда меня вытолкнули на сцену, было, что я пришел сюда не ради себя самого. Хотя мой голос вряд ли уже родился, да и сам я еще не родился как человек, и хотя никто не знает, какую форму примет бабочка, когда ей удастся вылететь из кокона, все же верность Гардару Хоулму была глубокой тайной моего ушедшего детства.

Я пел не потому, что умел петь, а потому, что должен был выразить свою великую благодарность этому всемирно известному тенору, который милостью бога возвысился над нами из Бреккукота, пел, потому что знал, что песня — свидетельство той признательности, какую мы возносим богу. Уже с первой ноты я отнесся к моей задаче с такой серьезностью, что насмешливый оглушительный хохот подействовал на меня не больше, чем дыхание далекого ветерка в восточных горах; настолько тверд я был в своем убеждении, что поскольку стою здесь — а я всегда знал, что буду стоять на арене,— постольку я выполняю не свою, а чью-то высшую волю. «Ruhn in Frieden alle Seelen» *.

Но как бы там ни было, эта большая, а по существу маленькая публика, чопорное, закостенелое воплощение всего, что считается правильным и истинным в этом большом, а по существу маленьком приморском торговом городке, все эти немузыкальные исландцы тех лет, когда нас еще не считали за народ, вся эта толпа, ничего не понимающая в пении, вдруг начала слушать. Правда, после первой песни большинство слу-

* «Покоятся в мире все души» *(нем.)*.

шателей взглянуло на министра, а потом на епископа, но некоторые просто-напросто слушали. Люди начали медленно поднимать руки, готовясь захлопать. Мне и в голову не приходило, что аплодисменты раздались по моему адресу. Они признали песню, и это явилось началом. После второго и третьего номера зааплодировали епископ и министр, а это было уже приказом властей. Не можем же мы признаться, что слушаем плохое пение! Раз нас пригласили развлечься и мы явились, то это развлечение не может быть плохим. Придя к такому выводу, все дружно захлопали. Аплодисменты продолжались и после того, как я спел все песни, какие знал. Ничего не чувствуя, я стоял на сцене и смотрел, как люди хлопают, пока кто-то не сделал мне знак уйти. Я пришел в себя только за кулисами, когда профессор доктор Фаустулус начал снимать с меня брюки.

Вечер еще не кончился. Я стоял без сил, прислонившись к стене, как вдруг ко мне подходит человек из магазина Гудмунсена и сообщает, что меня просят зайти в контору фирмы.

Дом Гудмунсена был ярко освещен. Два приказчика с манерами гофмаршалов ждали меня внизу и провели в магазин. Проводив меня через пустую в этот ночной час бухгалтерию, они подошли к двери, на которой было написано мистическое слово «Comptoir»*. Купец Гудмунсен стоял в своем кабинете во фраке, в цилиндре, с орденом и в крахмальных манжетах, почти закрывавших пальцы. Пальто его было брошено на спинку стула; он курил сигару. Гудмунсен, с опущенными уголками рта и насупленными бровями, казался совершенно другим, чем накануне вечером. На его румяных щеках появилось какое-то увядание, которое иногда можно видеть на лицах старых дев.

— Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста, студент Хансен,— проговорил он по-датски. На этот раз он не демонстрировал своего знания других, более утонченных языков.

Я сел. Купец остался стоять.

— Этого я не ожидал,— продолжал он. — Извините, кого вы выручили?

— Никого. Ко мне пришла маленькая фрекен.

— Разрешите спросить, не считаете ли вы меня идиотом? Вы думаете, я не знал, что Георг Ханссон сбежит?

Я пролепетал, что великий певец, наверное, был чрезвычайно занят, раз он не пришел.

— Занят? — повторил Гудмунсен. — Кого вы дурачите, студент Хансен? К чему эти выдумки?

— Вы, господин купец, достаточно хорошо знаете Гардара Хоулма. Можете ли вы себе представить, что он станет выступать против своей воли?

— Конечно, нет. Зато я сказал ему, что снаряжу за ним погоню. И если он попытается сесть на корабль, его арестуют за обман.

— Вам лучше знать, но зачем же, в таком случае, вы пригласили его приехать?

— Почему мы пригласили его? — Гудмунсен повторил вопрос и подошел к моему стулу. — Поскольку вы уже впутались в эту историю, скажу вам прямо и честно, господин студент. Мы вызвали его домой потому, что устали с ним возиться. Он сбежал от своей датской супруги, которая поддерживала его последние десять лет. А карманные деньги, которые ему каждый месяц посылал по почте этот старый чудак Йоун, надзирающий за ретирадами в порту, не могли ему помочь. Да еще моей дочери пришло в голову, что она с ним обручена. Другими словами, его

---

* Контора *(франц.)*.

надо было разоблачить. Вот почему мы вызвали его сюда, дорогой земляк.

— Я позволю себе протестовать против утверждения, что я впутался в эту историю, — возразил я. — Правда, я ему немного помогал, когда он был здесь, но делал это по просьбе вашей фирмы. К этому вечеру я не имел никакого отношения. Я не был приглашен. Я даже не покупал билета. Я был дома. Но за мной пришли. Меня уговаривали вашим именем. Именем бога. Меня повели в город, вытащили на сцену. Теперь я понимаю, что дал себя одурачить, опозорил своих близких и доставил вам неприятность. Я знаю, что нет никакого оправдания глупым выходкам и бесполезно просить извинения, когда нечего сказать в свое оправдание. Мне остается только удалиться и молчать.

И я поднялся, чтобы уйти.

Но если купцу Гудмунсену не удавалось продать свой товар, и покупатель делал недовольную мину, он сразу же превращался в вежливого датчанина с любезной шуткой на устах, какую редко можно встретить в Исландии. Даже в этом серьезном деле он остался верен своей привычке. Он провел тыльной стороной ладони по моей щеке, как это делают, лаская детей, и разразился оглушительным хохотом.

— Poeta cum agricola pugnavit*, — сказал он, доказав, что выучил еще целый кусок из латинского учебника уже после того, как цитировал его в последний раз. — Разрешите предложить вам сигару?

Я сказал, что не курю.

— Вот как, дорогой сту-дент. А стаканчик?.. Но соблюдайте спокойствие. Нам нужно поговорить. Ты знаешь, мой друг, кто я и кто мы все. Ты сын старого Бьорна из Бреккукота или его внук? Старик честный человек, хотя время открытых лодок уже миновало и мелким рыбакам пришел конец. И хотя моя дочь и уверяет, что от тебя пахнет сажей и рыбьим жиром — это не удивительно, раз ты живешь в самой жалкой лачуге в Исландии, — все же я напишу несколько слов на этом клочке бумаги — они тебе понадобятся.

Он сел за стол, что-то написал, положил бумагу в конверт и протянул мне.

— Пожалуйста. Теперь мне нужно идти к моим гостям, к министру и остальным. До свиданья.

В Бреккукоте все было как всегда. Бабушка сидела у печки со своими спицами, был поздний вечер, но она пекла свой замечательный хлеб. Я не стал рассказывать ей о том, что произошло, и мы поговорили о погоде.

— Да, — сказала она, — скоро конец летним штормам.

Я вынул письмо Гудмунсена и рассказал ей, что там написано. А написано было, что фирма Гудмунсен обязуется оплачивать мое музыкальное образование за границей в течение пяти лет.

— Да, поистине лакомый кусочек, — сказала бабушка, не прекращая двигать спицами. — Он, конечно, замечательный человек. Будь добр, Гримур, возьми ящик и принеси мне немного торфа.

Когда я принес торф, она аккуратно положила его на угли. И снова принялась за вязание. После долгого молчания бабушка сказала:

— Не знаю, как отнесется к этому Бьорн. О деньгах Гудмунсена следует сказать, что до сих пор они у нас не были в ходу. К тому же я думаю, что о пении можно сказать то, что было сказано в стихах:

Писать стихи моя услада.
Мне не нужна за них награда.

Что сталось с бедным, маленьким Георгом! А ведь он мог бы стать пономарем, как его отчим! Он уехал. И колокол перешел в другие руки.

---

* Поэт сражался с земледельцем *(лат.)*.

40

ОДНО ЭРЕ

Вчера ветер принес осень, а сегодня опять унес ее. Капли дождя сверкали среди травяных вихров между камнями, и на запоздалых веселых одуванчиках, и на рыбьей чешуе в лужах, а кусты пижмы в солнечных лучах сияли багрянцем.

Было утро, наш инспектор тащил из порта плоскую тачку. За ним шел полицейский Йоунас. Они направлялись к кладбищу. На тачке лежал какой-то продолговатый предмет, наспех покрытый парусом. Они перенесли его на доски, положенные поперек скамеек в часовне. Но парус не сняли.

Инспектор, который не ночевал дома, теперь пришел вместе со своим спутником выпить кофе. Дедушка, сидевший у входа в сарай и чинивший сети, поздоровался с ними. Дым из бабушкиной трубы в это тихое, ясное осеннее утро поднимался кверху, словно символ вечности.

Я не спросил, что случилось, не спросил, почему это случилось. Я не испытывал никакого желания узнать, в чем дело. Но слышал, что кто-то упрекал нашего инспектора за его участие в этом деле. Много лет спустя, получив доступ к полицейским протоколам, я прочел отчет о коротком допросе инспектора, имевшем место как раз в тот день. Он сообщал, что незадолго до полуночи к нему в порт пришел гость. Городской судья спросил, зачем пришел этот гость.

— А ни за чем, — ответил инспектор. — Он только попросил разрешения умереть у меня.

— И что вы ответили? — спросил судья.

— Я сказал: пожалуйста, мой друг.

— И что же?

— Он вынул из кармана маленький футляр и попросил меня выйти.

Я не буду больше цитировать этот полицейский протокол. После того, как труп был положен в гроб, его перенесли в дом пономаря, к блаженной памяти Кристине.

Поскольку я бывал с ним, когда он находился здесь, мне пришлось присутствовать в гостинице при осмотре его вещей. В красивых и почти новеньких чемоданах не было ничего, кроме кирпичей, обернутых соломой. В карманах нашли несколько датских ассигнаций — по пяти и десяти крон, вряд ли набралось и сто крон — и множество бумажек, исписанных крупными цифрами: это была обычная игра в цифры, задача которой заключается в том, чтобы добиться глупого и неожиданного итога.

Трупа Гардара Хоулма я не видел, но я пел над его гробом. И я вел его мать Кристину за руку на похоронах.

Его отпевали не в соборе, а в часовне. На первой скамье сидели его близкие — Бьорн из Бреккукота, бабушка, Кристина и я. Пастор Йохан произнес речь. Он настолько постарел за эти годы, что бесспорно был одним из самых старых пасторов во всей Исландии. Свидетельством его старческой дряхлости было то, что он забыл в своей речи сказать, кого хоронят. Он говорил о людях, не имеющих лица, о людях, которых спаситель любит больше всех остальных. Может быть, в ту минуту ему казалось, что он хоронит одного из таких людей? Ведь часто я не мог понять, что думал пастор Йохан. Я не знал также, что думает блаженной памяти Кристина из пономарева дома. Не знал, что думают дедушка и бабушка. Что же касается меня самого, я был глубоко убежден, что человека, которого хоронили, в гробу не было.

«О благословенный час, когда рассеется туман!»

Гроб понесли на кладбище. Прозвенел медный колокол. Мне дали знак подойти к могиле и спеть.

Был один из светлых осенних солнечных дней со слабым ветерком. Я надеюсь, что этот ветерок отнес мою песню к какому-нибудь мальчику, сидевшему в огороде среди кустов пижмы и репейника где-то поблизости и считавшему смерть невинным развлечением.

Бросив на гроб горсть земли, пастор Йохан проковылял к нам и поздоровался, сначала с Бьорном, затем с женщинами и наконец со мной. Он назвал нас всех по имени, и меня тоже; он точно помнил все наши имена. Я был больше всего удивлен тем, что он не забыл меня — ведь он так состарился, а я так изменился. Я подумал, что это, наверное, потому, что у меня такое редкое имя. Но нет, оказывается он хотел мне что-то сказать.

— Я всегда тебе должен деньги, Аульфгримур, — сказал пастор, — и всегда мне стыдно.

— Вы ошибаетесь, пастор Йохан.

— Нет, не ошибаюсь, — и пастор сунул руку в карман рясы. — Я всегда помню, кому должен. Я прекрасно помню, что много лет назад просил тебя оказать мне услугу и спеть над гробом одного человека. Обещал тебе тогда тридцать эре. Но у меня в то время был старый, продырявленный кошелек, и я нашел в нем только двадцать девять эре. Зато теперь дочь прислала мне из Копенгагена новый...

Он вынул красивый новый кошелек и попытался открыть его своими синими, опухшими пальцами. Возясь с кошельком, он сказал:

— Я никогда не умел петь как следует. Но всегда знал, что существует один тон — чистый!

Наконец пастору Йохану удалось открыть свой новый кошелек; он нашел в нем одно эре, которое был мне должен много лет, и протянул его мне.

— Петь — это прекрасно, — сказал он, протягивая монету. — В особенности, если не стремишься к чему-нибудь большему, чем петь над прахом тех, у кого нет лица.

В тот же день к вечеру я увидел дедушку; он шел из города в шляпе, подвязанной под подбородком, как будто был шторм. Я не раздумывал над тем, что дедушка делал в городе. Но вечером, когда я собирался выйти погулять, чтобы рассеяться, бабушка позвала меня к своей печке.

— Может быть, не откажешься от кусочка сахару, ты ведь так любил его в детстве, Гримур? — спросила она и протянула мне большой кусок сахару.

— Послушай, бабушка, не думаешь ли ты о другом Гримуре? Ведь я хорошо помню, когда я был маленьким, ты мне говорила, что сахар вреден для зубов.

— Нет, это тот же Гримур. Верно, что сахар вреден для зубов, но ведь им угощают только в праздник. К счастью, в этом доме было мало праздников.

— Ты говоришь — к счастью, бабушка?

— Разумное счастье лучше всего.

— Это чудесный сахар, бабушка!

— Послушай, Гримур. Я не ошибаюсь или мне приснилось, что у тебя есть бумажка от богатого купца Гудмунсена?

— Верно. Фирма хочет, чтобы я учился за границей целых пять лет, и будет платить за меня.

— Да, это замечательно с их стороны. Я всегда слышала, что эти купцы — очень хорошие люди. Но я все же боюсь, Гримур, что твоему деду не очень-то понравится эта бумажка.

— Мне нужно иметь хоть что-то, если дедушка не хочет, чтобы я ловил пинегора.

— Однажды я добилась, — сказала бабушка, — чтобы к твоему имени прибавили имя Гримур. Может быть, тогда, а иной раз и позже, я думала о том, что тот, кого зовут Гримур, иногда будет вспоминать мое имя, если оно для него что-нибудь значит, а не имя того, кто владеет магазином Гудмунсена.

— Я с радостью брошу письмо в огонь и буду учиться на пастора,— предложил я. — И, может быть, однажды я услышу тот чистый тон, который слышит пастор Йохан.

Я уже было вынул письмо и собрался бросить его в бабушкину печку.

— Не бросай его в огонь, — сказала бабушка, — это невежливо. Верни эту бумагу обратно в магазин и скажи, что она тебе не нужна. Твой дедушка хочет, чтобы ты учился на его деньги.

— Я не знал, что у дедушки есть деньги.

— Бреккукот принадлежал Бьорну и его семье с незапамятных времен, но сегодня он его продал. Мы больше не можем здесь оставаться, только проведем еще зиму. А весной переберемся в подвал в городе. Нам ведь жить осталось немного. Твой дедушка хочет, чтобы ты уехал с первым пароходом и учился тому, к чему у тебя призвание.

41

КОНЕЦ ЛЕТОПИСИ

В течение некоторого времени наших часов совсем не было слышно, будто они не существовали в Бреккукоте. Но в последние дни в комнате стало так тихо, что я слышал, как они тикали.

Они шли неустанно. Медленно двигались секундные стрелки в этом сокровище дедушки и по-прежнему твердили — веч-ность, веч-ность. А если прислушаться, можно было услышать мелодичный звон и удары серебряного колокола. Как было хорошо вновь услышать этот звук часов, в которых жило странное существо! Как хорошо гостить в Бреккукоте, в этой маленькой землянке, утверждавшей законность существования других домов на земле.

— Скажи от меня королю Дании Христиану, — обратился ко мне капитан Хогенсен, — мне известно, что ждет того, кого призывают из-за границы, чтобы он стал человеком среди датчан. Они позвали меня, бедного крестьянина из Бредефьордура, обремененного детьми, которых я не мог прокормить у себя на родине в Бредефьордуре, и поставили меня над военными кораблями. Точно так же датчане позвали и его, бедного крестьянина, обремененного детьми, которых он не мог прокормить у себя на родине в Германии, и поставили его над всей землей в Дании, хотя он, как и я, не знал ни одного слова на их языке. Так они сажают обедневших иностранцев на высокие посты в своей стране, чтобы настоять на своем. Скажи ему, что я не обвиняю его величество в том, что датчане допустили величайшую несправедливость в мировой истории. Я имею в виду то, что они позволили Гудмунсену вместе с англичанами, фарерцами и другими народностями применять кошельковые неводы и траулеры в важнейших бухтах страны — в Фраксафлоа и Бредефьордуре, — уничтожая таким образом в наших водах все живое — большое и малое. Это обрекает на голод и смерть Бьорна из Бреккукота и ему подобных. Скажи его величеству, что с той поры, как я приехал в Рейкьявик, я всегда в день Нового года посещал его высших королевских слуг в нашей стране — губернатора, епископа и министров — и протестовал против этого. Вот!..

В последний раз я отнес молоко Кристине из пономарева дома. Она сидела на стуле в углу, слепая и глухая, но с чистым, прекрасным выражением лица, освещенного солнцем.

— Как ты себя сегодня чувствуешь, Кристина? — спросил я.

— Я пережила много чудесных дней на нашем кладбище при солнечном свете и таком западном ветерке, как сейчас.

Когда я собрался уходить, она сказала:

— У меня осталось немного тонкой шерсти от прежних времен; я слышала, что ты уезжаешь, и поспешила связать две пары чулок. Прошу, возьми их с собой. Прошу тебя, когда ты сойдешь на берег, навестить в Ютландии одну бедную женщину; ее зовут фру Хансен. Скажи ей, что эти чулки я связала сама, и передай их вместе с моим приветом — мальчику и девочке...

— Дай я понесу сундучок,— предложил дедушка. — У меня еще крепкие плечи.

Мы прошли через вертушку в Бреккукоте — границу между двумя мирами — и направились к пароходу. Бабушка шла сзади. Спускались сумерки. Дождь падал на желтую по-осеннему траву. Когда мы пришли на пристань, лодка, отвозившая пассажиров к пароходу, должна была вот-вот подойти.

Я обещал попрощаться с инспектором. Его не пришлось долго искать, он сидел на своем обычном месте у маленького окошечка в портовой общественной уборной, где всегда пахло карболкой и мылом, и вязал щетки. Если к нему кто-нибудь входил, места уже не хватало. Во всех отделениях уборной, за которыми он наблюдал, не было ни одной доски, не вымытой добела. Я думаю, что в ту пору это было самое гигиеничное учреждение во всем северном полушарии. Мы всегда называли его инспектором города и даже страны. Впоследствии я часто думал о разных знаменитых учреждениях, которые мне приходилось видеть, и об их начальниках, и мне казалось, что он-то и должен был быть инспектором над всем миром.

— Ну, — сказал он и поднялся, глядя на меня своим теплым, живым, веселым взглядом, — пришла твоя очередь, мой друг, уехать и купить мне немного корма для птичек, продаваемого за границей.

— Я не знал, что у тебя тут птицы.

— Да и я этого не знаю. Но пытаюсь делать, что могу, чтобы подбрасывать лакомый кусочек мышке, которая иногда в плохую погоду приходит навещать меня.

И он дал мне для этой цели две кроны мелочью.

— А если, приехав в Копенгаген, я куплю на эти деньги водки? — в шутку спросил я.

— Это ничего не значит, — ответил инспектор. — Твое дело. Желаю тебе счастливого пути.

— Большое тебе спасибо.

— Да, хорошо, что я вспомнил... Может быть, ты помнишь, что однажды я взял у тебя золотую монету.

— Я давно об этом забыл.

— Вот твой золотой, — сказал инспектор. — И да принесет он тебе добро. И да поможет он тебе, как всем, кто чего-то хочет в жизни; лишь бы никто никого не обижал. А если тебе когда-нибудь не хватит нескольких эре, напиши мне, потому что я не знаю, на что тратить свое жалованье.

Дедушка открыл дверь, заглянул к нам и сказал, что лодка, которая должна отвезти меня на пароход, пришла.

Я поцеловал бабушку, стоявшую на мостках в своей длинной красивой юбке, в черном платке на голове. Я никогда раньше ее не обни-

мал — у нас не было такого обычая. Я удивился — какая она хрупкая и легкая, и подумал, что кости у нее как у птички. В краткий миг прощального объятия мне показалось, что я держу в руках увядший лист.

— Бог да будет с тобой, Гримур! — сказала она, а потом добавила.— Если ты где-нибудь встретишь старуху вроде меня, передай ей привет.

Дедушка угрюмо поцеловал меня и сказал:

— Больше я не могу давать тебе добрых советов, мой мальчик. Но, может быть, с зимним пароходом пошлю тебе связку сухой трески. Увидим... Доброго пути!

Когда лодка отошла от берега, они еще стояли у воды и смотрели на мальчика, которого нагим оставила им чужая женщина. Они держали друг друга за руки; все остальные отступали на задний план перед ними, я видел только их. А может быть, рядом с ними другие люди расплывались, превращались в туман и исчезали?

Когда я с моим сундучком поднялся на палубу почтового парохода «Полярная звезда», то увидел, как они шли домой, к вертушке, домой в Бреккукот, в наш дом, который завтра будет сравнен с землей. Они держали друг друга за руки, как дети.

Т. Балашова, О. Егоров, А. Николюкин, Р. Филипчикова

Октябрь и зарубежная литература

(Обзор литературы первых послеоктябрьских лет)

В становлении и совершенствовании многовековой человеческой культуры Октябрьская революция сыграла ни с чем не сравнимую роль. Эпоха Октября обусловила коренную переоценку ценностей как в области социально-политической, так и в сфере эстетических идей и художественного творчества.

Первые советские произведения в области литературы и кино, театра и изобразительных искусств были художественными посланцами Революции. Они раскрывали перед зарубежными читателями и зрителями образ страны, где народ взял власть в свои руки, знакомили с миром неведомых прежде чувств и характеров. Эти произведения повествовали о жизненных судьбах восставших и победивших людей России, показывали всему миру природу революционера-пролетария, горьковского Человека с большой буквы.

Октябрьская революция, внесшая исторический корректив в старое художественное освоение мира, во многом обусловила нынешний этап развития мировой культуры и, в частности, основные особенности мирового литературного процесса.

Следует подчеркнуть, что каков бы ни был литературный отклик на события Октября в Европе или в Америке (рассмотрение литератур стран Востока могло бы стать предметом отдельной большой статьи) всегда поддается четкому установлению то новое качество, что внесено в зарубежные литературы Октябрем. И как бы ни старалось современное буржуазное литературоведение свести до минимума или полностью игнорировать роль Великого Октября и молодой советской литературы в развитии зарубежного искусства — эту роль нельзя ни забыть, ни перечеркнуть, ее трудно переоценить.

После 1917 года все значительнее и эффективнее сказывается воздействие самой советской действительности на мировое общественное мнение, на творчество талантливых зарубежных художников.

Более тесными, чем раньше, становятся русские связи замечательных писателей XX века — Р. Роллана, Б. Шоу, Г. Уэллса, С. Цвейга,— воплощенные в их долголетней дружбе с Максимом Горьким. Расширяются многообразные литературные контакты самого Горького. Значительно улучшается в нашей стране популяризация классиков зарубежной литературы и лучших современных писателей — дело, удачно начатое все тем же Горьким.

Поездки за границу русских писателей и поэтов — М. Горького, В. Маяковского, К. Федина, С. Есенина — способствуют ознакомлению Европы и Америки с советской литературой. Гастроли МХАТ и других советских театров, а затем успехи советского кино закрепляют славу молодого советского искусства.

Очень острый, нередко противоречивый интерес за рубежом к Советской России объясняется тем, что впервые за всю историю человечества в мире возникли две принципиально различные общественные системы. Социалистический строй вызывал злобу одних, манил других как terra incognita; одни хотели видеть в нем «землю обетованную», другие присматривались к молодой советской республике как к опасному, хотя и недолговечному «русскому эксперименту», но лишь для того, чтобы выступить в печати с различного рода сомнениями и опровержениями. Однако у большинства видных деятелей культуры Запада Советская Россия вызывала пристальный интерес и горячее признание.

Россия выдвигается в центр внимания передовой общественности мира сразу же после событий февральской революции. Наиболее дальновидные люди за рубежом, приветствуя буржуазно-демократический переворот, в то же время чувствуют его ограниченность. Они говорят о необходимости дальнейшего и более решительного революционного развития. События в России приобретают, по их словам, международный характер и указывают путь всей Европе.

С ободряющим и страстным словом обратился к революционной России Ромен Роллан: «Русские братья, только что совершившие великую Революцию,— писал он,— мы должны не только вас поздравить, но и поблагодарить. Не для себя одних вы трудились, завоевывая себе свободу, но и для всех нас, ваших братьев из старого Запада... Идите впереди! Мы за вами по-

следуем... Помните, русские братья, что вы сражаетесь и за себя и за нас...»[1]

Ромен Роллан верил, что большевистская революция победит «по причинам как экономическим, так и моральным». «Я удивляюсь могучей организаторской и новаторской энергии русских советов,—писал он.— Мозг всего трудового мира имеет ныне своим местопребыванием — Москву»[2].

Октябрьская революция и возникающее социалистическое общество вошли в передовую литературу мира с первых лет существования советской республики. В 1918 году появилась книга Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир» — первое произведение, вызванное непосредственными событиями Октября. В книге слышалась революционная поступь советского народа. Бесспорный писательский талант Рида раскрылся во всей полноте под воздействием революционных событий, в которых художник сам принимал участие. Так возникла героическая эпопея первых дней революции, замечательная отдельными портретами и особенно массовыми эпическими сценами. Произведение это — что, вероятно, наиболее важно — было пронизано этикой нового общества. Героический образ народа, вершащего правое дело и созидающего свое новое, социалистическое государство,— вот что составляет пафос книги. Рид славил разрушение старого мира во имя созидания мира нового, и эту сторону книги особенно ценил В. И. Ленин.

С востока льется свет! Навстречу свету
Поэт раскинул крылья. Скройся, ночь!
Мрак побежден, и небо в синь одето.
Да, эту силу им не превозмочь!
. . . . . .
Привет тебе, Республика Советов!
Прочь буржуазных демократий ложь!

— так писал И. Бехер в 1917 году в стихотворении «Привет немецкого поэта Российской Советской Федеративной Социалистической Республике»[3], и его произведение звучало как клятва в верности отчизне всех борцов за дело социализма.

Эрих Вайнерт посвятил теме Октября несколько проникновенных стихотворений.

На Октябрьские дни в России откликнулся Б. Келлерман в своем известном романе «9 ноября». Правда, сделал он это в несколько абстрактной, символической форме. Героиня одной из новелл Карла Штернгейма, американка Дэзи, сообщает из России в письме: «В восхищении от всего, что, я надеюсь, здесь свершится, я ... провозглашаю: «Да здравствует эта страна!»[4].

Русский народ и русскую революцию воспевали в своих произведениях и болгарские поэты Л. Стоянов и Э. Димитров. К колыбели революционного движения — Петрограду обращается в одноименном стихотворении Христо Ясенев. О русском пролетариате рассказывает в своих стихах «Три года» и «Северное сияние» Христо Смирненский.

Светлый образ Советской России, каким он представлялся рядовому американскому рабочему, находим мы в «Джимми Хиггинсе» (1919) — одном из лучших романов Э. Синклера тех лет.

Интервенция против Советской России вызвала громкий протест передового общественного мнения во многих странах мира. Массовые забастовки докеров и рабочих во Франции, Англии, Германии и славянских странах, движение «Руки прочь от России» сковывали в известной мере действия интервентов и путали им карты. Отражая народное движение, передовые деятели культуры Запада не раз выступали в 1919—1920 годах с требованиями прекратить кровавое вмешательство в дела русского народа.

В числе первых в Англии о поддержке Советской России заявил Бернард Шоу. Вспоминая об этом времени, Шоу сказал в своем выступлении, когда приехал в СССР: «Товарищи, вот уже десять лет подряд, как я говорю англичанам всю правду о России. Я, не выжидая проведения в жизнь пятилетки, уже в 1918 году, когда о России на капиталистическом Западе говорились самые отвратительные вещи, послал однажды одну из моих книг Ленину с посвящением, полным энтузиазма»[1].

Когда правительство Ллойд Джорджа направило против Советской России экспедиционные войска в Архангельск, Шоу стал одним из деятельных участников движения «Руки прочь от России».

Горячее сочувствие к Советской России, борющейся против иностранной интервенции, выразил и выдающийся ирландский писатель Шон О' Кейси. В одном из романов своей автобиографической эпопеи он с восхищением пишет о героической борьбе новой России в годы гражданской войны и в годы социалистического строительства[2].

Перелистывая комплекты журналов и газет за те годы, в особенности французские — «Юманите», «Кларте», «Эроп»,— легко убедиться в интенсивности и многочисленности выступлений подобного рода. Горячее участие принимали в них и писатели, и художники, и журналисты. Так, в 1919 году группа деятелей культуры, возглавляемая А. Франсом — другом молодой Советской республики,— опубликовала в «Юманите» воззвание. В газете было написано: «Разоблачайте кроваво-лицемерную коалицию международной реакции и финансовых тузов, направленную против

[1] Р. Роллан. Собр. соч., т. 18, стр. 123—124.

[2] Цитируется по книге В. Фриче «Корифеи мировой литературы и Советская Россия». М., 1922, стр. 11—12.

[3] И. Бехер. Избранное. М., 1956, стр. 324—325.

[4] К. Штернгейм. Хроника XX века. Л., 1929, стр. 61.

[1] «Литературная газета», 30/VII-1931.

[2] S. O'Casey. Inishfallen, Fare Thee Well, New York, 1949, p.p. 10—11, 220—222.

Советской России... Вы будете соучастниками удушения России, если останетесь равнодушными. Не загрязните же себя позором, не допустите убийства святой свободы, которая есть достояние всех» [1].

Ограниченным и нередко близоруким было отношение к Октябрьской революции и новой России Герберта Уэллса. Не поняв подлинной сущности советского строя, Уэллс, тем не менее, в известной мере способствовал установлению культурных связей английской общественности с Советской Россией. В письме к Горькому от 11 февраля 1920 года Уэллс писал: «Россия идет своим собственным путем, и здесь ее встречают отчаянным воплем, бешеной пропагандой. Но относятся к ней в Англии скорее с любопытством, чем враждебно. Мы многого не понимаем, многое нас приводит в недоумение, но в нас живет большая вера в то, что великий и талантливый русский народ играет и предназначен сыграть ведущую роль в создании нового мира» [2].

Дружба М. Горького и Г. Уэллса, завязавшаяся еще до революции, особенно укрепилась после приезда Уэллса в нашу страну в 1920 году. Книга Уэллса об этой поездке — «Россия во мгле» (1921) — подчас чересчур односторонне и сгущая краски изображает тяжелое положение молодой Советской России. Произведение пропитано явно скептическим отношением писателя к «фантазиям коммунистов». Однако и эта книга сыграла за рубежом в целом положительную роль в первые годы существования нашего государства.

В 1920 году вместе с комиссией по оказанию помощи голодающим Поволжья Советскую Россию посетил молодой Ральф Фокс, тогда еще студент Оксфордского университета. Впечатления от России Фокс изложил в книгах «Люди степей» (1925) и «Штурм неба» (1928). Обе книги наполнены пафосом созидания нового социалистического мира и свидетельствуют о глубоком влиянии русской революции на мировоззрение Фокса.

Итак, то, чего не увидел Уэллс, сумел разглядеть Ральф Фокс. В романе «Штурм неба» [3] он сумел показать ограниченность взглядов Уэллса, назвавшего некогда Ленина «мечтателем в Кремле».

Битва новой России против интервентов была воспринята наиболее дальновидными умами Запада как решающий этап всемирной классовой борьбы. А. Барбюс говорил на митинге, организованном профсоюзом землекопов 19 октября 1919 года: «Опыт, подобный русскому, очень важен. Он реализуется, неизбежно оказывая свое воздействие на все. Реакционные правители отлично сознают это, вот почему они стремятся любой ценой «ликвидировать» этот опыт и с этой целью готовы обречь Россию на гибель. Они пытаются убить свободу, чтобы доказать ее «нежизнеспособность». Война против России есть не что иное, как война социальная и политическая. Это — острый и грандиозный этап классовой борьбы. Или социализм будет насильственно уничтожен, или он победит во всем» [1].

Болгарский поэт Х. Смирненский, создавший позднее прекрасный цикл стихотворений «Москва», написал в 1920 году стихотворение «Красные эскадроны». Оно было создано под впечатлением известия об успешном наступлении конницы Буденного, разгромившей польских интервентов. Стремительные по ритму патетические строки стихотворения укрепляли в болгарском народе веру в победу молодой Советской республики над ее противниками. Если учесть, что стихи Смирненского были написаны в то тяжелое время, когда болгарская реакция стремилась задушить революционное движение в стране, то высокий смысл «Красных эскадронов» раскроется перед нами как один из самых ярких примеров международного воздействия, которое оказывал на передовую литературу мира сам факт существования Советского Союза.

Идеи и опыт Октябрьской революции, указавшей путь к освобождению народов всех стран, широко пропагандировал уже в 1918—1919 годах замечательный чешский писатель Ярослав Гашек. Оказавшись к моменту революции в русском плену, он становится на сторону революционного пролетариата, вступает в ряды Коммунистической партии и ведет большую политическую работу в Красной Армии. Приветствуя Октябрьскую революцию как начало всемирно-исторических событий, Гашек в статье «Международное значение побед Красной Армии» (1919) писал: «С востока на запад Европы идет волна революции. Она уже разбудила сотни миллионов людей, она сорвала короны с Карла Габсбурга и Вильгельма Гогенцоллерна...» [2]

Передовые общественные деятели, писатели и поэты Чехословакии — З. Неедлы, А. Запотоцкий, С. Нейман, М. Майерова, П. Илемницкий, И. Волькер, В. Ванчура и многие другие — приветствовали рождение новой пролетарской культуры. Они становятся ее активными пропагандистами и популяризаторами. Отвечая на нападки чешской буржуазии, всячески препятствовавшей проникновению в Чехословакию советской культуры и литературы, Зденек Неедлы писал: «Вместо клеветы и осуждения будем лучше учиться! Россия для нас является неисчерпаемым источником знаний. Так будем же у нее учиться» [3].

---

[1] „L'Humanité", 26/X-1919.

[2] Из подготовленной Архивом А. М. Горького публикации переписки Горького с зарубежными писателями.

[3] R. Fox. Storming Heaven. New York, 1928, p.p. 269—270.

[1] А. Барбюс. Избранные произведения. М., 1950, стр. 439.

[2] Цитируется по статье Н. П. Еланского «Ярослав Гашек в Красной Армии и на партийной работе в Советской России» («Литература славянских народов», вып. 2, М., 1957, стр. 72).

[3] Z. Nejedlý. O Rusko. Česká stráž. II, č. 12, 27/III-1919.

Выступая против клеветы на молодое советское государство, чешский публицист и видный политический деятель Богумир Шмераль (в книге «Правда о Советской России», 1920) и чешский писатель Иван Ольбрахт (в книге «Картины современной России», 1920) дали правдивые картины трудовых будней Советской страны. Советский народ и партия, возглавившая массы в годину суровых испытаний, стоят на переднем плане в книгах Шмераля и Ольбрахта.

Юлиус Фучик, вспоминая о том, какую роль в общественной жизни Чехии двадцатых годов сыграла Октябрьская революция, писал: «Отношение к революции было для нас мерилом силы личности и ее способности работать в современных условиях»[1]. Слова Фучика перекликаются со словами польского поэта Броневского: «В борьбе двух миров — господствующего капитала и освобождающегося труда — нет нейтральной почвы для идеологии паразитизма, нет третьей стороны баррикады; ученый, писатель, художник... должны занять свое место в общественной борьбе»[2] (статья «Вчера и завтра поэзии в Польше», 1928).

О Советском Союзе много пишут за рубежом. Появляются книги и глубоко враждебные, вроде книги Морана «Я жгу Москву» (1925).

Однако большинство даже тех писателей, которые далеки от коммунизма, с уважением говорят о новой России — как например Ж. Дюамель в своей книге «Путешествие в Москву» (1926). Автор отмечает заботу, которую проявляет советское государство о народе, говорит о новых моральных устоях, сложившихся в СССР.

Одна из лучших книг, написанных в этот период о нашей стране, книга, со страниц которой образ СССР встает особенно ярко,— это книга взыскательного друга «Драйзер смотрит на Россию» (1928).

Замечательный американский писатель провел немало времени в Советском Союзе. Он внимательно изучил самые различные стороны нашей жизни — от первых колхозов до лучших спектаклей в Большом театре. Картина гигантской страны, раскрывающаяся в его книге, это картина нового строящегося общества. Советское общество вызывает у Драйзера глубокие симпатии. Осуждая формалистическое экспериментаторство, проявлявшееся в те годы в творчестве некоторых деятелей советской культуры, Драйзер особенно высоко ставит массовость и многонациональный характер нового искусства. С интересом и симпатией отзывается он о многочисленных рабочих клубах, ставших очагами культуры. Большое внимание обращает Драйзер также на новую тематику советского искусства, на изображение революции и гражданской войны. Для него, как и для многих других зарубежных писателей-гуманистов, Советский Союз с первых же дней своего существования становится маяком, освещающим новые пути в жизни и художественной деятельности.

Первые отклики на Октябрьскую революцию и зарождение социалистического общества носили за рубежами нашей страны преимущественно публицистический характер. Однако, будучи создана пером больших писателей, эта публицистика обладает чертами подлинной художественности. Приветствия, открытые письма, статьи, путевые очерки о Советском Союзе позволяли передовым иностранным деятелям культуры быстро и смело откликаться на самые различные стороны жизни советских людей.

Оперативность жанров публицистики и политической поэзии объясняет их популярность в годы революции. Этому способствовали также два обстоятельства, которые отвечали духу и потребностям того времени: *историческая конкретность* очерков и статей, рассчитанная на то, чтобы вызвать у зарубежного читателя доверие и уважение к Советской России, а также *революционный пафос* стихов и публицистики, направленный на то, чтобы поддержать могучий энтузиазм народных масс.

Преимущественное отражение темы Советского Союза в публицистике и политической поэзии, а не в иных литературных жанрах является закономерным для этой бурной эпохи, когда зарубежные писатели спешили сделать первые художественные обобщения того грандиозного и нового, что рождалось в Советской России.

* * *

Революция обусловила значительные идейно-художественные сдвиги в творчестве самых различных зарубежных писателей. Менялся метод критического реализма, это «старое, но грозное оружие». Октябрь и успехи государственного строительства в СССР открыли глаза многим зарубежным писателям-демократам, побудили их в известной мере пересмотреть свой идейный багаж, по-новому подойти к оценке буржуазного мира, понять его обреченность.

Такие во многом различные мастера критического реализма, как Б. Шоу, Генрих Манн и Томас Манн, Арнольд Цвейг и Стефан Цвейг, Дж. Голсуорси, Л. Стоянов и Ст. Жеромский создают новые замечательные произведения, в которых отображаются глубокие сдвиги в жизни мира, крушение иллюзий буржуазной демократии, кризис буржуазного общества и его культуры, а также выдвижение на мировую арену новых общественных сил.

Герои-интеллигенты в произведениях этих писателей, пытаясь осмыслить революционные сдвиги, ищут путь к массам; меняется их внутренний мир. Такие писатели нередко отказываются от старой формы конфликта между буржуазным обществом и индивидуумом, столь характерной для реализма XIX века, когда герой пускался вплавь в одиночку по житейскому морю

[1] J. Fučik. Říjeu a česká literatura. Sb. „10 let diktatury proletariata". Praha, 1927, str. 422.

[2] Цитируется по статье З. Василевского «Пролетарский роман Л. Кручковского», «Твурчость», 1950, № 2, стр. 72.

в поисках удачи и счастья. Некоторые новые герои, такие как Аннет и Марк из «Очарованной души» Р. Роллана или Жак Тибо из книги Роже Мартен дю Гара «Семья Тибо», находят для себя выход в сближении с пролетарским движением, в революционной борьбе. Антивоенная тема, разработанная во многих произведениях Фолкнера, Хемингуэя, Олдингтона, Ремарка, также несет на себе печать новых конфликтов. Гуманистический пафос интернационализма вдохновляет героев «Спора об унтере Грише» А. Цвейга. Простые люди А. Цвейга вынесли на своих плечах тяжесть войны, но они свободны от ущербности «потерянного поколения», полны решимости бороться за светлый завтрашний день.

Сложные процессы, происходившие в критическом реализме периода двадцатых годов, объективно свидетельствуют о широком и многообразном воздействии борьбы народных масс. Жизнь поставила многих писателей перед необходимостью осмысливать новые эстетические проблемы, показывать новые отношения, возникающие в мире. Поэтому естественным и закономерным был приход в ряды коммунистических партий таких своеобразных писателей, как А. Франс, А. Барбюс, И. Бехер.

Опыт передовой зарубежной литературы XX века широко используют в произведениях того времени В. Маяковский, Ю. Олеша и другие советские писатели. Изучая мастерство зарубежных романистов, некоторые советские писатели вступают с ними в своего рода творческую полемику. Укажем, для примера, на роман К. Федина «Санаторий «Арктур», который является своеобразной полемикой с романом Т. Манна «Волшебная гора».

Произведения писателей критического реализма двадцатых годов пользовались широкой популярностью в Советском Союзе. Именно в эти годы стали у нас широко известны Р. Роллан, Э. Синклер, С. Цвейг, Т. Драйзер, Дж. Голсуорси. Работа переводчиков и критиков помогала советскому читателю уяснить значение лучших произведений зарубежного реализма, а также те сложные, трудные пути, которыми шли его представители. Ценность произведений критического реализма XX века не раз отмечал Максим Горький в своих суждениях о Франсе, Роллане, Голсуорси, С. Цвейге и других писателях.

Вместе с тем, развитие критического реализма в двадцатые годы не было процессом прямолинейным, гладким и односторонним. Кризис буржуазной культуры, особо обострившийся в послеоктябрьские годы, налагает заметный отпечаток на творчество выдающихся художников. Отображая в своих произведениях разложение модернистского искусства, они порой сами оказываются не в силах избежать воздействия идеологии и эстетики декаданса. Это воздействие проявилось, например, в творчестве Томаса Манна. Другие писатели, выступавшие вначале как критические реалисты, перешли постепенно на позиции антиреалистической эстетики. Так развивалось, например, творчество Дж. Джойса, Д. Г. Лоуренса, О. Хаксли.

В двадцатые годы в Европе и Америке значительно активизировалась деятельность многочисленных модернистских групп и школ, далеких от реализма или откровенно враждебных реалистическому искусству.

Поставив под вопрос существование капитализма в целом, Октябрьская революция способствовала поляризации литературных направлений, она явилась как бы своеобразным гигантским катализатором, ускорившим процесс распада буржуазного и упрочения народного искусства.

В новой обстановке лозунг «искусство для искусства» оказывается для его апологетов недостаточно «боевым». В авангард идеологического наступления против страны Советов, и против национального реализма выдвигается эстетика откровенной воинствующей реакции: поэтизация фашистского культа грубой силы, преклонение перед низменными, животными инстинктами. С наглядностью, ранее не столь очевидной, раскрывается правота ленинского положения о наличии и борьбе двух культур в каждой национальной культуре.

На переднем крае демократического искусства зарубежных стран успешно развивается новая революционная литература, выросшая на почве передовой прогрессивной национальной культуры и вдохновленная победами Октября. Новое направление предстает уже в ранний период как явление необыкновенно богатое, связанное с лучшими традициями национальной и мировой литературы, но осознающее их по-новому, в соответствии с теми задачами, которые возникли перед искусством на решающем этапе борьбы народных масс под руководством рабочего класса и его партии.

Пробуждение народного самосознания в первом десятилетии XX века и особенно в период мировой империалистической войны 1914—1918 годов подготовило почву для возникновения такой литературы. Еще до Октября рядом с Горьким встают величественные фигуры М. А. Нексе и А. Барбюса. «Огонь»—одно из «особенно наглядных подтверждений повсюду наблюдаемого, массового явления роста революционного сознания»[1] — был в числе первых иностранных романов, переведенных на русский язык при Советской власти. Эта «суровая и страшная книга» (Горький) была вызвана к жизни вздымающимся протестом народных масс в Европе, протестом, который перерос в России во всесокрушающую бурю Октября.

Победа Октября умножила силы революционного авангарда во всех странах. Она ускорила рождение партий нового типа в Китае, Франции, Германии, Англии, США, на Балканах, укрепила позиции революционной литературы.

Лучшие представители наций возглавили борьбу интеллигенции за новую культуру.

[1] В. И. Ленин. Сочинения, 4-е издание, т. 29, стр. 470.

«Если прогрессивная интеллигенция действительно хочет бороться с сегодняшней реакцией, она должна поддержать борьбу пролетарского класса и ни в коем случае не должна идти против него, помимо него, а только с ним»[1], указывал в газете «Руде право» в 1923 году Йозеф Гакен. Другой прогрессивный чешский деятель, И. Гонзл, выступая на страницах журнала «Червен», еще в 1920 году подчеркивал, что литературу, как и другие области культуры, необходимо самым тесным образом «связать с тем, что более всего характеризует большевистскую Русь с рядами рабочих, солдат и крестьян. В них заключается организующая сила России, и социалистическая культура должна исходить из этой организации»[2]. Гонзл требует, по примеру Советской России, выработки четкой и ясной программы в деле создания новой социалистической культуры и литературы. Многое сделала группа «Кларте», объединившая вокруг себя прогрессивно настроенные слои интеллигенции разных стран. Ее манифест «Свет из бездны», составленный Барбюсом, призывал писателей к активности, к действенному участию в общественных движениях.

Роман Барбюса «Ясность» и его «Правдивые повести», «Анна-пролетарка» Ольбрахта, стихи Христо Смирненского и Бехера, «Красные песни» С. Неймана и романы Ральфа Фокса, публицистика Вайяна-Кутюрье и стихи Иржи Волькера свидетельствовали о принципиально новых отношениях между писателями и читателями, сложившихся за рубежом после Октябрьской революции.

Эти писатели стремились понять и раскрыть в своих произведениях глубинные процессы современности. Симон Полен и Ион Грече у Барбюса или Антонин и Анна — герои Ольбрахта — отразили становление классового сознания народных масс и рождение человека, впервые познавшего радость деяния для всех. Так снова и снова, каждый раз свежо и неповторимо звучала тема горьковской «Матери». Социалистический реализм — хотя определения этого тогда еще не было — привлекал к себе наиболее здоровые силы национальной культуры. Воспринимая лучшие завоевания критического реализма, он, в свою очередь, поднимал его на новую ступень. О развитии социалистического реализма во Франции, например, трудно говорить, оставляя в стороне образы Аннет Ривьер или Марка, созданные Ромэном Ролланом.

Неповторимость национальных условий в каждой стране способствовала богатству тем, идей и литературных форм нового направления, национального по форме, социалистического по содержанию.

Путь новой литературы не был гладким. Наряду с выдающимися достижениями (поэзия Х. Смирненского, романы Нексе, проза Барбюса и Вайяна-Кутюрье) встречалось, конечно, немало срывов и ошибок. Нередко недостатки молодого социалистического искусства были связаны с «детской болезнью левизны», с проявлением сектантства и авангардизма.

Новое видение действительности далеко не сразу отливалось в емкую художественную форму. Интересно в этом плане признание Ромена Роллана. Отвечая на вопрос, какое влияние имела на его творчество Великая Социалистическая революция, Роллан в 1932 году говорил: «Если речь идет о моем литературно-художественном творчестве, то это влияние до сих пор не слишком очевидно... Иначе и быть не могло вследствие особого ритма моего творчества. Для того, чтобы мощное влияние, действующее на мой разум и направляющее мою деятельность, могло проявиться в литературно-художественном произведении, требуется довольно много времени... Когда я писал «Жана Кристофа», я уже почти порвал с той духовной атмосферой, которая его породила. Мне нужны долгие годы, чтобы проникнуться ею настолько, чтобы произведение стало органическим... Только в двух последних книгах романа, над которым я сейчас работаю (речь идет о романе «Очарованная душа».— *Авторы.*), в характерах, создаваемых мною сообразно моему пониманию нашей эпохи, начнут проявляться влияния и направления русской революции»[1].

Через все трудности и ошибки передовое зарубежное искусство двигалось вперед. Некоторые деятели литературы отходили от литературной и политической борьбы. Но здоровое ядро писателей выстояло, и вокруг него начали группироваться молодые силы. Имена Нексе и Ольбрахта, Майеровой и Бехера, Барбюса и Вайяна-Кутюрье, Голда, Кручковского — это имена ветеранов социалистической литературы XX века, получившие известность в первое десятилетие послеоктябрьского развития.

Советский читатель знал и любил этих писателей. Их романы и стихи встречали в СССР дружеский прием, их произведения радовали идейной и эстетической близостью, способствовали развитию чувства международной солидарности. Зарубежные писатели социалистического реализма обогащали мировую литературу.

Неутомимым популяризатором этих художников был А. М. Горький. Еще в 1919 году он написал замечательное предисловие к роману Барбюса «Огонь», назвав это произведение «железным молотом правды». Международный авторитет Горького придавал особый вес его выступлениям в защиту революционных писателей Запада от натиска реакции. В 1928 году Горький поднял свой голос в защиту Бехера, который был обвинен в «государственной измене». Немецкая буржуазия пыталась отомстить Бехеру за его антиимпериалистический роман «Люизит», но волна возмущения, прокатившаяся по всем европейским странам, спасла Бехера от расправы.

[1] „Rudé právo", 8/VI-1923.
[2] „Červen", III, 1920, № 31, str. 363.

[1] «Литературный Ростов», июнь—июль, 1941, стр. 173—174.

Уже в двадцатые годы начинается разнообразное и сложное взаимодействие советской литературы и передовых зарубежных литератур. Успешная работа национальных и международных организаций, сплачивавших художников всех стран, вела к широкому обмену опытом между ними, помогала развернуть в СССР популяризацию творчества зарубежных авторов, способствовала более широкому и победоносному проникновению советской литературы во все уголки мира.

* * *

Первые шаги советской литературы были восприняты зарубежными читателями в неразрывной связи с общей оценкой Октября и социалистического государства.

Прокладывая себе путь в борьбе с модернистскими течениями внутри страны (акмеисты, имажинисты, футуристы и другие) и с реакционным искусством Запада, советская литература росла и крепла и уже в первые годы существования советской власти завоевала популярность за рубежом. Спрос на советскую книгу, несмотря на противодействие реакционной прессы, рос из года в год. Были переведены на иностранные языки «Железный поток» Серафимовича и «Чапаев» Фурманова, «Цемент» Гладкова и «Неделя» Либединского, «Барсуки» Леонова, «Города и годы» Федина, романы Эренбурга, «Бронепоезд № 14-69» Вс. Иванова, «Разгром» Фадеева, рассказы Бабеля, П. Романова и других писателей.

Советская литература первых послеоктябрьских лет воспринимается в Европе и Америке во всем многообразии ее голосов, отображавших реальную общественно-эстетическую борьбу в стране. Существование различных писательских группировок того времени («Кузница», «Серапионовы братья» и другие) не могло, однако, скрыть от зарубежного читателя реалистической основы развития советской литературы. Постепенно изменялись и позиции тех писателей, которые не сразу творчески осмыслили идеалы нового социалистического искусства.

Выступая на IV пленуме правления Союза писателей СССР, Н. Тихонов говорил о пути, пройденном такими художниками:

«Многие поэты и прозаики, начавшие свой путь в первые годы Октября, испытали на себе множество чуждых влияний, от которых смогли отделаться в процессе творческого роста и идейного возмужания. Посмотрите стихи наших поэтов двадцатых годов и посмотрите их сегодняшние произведения, и вы увидите, как изменились люди и стихи.

То же можно сказать и о прозаиках. Как далеко ушли К. Федин, Вс. Иванов, Н. Никитин, да и многие другие и в своем творчестве, и в своем идейном самоопределении от примитивных индивидуалистических ошибочных «платформ» многих групп двадцатых годов, среди которых была и группа «Серапионовы братья».

Особую любовь у зарубежного читателя завоевывают имена Горького, Маяковского и Блока, интерес к которым был велик и до революции. Имя Максима Горького, чья слава родилась еще на рубеже столетий, было окружено теперь ореолом первого художника нового мира.

Смелого провозвестника революции, первого солдата Красной Армии, «который восстал еще в ту эпоху, когда царские штыки делали невозможным революционное выступление русского народа» [1], видел в Горьком Бернгард Келлерман. «Он, безусловно,— великое явление в мировой литературе,— отзывался впоследствии о Горьком Томас Манн,— он первым познакомил меня, и даже всю Европу, с русской революцией. От него пошло обновление, которое долго еще будет действовать» [2].

Революционное содержание и пафос произведений великого пролетарского писателя нашли широкий отклик и понимание среди английской читательской аудитории. Известный английский писатель Г. Честертон в предисловии к сборнику рассказов Горького на английском языке рассматривал революционное звучание горьковских произведений как свидетельство того, что Россия может стать «самой демократической демократией, какую когда-либо знал мир»[3].

«Вы содействуете победе новых сил в России в ее борьбе за свободу»,— телеграфировали Горькому в день его шестидесятилетия американские писатели и художники[4]. Многое для популяризации в Америке как творчества Горького, так и молодой советской поэзии было сделано калифорнийским литературоведом Александром Кауном, опубликовавшим ряд содержательных книг и статей. В творчестве Горького все честные деятели культуры усматривали органическое соединение гуманизма старой литературы, ее любви к человеку с оптимистической верой в него и его окончательную победу.

Как ни старалась буржуазная пресса двадцатых годов извратить позицию Горького, жившего в то время за рубежом, массовый читатель верил Горькому, видел в Горьком посланца социалистической России. Примером может служить статья известного английского историка и критика-марксиста Т. А. Джексона, направленная против попыток реакционных кругов Европы расценить пребывание Горького в Италии как «разрыв с большевиками». «Эти попытки,— писал Джексон,— были обречены на полный провал. Горький, вышедший из недр рабочего класса,— верный сын своего клас-

[1] Цитируется по журналу «Новый мир», 1936, № 10, стр. 232.

[2] „Berliner Zeitung", 5/VIII-1949.

[3] M. Gorky. Creatures that Once Were Men. New York [1918], p. X. В советском литературоведении на это высказывание о Горьком впервые обратил внимание Я. Е. Эльсберг в своей статье «Советская литература в оценке англо-американской критики» («Интернациональная литература», 1942, № 11, стр. 116).

[4] Архив А. М. Горького. Телеграмма от 29/III-1928.

са и никогда не изменит делу революции...»[1] «Максим Горький — наш,— читаем мы на страницах немецкого коммунистического органа «Роте фане» от 25 марта 1928 года,— он всю жизнь стоит в рядах борющегося класса. Каким мощным доказательством в пользу живых сил пролетарской революции и коммунизма служит то, что величайшие умы чувствуют себя связанными с ними, вырастают из них! Это имело силу уже по отношению к последнему из умерших великих писателей... к Анатолю Франсу. Это вдвойне имеет силу по отношению к Горькому»[2].

Дружба Горького со многими зарубежными писателями, а также его совместные выступления с ними укрепляли международный авторитет советской литературы, и величие Горького должна была признать даже буржуазная пресса.

«После смерти Льва Толстого писателем, возглавляющим русскую литературу, является несомненно Горький»,—писала «Остдейче моргенпост» в 1928 году.

Выход в свет семнадцатитомного собрания сочинений Горького, подготовленного прогрессивным немецким издательством «Малик», превратился в событие общенемецкого, а потом и международного масштаба.

Мировое значение Горького — художника, воплотившего в своем творчестве новый социалистический идеал,— особенно ярко выявилось в дни празднования его шестидесятилетия, когда писатели всего мира и множество читателей благодарили Горького за все, что было им сделано для мировой культуры.

Многие крупные писатели Запада называют Горького своим учителем, среди них Стефан Цвейг, Эптон Синклер, Генрих Манн и другие.

«Максим Горький,— подчеркивает в своей статье о нем Юлиус Фучик,— был учителем новых поколений писателей, а также учил многих больших писателей, своих современников»[3].

Горький раскрывал миллионам людей новый мир, созидателем и поэтом которого он являлся; для многих в образе Горького воплотились представления о русском народе, о чем особенно поэтично сказал С. Цвейг. «Если вы описываете человека,— писал С. Цвейг в своем приветствии Горькому в 1928 году,— то я готов клятвенно поручиться в правдивости его изображения: таким, как вы нарисовали, не больше, не меньше, был он на самом деле Ваша мерка не искажает и не изменяет ничего, она точнейший и честнейший оптический инструмент души, какой существует в нынешней литературе... Если мы сегодня много знаем о русском народе, если мы его любим и верим в силу его духа, то этим мы обязаны вам, Максим Горький, вам прежде всего» [1].

В те же годы все большую известность завоевывает творчество Маяковского. Этому в значительной мере способствовали успешные, полные напряженной работы и борьбы поездки Маяковского за границу. «Певцом масс», «певцом революции» называла Маяковского в 1925 году чикагская газета «Дейли уоркер». А «Нью-Йорк таймс» писала в связи с приездом Маяковского в Америку: «Генералиссимус армии революционных менестрелей находится в настоящее время в нашей стране. Это — Владимир Владимирович Маяковский, поэт-лауреат русской революции, ее лирический оракул, ее официальный литературный агент...»[2].

Высоко оценил творчество советского поэта Майкл Голд. «Маяковский,— говорил он,— за последние десять лет был самым известным поэтом в Советской России, голосом ее новой бури, хаоса и созидания, лауреатом ее новой техники, апостолом индустриализации наций, наполовину еще азиатской и средневековой. Его стихи, которые расходятся в миллионах экземпляров в новой России, насыщены громоподобными кличами индустриализации, образами фабрик, заводов, самолетов и действием, действием, действием»[3].

Замечательное качество Маяковского — соединение лично пережитого с общественными устремлениями — положил в основу своей оценки Т. Драйзер, встречавшийся с Маяковским во время пребывания в Советском Союзе.

Маяковский-трибун был для всех поэтов мира примером гражданской активности и горения. Именно Маяковский, «поэт, который сумел превратить поэзию в оружие»,— как вспоминает Луи Арагон, помог ему различить в мире «не только безобразное лицо врага, но и глубокие взгляды миллионов мужчин и женщин... тех, кто переделает еще наш мир и поднимает над ним свои истерзанные кулаки с ниспадающей, разорванной цепью»[4].

Иоганнес Р. Бехер, вобравший в свой творческий арсенал многие стороны поэтики Маяковского, с большим и искренним чувством говорит о том впечатлении, которое произвели стихи Маяковского, когда они впервые зазвучали по-немецки. Они были подобны «урагану», который «разметал старые ритмы и образы». «Маяковскому,— поясняет Бехер,— блестящим обра-

---

[1] „Workers' Weekly", 13/IV 1928.

[2] Цитируется по книге И. Груздев. Современный Запад о Горьком. Л., 1930, стр. 134—135.

[3] Ю. Фучик. Максим Горький. Краткие сообщения Ин-т славяноведения АН СССР, 1951, № 6, стр. 69.

[1] Цитируется по книге И. Груздев. Современный Запад о Горьком. Л., 1930, стр. 180.

[2] „New York Times", 11/X-1925. Неопубликованный перевод этой статьи, сделанный С. С. Кэмрадом, находится в Библиотеке-музее В. В. Маяковского.

[3] „The World", 9/VIII-1925 (цитируется по переводу, хранящемуся в Библиотеке-музее В. В. Маяковского).

[4] Aragon. Pour un realisme socialiste. Paris, 1955, p.p. 52-53.

сом удалось показать в своих произведениях себя как свободную развивающуюся социалистическую личность... Чувство реальности дало ему возможность с огромной высоты, с высоты победившей революции, пересмотреть весь мир и поэтически открыть его вновь»[1].

Особенно широко было воздействие Маяковского на поэзию славянских народов. Так, например, уже в начале двадцатых годов в польском журнале «Скамандер» (1922, № 16) появляется перевод стихотворения поэта «Левый марш». В 1923 году польское издательство «Филобион» выпускает «Облако в штанах», а пятилетием позднее журнал «Дзвигня» (1928, № 7) помещает на своих страницах поэму «Хорошо!». В 1927 году достоянием польских читательских кругов становится сборник «Избранные стихи Маяковского», в издании которого принимали участие многие поэты и писатели. Факты, относящиеся к творческой биографии Маяковского, польский читатель узнает из печатавшихся, и уже в те годы многочисленных, статей прогрессивных польских литературоведов.

Поэзия Маяковского служит надежным оружием в борьбе за прогресс и свободу польским патриотам Ю. Тувиму и В. Броневскому, не раз беседовавшим с советским поэтом во время его поездки в Польшу в 1927 году. Под непосредственным влиянием революционных произведений Маяковского порывают с символизмом и переходят в лагерь пролетарской литературы болгарские поэты Христо Смирненский и Гео Милев. Зажигающие строки его стихов наполняют непоколебимой верой в торжество революционных идеалов певцов чешской свободы С. Неймана и И. Волькера.

«Маяковский, поэт русской революции, поэт миллионно-взволнованной улицы, открывает и вносит в мировую лирику новые тона, каких до него еще не знала литература; создает новую поэзию, новое искусство, искусство динамики и ритма. Это — новое завоевание в области литературы, новый вклад в человеческую культуру»,[2] — так определяет Гео Милев новаторские стороны творчества Маяковского, оказавшего столь огромное влияние на мировую, в частности славянскую, поэзию. О силе непосредственного влияния таланта Маяковского ярко повествует газета «Руде право», поместившая отчет об одном из выступлений поэта в Праге. «Маяковский захватил аудиторию... здоровым, заражающим оптимизмом человека, прошедшего революцию и не боящегося поразить буржуазную Европу и Америку сильным ударом сатиры, большим мастером которой он, бесспорно, является»[3].

Творчество Маяковского представляло тем больший интерес для зарубежных читателей, что поэт создал ряд сильных и ярких стихотворений о буржуазном мире. Эти стихи — лучшее, что было написано советскими поэтами о капиталистическом обществе.

Как произведения, выросшие из Октября и ставшие летописью послереволюционных лет, воспринимались на Западе книги и других советских писателей. Советская литература в целом убеждала и восхищала зарубежных читателей, заставляла задумываться о сущности нового строя. Читая статьи, рассеянные по журналам и газетам мира, нетрудно убедиться, что каждая талантливая советская книга содействовала благородной миссии ознакомления широких читательских кругов с истинными условиями жизни в СССР, с его мировой исторической и культурной ролью.

Романы Фадеева, Серафимовича и рассказы Бабеля, драматургия Вс. Иванова и «Чапаев» Фурманова не только помогали понять великие события гражданской войны, но и свидетельствовали о новом общественном типе художника. «В своих произведениях он раскрыл себя как писатель революции»,— читаем мы в немецкой газете «Роте фане»[1] о Фурманове, который характеризуется как писатель нового типа: писатель-коммунист, художник слова и военный деятель.

Как с «активным агитатором за революционное дело» знакомится общественность Чехословакии с Серафимовичем, как «самого популярного поэта русской революции» воспринимает Демьяна Бедного. «Оно написано языком, удивительно близким языку сельского человека,— отзывался о стихотворении Демьяна Бедного «Иван-лентяй» Б. Шмераль,— и облечено в довольно редкую для современной литературы форму... Стихотворение, использующее фольклорный материал, пытается пробудить совесть в простых, но индиферентных людях, которые, не желая работать, пытались, однако, воспользоваться чужим трудом...»[2] Этот отзыв положил начало систематическим переводам стихов Д. Бедного на чешский язык. Его поэма «Главная улица», прочно вошедшая в программу вечеров и спектаклей чешского «Пролеткульта», была переведена также на словацкий язык[3].

Романы Гладкова, Панферова, Огнева раскрывали советскую жизнь мирных лет, новые отношения, которые складывались в рабочей и крестьянской среде, в кругах интеллигенции, молодежи. Книги этих писателей отражали новизну общественных отношений своеобразными художественными средствами. Все в них заражало оптимизмом, верой в будущее, было правдивым, жизненным, естественным.

Рожденная революцией литература была

---

[1] И. Бехер. Открыватель мира. «Правда», 14/IV-1940.

[2] «Пламък», 1924, № 1, стр. 46.

[3] „Rudé právo", 28/VI-1927.

[1] „Die Rote Fahne", 24/III-1926.

[2] B. Šmerál. Pravda o Sovětském Rusku. Praha, 1920, str. 24.

[3] Впервые поэма была опубликована в словацком журнале «Спартакус», 1923, № 5, стр. 110—113.

беспощадно правдива. Она была ареной напряженной борьбы. «Советское искусство,— указывал Барбюс,— можно охарактеризовать двумя словами: это искусство жизни. В нем нет ничего абстрактного, упадочного, условного, в нем отражается живая жизнь»[1].

Знакомство с советской литературой открывало зарубежному читателю качественно иной характер не только советской действительности, но и метода самой литературы, которая властно приковывала внимание к своему главному эстетическому завоеванию — образу сознательного творца своей судьбы, рядового труженика, строящего социализм. «Эти люди в папахах, которые верхом на своих низкорослых казацких лошадках и в невообразимых одеждах-доспехах бьются за дело коммунизма, не имеют ничего общего с традиционным типом борца за веру»[2],— восклицал с нескрываемым удивлением французский писатель А. Шамсон.

В статье, посвященной повести Либединского «Неделя», А. Барбюс отмечал, что «вместе с произведениями советской литературы в литературу французскую проник *новый тип* (подчеркнуто нами) настоящего революционера, который своим умом и своими руками героически совершил революцию, а теперь с еще большим героизмом отстаивает ее завоевания»[3].

Немецкая критика говорила о расширении области литературного творчества, о появлении новых тем и героев — представителей того класса, который до того в литературе представлен не был. Эрих Мюзам, например, подчеркивал, что герой Горького — не просто человек в трезвой реальности, но человек, «влекомый к революции», а чешская пресса называла поэму Маяковского «150 000 000» «символической сказкой о великих страданиях и великом восстании»[4]. Как в XIX веке произведения Бальзака и Толстого были своеобразной энциклопедией того времени, так произведения Горького и других советских авторов стали энциклопедией новейшей эпохи, эпохи империализма и пролетарских революций, эпохи формирования человека социализма.

Устремленность в будущее и оптимистическое звучание советских книг поражали буржуазный Запад, воспитанный на произведениях уныния и отчаяния. Бельгийский журнал «Варьете» писал в марте 1930 года: «Тогда как в лучших немецких или английских книгах мы находим ярко выраженное мрачное и горестное непонимание их авторами целого ряда явлений, от «Бронепоезда» Всеволода Иванова или «Разгрома» Фадеева веет какой-то радостью и весельем тех, кто знает, за что борется»[5]. Французский литературовед Э. Анрио, рецензируя «Дело Артамоновых», выражал свое удивление необычайным «сплавом реализма с оптимизмом». «Надежда на лучшее будущее, вера в восстание, пламенный призыв к новой, более человечной жизни — таково заключение после стольких страниц, где самые грубые проявления действительности переплетаются с самой тонкой поэзией. Это чисто русская черта»[1],— отмечает он, ощущая принципиальную новизну горьковской книги.

Большое внимание обращала зарубежная критика на роль *коллектива* в советских книгах. «Не отдельный человек, но всегда множество, всегда масса является в его вещах носителем силы»[2],— писал о произведениях Горького Стефан Цвейг. Ссылаясь на роман Гладкова «Цемент», о том же говорил немецкий писатель Эрнст Толлер. По его мнению, «Цемент» — это одно из самых сильных эпических произведений новой советской литературы. Книгу создал писатель, который соединил близость к жизни и знание ее с героической борьбой безыменной революционной массы, с судьбами отдельных людей из этой массы. И он сделал это в мастерски построенной форме»[3]. Больше всего Э. Толлеру импонировало умение связать в большом художественном полотне борьбу масс с судьбой отдельной личности.

Так, уже в двадцатые годы эта особенность советской литературы воспринималась передовыми кругами зарубежной общественности как ее важнейшее эстетическое открытие. В предисловии к книге К. Державина о советской литературе, подготовлявшейся к печати аргентинским издательством «Кларидад», А. Барбюс как бы подводил этот важнейший итог: «...драматический интерес не в обрисовке частных случаев или чисто индивидуальных реакций, а в появлении на сцене *коллектива* (подчеркнуто А. Барбюсом); масса, множество не есть теперь обширный резервуар, откуда вылавливают отдельные формы, сцены или изолированные острые события, которые в лучшем случае охватывают несколько персонажей, масса — это единая сила, играющая роль вся сразу, во всей своей значимости и во всем своем объеме. Это обстоятельство открывает новые пути и перспективы в истории искусства»[4].

В отличие от распространенных в буржуазном литературоведении идей «чистого искусства», советская литература откровенно заявляла о своем стремлении воздействовать на читателя. Активно-воспитательная тенденция советской литературы была с энтузиазмом воспринята молодыми прогрессивными литературами других стран.

---

[1] „Monde", 22/III-1926.
[2] „Europe", 15/IX-1928, № 69.
[3] „L'Humanité", 6/II-1927.
[4] „Národní politika", 23/VI-1925.
[5] Цитируется по журналу «Интернациональная литература», 1934, № 3—4, стр. 349.

[1] E. Henriot. Esquisses et notes de lecture. Paris, 1928, p. 213.
[2] Цитируется по книге И. Груздев. Современный Запад о Горьком. Л., 1930, стр. 118.
[3] „Die Literarische Welt", 1928, № 21/22.
[4] «Научный бюллетень», ЛГУ, 1947, № 14—15, стр. 5.

В Чехословакии, например, большой популярностью пользовались сатирические стихи В. Маяковского и Д. Бедного, поскольку они бичевали не «человека» вообще, не вообще «цивилизацию», как в некоторых мрачных творениях западных идеологов, а конкретные силы зла, мешающие расцвету свободной человеческой личности.

Отмечая содержательность и познавательную ценность советского искусства, зарубежные писатели остро чувствовали и своеобразие его художественных средств. Иностранная критика с восхищением отзывалась о мастерстве Горького и Маяковского, Есенина и Фадеева, Федина и Вс. Иванова, отмечая новаторский характер советского романа, поэзии, театра.

Прогрессивная зарубежная критика параллельно с критикой советской пыталась осмыслить теоретическое новаторство революционной литературы. Появление любого советского произведения за рубежом сразу становилось предметом страстной полемики и оружием в идейно-эстетической борьбе вокруг проблем развития национальной культуры. Споры о поэзии Маяковского перерастали в дискуссию о месте и роли поэта в современном обществе; празднование юбилея Горького побуждало критику ставить вопрос о новых взаимоотношениях читателя и писателя.

И тот факт, что в Италии был конфискован первый тираж «Цемента» (затем книга распространялась нелегально), достаточно красноречиво говорит о влиянии, которое оказывали первые советские произведения на трудящихся, о страхе, который испытывали в связи с этим буржуазные круги западных стран.

Процесс освоения советской литературы за рубежом — на заре ее существования и по сегодняшний день — никогда не был спокойно -созерцательным, а, наоборот, процессом напряженной идейно-эстетической борьбы. Анализ достижений советской литературы оказывался благотворным для развития литератур других стран. Передовые зарубежные критики, обобщая практику нового искусства, опирались на опыт как своей национальной, так и советской литературы.

* * *

Писатели различных народов видели в Советском Союзе исторический пример, отчизну трудящихся всего мира. Многие из них, стремясь выразить свои чувства, обращались к художественному воплощению советской действительности. Для других зарубежных деятелей культуры принятие Советского Союза шло через художественное осмысление образа В. И. Ленина, через восхищение ленинской гениальностью, его трудами. Десятки писателей и поэтов, которым в отличие от Рида и Уэллса не привелось увидеть Ленина, но которые находились под обаянием его личности, запечатлели в своих произведениях образ создателя Советского государства. Б. Шоу назвал Ленина «единственным среди государственных деятелей Европы, обладающим дарованиями, характером и знаниями, необходимыми человеку на столь ответственном посту»[1].

Поль Вайян-Кутюрье в своих воспоминаниях, написанных в 1925 году, рассказывает о впечатлении, которое произвел на него Ленин во время работы конгресса Коминтерна. «Владимир Ильич был и остался олицетворением беспрерывного действия и в то же время марксистом с головы до ног. Соприкосновение с ним производило на сознание впечатление вихря, ворвавшегося в душную комнату: оно освежало загруженный предрассудками и формальными доктринами мозг... Ленин — это законченный тип нового человека: он являлся для нас прообразом будущего»[2].

О своем уважении к идеям ленинизма Генрих Манн впервые заявил в 1924 году. Вскоре после смерти Ленина он писал: «В жизни Ленина преданность огромному по своему значению делу необходимым образом сочеталась с неумолимостью ко всему тому, что мешало этому делу. Я считаю, что для того, чтобы оставаться верным своему делу, надо быть неумолимым. Признать эту мысль стало для меня легче, когда я увидел, что дело Ленина претворялось в жизнь в соответствии с насущными потребностями людей. Ленин любил людей так же, как и свое дело. И в этом его величие»[3].

На важную определяющую роль, которую сыграли труды В. И. Ленина в формировании немецкой пролетарской литературы, указывал в статье «Мой путь к Ленину» Бехер: «Ленин дал мне ответ на вопрос «Что делать?». В трудах Ленина я нашел то, чего долго искало человечество — правду жизни».

Вспоминая потрясение, испытанное им при известии о смерти Ленина, Бехер писал: «Как ярко запечатлелся в моей памяти этот день, этот час. В Берлине выпал снег. Вечерело. Я подходил к площади Виттенберга, как вдруг кто-то остановил меня и сказал: Ленин умер. Хриплый голос дрожал от сдерживаемых рыданий. До поздней ночи я бродил по улицам, и, встречаясь с безмолвными вопрошающими взглядами друзей, знакомых, мы лишь обменивались кивком, как бы давая друг другу понять, что мы знаем страшную весть»[4].

В стихотворении И. Бехера «У гроба Ленина» (1925) похороны Ленина, образ траурной Москвы, образы советских людей и трудящихся из многих стран мира, пришедших проститься с Лениным, составляют единое, огромное по силе выразительности полотно, хотя и не лишенное некоторого схематизма — характерной черты немецкой революционной поэзии двадцатых годов.

Конкретный и историчный, теплый и реальный образ Красной Москвы, правда,

[1] Это высказывание Шоу впервые опубликовано в журнале «Иностранная литература», 1957, № 4, стр. 27.

[2] О Ленине. М., 1939, т. I, стр. 124.

[3] H. Mann, Essays. Berlin, 1956, B.II, S. 136.

[4] О Ленине. М., 1939, т. I, стр. 100.

менее монументальный, чем у Бехера, создал в цикле стихотворений «Москва» Х. Смирненский. Он воспевает город, где жил Ленин, и исторически сложившуюся русско-болгарскую дружбу, заново освященную великими освободительными идеями ленинизма.

Ленин жив вечно в памяти советских людей, в памяти всего передового человечества — таков лейтмотив многих прогрессивных зарубежных произведений послеоктябрьского десятилетия.

* * *

В последующие десятилетия напряженного труда советского народа над претворением в жизнь величественных ленинских планов были достигнуты большие успехи в развитии советской культуры. Значительных творческих высот достигла художественная практика наших лучших писателей и композиторов, театральных деятелей и работников кино, наших скульпторов и мастеров кисти. Достаточно сказать, что в тридцатые годы полностью проявил себя огромный изобразительный дар Михаила Шолохова. «Тихий Дон» и первая часть «Поднятой целины», буквально расхватанные за рубежом тысячами читательских рук, еще выше подняли международный интерес и уважение ко всей советской литературе.

В 1934 году, выступая на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, Франц Вайскопф рассказал, что о периоде революции, гражданской войны, о времени «товарища Маузера» зарубежные художники узнавали из книг Фадеева, Либединского, Бабеля. Прошли годы, и «книги Пантелеева, Огнева, Сейфуллиной и Авдеенко рассказали нам о детях и беспризорниках, книги Третьякова, Ставского, Караваевой, Панферова, Финна и Шолохова — о пятилетке, о советской деревне. «Поднятая целина» Шолохова была для нас прекрасным учебником по всем крестьянским вопросам в Советском Союзе»[1].

В тридцатые годы еще больше раскрывается талант многих больших художников слова — Н. Островского и Л. Леонова, М. Пришвина и К. Паустовского, Ю. Крымова и А. Гайдара, П. Павленко, Н. Тихонова и Л. Соболева, появляются книги Макаренко, облетевшие весь мир.

В Советском Союзе продолжает свое творчество Бруно Ясенский. Имя Е. Чаренца становится символом расцвета поэзии в национальных советских республиках. Пьесы Горького Киршона, Вишневского, Корнейчука принадлежат к лучшим произведениям драматургии социалистического реализма. Детская литература, созданная усилиями С. Маршака, А. Барто, К. Чуковского, Л. Кассиля и других детских писателей, превращается в самостоятельную область литературы.

Вся советская литература становится богаче, ярче, в ней звучат свежие голоса и темы. «Молодая советская литература,— восклицал Мартин Андерсен-Нексе в тридцатых годах,— так свежа, богата действием, плодотворным творчеством, оптимизмом...» «Я восхищаюсь тем, что вы уже создали,— говорил Нексе, обращаясь к советским писателям,— и желаю вам дальнейших великих успехов»[1].

Историческим итогом второй мировой войны явилось образование могущественного лагеря мира и социализма. Его голос стал в наши дни решающим в защите чаяний и надежд людей доброй воли. И если советское искусство двадцатых годов было сильно пафосом революционных преобразований в России, то теперь этот пафос дополнен энтузиазмом трудовых побед, военной славой державы-победительницы, духом новых успехов во всех областях экономики и мирной внешней политики.

Творческий метод советской литературы приобрел в наши дни поистине международный характер. Вырастая из глубинных истоков демократических и социалистических традиций, обогащаясь опытом советского искусства, социалистический реализм за рубежом привлек к себе лучшие силы как в странах народной демократии, так и в капиталистических государствах. Выдающиеся художники наших дней — Луи Арагон, Анна Зегерс, Иоганнес Бехер, Шон О'Кейси, Жоржи Амаду, Пабло Неруда, Михаил Садовяну, Мария Пуйманова, К. С. Причард и Мария Майерова — внесли значительный вклад в развитие метода и обогатили его своими творческими достижениями.

Писатели стран народной демократии стремятся донести до читателя образ социалистического человека, человека-творца и преобразователя, связанного с народом и партией. Это герои словацкого романиста Гечко и молодого румынского прозаика Думитриу, венгерского писателя Урбана и чешских прозаиков Сватоплука и Дрды. Это герои поэзии Димитрова, Стефановой, прозы Неверли, Кручковского.

В тяжелых условиях развивается социалистический реализм в капиталистических государствах. В произведениях первых художников социалистического реализма за рубежом отображается процесс формирования человека в условиях ожесточенной борьбы с буржуазной действительностью. Французские писатели Луи Арагон, Андре Стиль, Пьер Дэкс сумели создать образ героя нашего времени. Зарубежная прогрессивная молодежь давно учится мужеству у Павки Корчагина, Олега Кошевого, Алексея Мересьева. Теперь рядом с ними—Рауль Бланшар, Жозеф Жигуа, Анри Леруа.

В Англии немалых успехов на пути социалистического реализма достиг Джеймс Олдридж, лучшие романы которого пронизаны оптимистической верой в народ, чувством национальной гордости и независимости. В цикле романов «Британский образ жиз-

[1] Стенографический отчет Первого съезда писателей. М., 1934, стр. 159.

[1] Стенографический отчет Первого съезда писателей. М., 1934, стр. 320—321.

ни» Линдсей отразил вовлечение молодых сил в борьбу английского народа за мир и демократические права.

Писатели социалистического реализма вносят свой вклад в эстетическое познание нового характера. За истекшие годы теория и практика социалистического реализма за рубежом шагнули далеко вперед. Примером этого служат теоретические труды Ральфа Фокса, Арагона, Линдсея, Бехера, Стиля.

Еще в середине тридцатых годов появилась книга Луи Арагона «За социалистический реализм». На страницах газеты «Юманите» книга была названа «первым теоретическим вкладом Франции в дискуссию о социалистическом реализме»[1]. Интересные мысли о национальных особенностях метода и его отношении к наследию прошлого высказал Ральф Фокс в исследовании «Роман и народ». Деятели литературы сознавали, что новый метод, получивший имя на Первом съезде советских писателей, вырастает в каждой стране на национальной почве. Арагон понял это еще в те же тридцатые годы. «Я думаю,— говорит он,— что подражание советским книгам ни в коем случае не является путем реализма во Франции. Ведь реализм ищет прообразы в жизни, а не в книгах... Социалистический реализм требует знания действительности для ее преобразования. Вот почему во Франции он предполагает реализм французский. К социалистическому реализму во Франции... нет иного пути, кроме реализма французского»[2].

После войны увидел свет сборник статей А. Стиля «К социалистическому реализму». Ряд серьезных статей по вопросам нового искусства опубликовали Фревиль, Дэкс, Вюрмсер, Триоле и другие. Живописную панораму национальных литератур нашей страны развернул в книге «Советские литературы» Луи Арагон.

Джек Линдсей, характеризуя особенности нового метода, писал, что «социалистический реализм *всегда смотрит в будущее,* но он это делает не в ущерб непосредственному участию в жизни и реалистическому пониманию конкретного настоящего. Он основан на *глубокой любви к человеку, на непобедимой вере в его способность* преодолеть все стоящие перед ним проблемы, но он не замалчивает слабости, недостатки, противоречия и конфликты»[3].

Труды зарубежных писателей выявили специфические национальные особенности в применении метода, родоначальником которого был Горький. Да и сама жизнь опровергла измышления врагов советской литературы о якобы местном, чисто «русском» характере социалистического реализма.

Рождение и утверждение нового в жизни всегда связано с ожесточенной борьбой. Дискуссия о социалистическом реализме в зарубежной литературе, недавно заполнявшая многие страницы американских, западноевропейских журналов, а также некоторых литературных органов стран народной демократии, отразила, как эхо, новое наступление мировых сил реакции против марксистско-ленинского учения, против лагеря социализма. Ревизионизм во всех формах стал ныне одним из главных инструментов, с помощью которого пособники реакции безуспешно пытаются извратить подлинную сущность марксистско-ленинского мировоззрения и, в частности, сущность марксистской эстетики. Принцип партийности в искусстве — краеугольный камень советской литературы и всего социалистического искусства — подвергается злобной в своем бессилии критике. Под флагом борьбы с культом личности в некоторых югославских, польских, венгерских литературных газетах и журналах появлялись, а кое-где появляются и сейчас идейки о необходимости ревизии принципов социалистического реализма. И одновременно с этой ревизией идет самая беспардонная фальсификация советской литературы.

Слабые произведения советской литературы выдаются за образцы социалистического реализма, а сам метод объявляется «выдуманным» в тридцатые годы. Но как мы видели выше, лучшие произведения советской литературы двадцатых годов уже несут в себе ощутимые черты социалистического реализма. То, что еще в двадцатые годы увидели очень многие зарубежные писатели и литературоведы, не хотят видеть в пятидесятые годы отдельные критики-ревизионисты.

Всем скептикам, не желающим верить в существование социалистического реализма, следует напомнить слова Арагона: «Зачеркнуть целую литературу...— совсем нетрудно! Но через все преграды... книги идут своей дорогой...»[1]

Идет сорок первый год советского социалистического государства. Его литература еще сравнительно молода; литературные направления нередко складывались в течение столетия. Но почти с самого своего рождения она, постоянно совершенствуясь, становится неиссякаемым источником жизненных сил и примером зрелого вдохновенного опыта для художников многих стран и различных литературных течений.

---

[1] „L'Humanité", 12/VIII-1935.

[2] „Europe", 15/III-1938.

[3] Общественные деятели Англии в борьбе за передовую идеологию. М., 1954, стр. 318.

[1] „Lettres françaises", 30/V-1957.

Л. Никулин

Размышления у книжной полки

Года два назад один литератор получил от издательства на отзыв рукопись, перевод французского исторического романа. Автор избрал интересную эпоху — время короля Филиппа Красивого. Литератор погрузился в чтение. Но с каждой прочитанной страницей становилось ясно, что роман нуждается в обстоятельном серьезном предисловии, что исторические факты изложены в нем весьма поверхностно. К тому же некоторые уважаемые французские писатели критически отнеслись к этому роману и не видели в нем произведения, достойного внимания массового читателя.

И вот я стою перед книжной полкой в комнате одного молодого человека и вижу на полке эту книгу — роман «Железный король» Дрюона, выпущенный Издательством иностранной литературы в количестве 90 тысяч экземпляров. Предисловие, предпосланное книге,— это просто формальная отписка, ничего не объясняющая в ней.

Отложив эту книгу, я продолжал изучать книжную полку. Я увидел здесь «Королеву Марго», «Сердца трех», «Баскервильскую собаку», «Всадника без головы», «Черный тюльпан». Некоторый разнобой вносила внушительная книга под названием «Итальянские новеллы», но, как мы увидим дальше, и эта книга тоже не принесла мне радости.

И тут мной овладели размышления...

Даже наши недоброжелатели за рубежом признают, что на земном шаре нет страны, в которой больше бы читали, больше бы издавали книг, чем в Советском Союзе. С 1918 по 1957 год в нашей стране вышло 1 386 000 книг тиражом более 20 миллиардов экземпляров. Из пяти миллиардов книг, изданных во всем мире в 1955 году, Советский Союз выпустил более миллиарда экземпляров, то есть одну пятую всей мировой книжной продукции. Эти цифры составляют нашу законную гордость.

Естественно, что среди советских изданий значительное место занимают переводы произведений зарубежных авторов. Советский Союз стоит на первом месте в мире по количеству переводов. В 1956 году, например, в СССР было переведено 4 648 произведений. С первых лет советской власти к переводной литературе у нас отнеслись с особым вниманием. Запасы бумаги были тогда крайне ограниченны, иногда требовалось вмешательство В. И. Ленина, чтобы обеспечить бумагой издательство «Всемирная литература».

Когда Горький в 1919 году создавал это издательство, он мыслил его как некий Пантеон — собрание лучших произведений выдающихся писателей мира. Он привлек к работе известных литераторов и ученых, он заботился о качестве перевода, стремился к тому, чтобы предисловие к книге давало глубокое представление о творчестве писателя, верно освещало эпоху. Горький не исключал из «Всемирной литературы» произведения Дюма-отца, но он поручил Куприну написать предисловие к лучшим романам Дюма — «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо».

Вызывает грустное недоумение то обстоятельство, что некоторые издательства сегодня отступают от этих благородных заветов, которым необходимо безоговорочно следовать в наши дни, когда огромное распространение книг сделало особо актуальным вопрос о воспитательном значении литературы.

В то время, когда создавалось издательство «Всемирная литература», никто не предполагал, что «Королева Марго» поглотит многие тонны бумаги, которая могла бы пойти на более нужные читателю книги, а «Баскервильская собака» будет рыскать по издательствам, тоже пожирая немалое количество бумаги.

Минуло время, когда частные издательства, поправляя свои дела, выпускали книги, в которых авторы были не прочь пройтись «насчет клубнички» под видом решения «проблемы пола» или «сатиры на нравы общества». Но более чем странно, что в наше время некоторые издательства — столичные, республиканские, областные — избирают этот скользкий путь, перестают заботиться о том, чтобы читатели получили верное представление о жизни той или иной

страны, той или иной интересной эпохи, предлагая читателю «развлекательные» романы, не имеющие никакого познавательного значения.

Мы справедливо считаем «Декамерон» Бокаччо классическим произведением и издаем и переиздаем эту прекрасную книгу. Однако следует ли в литературе давно минувших лет отыскивать новеллы авторов, намного уступающих Бокаччо в таланте, но превосходящих его в пикантности сюжетов. В книгу «Итальянские новеллы», выпущенную огромным тиражом, включены произведения новеллистов, которые вряд ли можно назвать классическими.

Книга, изданная массовым тиражом, должна быть оружием просвещения и культуры, по своим идейным и художественным качествам она должна отвечать самым высоким требованиям.

Почему-то некоторые издательства не считают нужным изучать желания читателей, их вкусы, искать книгу, которая завоевала все права на массовый тираж. Берут ту же «Королеву Марго» и издают ее массовым тиражом, не смущаясь тем обстоятельством, что эта королева уже не первый год шествует по столичным и областным издательствам и общий тираж этой далеко не лучшей в творчестве Дюма-отца книги достиг астрономической цифры!

Даже Детиздат, завидуя успеху «Лунного камня» Уилки Коллинза, выпустил другой, не блещущий литературными достоинствами роман этого автора «Женщина в белом» тиражом в 90 тысяч экземпляров. На титульном листе помечено «для старшего возраста». «Старший возраст» — это школьники моложе четырнадцати лет. Не на этот возраст рассчитывал автор «Женщины в белом» свой детективный роман.

Золя — великий писатель, его произведения заслуживают самого широкого распространения. Серия романов о Ругон-Маккарах, разумеется, должна издаваться, причем издаваться культурно и тщательно. Но не странно ли, когда областные издательства — Смоленское. Новосибирское — выдергивают из серии тот или другой роман Золя и издают: Смоленское — «Страницу любви», Новосибирское — «Доктора Паскаля». Почему именно «Страница любви»? Разве это лучший из романов Золя, разве сам автор не считал этот роман наименее удачным? Однако эта книга выпущена тиражом в 150 тысяч экземпляров. «Черный тюльпан» Дюма-отца (не выдерживающий никакого сравнения с лучшими романами этого же писателя) далеко оставил позади переводы других его произведений. Видимо, в этом случае выбор издательства не имеет ничего общего с воспитательными целями, с целями издания и распространения лучших образцов иностранной литературы.

Тиражи наших изданий — наглядный пример роста культуры советских народов, эти тиражи изумляют наших друзей и недругов, они свидетельствуют о том, как любят и ценят у нас книгу. Но всегда ли такими гигантскими тиражами издаются действительно нужные, полезные, высокие по своим идейно-художественным качествам произведения? Как мы убедились, не всегда. Наши издательства должны выпускать книги, правдиво рисующие жизнь, пробуждающие светлые мысли, воодушевляющие читателей на благородные поступки, на подвиги.

У нас в стране делается очень много для популяризации лучших произведений современной зарубежной литературы. Это общеизвестно и не требует доказательств. Наличие специального Издательства иностранной литературы, деятельность других издательств в этой области, а также самый факт существования журнала «Иностранная литература» красноречиво говорят об этом.

Особое чувство благожелательности вызывают у советского читателя произведения писателей социалистических стран. Книги писателей великого Китая, Чехословакии, Польши, Албании, Румынии, Венгрии, Германской Демократической Республики и других социалистических стран привлекают советских читателей, потому что в них отражены те важнейшие перемены, которые произошли в этих странах. Наконец, с жадным вниманием читаются книги, в которых находят отражение величайшие исторические сдвиги, происходящие в странах Ближнего Востока, Азии и Африки, освобождающихся от ига колонизаторов.

Передовая современная литература раскрывает перед нами поступательное движение истории, правдиво показывает исторические процессы и гигантские сдвиги в жизни народов. Но, естественно, среди книг, которые мы переводим и издаем, есть такие, которые содержат идеи, с нашей точки зрения, спорные или даже просто неверные. Об этом следует говорить правдиво, не замалчивая того, что является для нас спорным и сомнительным. Разве со всем можно согласиться в исторических романах Фейхтвангера или в романах Ремарка? Наша критика должна справедливо и убедительно писать о достоинствах и недостатках произведений зарубежных писателей, а не захваливать их, как это часто делается.

Разве правильно поступило Литовское государственное издательство художественной литературы, выпустив роман Ремарка «Время жить и время умирать» стотысячным тиражом без всякого предисловия? Между тем, этот роман нуждается в серьезном и продуманном критическом разборе. Что заставило Гослитиздат выпускать произведения Эптона Синклера без всякого предисловия, хотя его идейные позиции во многом нуждаются в принципиальной критике?

В нашем журнале «Иностранная литература» мы сравнительно редко печатаем отзывы о произведениях зарубежных писателей, выпускаемых в переводе на русский язык, мы не предоставляем достаточно места рецензиям, критикующим книги, которые ничего не говорят ни уму ни сердцу читателей. То же можно сказать и о других жур-

налах; отделы критики и библиографии плохо, очень плохо следят за деятельностью издательств, занимающихся выпуском переводной литературы. Таким образом создается впечатление, будто все книги, выпускаемые в переводе, вполне доброкачественны. Порой, останавливаясь на идейных противоречиях произведения, наша критика почти не говорит об изобразительных средствах, которыми пользуется писатель, об его умении строить сюжет, рисовать пейзаж, владеть диалогом. А ведь анализ идейного содержания неотделим от анализа художественного мастерства. Как часто внешний блеск художественной формы прячет как бы в розовом тумане неверные мысли, субъективное восприятие автором исторических событий, и не только исторических, но и событий наших дней!

Одной из главных задач нашего журнала должно стать всестороннее раскрытие идейно-художественных качеств книг зарубежных авторов, выходящих в русских переводах, внимательный анализ деятельности издательств, выпускающих переводную литературу.

Вот о чем думаешь, когда стоишь у книжной полки, когда читаешь и перечитываешь произведения зарубежных писателей и порой слышишь панегирические отзывы о некоторых из них, того не заслуживающих.

Всяческой популяризации заслуживает зарубежная литература, способствующая воспитанию трудящихся в духе борьбы за коммунизм, литература, отражающая важнейшие процессы исторического развития, рост сил мира и демократии. Всегда огромным спросом пользуется у нас великая классическая литература всех народов мира. Следует помнить, что в приветствии Второму съезду писателей Центральный Комитет КПСС рекомендовал изучать опыт передовых, прогрессивных зарубежных писателей (речь идет, разумеется, о выдающихся произведениях мировой литературы).

Тем тщательнее следует относиться к важному делу отбора произведений для перевода. И не «Черный тюльпан» или «Королева Марго» должны заполнять книжные полки, а произведения, достойные внимания лучшего в мире читателя, творения передовые по заключенным в них идеям и превосходные по художественной форме.

Вот благородная цель, к которой должны стремиться издатели иностранной литературы в нашей стране.

Л. Вершинин

ПИСАТЕЛЬ БОЛЬШИХ МЫСЛЕЙ

О Карло Монтелла, который за короткий период написал два романа — «Родственники на Юге» (1953) и «Пожар в земельной управе» (1956),— а также сборник рассказов «Тот, кто выходит на рассвете» (1957), итальянская критика говорит как о писателе, «от которого итальянская литература может ожидать многого».

Уже в первом своем романе «Родственники на Юге» Карло Монтелла показал, что у него есть не только свой мир и свои герои, но и свой круг проблем. Таким миром, пусть замкнутым и маленьким, стала для Монтелла итальянская провинция, а его героями — мелкие буржуа, чиновный люд этой провинции. Судьба мелкой буржуазии и многочисленной армии чиновников — вот основная проблема, волнующая Монтелла. Герой романа Монтелла «Родственники на Юге», в котором много автобиографических черт, волею случая (ему неожиданно дали отпуск во время военных действий) попадает прямо с передовых позиций в далекий тыл, в маленький городок Юга, а затем в окрестное селение, где живут его дальние родственники. И здесь он с горечью убеждается, что война словно бы прошла мимо этих мест, ничем не нарушив сонной одури и равнодушия множества провинциальных городков и похожих друг на друга нищих селений. Единственная война, которая по-прежнему интересует богатых землевладельцев,— это война со своими соседями и «нахальными, хитрыми» арендаторами. И эту войну они ведут со всей твердостью и жестокостью. Война же, которая идет с нацистами «где-то там, за Неаполем», интересует их куда меньше, чем обычные деревенские дрязги. Само по себе противопоставление фронта и тыла не ново для западноевропейской литературы. Но у Олдингтона, Ремарка и (если обратиться к произведениям самого последнего времени) у Армана Лану в его романе «Майор Ватрен» война так или иначе отразилась на жизни тыла, предопределив полное падение одних и духовное возмужание других. Героя же романа «Родственники на Юге» поражает не то, что тыл переменился к худшему. Самое страшное заключается как раз в том, что в тылу вообще ничего не изменилось, точно войны и не было вовсе.

Монтелла не только отлично знает жестокий и равнодушный ко всему мир сытых буржуа, но и ненавидит его. Потому-то, как тонко подметил известный итальянский писатель и критик Элио Витторини, «единственным возможным способом показать этот мир было для Монтелла высмеять его».

После опубликования романа «Родственники на Юге», удостоенного в 1954 году высшей литературной премии «Виареджо», и его второго романа «Пожар в земельной управе» многие итальянские критики, подчеркнув серьезное влияние, которое оказал на творчество писателя Н. В. Гоголь, поспешили объявить Монтелла представителем «комического неореализма». В конечном итоге это было попыткой представить Монтелла мастером в сфере комического, но не больше. Сам писатель хорошо понял всю нарочитую ограниченность такого определения. Не случайно в предисловии к сборнику рассказов «Тот, кто выходит на рассвете» Монтелла подчеркивает, что наряду с «комическими» рассказами, составляющими единое целое с романом «Пожар в земельной управе», в эту книгу он включил «также и ради сопоставления» ряд «серьезных» рассказов. В этих «серьезных» рассказах Монтелла, по его словам, хотел показать обычных людей в необычных ситуациях в те минуты, когда тяжелый груз нищеты и горестей грозит вот-вот придавить человека, который отчаянно пытается справиться с непосильной ношей.

Наиболее зрелое и сильное произведение Монтелла — роман «Пожар в земельной управе».

В своем новом романе Монтелла с убе-

Montella Carlo. Incendio al catasto. Firenze, Vallecchi, 1956.

дительной достоверностью, без всякой вычурности вновь запечатлел монотонную жизнь итальянской провинции. Правда, на этот раз объектом его наблюдений стал маленький чиновничий мирок города Пизы, так хорошо знакомый писателю, который сам долгое время был государственным чиновником. Присущее Монтелла острое чувство юмора, умение увидеть и показать комическое в самых обыденных, казалось бы, положениях, получило здесь свое дальнейшее развитие. Но те, кто окрестил Монтелла писателем «комического неореализма», видимо, не рассмотрели трагического фона его юмора; в новом романе писателя комическое сливается с трагическим. Видный итальянский критик Никколо Галли верно заметил, что элементы гротеска переплетаются в романе с «горьким южным лиризмом». Но вряд ли можно согласиться с ним, что такое «переплетение» вредит роману, снижает его остроту и «разъедающую силу». Именно это органическое сочетание гротеска с «лирическим зарядом» позволило Монтелла изобразить жизнь чиновничьей цитадели не только во всей ее нелепости и бессмысленности, но и в ее отчаянной однообразности и беспросветности.

В романе «Пожар в земельной управе», написанном языком сочным, подчас грубоватым (критик еженедельника «Фиера леттерариа» Фердинандо Вирдия пишет в этой связи о том влиянии, какое оказала на язык романа известная повесть Коллоди «Приключения Пиноккио»), перед нами проходит целая галерея персонажей. Глава земельной управы, бесхарактерный, ничего не читающий, кроме циркуляров начальства и «мудрой» инструкции номер девятнадцать, этого своего рода бюрократического справочника на все случаи жизни, кавальере* Чинино; падре Дзаннати, который в отличие от своих коллег сохранил крестьянский здравый смысл и простоту нравов; подхалим и подлец Фрателлини; единственный во всей земельной управе чиновник-богач Бригадьере (подумать только — у него есть свой мотоцикл и он почти каждый вечер ходит в кино!) — все они даны Монтелла на редкость живо и остро. И особенно комично, а вернее трагикомично, что все эти жалкие «траве»** наших дней презрительно относятся к «простолюдинам». Жены чиновников сами стирают белье, сами моют полы и штопают носки, но они, как и их мужья, считают себя особой кастой, разыгрывают из себя господ.

С важным видом восседают эти чиновники в своих чиненых-перечиненных костюмах за столиками кафе (заказывают, и то не всегда, одно лишь мороженое), раз в год ходят в театр смотреть «Силу судьбы» или «Любовный напиток» и потом рассказывают об этом событии двенадцать месяцев кряду.

Нет, Монтелла далек от того, чтобы идеализировать своих бывших коллег. Но им движет глубокое сочувствие к судьбе этих превращенных в «счетные машины» людей; его юмор, мягкий и грустный, когда он описывает злоключения, житейские горести, всю полную нужды и лишений жизнь «чиновного люда», переходит в едкую, злую сатиру, когда он пишет о самой бюрократической системе и ее «творцах» — всех этих генеральных директорах, инспекторах, префектах. Здесь Монтелла явно следует манере Гоголя; в особенности же заметно сходство с гоголевским «Ревизором», вплоть до того, что он в несколько измененном виде ввел в роман ситуацию, совпадающую с последней сценой «Ревизора». И надо сказать, что сцена ложного, а затем и подлинного телефонного разговора префекта разработана Монтелла с умением и яркостью, присущими подлинному таланту.

Звонок префекта последовал в весьма драматический для чиновников земельной управы момент. Впервые за послевоенные годы придавленные нуждой чиновники (они сами ошеломлены своей дерзостью) решились объявить забастовку.

И вот «робкие забастовщики», впервые почувствовав себя живыми людьми, решают подшутить над своим новым начальником Кьяппони. Один из них звонит Кьяппони по телефону и, выдавая себя за префекта, угрожает ему страшными карами за то, что его подчиненные отправились на митинг забастовщиков. Когда они возвращаются после митинга на службу, то застают Кьяппони обезумевшим от ужаса и гнева. В ярости он рвет канцелярские бланки — эту «святую святых» для каждого чиновника,— расшвыривает чернильницы, ручки, карандаши.

Когда же чиновники, наконец, пришли в себя от изумления и поняли, что в такое состояние Кьяппони привела их шутка, они разражаются неудержимым хохотом. Но тут раздается звонок. Все застывают в неестественных позах, а Кьяппони, спотыкаясь о груды карандашей и разбитые чернильницы, едва живой от страха, подходит к телефону, снимает трубку и слышит голос настоящего префекта.

Было бы, конечно, неверно думать, что Монтелла заимствовал у Гоголя лишь его манеру письма, его приемы. Влияние творчества Гоголя на произведения Монтелла значительно глубже и серьезнее. Весь чиновничий мирок итальянской провинции показан Монтелла с гоголевской остротой и беспощадностью и одновременно с той же печальной любовью и жалостью. Маленькая земельная управа города Пизы превращается как бы в символ, в прообраз гигантской казармы, где тысячи государственных чиновников, как пишет Монтелла в посвящении к роману, со времен Акакия Акакиевича ходят в заплатанных шинелях,

---

* Почетный титул, присваиваемый обычно крупным государственным чиновникам.

** Иньяцио Траве — мелкий государственный чиновник, герой известной пьесы итальянского драматурга Витторио Берсецио «Несчастья господина Траве» (1862). Его имя в Италии стало нарицательным.

мечтают о продвижении по службе и читают те же министерские циркуляры.

Символичен конец романа. В старом здании земельной управы вспыхивает пожар. С треском рушатся объятые пламенем балки, навсегда похоронив под обломками обгоревшие кучки бумаги, все, что осталось от миллионов бланков, заполненных аккуратными столбцами цифр, тех самых бланков, которые были единственным осязаемым доказательством всей многолетней усердной работы чиновников. Исчезают, как дым, и сами чиновники.

«И если бы,— пишет Монтелла,— кое-кто из зевак не видел их перед этим, покрытых черной сажей, то можно было бы подумать, что они погибли в огне, или даже предположить, что они не существовали вовсе...»

Возможно, такой пессимистический вывод писателя о бесполезности человеческого труда и приложим к государственным чиновникам земельной управы, но он совершенно не приложим к созданиям подлинного художника. Это в полной мере относится и к произведениям Карло Монтелла, одного из тех, кто смело прокладывает сейчас новые пути в итальянской литературе.

И. Бернштейн

НОВЫЕ ЗАДАЧИ И СТАРЫЕ ПРИЕМЫ

Очевидно, что роман, который вызывает оживленную дискуссию в печати в течение почти целого года после своего появления, затрагивает какие-то важные для текущего литературного момента вопросы. Это относится в полной мере к роману чешского писателя Эдварда Валенты «Иди на зеленый свет», споры о котором продолжались в течение почти всего 1957 года. Одни видят в произведении Валенты новое слово в развитии чешского романа, утверждают, что Валента обогатил его смелым проникновением во внутренний мир человека, безбоязненным анализом его мыслей и чувств, созданием «душевной биографии героя». Другие напоминают, что приемы, использованные Валентой, не являются новинкой для чешского романа, а только были оттеснены на задний план в последние годы. Третьи обращают внимание на опасности, которые таятся в методе Валенты. Четвертые... но обратимся к самому роману.

Действие книги «Иди на зеленый свет» относится ко времени фашистской оккупации Чехословакии. Роман построен в полном смысле слова как «душевная биография героя» — пражского профессора Карела Шимона, который уже в зрелые годы, неожиданно для себя, снискал славу писателя. Шимон — индивидуалист, склонный к мучительной, разъедающей рефлексии, искусственно отгораживающийся от жизни, чуждающийся людей, человек крайне пассивный.

Автор помещает героя романа в своего рода исключительную ситуацию: в условиях оккупации он оказывается совершенно свободен, болезнь спасает его от трудовой мобилизации, а неожиданное издание книги — от материальных забот. Порвав с женой и потеряв дочь, Шимон переезжает в деревню с намерением вести жизнь одинокого наблюдателя; на досуге он пишет книгу и рисует пейзажи. Такой прием помогает автору сосредоточить свое внимание на анализе переживаний и дум героя, тем более, что Шимон живет напряженной интеллектуальной жизнью и имеет склонность к скрупулезному самоанализу.

Авторский замысел находит свое выражение в своеобразном художественном построении: за каждой главой следует «лирическое интермеццо», своего рода дневник Шимона, содержащий оценку событий, воспоминания, размышления. Постепенно сама жизнь заставляет Шимона отказаться от эгоистического и одновременно тягостного для него самого одиночества, он вступает в разнообразные отношения с окружающими, сердцем, а не только холодным рассудком постигает человеческие трагедии и, в конце концов, сначала помимо своей воли, а затем все более сознательно начинает принимать участие в подпольном народном сопротивлении оккупантам. Он помогает укрывать людей, преследуемых гестапо, участвует в организации материальной помощи жертвам фашистов. Вначале Шимоном движет обычная порядочность, не позволяющая ему стать доносчиком, и только позднее он начинает осознавать свое участие в сопротивлении как патриотический долг и переходит к более активным действиям.

Решающей для Шимона оказывается встреча с советскими парашютистами. В них Шимон видит живое, подлинно человеческое воплощение героизма, о сущности которого он так долго и бесплодно теоретизировал. Помогая с риском для жизни советским бойцам, Шимон обретает, наконец, то ощущение смысла жизни, которое не было ему доселе известно. И это радостное, гордое чувство своей причастности к бессмертному делу позволяет Шимону мужественно и спокойно встретить направленные на него дула автоматов фашистских убийц.

Тема романа — путь чешского интеллигента-индивидуалиста к сознательному участию в народной борьбе за свое будущее — важна и значительна. Однако только значительностью проблематики романа нельзя объяснить вызванные им споры. Необходимо обратиться к способу изображения Валентой своего героя.

Edvard Valenta. Idi za zeleným světlem. Praha, Československy spisovatel, 1956.

В печати много говорилось о проявленном Валентой мастерстве раскрытия противоречий человеческой индивидуальности. Действительно, внимание автора в основном сосредоточено на анализе противоречий психики героя. Шимон страдает от своего индивидуализма и гордится им, казнит себя за малодушие и находит ему оправдание, обвиняет себя в пассивности и благословляет ее. Он мечется между цинизмом и верой, между горьким нигилизмом и страстным желанием найти дорогу к «зеленому свету надежды».

Герой, несомненно, близок и дорог автору, но в то же время автор беспощаден к его недостаткам. Шимон не умеет доставлять радость своим близким. Медленное умирание его душевнобольной жены постепенно превратило его любовь к ней в отвращение, и это же чувство Шимон переносит на дочь. Болезненно чуткая, мечущаяся в удушливой атмосфере оккупации, лишенная внимания и любви отца, которого она обожает, девушка кончает с собой. Вторая жена Шимона, которую он оставляет, убедившись в ее неверности, в свою очередь, долгие годы страдает от его эгоизма и душевной сухости. Ничего, кроме равнодушия, Шимон не испытывает и к своим студентам, а они платят ему тем же. Обо всех этих обстоятельствах читатель узнает из воспоминаний Шимона, «лирических интермеццо», и его беспощадный самоанализ позволяет судить, какую неприглядную и в то же время мучительную роль он играет.

К людям, окружающим его в сельской местности, куда он переехал, Шимон вначале испытывает только холодное любопытство. Так же холодно и эгоистично Шимон вступает в связь с полюбившей его молодой вдовой Идой Стейн, отчетливо сознавая, что не любит ее. Даже его искренняя и самоотверженная любовь к жене брата Элишке, в которой он долго не смеет себе сознаться, снижается благодаря чрезмерно подробному анализу противоречивых переживаний Шимона. Эти переживания вызваны известием о гибели брата и о том, что брат все время изменял Элишке и именно он был любовником жены Шимона. Сложные расчеты самолюбия и переутонченные психологические калькуляции долго мешают Шимону заметить щедрое и непосредственное чувство Элишки к нему.

Даже из краткого разбора содержания очевидно пристрастие автора к болезненным, исключительным явлениям и ситуациям, и часто автор переходит грань, которая отделяет психологию от психопатологии, смелый анализ чувств и мыслей от болезненного копания в темных, подсознательных сторонах психики. На грани психопатологии находится сцена неожиданного появления в доме Шимона мужа Иды — адвоката Стейна, еврея по национальности, инсценировавшего в прошлом самоубийство и скрывающегося под чужим именем от преследований гестапо. Шимон в состоянии, близком к истерике, ведет двусмысленные разговоры с неожиданно нагрянувшими немецкими солдатами, намекает, что кто-то прячется в его доме, зная, что эти разговоры могут стоить жизни и ему самому, не говоря уже о Стейне, который с ужасом слышит все из своего укрытия.

Большинство писавших о романе критиков справедливо считает достоинством внимание автора к мысли героя, к его интеллектуальной жизни. Но именно здесь сказались в полной мере и противоречия метода Валенты.

Эволюция героя раскрыта с помощью интересных и разнообразных приемов. Этапы обновления Шимона связаны с его работой над новым романом. Этот же прием был в недалеком прошлом удачно использован чешским романистом Вацлавом Ржезачем в книге «Перевал» (1944), где сложные поиски героя-писателя своего места в жизни раскрываются через подробно изображенный творческий процесс создания романа.

Вначале Шимон задумал изобразить в романе психопатологический казус, затем попытался воссоздать горести обыкновенных людей в годы оккупации. Однако и эти горести — плод холодной выдумки автора (например, такой эпизод романа, как безумная любовь горбуньи к голливудскому кинокрасавцу), так же как и утешение, которое он дарует своим героям,— чудодейственное средство, навевающее сны, в которых исполняются их желания. Сам Шимон делает в книге вывод: все равно от утра, то есть реальной жизни, не уйдешь никуда. Этот вывод помогает ему в дальнейшем понять, какая пропасть лежит между его книгой и подлинной жестокой действительностью «Протектората».

В поисках выхода из тупика, куда загнан под властью фашизма одинокий человек, подавленный унижающей и растлевающей силой страха, герой Валенты обращает свои мысли к единственному источнику спасения и надежды — к народу. И не случайно в минуты острого отчаяния, когда Шимону начинает казаться, что не только человеческая индивидуальность, но и «коллективный облик» народа навеки искажен фашизмом, он вспоминает о Ленине и о той великой народной силе, которая сумела в России смести несправедливый строй.

«Я спрашиваю сам себя, осталась ли масса и сейчас бессмертной? Остался ли народ и сегодня той последней опорой, на которую можно надеяться? И из мрака сегодняшней беды и отчаяния я восклицаю: «да!» От этого «да» — прямой путь к признанию, что несомненна не только смерть, как полагал Шимон, но несомненно и извечное стремление человека найти «зеленый свет надежды», придающий смысл жизни, борьбе и даже смерти. Только причастившись к бессмертному коллективу, можно совершить то, что переживет самую смерть. А от этого признания — прямой путь к действию. Но этот путь не легко дается такому человеку, как Шимон. Один молодой чешский критик с удовлетворением отмечает, что в романе ясный свет разума противостоит темной

иррациональности фашизма. Однако как раз метод разложения чувства и мысли героя при одинаковом внимании как к отстоявшимся мыслям, так и к темным, подсознательным, навеянным страхом и отчаянием психическим проявлениям мешает такому противопоставлению. Наряду с глубокими и интересными мыслями о природе фашизма, Шимон высказывает много такого, что является плодом крайнего пессимизма и идеализма. Сюда относятся его рассуждения об относительности понятий героизма и трусости, о мнимом мистическом соответствии фашизма инстинкту масс. Разнузданная жестокость фашизма наводит его на мысль, что человек заслуживает самой страшной участи уже тем, что родился и живет.

Чрезвычайно противоречиво и отношение Шимона к народу. Шимон сам признается, что никогда не мог общаться с людьми иного «жизненного стиля», чем он сам, и удивляется, что его могут интересовать мысли лесничего Карагана, в сущности действительно глубокие и оригинальные. Особенно ясно проявляется интеллигентский снобизм Шимона в беседах со «страдающим скептиком», зубным врачом Крофтой, выступающим иногда как «второе я» Шимона. Крофта застает Шимона за работой над картинами, которые Шимон передает подпольщикам, использующим вырученные от их продажи деньги для помощи жертвам фашизма, и замечает, что чувство художника, вероятно, восстает в Шимоне против ремесленнического малевания во имя помощи людям. «Ведь мы питаем такое страшное отвращение к героизму, святости, пафосу и тому подобным вещам»,— добавляет он. И Шимон с ним соглашается. Соглашается он и с утверждением Крофты, что интеллигенцию, так же как и капиталистов, следовало бы уничтожить, потому что она только обременяет народ. «Конечно,— засмеялся Шимон,— если бы народ мог взывать о помощи, к нам двоим он навряд ли бы взывал». Начав писать роман, Шимон мечтает изобразить «несчастных, но настоящих людей, не сложных, но тем более прекрасных, свободных от всякого педантизма, простых и естественных». Но путь его к этим людям далек. Элементы интеллигентского снобизма остаются у Шимона даже в тот момент, когда он наглядно убеждается в героизме и достоинствах обычных людей и начинает все активнее помогать им. Остаются элементы этого снобизма и у Крофты, хотя и он незадолго до конца войны говорит Шимону, вспоминая о самоотверженной мужественной борьбе окружающих их незаметных людей: «Шапку долой перед этим народом».

Шимон до самого конца не может полностью преодолеть раздирающих его душу противоречий. Было бы неверно упрекать в этом автора. Наоборот, сомнения Шимона буквально накануне смерти — хватит ли у него сил, «каждодневного, терпеливого, скромного, самоотверженного мужества и любви», чтобы найти достойное место в наступающей новой жизни,— на наш взгляд, соответствуют его духовному облику. Наши претензии к роману заключаются не в том, что автор не наделил героя стопроцентной сознательностью или слишком обнажил его недостатки, но в том, что противоречия в психике героя иногда ведут к утрате целостности образа. Иногда трудно бывает уловить, какое же начало из всех, борющихся в душе героя, побеждает, и, как ни впечатляет эволюция Шимона, возникает мысль: а не одно ли это из минутных превращений раздираемого между верой и горьким цинизмом человека? Думается, что подобное читательское ощущение противоречит намерениям автора. А вызвано оно тем, что автор никогда не обнаруживает — и в этом состоит ограниченность его метода — более глубокого и ясного понимания действительности, чем его герои.

Конечно, чехословацкие критики правы: роман Валенты не похож на большинство романов, вышедших в последние годы в Чехословакии, и тем не менее читателя не оставляет ощущение чего-то знакомого. Рядом с Шимоном в памяти невольно встают герои Хемингуэя, Грэхема Грина, Ремарка и других западных писателей. Но ведь Валенту многое отделяет от них. Большинство мастеров критического реализма на Западе не видит и не указывает своим героям реального выхода из тупика бессмысленных, непознаваемых для них мучительных жизненных обстоятельств. Валента, напротив, ясно видит выход, показывает его своему герою, и звучание романа в целом, несмотря на его противоречивость, потому так оптимистично, что этот путь соответствует историческим путям его народа. Но потому так и неуместна позиция автора, равно приемлющего все «да» и «нет» своего раздираемого противоречиями героя. Эта авторская позиция, выражающая сознание безысходности, капитуляции перед якобы непознаваемыми враждебными силами, на наш взгляд, чужда замыслу Валенты, и поэтому метод изображения приходит у него в противоречие с идеей.

Валента несомненно имеет в виду не изображение частного случая, он стремится ответить своим романом на большие и значительные вопросы современности, показать типические закономерности судьбы чешской интеллигенции, дать картину жизни, какой она была при «Протекторате». По выражению одного из чешских критиков, писатель «разлагает действительность на части для того, чтобы потом снова воссоздать ее», однако мы согласны с этим и многими другими критиками, что синтез удается писателю в гораздо меньшей степени.

Чехословацкие критики много говорили и писали о том, что чересчур прямолинейное воплощение в персонажах законов общественного развития, пренебрежение индивидуальными свойствами героя, наблюдавшееся у ряда писателей, особенно молодых, ведет к схематизму. Это совершенно справедливо. Поэтому так много внимания уделяется сейчас вопросам изображения инди-

видуальной психологии, а отсюда такой интерес к роману Валенты. Но именно на примере этого романа мы наглядно видим опасность обратного порядка: единичное, индивидуальное понимается прежде всего как исключительное, а иногда и патологическое, что подчас сводит на нет общее, те законы, которым подчиняется человеческое поведение и которые, в конечном счете, определяются законами общественно-исторического развития.

Работая над своим романом, Шимон приходит к выводу, что найти себя можно только, найдя других, он стремится проникнуть в действительность «Протектората», понять ее. Однако изображенная в романе Валенты жизнь в значительной степени теряет свое богатство и многокрасочность, часто превращается в лабораторию для психологического эксперимента.

И это вовсе не зависит от особенностей таланта Валенты. Напротив, он в высокой мере обладает даром реалистически конкретного, пластического изображения людей, событий и обстановки. Так, привлекают своей точностью и впечатляющей яркостью картины природы, портретные характеристики, удается Валенте и живой, выразительный диалог. Писатель умеет найти какие-то черты, придающие жизненное тепло, достоверность и второстепенным персонажам. Среди них участники сопротивления — скромный, мужественный доктор Стегнутка, спасший с риском для жизни немало патриотов; лесничий Караган, с удивительной смелостью раздающий нуждающимся соотечественникам лес, объявленный немцами военным имуществом, а потом помогающий советским партизанам; дровосек Фиала, добывающий самыми фантастическими способами средства для помощи жертвам фашизма; Рышанек и Вики, регулярно достающие по фальшивым спискам продовольственные карточки для тех, кто существовал нелегально.

В ряде образов романа верно запечатлены существенные моменты обстановки «Протектората», однако в целом действительность предстает в романе обедненной. И это происходит прежде всего потому, что Шимон является не только центром, но, так сказать, мерой вещей в романе. Здесь нет никакой оценки людей и событий, кроме той, которая свойственна герою. Автор как бы полностью устраняется, а ложные и часто запутанные взгляды Шимона разбивает — и то не во всех случаях — только сам герой. И большинство персонажей живет в романе главным образом ради Шимона, исключительно для более полного раскрытия его образа. Это относится ко всем женским персонажам; о них мы мало что знаем, кроме впечатления, которое они производят на Шимона. В частности, не всегда понятно, что́ в Элишке вызывает такой восторг и такое обожание Шимона. И русские бойцы в романе имеют только одну функцию: окончательно укрепить Шимона на избранном им пути. Этой служебной ролью в произведении объясняется односторонность и схематичность образов советского полковника, врача Ирины Николаевны, майора Миши и других.

Шимон высказывает во время работы над романом мысль, что если писатель лжет или трусливо замалчивает истину, то его герои теряют к нему уважение и ускользают от него. Но то, что высказано в романе Валенты,— только часть истины, и поэтому многие герои ускользают от него. Это происходит в конечном счете и с главным героем, ради которого было воздвигнуто все здание. Трудно согласиться с теми чехословацкими критиками, которые объясняют обилие психопатологических моментов в романе самим характером удушливой, болезненной атмосферы «Протектората». Конечно, это связано опять-таки с точкой зрения главного героя. Только через восприятие такого растерянного, подавленного, с трудом нащупывающего путь человека, как Шимон, нельзя было глубоко и правильно увидеть эту действительность, полную напряженного трагизма и героического пафоса.

Среди достоинств романа Валенты обычно отмечается умелое использование ряда приемов психологического анализа, оттесненных на задний план в чешском романе предшествующего периода,— прежде всего внутреннего монолога. Но роман Валенты заставляет вспомнить и о принципиальной разнице в их использовании у писателей различных направлений. Одним из любимых и чрезвычайно тонко разработанных художественных приемов Пуймановой является прием непрямого внутреннего монолога, в котором взволнованный или иронический голос автора как бы звучит в унисон с голосом персонажа, передавая не только его мысли но и их оценку. Это помогает Пуймановой и ряду других писателей-реалистов передать внутренний мир человека, объективную реальность и авторскую точку зрения в тесной взаимосвязи. Валента также использует непрямую внутреннюю речь, однако у него она не служит для выражения авторской точки зрения. Напротив, и изображение объективной действительности у него целиком подчинено ищущей неуверенной мысли героя, и это ведет к своего рода «субъективизации» действительности. Изображаемая обстановка и события становятся как бы проекцией мыслей и чувств Шимона, а это, как мы уже говорили, обедняет и искажает картину жизни.

Сейчас в Чехословакии много споров о том, можно ли использовать в реалистическом романе приемы психологического анализа, выработанные, например, Джойсом или Кафкой. Как раз роман Валенты очень убедительно доказывает, что, когда автор ставит перед собой более значительные цели, чем изображение смятенной и разорванной психики человека, подавленного хаосом мира, когда он хочет глубоко показать действительность и вскрыть тенденции ее исторического развития,— а Валента ставит перед собой именно такие цели,—

многие из подобных приемов вступают в противоречие с замыслом произведения.

Валента — писатель старшего поколения, приобретший в годы буржуазной республики известность как журналист и автор произведений главным образом с приключенческой тематикой. После 1948 года он надолго замолчал. И роман «Иди на зеленый свет» свидетельствует о том, что писатель многое понял и стремится занять свое место в новой чехословацкой литературе.

Однако эта книга с большой ясностью доказывает, что тенденция к углубленному изображению внутреннего мира человека без ясной авторской позиции противоречит основному пути, по которому шла чехословацкая литература последнее десятилетие,— по пути создания общественно значительных произведений.

Тойн де Фрис

ЯРМАРКА МУДРОСТИ

Заметки писателя о Всемирной выставке 1958 года

Всемирная выставка в Брюсселе, несомненно, является подлинно выдающимся международным событием.

Конечно, это не первая и не последняя международная выставка. Роду человеческому, видимо, присуще стремление демонстрировать таланты, способности, изобретения, произведения искусства. С древних времен проявлялось желание человека отличиться, показать, каков он есть и на что способен. Очень скоро это желание приобрело весьма практический смысл: торговые народы древности — финикийцы, персы, армяне, греки — уже владели искусством выигрышно раскладывать товары. В начале средних веков итальянские и фламандские города стали устраивать большие ярмарки. Их примеру последовали Лондон и Новгород, Франкфурт и Прага, Париж и Киев...

Выставки в более современном понимании зародились впервые как показ скульптур, картин, ювелирных изделий, а позднее — прекрасных тканей и гобеленов. Подобные выставки в национальном масштабе устраивались главным образом в крупных городах Франции. Они приобрели *международный* характер после Французской революции, когда новое буржуазное правительство предоставило иностранцам возможность состязаться с французскими художниками.

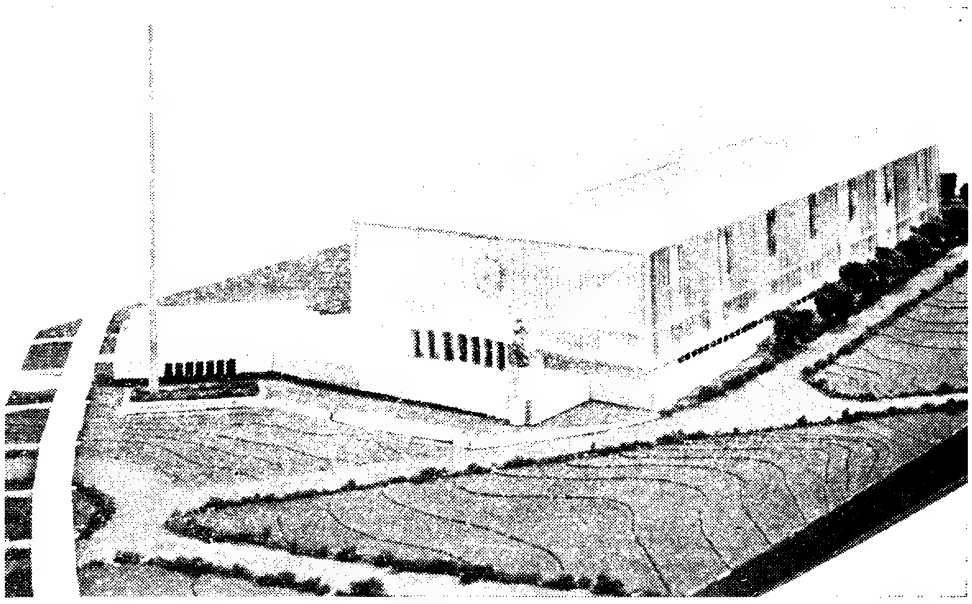
И, наконец, в Англии, этой уже типично буржуазной стране Европы XVIII века, стране промышленной революции, была впервые организована *промышленная выставка* (1756 г.), где отмечались премиями наиболее *полезные* изобретения и технологические усовершенствования.

Я не собираюсь излагать историю международных выставок, но все же стоит упомянуть, что после ряда национальных выставок в первой половине прошлого столетия — в Париже, Лондоне, Дублине, Праге, Триесте, Флоренции, Стокгольме, Вене, Санкт-Петербурге, Москве, Амстердаме, Брюсселе, Лозанне, Мюнхене, Дрездене, Лейпциге и т. д.— как у организаторов, так и у широкой публики оставалось все возраставшее чувство неудовлетворенности. Люди сознавали, что на этих национальных выставках они не получают подлинного представления о том, что происходит в мире. Люди хотели больше знать о технических достижениях других стран. Это желание проявилось особенно сильно после революции 1848 года, когда класс буржуазии почти во всех странах Европы, вставших на путь промышленного развития, так же как и в Соединенных Штатах, начал играть ведущую роль, когда появилась потребность знать, чего добились другие в области науки и техники.

Возможно, именно эти соображения породили идею первой Всемирной выставки, состоявшейся в Лондоне в 1851 году. Для европейцев той эпохи она была «самым поэтическим событием в их жизни». Британский принц-консорт Альберт, открывший выставку, формулируя принципы, положенные в ее основу, впервые упомянул слово «прогресс» в связи с подобным международным начинанием: «Подлинный прогресс может быть достигнут лишь в той мере, в какой страны готовы оказывать друг другу помощь во имя мира и постоянного сотрудничества...» Звучит хорошо. Не приходится сомневаться, что даже в том случае, если эта идея не так уж успешно претворялась в жизнь, ее смысл воспринимался простым человеком как жизненная правда.

На Лондонской выставке зародились новые международные связи, хотя их выражением служила только техника: паровая машина, телеграф, точные приборы... Она, бесспорно, ускорила промышленное развитие капиталистической Европы, правящие классы которой прекрасно понимали значение такого прогресса.

С тех пор многие страны подхватили пример Лондонской выставки. Даже в феодально-крепостнической России, придавленной бременем крестьянской нищеты и народного бесправия, неоднократно устраивались крупные выставки. Но крупнейшими выставочными центрами все же оставались, за отдельными исключениями Лондон и Париж, где попеременно устраивались подлинные соревнования в наиболее привлекательном, поучительном и ошеломляющем показе товаров и изобретений. Как известно, результатом этих выста-



Павильон Советского Союза

вок явился ряд примечательных постоянных сооружений в обоих городах: новые здания, мосты и т. д. Эйфелева башня, воздвигнутая по случаю выставки 1889 года, до сих пор является одним из замечательных памятников Парижа.

В связи с выставками в Париже был осуществлен так называемый проект Османа — воплощение мечты префекта полиции о широких магистралях, где могут свободно двигаться большие толпы людей и пролетариату не так легко начать баррикадные бои, как на прежних узких улочках старого города.

Основным лозунгом всех этих выставок по-прежнему оставался — «Мир и процветание». Возможно, что их организаторы, главным образом финансисты и промышленники, полагали, что без мира во всем мире не может быть мировой торговли, но законы империалистического общества отнюдь не соответствовали этим намерениям. Тем не менее выставки продолжали устраиваться, принося то благие результаты, то разочарование и крупный дефицит. Всякий раз на них демонстрировались новые вещи, достойные восхищения, а иногда и сожаления, как например первые немецкие «Большие Берты», экспонированные Круппом на одной из выставок,— явление, отнюдь не совместимое с лозунгом мира, но не замеченное беззаботной и исполненной энтузиазма прессой, если не считать трезвого журналиста, который очень серьезно предостерег, что на подобных выставках не следует показывать «слишком много пушек».

На рубеже XX века в капиталистическом мире было распространено убеждение, что нет пределов для науки и богатства, что новый век, начало которого ознаменовалось рядом смелых изобретений — автомобиль, самолет, беспроволочный телеграф,— приблизит совершенство мира. Не приходится говорить о том, насколько беспочвенными были подобные иллюзии капитализма...

Первая мировая война сорвала важную инициативу урегулирования юридических и организационных проблем международных выставок. Пришлось ждать до 1928 года, когда было создано Международное бюро выставок — безусловно значительный шаг вперед на пути урегулирования многих вопросов, связанных с их организацией.

Итак, несмотря на войны и другие препятствия, в Европе и Америке состоялось множество международных выставок. Из числа организованных в США назовем такие внушительные выставки, как выставка в Сан-Луи в 1904 году, выставка в Сан-Франциско в 1939 году и последовавшая за ней Всемирная выставка в Нью-Йорке, ради которой было осушено болото и высажен прекрасный парк.

В 1937 году в Париже состоялась одна из наиболее памятных выставок нашего времени. Именно на ней Западной Европе были убедительно показаны достижения социализма, достижения единственного в ту пору социалистического государства — СССР. Многие люди из европейских и заокеанских стран будут помнить динамичное здание, увенчанное бронзовой скульптурой молодого рабочего и девушки, поднимающих серп и молот,— замечательное произведение Веры Мухиной. На этой выставке дух XX века, если можно говорить о таковом, предопределенный предыдущими выставками, был ярко воплощен во Дворце

изобретений с его многочисленными практическими демонстрациями и пояснениями, которые произвели большое впечатление на посетителей.

Но на той же Парижской выставке, причем прямо против павильона СССР, слозно вызов, брошенный войной и преступлением подлинному прогрессу, стоял павильон нацистской Германии. Знаменательно, что на Всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке, где Советский Союз вновь демонстрировал свои достижения, нацистская Германия отсутствовала. Несколько лет спустя США и СССР находились в стане народов, сообща боровшихся против темных сил, пытавшихся одержать верх в Германии и во всем мире.

...Я назвал, конечно, немногие из наиболее крупных международных выставок. Следует также напомнить, что идея выставок вдохновила многих авторов. На эту тему было издано множество томов, и в их числе пятнадцать книг, относящихся к 228 году, в которых описываются торговые ярмарки в египетском городе Навкратисе; протест французского архитектора и искусствоведа Леруа-Болье, опубликовавшего в 1897 году трактат «О великих неудобствах международных ярмарок и необходимости их упразднения», ибо как ценитель прекрасного он был явно оскорблен теми подчас неприкрытыми денежными спекуляциями и проявлениями вульгарности, которыми, увы, сопровождались выставки; некий Дж. А. Эгертон, стараясь удержать людей на стезе добродетели, в 1851 году сочинил «Моральный и религиозный путеводитель по Великой выставке».

Протесты, морализация и споры не могли преградить мощный поток международных выставок, потому что стремление стран и отдельных людей «показать себя в выгодном свете» никогда не исчезало и, вероятно, никогда не исчезнет.

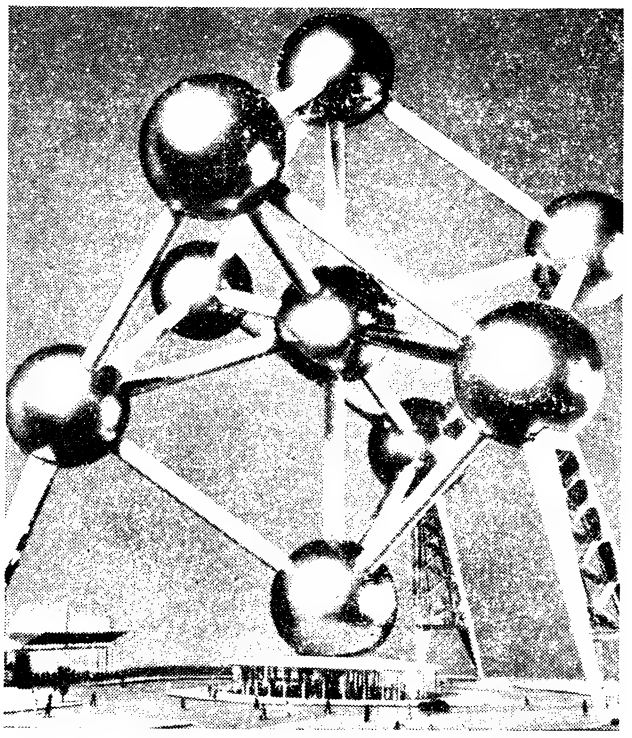
И вот теперь, в 1958 году, перед нами самая юная из всех — Брюссельская выставка, в которой участвует более пятидесяти стран мира. Она занимает огромную площадь в двести гектаров. Сам Брюссель частично обновлен и омоложен: многие трущобы снесены, создана разветвленная сеть транспортных линий, мостов и туннелей для обслуживания потока посетителей, а их число, как ожидают, достигнет тридцати — пятидесяти миллионов человек.

Мне хочется назвать эту выставку *Ярмаркой мудрости*. Она весьма ясно выражает глубокую практическую мудрость, демонстрируя важнейшие научные и культурные достижения современности, создавая яркое представление о технической и духовной силе нашего поколения. Большинство читателей, думаю, согласится, если я скажу, что выставка в Брюсселе организуется в критический момент. Человечество стоит перед выбором, и выбор этот может оказаться пагубным или спасительным в зависимости от того, будет ли он сделан в пользу войны или мира. Это выбор между безумием разрушения и жизнеутверждающей мудростью. Сама выставка показывает возможность мирного сотрудничества между странами, мирного соревнования между большими и малыми членами семьи народов, она отражает желание показать другим самое лучшее, что есть в твоей стране. Она служит сближению людей, и ее цель — содействовать прогрессу человечества,— провозглашенная в тот момент, когда призрак опустошительной войны маячит на горизонте, поистине мудра.

* * *

Если здания на Парижской Всемирной выставке 1937 года в основном были построены в строгом и простом стиле, то этого нельзя сказать о Брюссельской выставке. Во многих случаях павильоны «уникальны» лишь в том смысле, что выражают необузданную фантазию своих творцов. Таков, например, павильон Франции. Архи-

Атомиум



тектурные фантазии, возможно, и имеют свое очарование, но сомнительно, чтобы некоторые наиболее модернистские формы архитектуры на Брюссельской выставке могли надолго ее пережить. Это не значит, что они не содержат ценного зерна для будущего строительной техники. Но я не могу согласиться с мыслью, выраженной в некоторых описаниях выставки, утверждающих, что она предвещает архитектурный стиль завтрашнего дня. Ведь «стили», представленные на выставке, несмотря на их любопытное и броское разнообразие, не являются стилями в историческом смысле, то есть органическим выражением внутреннего сродства большой группы людей или нации в целом. В стиле всегда можно распознать социальный статус того или иного человеческого общества.

Если меня порадовали павильоны СССР, Чехословакии, арабских стран, Австрии, Венгрии, то озадачили другие — например, Ватикана, Франции. Остается впечатление, что сооружения некоторых стран в какой-то мере выдают одиночество и духовную разобщенность индивидуумов, утративших традиции. Такие страны, как Финляндия, Япония, Филиппины, не скрывают, что их архитектурный стиль вырос из старой культуры. Добавлю также, что павильон США — очень смелой сферической формы — мне понравился. По своему замыслу он, видимо, сродни павильону СССР; оба дворца внушительны, красивы и в то же время практичны, то есть пригодны для дальнейшего использования.

Маленькая Бельгия, которая своими дворцами и павильонами занимает львиную долю территории выставки, в павильоне архитектуры демонстрирует ряд современных технических достижений, в том числе примеры многообразного применения бетона. Я полагаю, что они принесут пользу будущим строителям. Один из самых хитрых «фокусов», показанных бельгийцами,— подвесной мост, с которого открывается великолепный вид на иностранный сектор; другой технический «трюк» — гигантская бетонная стрела длиной в тридцать пять метров, построенная бельгийскими мастерами в качестве символа строительного искусства их страны.

Известный французский архитектор Корбюзье вновь выступил как творец весьма любопытного и смелого сооружения, воздвигнутого для голландского концерна Филипс, выпускающего радио- и телеаппаратуру. Это сооружение — некое подобие храма для проведения электроакустических опытов. Оно напоминает не то высокую гору, не то огромную палатку, разгороженную внутри стенами, словно многократно увеличенное человеческое ухо. Престарелый архитектор не только разработал проект, но и написал пьесу со световыми и звуковыми эффектами для исполнения в этом здании.

Я не строитель и не специалист в области техники, но глазом художника (а говорят, что таков глаз каждого голландца) я ясно вижу прелесть многих старых и новых материалов. В качестве образца удивительного сочетания древней красоты и новой техники я должен упомянуть о павильоне Чехословакии с его великолепной мозаикой, о тонком применении алюминия в венгерском павильоне, об оригинальной резьбе по дереву во внутренней и внешней отделке многих бельгийских сооружений, об остроумном использовании кирпича в голландском павильоне. Есть и одна забавная выдумка — деревня, построенная целиком из пластических масс. Она составляет часть бельгийской секции, но, к прискорбию посетителей, расположена не на территории выставки, а в местечке на бельгийско-голландской границе. Один из домиков совсем прозрачный, он смонтирован на стальном каркасе. Пространство между двойными стенами заполнено воздухом; стены, да и крышу можно сместить одним движением руки. Эта деревня показывает, по-моему, неисчерпаемые возможности пластмасс. Конечно, едва ли можно представить, что молодая парочка поселится в прозрачном доме, но это дело вкуса. Во всяком случае эта деревня сохранится и после закрытия выставки и даже будет разрастаться во всей своей пластмассовой красе...

Но Брюссельская выставка 1958 года не лишена противоречий. Можно было бы считать, что на выставке и весь мир и все его философские направления представлены почти полностью, если бы и тут нелепые условия раскола и конфликта, в которых живут народы, не заставили нас остро ощутить отсутствие одной великой страны, одной могучей силы, определяющей будущее мира. Я знаю, что многие вместе со мной сожалеют, что Бельгия не имеет дипломатических отношений с великой державой — Китайской Народной Республикой.

Да, выставка отражает и прискорбные черты современного мира, ибо отсутствие великого Китая — это отсутствие огромного куска жизни нашей планеты, которое не могут восполнить при всем их многообразии прекрасные творения Запада. Это обстоятельство бросается в глаза посетителям, заставляя их размышлять о настоятельной необходимости поскорее положить конец ненормальным отношениям между странами, особенно между великими державами.

Сама страна-устроительница, Бельгия, служит свидетельством и образцом противоречия, которое также невозможно игнорировать. Я имею в виду колониализм.

В 1931 году в Париже состоялась международная выставка, служившая цели рекламирования идеи закономерности эксплуатации колоний белыми народами. Конечно, Франция и Великобритания, Бельгия и Голландия, да и другие страны твердили о своей цивилизаторской миссии в колониях, показывая в то же время, откуда поступает богатство метрополий. К счастью, дух 1931

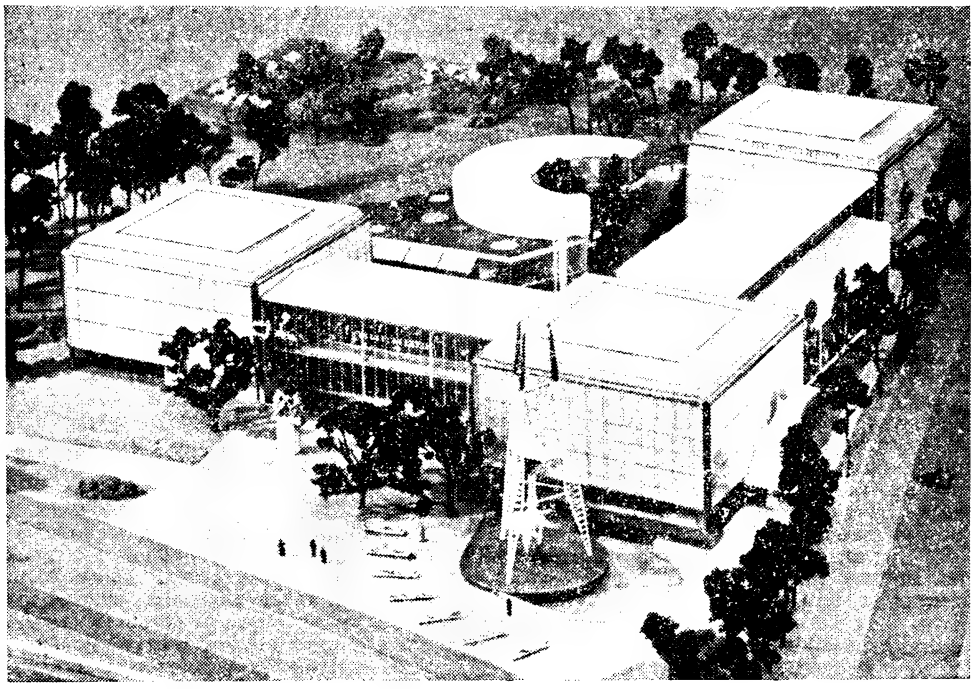
года ушел в прошлое. Неприкрытые колониальные методы теперь вызывают стыд, хотя это вовсе не означает, что они упразднены.

Конечно, эта сторона выставки противоречит ее общему замыслу и идее. Я говорю об этом с чувством неловкости, потому что сам являюсь гражданином страны, владеющей колониями, население которых не пользуется — или пользуется лишь в ничтожной степени — благами современной науки. Но тем не менее я могу с облегчением сказать, что Голландия избрала своей национальной темой не «трогательное попечение» о своих заморских территориях, а борьбу самого голландского народа с натиском моря. Посетитель видит луга и цветущие сады, расположенные ниже уровня моря, защищенные дамбами, о которые разбивается морской прибой. Таким образом он знакомится с теми особенностями голландской жизни, которые способствовали развитию нашей изобретательности и формированию национального характера.

Противоречивые мысли возникают также у посетителя, когда он проходит мимо секции, где расположено несколько больших зданий, олицетворяющих «формы международного сотрудничества». Но при виде действительно прекрасного павильона международного сотрудничества, увенчанного большим голубем мира, невольно хочется спросить: что же тогда выражает павильон Европейского объединения угля и стали? По моему разумению, здравомыслящий человек не может согласиться с тезисом, что эти два вида «сотрудничества» не исключают друг друга. То же самое относится к Европейскому совету, который воздвиг на территории выставки в городе г-на Спаака громадную аудиторию неподалеку от того места, где возвышается купол павильона ООН. Вновь воплощенное противоречие! Хорошенькая девушка-гид, показывающая мне одно здание за другим,— студентка весьма благочестивого Лувенского университета. С ослепительной улыбкой она говорит, что эти «европейские здания» символизируют начало «мирового единства»; что «европейское сообщество — лишь шаг к более обширному...» Она не говорит, что упомянутые сообщества могут изображать что угодно, но в действительности задуманы как средство для противодействия распространению прогрессивных идей в Западной Европе, что они не более, как орудия военной политики США, направленной против СССР и дружественных ему стран. Да, «Малая Европа» может стать лишь концом Западной Европы, превращаемой в еще один штат США,— роль, которая уже сейчас становится невыносимой.

Такой ход мыслей не очень приятен и отнюдь не согласуется с возвышенной темой выставки. Поэтому я с удовлетворением отмечаю, что павильоны, действительно знаменующие международное сотрудничество,

Павильон Чехословакии



составляют большинство. Можно назвать Международный дворец науки, здание Красного Креста — красивое сооружение из стекла и стали,— театр-дворец, предназначенный для показа различных национальных программ, а также Дворец искусства, где будут экспонироваться сокровища крупнейших музеев мира. Все это, несомненно, заставляет нас почувствовать, что культура не есть достояние только Запада или только Востока, что она принадлежит человечеству и что частные интересы, хотя их и стремятся изобразить как «общественные», имеют лишь одну перспективу — погибнуть, когда повсюду восторжествует подлинный коллективизм...

Но мы убеждены, что есть много действенных путей укрепления духа интернационализма. В частности, все большую популярность приобретает сотрудничество между правительствами и между странами через посредство ООН. Оно уже привело к созданию международного агентства по мирному использованию атомной энергии. В рамках ООН действуют различные комитеты, призванные заниматься освоением природных богатств нашей планеты наряду с совершенствованием средств сообщения на суше, на море и в воздухе. Например, такая организация, как ЮНЕСКО, должна сочетать в своей деятельности вопросы науки и культуры. Нужно упомянуть и о Международной организации труда, призванной улучшить условия труда и социального обеспечения. Плоды практической деятельности этих организаций нашли яркое и многообразное выражение на выставке.

Упрочение международных связей символизирует и павильон средств связи, почт и телеграфа, где не только можно любоваться великолепными коллекциями старинных и современных марок, но и увидеть телевизоры новейших систем, радиометеорологическую аппаратуру, радары и т. п. Благодаря этим изобретениям человек подчиняет своей воле дотоле неведомые силы природы, а это одно из условий подлинного прогресса и одна из его благороднейших черт, развеявшая миф о «непостижимых тайнах вселенной».

Да, техника и научные открытия являются связующей силой, так сказать, материальной силой. Но есть и другая, духовная, сила, способствующая установлению международного взаимопонимания. Я имею в виду искусство. На Брюссельской выставке высится несколько павильонов, демонстрирующих единство человеческой культуры, где экспонируются не только сокровища всемирно известных коллекций и музеев, но и современные произведения, а отдельные уголки выставки даже посвящены формам грядущего искусства! Очевидно, здесь возникнет немало споров о путях искусства, сегодняшнего и завтрашнего. Во всяком случае выставка в 1958 году предоставляет возможность удовлетворить множество вкусов: здесь представлены образцы искусства от времени Месопотамии до Пикассо. Мне кажется, что любовь к искусству способна оценить искренность, мастерство и силу всякого подлинно художественного выражения человеческого духа.

Это несомненно понимают организаторы художественных разделов выставки, как в этом убедятся посетители, увидев, насколько разумно расположены экспонаты не только в хронологическом, но и в тематическом порядке: человек и человечество, человек и природа, человек и общество, человек и любовь, человек и война, человек и мир и т. д. Тематические выставки мирового искусства откроются в августе и, видимо, сулят немало сюрпризов, судя по заговорщицки таинственному виду их организаторов.

Та же разумная идея упрочения международного взаимопонимания лежит и в основе выставки «Слава древних городов». Произведения искусства, документы, исторические реликвии, иллюстрирующие прошлое Венеции, Флоренции, Парижа, Амстердама, Барселоны, Лондона, Стокгольма и других городов, будут экспонироваться с июля по сентябрь. Стоит упомянуть и о том, что расходы по организации этого красочного зрелища взял на себя один из славных городов Бельгии — Гент. Немало радостей сулит эта выставка для любителей прошлого. Но все, кто посетит ее, поймут, какие ценности, помимо миллионов человеческих жизней, надо защитить от мутного все нарастающего потока военных интриг.

Хотелось бы также напомнить степенным посетителям выставки, что им не следует пренебрегать весьма интересными развлечениями, которые ждут их в Брюсселе. Значения таких развлечений никак нельзя недооценивать.

После дня, посвященного осмотру павильонов, необходимо отвлечься. В то же время между людьми возникает более тесная связь, когда им случается вместе слушать великого певца, вместе смотреть великую драму или комедию. А на Брюссельскую выставку, как известно, страны-участницы посылают свои лучшие музыкальные коллективы, своих лучших солистов. С особенным нетерпением ожидаются в Западной Европе выступления советских артистов. Ведь нам так редко случается их видеть. Для каждой страны на выставке выделены дни, когда она сможет продемонстрировать свои достижения в области театрального искусства. Нередко можно услышать в Голландии (да, я думаю, и в других странах) вопросы: «Удастся ли мне попасть на балет Большого театра в Брюсселе?», «Посчастливится ли мне достать билет на гастроли советского ансамбля народного танца?»... Это превосходно. Повсюду в мире люди должны иметь возможность увидеть советские народные танцы, спектакли «Комеди франсез» или послушать оркестр Филадельфийской филармонии.

В наше бурное время мастера искусства говорят языком, понятным каждому, и

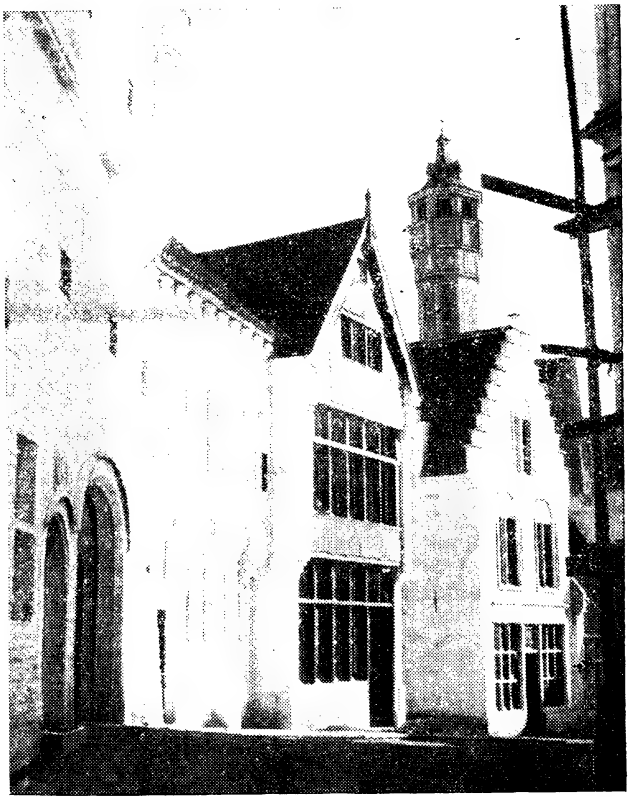
всегда свежим языком; они не грозят, не хитрят, не льстят. Они лишь правдиво показывают, на что способен творческий дух человека.

Большое удовольствие получат посетители и от кинофестивалей, показов кукольных театров, смотров любительских коллективов, конкурсов молодежных оркестров...

* * *

Выставка стремится стать зеркалом современной жизни, и всякий, кто побывает на ней, увидит, насколько многогранна отраженная в этом зеркале жизнь.

Подчас мы улыбаемся, разглядывая некоторые стенды и экспозиции — совершенно беззлобно, дорогой читатель. Вы по собственному опыту знаете, что внезапный контраст может вызвать невольную улыбку. Так, меня поразил тот отрадный факт, что арабские страны Среднего Востока явно вопреки чьим-то надеждам демонстрируют свои достижения в одном красивом павильоне. Та же довольная улыбка не сходит с вашего лица, когда вы попадаете в уютный, скромный павильон молодого африканского государства — Судана, еще вчера связанного колониальными узами, а сегодня устремившегося к свободе будущего. Когда попадаешь в эти павильоны, на ум невольно приходит сравнение с большой семьей: они похожи на младших детей в многочисленном семействе, и в то время как старшие братья и сестры приносят грандиозные дорогие дары, эти младшие дети несут свои скромные подарки — часто всего лишь плоды своей земли,— но они трогают вас до глубины души.



Бельгийская секция. «Городок Тиля Уленшпигеля»

Вы улыбаетесь и входя в павильон Монако, здесь все напоминает веселую оперетту или, вернее, музыкальную комедию. В Брюсселе княжество Монако показывает свои источники дохода — дамские моды и почтовые марки (об игорном доме оно скромно умалчивает). И тут мы уже улыбаемся над остатками феодализма, превращенными в доходный туристский бизнес

А вот павильон Мальтийского ордена, основанного во времена крестовых походов. Я с интересом узнал, что Мальтийский орден до сих пор существует и, мало того, ведет пропаганду в пользу своей организации на Всемирной выставке 1958 года! Этот курьезный призрак прошлого обосновался в Риме. Мальтийцы, видимо, отказались от меча — весьма похвальный жест — и теперь исполняют свой обет, ухаживая за прокаженными и людьми, страдающими от тропических болезней. Они соорудили свой любопытный павильончик на Брюссельской выставке, несомненно, с целью поживиться за счет романтически настроенных благотворителей, дабы продолжать свое дело.

Улыбка появляется у вас и в павильоне Ватикана. Я еще не вполне разобрался в характере этой улыбки. Должен признаться, я был несколько озадачен экспериментаторской архитектурой этого павильона, его экспонатами самого материального свойства, которыми наместник бога на земле и папский двор рекламируют себя. Но поразмыслив, я припомнил визит в Рим, где наследник святого Петра обитает среди великолепия классической архитектуры. Если он хочет подчеркнуть элемент бессмертия, то почему бы ему и не посостязаться с Гогой и Магогой сего грешного мира в одеждах современного формализма?..

* * *

Есть на выставке 1958 года удивительный дворец, о котором я лишь упомянул, желая приберечь рассказ о нем для конца своих заметок,— это Дворец науки, в одном

из залов которого демонстрируется, в частности, раздел *«Атомная энергия в мирных целях»*. Все виды международных связей, о которых я говорил, хорошо или хуже налаженные, плодотворные или менее плодотворные, все они имеют свое значение. Но именно во Дворце науки мыслящий человек понимает, какие знания и силы даны в руки человеку для того, чтобы изменить лицо мира глубже, быстрее, решительнее, чем это можно было сделать при помощи медленного и мучительного процесса развития, на который опирался прогресс вчерашнего общества.

Когда мы знакомимся на Брюссельской выставке с новейшими научными открытиями, перед нами возникает вопрос: если мир приближается к истине такими темпами, если он стоит на пороге научного и технического возрождения, то какие общественные силы могут привести это возрождение и обновление к логическому продолжению?

Бесспорно, было бы нелепым отрицать вклад в современную науку или, если хотите, большую подготовительную работу, проделанную учеными в буржуазном обществе. Ученые капиталистических стран, открытия которых помогли овладеть новыми силами природы, вели свои научные исследования не для того, чтобы принести человечеству гибель и разорение. Совершенно очевидно, что они трудились на благо человечества, даже если плодами их трудов первым воспользовался класс капиталистов, если даже они служили классу капиталистов и если даже кое-кто из них допустил, чтобы труд всей его жизни был превращен в средство ужасающего разрушения.

Мы знаем, что многие ученые в капиталистических странах смело и сознательно противостоят попыткам неразборчивых в средствах политиков поставить их величайшие открытия на службу войны, в особенности классовой войны против социализма. В силу самого характера своей исследовательской работы ученые глубоко убеждены, что ее плодами должны пользоваться все люди, независимо от их расы и политических убеждений. Подлинный ученый — интернационалист, ибо наука интернациональна. Если он не таков, если он допускает, чтобы его труд осквернили и использовали в грязных целях, он не достоин высокого звания ученого. Наука — это прогресс, а подлинный прогресс возможен только тогда, когда царит мир.

Когда перед нами открываются новые перспективы господства человека над природой, то возникает множество вопросов, и в частности такой: если какие-то мировые державы располагают известным числом ученых-исследователей, то не обратят ли они силы, открытые и обузданные этими учеными, на порабощение других более слабых стран? Ответ на этот вопрос целиком зависит от общественного строя, общественной морали этих держав.

Сегодня все народы мира настаивают на своем праве жить в лучших условиях, чем они жили вчера. Они желают знать, по какому пути пойдут их правительства.

Вспоминается притча о носильщике-африканце, сказавшем своему «белому хозяину», которого негры сопровождали через джунгли: «Нам нужно немного отдохнуть, хозяин, мы бежали так быстро, что наши души отстали. Теперь мы должны подождать, чтобы они могли вернуться к нам».

Действительно, народы были вынуждены так быстро бежать путями войны, что теперь им нужно передохнуть и найти ответ на вопрос: что же может дать атомная энергия простым людям, кроме сокрушительных бомб? Вернутся ли к нам наши души — вернется ли к нам дух гуманизма? Будем ли мы жить в мире, избавленном от войны и насилия?

Мир все еще объят страхом — страхом быть поглощенным демонами сегодняшнего дня: перепроизводством, милитаризацией и т. д. Эти демоны стоят грозным препятствием на пути к такому будущему, на которое можно взирать с уверенностью. Малые страны страшатся больших, а те страшатся новой потребности, вытекающей из условий, присущих их системе, — необходимости социальных изменений.

Несмотря на болтовню о «свободном мире», все больше людей приходит к признанию того обстоятельства, что никакое государство, никакое правительство не свободно, все они связаны общей судьбой, а каждое в отдельности — ходом внутренних событий. Всемирная выставка 1958 года является иллюстрацией необходимости *сплотить силы всех народов мира*, иначе будут выпущены на свободу демоны войны, разрушения и анархии. И я думаю, что многие из миллионов посетителей выставки, которых ожидают в Брюсселе, поймут это.

В Международном дворце науки, в различных павильонах можно увидеть новые источники энергии, которые должны быть использованы на благо науки, техники, производства,— могучие силы, которые будут расти из года в год.

Что означает эта перспектива? Она приведет ко все большей и большей автоматизации и механизации. В капиталистическом обществе эта перспектива многих ужасает. Полная автоматизация, говорят там, прежде всего лишит миллионы трудящихся возможности находить работу, развеет извечные мечты романтиков о красоте и «тайнах» бытия, превратит человечество в придаток машины.

А я, читатель, думаю, что если романтизм можно убить, установив новые машины, то это не подлинный романтизм и лучше ему исчезнуть. Я не верю, чтобы прекрасные мысли и мечты можно было убить таким путем. Напротив, человек должен сделать машину придатком к своей физической силе; пусть она сократит его рабочий день, удлинит его досуг, даст время для учебы, спорта, искусства, музыки, для мечтаний.

Здесь перед нами является строгий лик богини Необходимости, и она без всякого

почтения к верованиям прошлого — ибо она богиня грядущего — говорит, что научные открытия, новая техника могут найти счастливое применение только в новых социальных условиях, условиях социализма.

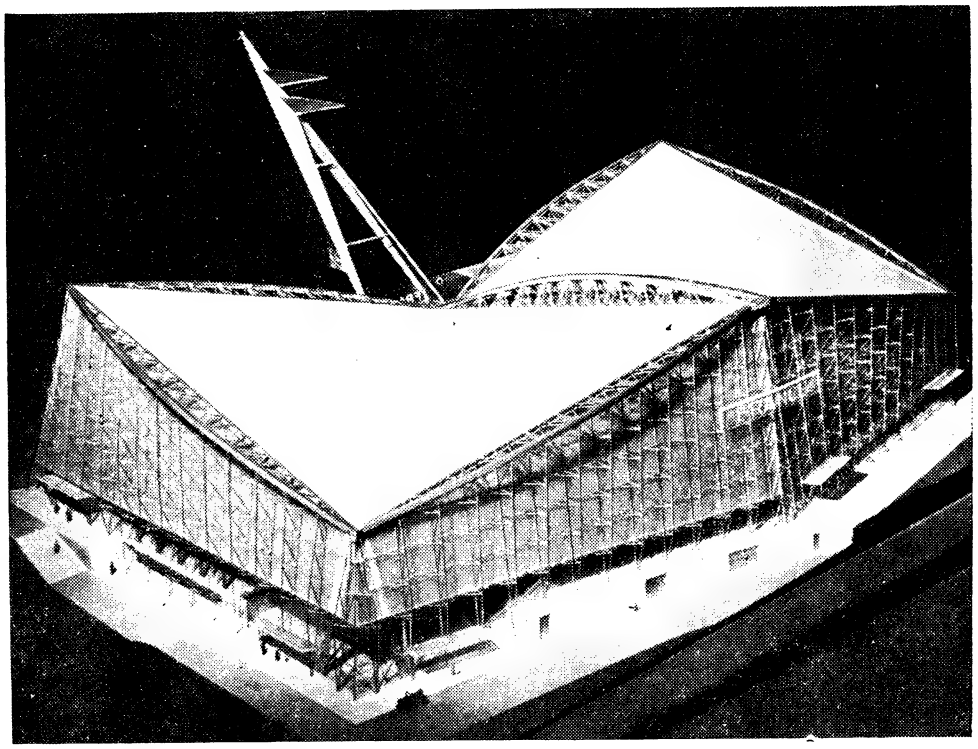
Нашему миру присуще глубокое противоречие, которое на выставке не проявилось с достаточной четкостью, но которое неизбежно возникает в мало-мальски критически настроенном уме. Экономика капиталистических стран базируется, как и раньше, на жестокой эксплуатации со стороны предпринимателей, которые гонятся за максимальной прибылью. Сокращение рабочего дня и автоматизация производства в капиталистических странах означают безработицу. И даже если некоторые капиталисты по-прежнему придерживаются теории, что массовая безработица это божий дар для хозяев, поскольку они могут без конца снижать заработную плату, оставляя рабочим жалкие гроши, более благоразумные среди них уже предчувствуют в ней неведомую угрозу и стараются всеми силами предотвратить ее. Поступательный ход истории неизбежен, и здесь опять выступают на первый план внутренние противоречия капиталистического мира...

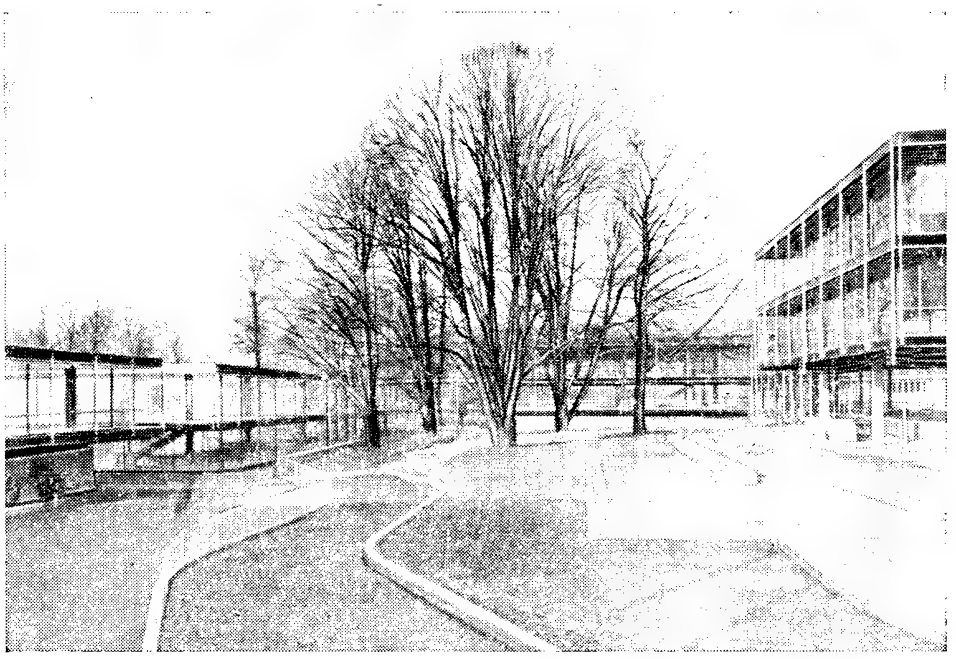
Необходимость шествует железной поступью. Я не пророк и не прорицатель. Но в заключение своих заметок я, пожалуй, отважусь на некоторые предсказания. Выше я высказал мнение, что новый стиль в архитектуре не создан потому, что слишком велики расхождения между странами — и экономические, и политические — и даже внутри самих стран, чтобы можно было достигнуть единства художественного выражения.

В области же науки существование различных «школ», «стилей» может быть и полезно какое-то время, но в наши дни мир достиг поворотного момента, требующего всестороннего сотрудничества. Никто не может пренебрегать никем. *«Человек и прогресс»* — таков основной девиз выставки в Брюсселе, и сама выставка лучше всего иллюстрирует насущную истину современности: *производительные силы сегодняшнего и завтрашнего дня должны принадлежать всем народам, всем людям.* В ряде стран эта истина уже воплощена в жизнь. В других странах, где средства производства еще находятся в руках правящей касты, наука также доказала, что обобществление ее плодов стало неизбежным, даже если люди, служащие науке и направляющие ее развитие, пока этого не знают или не хотят знать. Необходимость следует своим законам и движет нас вперед.

То обстоятельство, что в Брюсселе уже не одна, а несколько социалистических стран демонстрируют свои великие достижения, служит *залогом неизбежного развития социализма.* Но и это не все. Известно, что СССР стал *ведущей силой* в области

Павильон Франции





Павильон ФРГ

научных открытий. Нет нужды повторять этот факт, он известен сейчас каждому школьнику. Это тоже итог работы богини Необходимости... И какой итог! Самим фактом своего существования, развитием своей энергии и ресурсов, пробуждением дремавших в народе талантов социалистические государства «взорвут», не сбросив даже игрушечной бомбы, режим тех группировок, которые пытаются монополизировать современную науку и ее применение на потребу денежного мешка.

* * *

Не так давно группа голландских студентов попросила меня объяснить им принцип мирного сосуществования. Если бы я уже тогда видел Брюссельскую выставку, я, конечно, сказал бы им, что она убедительно отвечает на этот вопрос. Может быть, эти молодые люди сами на ней побывают и придут к тому же выводу.

Ярмарка мудрости — так назвал я Всемирную выставку, ибо в ней прекрасно сочетаются столь многие достижения в области науки и искусства, ибо здесь нации и люди мирно соревнуются друг с другом.

Ярмарка мудрости — потому что в этом «макете» нашего мира — на площади всего в двести гектаров — люди собрались вместе, чтобы посмотреть, что делают другие, что делают они сами, во что верят и что могут почерпнуть из мудрости своих собратьев.

Ярмарка мудрости — ибо здесь, в то время когда некоторые круги, угрожая бомбами, все еще цепляются за старые варварские средства «решения» гигантских проблем нашего времени, предлагается заглянуть вперед, воочию увидеть возможность совместного гуманного образа жизни на одной планете.

Для тех, у кого есть глаза и уши, кто достаточно умен, чтобы извлечь вывод, Всемирная выставка 1958 года в Брюсселе послужит великим уроком.

Брюссель—Амстердам

Уильям Э. Б. Дюбуа

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ НЕОБХОДИМЫ

Нет лучшего средства добиться взаимного доброжелательства и понимания между двумя странами, нежели личные контакты и связи между их гражданами.

Если не считать иммигрантов, то в Америке вряд ли найдется тысяча человек, которые могли бы говорить или писать по-русски. Русский язык преподается, пожалуй, лишь в нескольких университетах, а к человеку, пожелавшему изучить русский язык, относятся с известным подозрением, если только он не готовится стать шпионом или дипломатом. Плохо знают в Америке и русскую литературу. Пушкина долгое время игнорировали из-за его африканского происхождения, тогда как в России это не уменьшает славы поэта; до недавнего времени в Америке невозможно было достать переводы его произведений на английский язык. Постепенно американцы стали читать Достоевского, Толстого, Чехова, Горького. Однако общее отношение американцев к России в начале XX века определялось двумя факторами: нашим преклонением перед русским императорским двором и, по контрасту с этим, унижением рабочих-славян в Америке.

Хотя мы плохо знали Россию перед первой мировой войной, прогрессивные американцы с симпатией отнеслись к революционерам 1917 года. Однако потом, на протяжении сорока лет, мы были объектом последовательной, очень широкой и эффективной пропаганды со стороны капитала.

Русские люди, поскольку они собираются принять на своей земле многих американских граждан и сами собираются посещать Соединенные Штаты, должны смело смотреть фактам в лицо. Русские встретят людей, которые приучены принимать в качестве неопровержимой истины два положения: коммунизм — это заговор, все коммунисты стремятся уничтожить Соединенные Штаты.

Это нельзя попросту игнорировать. Однако такие факты отнюдь не должны охлаждать вашего желания встречаться с американцами. Напротив, именно вопреки этим фактам вы должны всячески проводить в жизнь недавнее соглашение между правительствами Советского Союза и Соединенных Штатов о расширении взаимных поездок деятелей культуры, студентов и туристов наших стран. Без такого культурного обмена миру уготованы ненависть, война и разрушение. С расширением контактов между советскими и американскими гражданами путь к миру и взаимопониманию не станет сразу легким, но он будет легче, если учитывать создавшееся положение.

Прежде всего необходимо отчетливо представлять, что первоначально основой прогресса Соединенных Штатов явился свободный доступ американских граждан к земле и ее богатствам. Среди американцев очень распространен взгляд, что если бы люди могли выбирать себе работу по своему собственному вкусу и их не опутывали бы законы, принятые в интересах привилегированных классов, то трудящийся мог бы достойно содержать себя и свою семью и даже накопить достаточно средств на старость. В общем это было справедливо для Америки вплоть до середины XVIII столетия, то есть до тех пор, пока землю и ее богатства не присвоили некоторые ловкие и удачливые люди, пока не была введена эксплуатация рабов, сначала белых, а потом негров, которых все больше стали ввозить в страну. Впоследствии земля и ее богатства были еще в большей степени монополизированы, а труд как белых, так и черных попал в зависимость от огромных накоплений частного капитала.

В то время как советская молодежь воспитывается так, что она уже привыкла рассматривать труд как общественный вклад в дело благосостояния всего народа, американской молодежи, напротив, прививают мысль, будто свобода поступков индивидуума должна быть направлена на преумножение личного богатства или на служение определенным институтам (даже если они не свободны и не отвечают жизненным интересам общества). Американской молодежи внушают мысль, будто человек по природе эгоистичен, и поэтому

страна может развиваться лишь благодаря свободному эгоизму.

Разумеется, конечный результат развития этих двух способов мышления будет определяться фактами самой действительности, и то, что сегодня происходит в Советском Союзе, в Китае и других странах социалистического лагеря, доказывает миру правду социализма. Но — и об этом никак нельзя забывать — эту правду скрывают от широких масс американского народа. Американцы, как и все нормальные люди, хотят мира, хорошей жизни и дружбы со своими соседями. Но контроль промышленников над правительством, над трудом и заработной платой, монополизация средств связи и ограничение передвижения граждан, контроль промышленных и религиозных кругов над просвещением — все это привело к тому, что американский народ стал верить самой чудовищной лжи относительно социализма и коммунизма. Даже сегодня любое сообщение об успехах Советского Союза замалчивается и искажается, а каждая неудача непомерно раздувается. Все эти измышления, разумеется, варьируясь время от времени, составляют практически основное содержание книг, газет, церковных проповедей и школьного обучения, когда дело касается Советского Союза, и к человеку, который осмелился бы оспаривать эти измышления или отказывался верить им, стали бы относиться с подозрением, более того — ему грозила бы опасность.

Существуют признаки того, что сегодня в Америке происходят изменения, но изменения медленные и далеко не полные. События последнего времени расшатали некоторые представления американцев. Встреча советских и американских фермеров открыла глаза многим. Выступление Н. С. Хрущева по телевидению взволновало страну, а запуск спутников явился неоспоримым доказательством того, что образование в Советском Союзе поставлено лучше, чем в США.

Отсюда и возникла естественная, поддерживаемая широкими массами американского народа мысль о том, что русские и американцы должны лучше знать друг друга, мысль о необходимости расширения культурного обмена, о взаимных поездках ученых, деятелей искусств, студентов и рядовых граждан с целью взаимного изучения страны и людей.

Но и здесь существуют препятствия. Культурная отсталость в Соединенных Штатах значительнее, чем это представляют себе как американцы, так и русские. Я сомневаюсь в том, что из ста семидесяти миллионов американцев десять миллионов когда-либо видели хотя бы одну пьесу Шекспира. Для широких масс американцев практически не существует театра. Подавляющее большинство нью-йоркских театров, по общему признанию, служат для извлечения прибыли и являются дорогостоящими увеселительными предприятиями, а не культурными учреждениями. В Америке не существует ничего подобного Большому театру или десятку меньших коллективов, рассеянных по всей России. Нашим музыкантам трудно заработать себе на жизнь или добиться признания своего таланта. У нас нет балетной школы. Наши народные песни умерли.

В особо тяжелом положении находится негритянская живопись, музыка и литература; искусство американских негров используется для пропаганды, оно покупается и продается. За границей видели «Порги и Бесс» в исполнении хороших негритянских актеров. Но эта пьеса изображает деградацию негров, и картина деградации написана их хозяевами. Это не негритянское искусство. Нам обидно, что в других странах о нас будут судить по этой пьесе. Отправив труппу за границу, американский «большой бизнес» дал взятку неграм, чтобы они не подымали шума по поводу событий, подобных событиям в Литтл-Роке.

В американских университетах студентам не прививается широкий взгляд на социальные проблемы человечества. В учебных заведениях ограничиваются изучением «бизнеса», промышленной техники, методов торговли. Выпускники таких заведений, приехав в Россию или Китай, с трудом поймут, как это человек может работать ради успешного развития сельского хозяйства, а не только ради личных доходов. Наукой занимаются не ради знаний, а ради господства. США оказывают техническую помощь слаборазвитым странам, но не затем, чтобы помочь их развитию, а затем, чтобы иметь бо́льшую возможность их контролировать. Благосостояние мы рассматриваем не с точки зрения возможности заниматься любимым делом и освободиться от забот, а с точки зрения демонстрации своей силы.

Имеются, конечно, исключения. Постоянно происходят какие-то незаметные изменения. И все же средний американец будет удивлен до крайности, увидев народ, который активно трудится, производит товары, чтобы поднять общее благосостояние, распределяет доходы не по воле случая, не по признаку силы, а на разумных началах.

Если две великие нации, которые так отличаются по своим взглядам и жизненным укладам, будут регулярно встречаться, прислушиваться друг к другу и знакомиться друг с другом, то весь мир извлечет из этого полезный урок. Может случиться, что иные сочтут социализм беспочвенной фантазией, но я твердо убежден в том, что расширение связей между нашими народами докажет неизбежность развития социализма и растущую возможность полного коммунизма.

Нью-Йорк

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Международная анкета

В этом году редакция журнала «Иностранная литература», учитывая большой интерес наших читателей к творчеству зарубежных деятелей культуры, вновь разослала крупнейшим писателям, художникам, деятелям театра и кино различных стран мира анкету, содержащую два вопроса:

1. Над чем Вы работаете в настоящее время?

2. Каковы Ваши ближайшие творческие планы?

Ниже печатаются полученные редакцией ответы.

Австралия

Мэри Гилмор

Я работаю над своими дневниками и над книгой стихов, которую готовлю для переиздания. Сборник называется «Крытый фургон», он уже давно не переиздавался.

Катарина Сусанна Причард

В этом году я предполагаю закончить «Мемуары», которые мне настоятельно рекомендовали написать. «Мемуары» неполностью удовлетворяют меня, поскольку в них по необходимости силен личный элемент и они далеки от проблем сегодняшнего дня. Все же начатую работу стоит закончить или, по крайней мере, довести до такого состояния, когда ее можно будет бросить.

Задумала два романа, и они буквально просятся на бумагу. Может быть, к концу года мне удастся приняться за один из них.

Ко мне постоянно обращаются с просьбой написать статью или рассказ, что, конечно, не располагает к сосредоточенной работе над большим произведением, раскрывающим сложные характеры в условиях современной жизни.

Много времени уделяю и деятельности организаций, связанных с движением в защиту мира. Я считаю, что сейчас важнее делать что-то конкретное для развития добрососедских отношений между народами и для отпора разрушительным силам, которые угрожают человечеству, чем полностью отдаваться собственному литературному творчеству. Но не хватает ни времени, ни сил, чтобы одновременно справиться с этими двумя задачами.

Такова дилемма, перед которой стоит большинство прогрессивных писателей. Все же мы продолжаем борьбу, продолжаем урывками писать и стараемся в то же время отстаивать повседневные интересы своего народа.

В текущем году издательство «Остралейшн бук сосайети» выпустит сборник моих рассказов, написанных в прошлые годы.

Katharine Susannah Prichard

Англия

Грэхем Грин

Моя пьеса идет сейчас в Лондоне, рецензии на нее самые разнообразные, но в общем ее принимают довольно хорошо. Надеюсь, она будет идти не меньше трех месяцев. Заканчиваю приключенческую комедию о Гаване и рассчитываю после этого заняться настоящим романом.

Graham Greene

Арчибальд Кронин

Благодарю Вас за любезное письмо и отвечаю на Ваши вопросы.

1. В настоящее время я работаю над романом о жизни Роберта Бернса. Надеюсь, что он будет одним из лучших моих произведений.

2. Что касается планов на ближайшее будущее, то я очень хотел бы совершить поездку в Москву для ознакомления с ее культурными ценностями, особенно с прекрасной картинной галереей.

С наилучшими пожеланиями

A. J. Cronin

Среди актеров, к которым редакция обратилась с анкетой, были супруги Вивьен Ли и Лоуренс Оливье. В адрес журнала пришло письмо из Лондона, в котором на двух именных бланках английских артистов сообщалось:

Вивьен Ли

1. Мисс Ли в настоящее время занята на репетициях пьесы Жироду «Поединок ангелов». Премьера состоялась 3 марта в Ньюкасле на Тайне; после месячной гастрольной поездки спектакль показывается в апреле в Лондоне.

2. Позже, в текущем году, она будет исполнять роль леди Макбет в фильме, который снимается по трагедии Шекспира «Макбет».

После 1955 года мисс Ли еще не играла в кино, поэтому на прилагаемой фотографии она снята в жизни.

Лоуренс Оливье

1. Сейчас сэр Лоуренс Оливье находится в Нью-Йорке, США, где выступает в пьесе Джона Осборна «Комедиант».

2. Позднее, в этом же году, он собирается исполнить роль Макбета в фильме, который будет сниматься по трагедии Шекспира «Макбет».

Прилагаемая фотография представляет собой кадр из фильма «Принц и комедиантка», в котором сэр Лоуренс Оливье снимался в прошлом году. Будучи в отсутствии, он не смог подписать фото.

Болгария

Святослав Минков

Получил Ваше письмо и отвечаю на вопросы, которые Вас интересуют.

1. В настоящее время работаю над книгой «Весеннее солнце». Это сборник рассказов о жизни простого человека.

2. Намереваюсь в недалеком будущем написать книгу «Джентльмены из Техаса». Это будет гротеск-сатира на современную американскую действительность. Главные действующие лица — сторонники войны в США, американские расисты и бизнесмены, стремящиеся овладеть межпланетным пространством и уже сейчас создающие акционерное общество по эксплуатации Луны. Надеюсь, что это произведение явится скромным вкладом в гигантскую борьбу за мир — одну из основных проблем, волнующих сейчас каждого прогрессивного писателя.

С уважением

Христо Радевский

Мне трудно делиться предварительными мыслями о своих творческих планах, так как обычно не удается выполнить их в намеченные сроки; случается, что они и вовсе не осуществляются.

Но поскольку мне предоставляется такая высокая трибуна, как журнал «Иностранная литература», я хочу воспользоваться этим случаем.

Над чем я работаю сейчас?

Готовлю сборник стихов о социалистическом строительстве и новых людях Болгарии, а также новую книгу басен. Предполагаю, что оба сборника выйдут из печати в следующем году.

Работаю над переводом стихов Маршака, которые должны быть изданы в текущем году. Одновременно работаю над переводами произведений Маяковского, которые войдут в большой сборник, выходящий под моей редакцией в конце этого или начале будущего года.

Такова часть моей работы на сегодня.

Над чем думаю работать в ближайшем будущем?

Моя творческая работа будет сосредоточена главным образом на двух поэмах. Одна из них — эпос о судьбах и борьбе болгарского народа; другая — лирическая поэма о болгаро-советской дружбе.

Венгрия

Клара Бихари

Получила Ваше любезное письмо и могу ответить следующее:

1. Я закончила книгу, в которую входит пятьдесят сказок. О принцах, принцессах, бедных юношах, прекрасных пастушках повествуют они. Ду-

маю, что чем-то обогатила этот древний, благородный и трудный жанр. Одна из особенностей моих сказок — как мать, я считаю это очень важным — то, что в них нет ужасов, и они скорее успокаивают и веселят детей, чем пугают.

В настоящее время работаю над двумя произведениями. Одно из них — роман-сказка для детей; основное содержание — любовь к матери и к родине. Второе — комедия на современную тему. (До сих пор на сцене были поставлены две моих пьесы, одна — здесь, в Венгрии, вторая — в венском Бургтеатре).

2. Мои планы на будущее? Роман, тема которого вызревает сейчас. Место действия, как и в «Жажде», сегодняшняя Венгрия.

Одновременно пользуюсь случаем, чтобы выразить свою радость по поводу появления моего романа в Вашем журнале.

С сердечным приветом

Bihari Klára

Дьердь Матэ

Получил Вашу почетную для меня просьбу.

В настоящее время заканчиваю сатирический роман «Славный, славный», о той части потерявшей под ногами почву интеллигенции, которая приняла участие в контрреволюционных событиях 1956 года в Венгрии. В романе показываю и некоторых членов бывшего партийного руководства, их догматизм, их отрыв от народа.

О творческих планах на ближайшее будущее: собираюсь написать две книги. Летом этого года хочу совершить путешествие по Волге и написать о нем большой репортаж. Я уже собрал ряд интересных фактов, народные сказки Поволжья. Эту книгу думаю иллюстрировать своими снимками и снимками советских фоторепортеров.

Уже давно работаю над большим этюдом о музыке Рихарда Вагнера. В прошлом году я побывал на фестивале в Байрёйте, где обогатил свои знания многими новыми впечатлениями. Возможно, в этом или в следующем году закончу и эту работу.

С товарищеским приветом

Máté

ГДР

Анна Зегерс

С благодарностью подтверждаю получение Вашего письма с вопросами по поводу моей работы.

1. Я работаю над романом, который выйдет из печати в этом году.

2. Когда роман будет закончен, предполагаю написать несколько новелл как о современной Германии, так и о жизни других стран и народов.

В частности, я хочу написать новеллу, действие которой разыгрывается на Антильских островах (в 1957 году в Советском Союзе была опубликована другая моя повесть об Антильских островах—«Свадьба на Гаити»). В дальнейшем собираюсь издать все «антильские» повести отдельной

книжкой с иллюстрациями одного интересного художника. Некоторые из этих новелл рассказывают о героизме совершенно негероических, незаметных людей, о которых — если я этого не сделаю — не напишет никто.

Когда я все это закончу и роман будет сдан в производство или уже выйдет из печати, начну писать его продолжение. Но это уже будет нечто совсем в другом роде.

Все эти планы я смогу выполнить при условии, если буду здорова и в бодром состоянии. Ваша

Анна Зегерс

Макс Лингнер

Работаю над завершением графического цикла «Это было так», последний рисунок которого прилагаю; он называется «19 августа 1944 года. Освобождение Парижа».

Планирую организацию в Немецкой академии искусств в Берлине выставки, которая будет не очень большой, но на которой будут экспонироваться новые или ранее не выставлявшиеся картины. Выставка приурочивается к моему семидесятилетию, исполняющемуся в ноябре 1958 года.

Lingner

Голландия

Тойн де Фрис

1. Начиная с 1950 года, более или менее постоянно работал над циклом романов «Фуга времени», изображающих социальные и культурные перемены в жизни моей страны и моего народа на протяжении полувека, вплоть до конца второй мировой войны. Это — моя главная работа, хотя временами я отрываюсь для других литературных дел.

Почувствовав, что моя описательная манера письма становится слишком затянутой и тяжелой, я на время отложил работу над циклом и тренирую руку на рассказах и небольших исторических романах, которые требуют точности и экономности художественных средств.

2. Когда я вновь почувствую, что могу писать большое произведение в сжатом стиле, буду продолжать «Фугу времени». Это не помешает мне в самом скором времени начать работу над романом о Спинозе. В нем я попытаюсь дать более правильную и полную картину Голландии XVII века по сравнению с той, которую я, будучи еще молодым писателем, изобразил в романе «Рембрандт», ибо в то время у меня еще не было марксистско-ленинского понимания истории.

Китай

Ба Цзинь

1. Пишу книгу объемом свыше 100 тысяч иероглифов (примерно 10 печ. листов. — *Ред.*) — «О моем творчестве».

Одновременно собираю, редактирую и исправляю свои произведения для собрания сочинений в 15 томах.

2. Думаю писать большой роман «Массы». Это будет четвертый том эпопеи «Стремительное течение», то есть продолжение романов «Семья», «Весна» и «Осень».

Кроме того, собираюсь написать повесть о жизни типичного представителя интеллигенции Шанхая последнего десятилетия.

Перевожу на китайский язык воспоминания М. Горького о писателях.

С уважением

Гу Юань

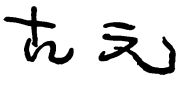
В январе я поехал в провинцию Хэбэй, где вместе с крестьянами трудился на стройках новой деревни.

Вокруг нас голые скалы, земля здесь малоплодородна. Мы хотим преобразовать этот край, расширить пашни, удобрить землю, создать систему орошения для получения постоянных высоких урожаев.

Я верю, что участие в труде и постоянная связь с нашими славными тружениками помогут расширить наши знания, перестроить нашу идеологию и приобщат нас к неиссякаемому источнику творчества — жизни народа. Я готовлю гравюры, в которых хочу отразить развернувшееся в горах строительство. Надеюсь к 1959 году добиться неплохих результатов.

К сожалению, пока не могу прислать Вам своих работ.

С уважением



Лао Шэ

1. Пишу небольшие статьи объемом 3—5 тысяч иероглифов каждая (около 0,3—0,5 печ. листа. — *Ред.*) для различных периодических изданий. Сейчас, когда весь китайский народ широко обсуждает проблемы социалистического развития Китая, мне кажется, что писатели должны выступать в печати как можно чаще.

2. Хочу написать многоактную пьесу о перевоспитании интеллигенции за несколько последних лет, но пока не решаюсь сказать, когда смогу начать эту работу.

С приветом

Мао Дунь

1. Прежде всего собираюсь закончить статью (начало ее опубликовано в журнале «Вэньибао» под названием «Ночные размышления»), работа над которой была прервана из-за болезни.

Надеюсь выбрать время, чтобы заняться некоторыми проблемами истории китайской литературы.

2. Планирую поездки по стране. Сейчас повсюду в Китае происходят большие и быстрые изменения; все мы, занимающиеся литературной или литературно-организационной работой, собираемся на различное время идти в массы. Иначе мы рискуем оторваться от народа, отстать от времени.

Это все, что я могу сейчас сказать. С приветом

У Цзо-жень

Мои планы: закончить в 1959 году картину маслом; ее тема — великое единство братских народностей Китая. В то же время буду работать в традиционном стиле — заниматься живописью тушью.

С искренним приветом и уважением

Норвегия

Эйвин Болстад

1. Сейчас работаю над повестью о большой забастовке, которая происходила 8 мая—22 июня 1921 года и потрясла норвежское общество. На те и последующие годы Великая русская революция наложила свой отпечаток. Это будет повесть о героях в положительном смысле этого слова, написанная без сентиментальности и без тенденциозности ради самой тенденциозности. Тенденция повести органически сливается с жизнью людей. Это будет повесть о людях. Я не люблю тенденциозные произведения без *живых людей* и вдохновляюсь Горьким, его романтическим реализмом.

Конечно, я пишу по-своему и по-своему делаю политический анализ обстановки, исходя из диалектического метода, как я сделал это в переведенной на русский язык повести «Спекулянты».

2. Работаю над циклом произведений, изображающих, как норвежские и вообще скандинавские коммунисты борются за рабочих и за массы против фашистов и нацистов (фашизм — есть и всегда был формой диктатуры буржуазии), произведений, изображающих повседневную жизнь человека и людей. Повесть «Спекулянты» представляет собой часть этого цикла. Я питаю горячую надежду, что буду иметь условия, которые позволят довести повествование до наших дней.

Вчера на окружном партийном собрании я взял на себя руководство группами, изучающими произведения Маркса и Ленина, теорию политической экономии. Придется закладывать основу — в нашем округе этой работой не занимались в течение многих лет.

Польша

Казимеж Брандыс

1. С октября прошлого года работаю над книгой в форме писем, отправленных во время поездки по Италии. Ее название — «Письма к пани З.». В течение нескольких месяцев они печатались в еженедельнике «Нова культура». Это—впечатления от туристской поездки и размышления о современности. В апреле книга сдается в печать.

2. В ближайшее время намереваюсь написать киносценарий. Тема — жизнь поляков в Польше и в эмиграции. Главные герои: молодой актер, капитан торгового судна, сестра милосердия. Место действия: портовый город в Западной Европе.

Думаю о новой психологической повести на современную тему. Меня интересуют определенные черты характера людей, их отношение к своей судьбе, к жизни, к себе самим. Действие повести происходит в квартире на одной из улиц в центре Варшавы. Время действия не будет превышать двух недель. Думаю, что работа над этой книгой продлится по меньшей мере полтора года.

Игнацы Виц

Благодарю за внимание и с радостью отвечаю на Ваши вопросы.

Работаю над большой, с еще не определившимся названием, серией рисунков. Их главная тема: человек и его отношение к тому времени, в которое он живет, — к нашему трудному времени. Эти рисунки, сюжеты которых различны, немного гротескны и немного философичны. Обобщение, думаю, придет с концом намеченной на несколько лет работы, когда я сделаю окончательный отбор. В этих рисунках хочу выразить протест против враждебных человечеству явлений, а также высмеять маленькие и большие чудачества времени. Поэтому здесь наряду с карикатурой и сатирическим рисунком лежат и драматичные листы. Здесь будут и анти-

военные рисунки, рассказывающие о мыслях узников гитлеровских лагерей, и о грустных детях, и о грустных любовниках, о выборе королев красоты, о самых что ни на есть модных танцах и т. д., и т. д.

Пока что эти работы еще не созрели настолько, чтобы показывать их публично. Мои планы на будущее: продолжать эту серию — может быть, год, а может быть, и пять лет.

Конечно, независимо от этой, самой важной для меня работы, я все время иллюстрирую книги. Но тут планы, по большей части, зависят не столько от меня, сколько от издательств. Жду также окончания печатания моей книги очерков по вопросам искусства, которая еще в этом году выйдет в издательстве «Arkady». Это будет большая книга, в которой пишу о Гойе, Давиде, Ван-Гоге, Домье, Валишевском и Андрее Рублеве. Думаю написать второй том

Еще о планах на будущее—очень хотел бы организовать выставку своих иллюстраций к произведениям русской и советской литературы в Москве.

Прошу Вас напечатать одну из иллюстраций к книге Ильфа и Петрова «12 стульев», которую я Вам подарил. Новых работ я пока никому не показываю.

Ярослав Ивашкевич

В настоящее время работаю над третьим томом большого романа «Хвала и слава». Первый том этого произведения появился в 1956 году и был отмечен в «Иностранной литературе». Второй выходит на днях. Третий, к сожалению, находится еще в стадии эскизов и набросков. Когда я его кончу? Не знаю.

В окончании этого тома — все мои «творческие планы». Я мечтаю возможно скорее окончить роман, работа над которым длится более двадцати лет. Впрочем, нет. У меня есть еще кое-какие планы. Они касаются театра. Мне грезится какая-то пьеса, но еще не окончено даже ее обдумывание. Не хочу больше и говорить о ней. Чтобы не сглазить. Ведь писатели — люди с предрассудками...

Леон Кручковский

Работаю над подготовкой сборника рассказов на современную тему. Книга эта, вероятно, будет называться «Очерки из ада честных людей». Мои герои — простые и прямолинейные люди, запутавшиеся в драматических противоречиях нашего времени, нашей жизни. Я хочу показать именно эту прямолинейность, когда вокруг столько моральной и политической эквилибристики, рассказать о скрытых, незаметных драмах честных людей в то время, как мы видим столько «показных» драм, столько театральных жестов, обнажающих действительно существующие или мнимые духовные раны.

Кроме того, я работаю над произведением, носящим характер повести, но имеющим довольно специфическую форму «рассказов в письмах» (пись-

ма из лагеря военнопленных). В этом произведении я хочу отразить (частично) и свои собственные переживания в годы последней войны, в годы пребывания в лагере военнопленных.

Наконец, я начал работать над пьесой для театра. Ее возможное название: «Первый день свободы».

На ближайшие месяцы в мои творческие планы входит полное осуществление всех этих намерений.

Игорь Неверли

Отвечая на анкету Вашего журнала, я, к сожалению, ничего нового сообщить не могу.

Вы спрашиваете, над чем я работаю в настоящее время, а я только что закончил все мои ранее начатые труды: роман «Шу-хай» («Лесное море»), над которым я работал более трех лет и теперь сдаю в печать; очерк о жизни и творчестве замученного гитлеровцами выдающегося польского писателя и педагога Януша Корчака и подготовку его избранных произведений; сценарий фильма по книге Корчака «Король Матюша Первый» (режиссер Ванда Якубовская).

После такой интенсивной и разнородной, как видите, работы нужна какая-то передышка, чтоб говорить определенно и уверенно о творческих планах на ближайшее будущее. Неясные намерения и желания в счет не идут, поэтому пока лучше воздержаться от ответа на этот вопрос.

С дружеским приветом и уважением

Ванда Якубовская

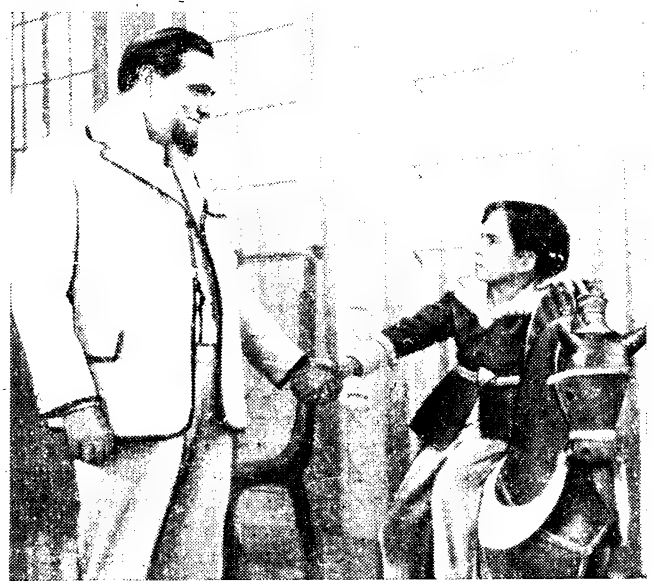
Благодарю за приглашение принять участие в Вашей анкете.

Недавно я кончила фильм «Король Матюша Первый» по книге Януша Корчака, написанной в 1921 году. Это история мальчика-короля, который хотел, «чтобы всем было хорошо», что ему не всегда удавалось сделать.

Сценарий написал вместе со мной Игорь Неверли.

Это моя первая цветная картина.

В ближайшее время буду занята организацией творческой группы «СТАРТ» и подготовкой сценариев. Хороший сце-



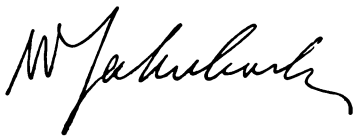
Кадр из фильма Ванды Якобовской «Король Матюша Первый».

нарий, как известно, самая трудная режиссерская проблема. К моему счастью, литературным руководителем группы является Ежи Путрамент.

Сейчас вместе с молодым журналистом Янушем Худзынским работаю над сценарием, в основу которого положен такой сюжет: во время наводнения на реке Сан на стройке новой гидроэлектростанции четверо рабочих оказались на затопленном острове. Их жизни угрожала нараставшая с каждой минутой опасность. Их спасли, в обстоятельствах, требующих большой отваги, трое самых обыкновенных людей.

Посылаю Вам кадр из фильма «Король Матюша Первый».

С уважением



Румыния

Петру Думитриу

Благодарю за Ваше письмо и спешу ответить.

1. Начал работать над книгой «Собрание современных биографий, автобиографий и воспоминаний». Почерпнутые, конечно, из многочисленных реальных фактов, они будут все-таки вымыслом. Произведение составит, вероятно, тома три и, думаю, превзойдет по объему «Семейную хронику». Тема — развитие страны народной демократии (моего отечества) за последнюю четверть века, распад старого и возникновение нового общества. В этой книге будут показаны различные судьбы людей, волнующие их вопросы этики, словом, тема широкая и с ней справиться будет довольно трудно.

2. Мои планы на следующие два года, а может быть, и больше — закончить «Собрание современных биографий...»

Прошу передать мой искренний привет всем товарищам, с которыми я встречался в редакции «Иностранной литературы» во время моей незабываемой поездки в Москву прошлым летом.

Крепко жму Вашу руку

США

Рокуэлл Кент

В последние несколько месяцев я был занят общественной деятельностью, связанной с борьбой за мир, для которой сейчас в Америке появились весьма благоприятные тенденции.

За это время я очень мало писал, однако в настоящее время работаю над иллюстрациями к «Кандиду» Вольтера; я его иллюстрировал раньше, сейчас же готовлю новое издание.

Погрузился в тяжбу о получении паспорта и возвращении американским гражданам права свободно путешествовать. В связи с этим мои планы на будущее состоят в том, чтобы добиться успеха в этом деле и, получив соответствующее удостоверение, поехать путешествовать за границу, возможно в Советский Союз.

Все же сейчас я хочу вновь заняться пейзажами с тем, чтобы пополнить то, что в наши дни, когда в Америке господствуют предрассудки в

области политики и культуры, я вынужден называть «Большая коллекция Кента» (значительная часть ее экспонировалась в Советском Союзе).

Преданно Ваш

Эрскин Колдуэлл

Роман, над которым я работаю, рассказывает о семье, живущей на ферме на юге Соединенных Штатов, и ставит различные социологические проблемы. Он еще не имеет названия.

Я не задумывался над тем, что буду писать, когда закончу эту книгу. Предпочитаю подождать и не делать одновременно два дела.

Благодарю Вас за интерес к моей работе.

Искренне Ваш

Уильям Сароян

1. Первого сентября 1957 года, на следующий день после своего пятидесятилетия, я начал писать хронику своей жизни, озаглавленную «Фифти-фифти» («Пятьдесят на пятьдесят». — *Ред.*). Название указывает на количество прожитых мною лет, а также определяет срок жизни человека: ведь «фифти-фифти» означает половина-наполовину, хорошо и плохо, да и нет и т. д. Я принялся за работу с мыслью написать книгу ровно за год и надеюсь закончить ее 31 августа текущего года, в день своего рождения. Я работаю над книгой ежедневно, обычно по утрам. Сегодня утром я завершил шестимесячный труд. Когда книга будет закончена, в ней будет свыше пятисот тысяч слов. Около ста тысяч я надеюсь выкинуть при правке.

Я взялся за эту книгу по нескольким соображениям. Прежде всего я полагаю, что в пятьдесят лет человек может, в конце концов, поразмыслить над своей жизнью, подумать над тем, как он прожил ее и почему он жил так, а не иначе. Во-вторых, мне хотелось поработать над одной книгой в теченне полного года: до сих пор каждый из своих романов я писал за месяц, пьесу — за неделю, а короткий рассказ — в один присест, то есть за три-четыре часа. Так как большинство американских писателей писали свои лучшие вещи в возрасте до сорока лет, а я надеюсь написать свое лучшее произведение после пятидесяти, то мне хотелось начать новый этап солидной книгой. Замысел и работа над большой книгой явится прецедентом, который, вероятно, будет стимулировать подобную работу в будущем.

2. Как только «Фифти-фифти» будет закончена и подготовлена к печати, я надеюсь предпринять путешествие в Европу и в СССР, где я побывал в 1935 году и куда я хочу поехать вновь. Параллельно с работой над «Фифти-фифти» я пишу также небольшие рассказы: надеюсь заработать достаточно денег, чтобы выплатить пятнадцатилетнюю задолженность по подоходному налогу, уплатить алименты моей бывшей жене и детям, рассчитаться по другим долговым обязательствам и, наконец, осуществить на Бродвее постановку одной из своих пьес, которых накопилось уже около двух дюжин с момента окончания войны.

Искренне Ваш

Лион Фейхтвангер

Сейчас работаю над сравнительно большим эссе «Дом Дездемоны, или масштабы и границы вымысла в историческом произведении». Книга посвящена соотношению авторского вымысла и так называемых точных исторических данных — извечной борьбе, которую ведет историческая наука против авторского вымысла. Многочисленные письма читателей говорят о путанице, царящей в умах по этому поводу, и мне хотелось бы устранить ряд недоразумений. Я надеюсь, что смогу завершить книгу к концу этого года или к началу следующего.

Затем мне хочется предпринять довольно длительное путешествие. Во второй половине 1959 года думаю взяться за объемистый роман из современной жизни — «Семь мудрецов». Его тема — отношение немецкой интеллигенции, оказавшейся в Америке, к ее новому месту жительства.

С приветом и наилучшими пожеланиями, Ваш

Франция

Арман Лану

Горячо благодарю Вас за интерес, проявленный ко мне.

Я заканчиваю роман, который будет называться «Розы Пикардии». Вот о чем он рассказывает.

На рождество 1956 года режиссер французского телевидения приглашен одним из своих друзей, врачом-психиатром, к себе в гости. В страшной обстановке духовного убожества дома для умалишенных режиссер находит солдата своего полка, убившего в 1939 году первого немца и находящегося сейчас в последней стадии белой горячки. Этого человека всегда считали героем. Тем не менее постепенно убеждаются в том, что убил он под влиянием чувства страха. Так ставится под сомнение традиционное понятие о геройстве. Режиссер узнает, что командиры, которые наградили труса в 1939 году, сделали это сознательно, что они не могли действовать иначе. В результате трезвого анализа положения режиссер покидает дом, убежденный, что военачальники были правы, что великие цели выше интересов отдельных людей, которые им служат как могут. Он решительно отбросит последние остатки своего романтизма и с еще большей страстью будет заниматься своим делом, чтобы бороться против причин социального вырождения, одним из следствий которого и являлась трусость солдата.

Как видите, это трудный сюжет. Действие романа протекает в мрачной обстановке, но освещается чувством надежды. Таким образом, это сюжет, близкий по теме «Майору Ватрену».

Кроме того, я готовлю биографию Мопассана, подобную биографии Золя, опубликованной под названием «Здравствуйте, господин Золя». Но это длительное и нелегкое дело, ибо с психологической стороны личность Мопассана бесконечно трудна для анализа.

Борис Таслицкий

Прилагаю фоторепродукцию своей последней крупной работы «Землетрясение в Орлеанвиле». Сюжет картины почерпнут из событий в Алжире, где к стихийному бедствию добавляются ужасы войны.

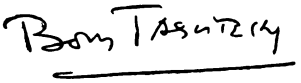
Ныне я работаю над двумя картинами на темы албанской жизни: я был в Албании осенью прошлого года и привез оттуда рисунки и эскизы.

Мои ближайшие планы заключаются в том, чтобы добавить к свидетельству о своем времени и о том, что я вижу вокруг, новые темы и сюжеты, которые приносят художнику, как человеку и активному бойцу,

повседневные события. Я не приемлю для выражения своих чувств иного языка, кроме языка реализма, хоть в настоящий момент он переживает во Франции известный регресс.

Параллельно с работой над большими полотнами я постоянно занимаюсь этюдами, пейзажной живописью, портретом и предметной живописью — всем тем, что живет и волнует, зовет к выражению в традициях пластического искусства, помогая при этом раскрытию ума художника, который тем самым выносит суждение о своем времени.

Сердечно Ваш



Жерар Филип

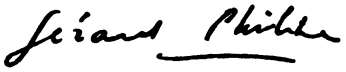
В ответ на Ваши вопросы сообщаю.

Репетирую вместе с Жаном Виларом в Национальном народном театре (ТНП), где буду играть после того, как в июне закончится съемка фильма режиссера Клода Отан-Лара «Игрок» (по роману Достоевского). В этом фильме я исполняю роль Алексея.

После окончания съемки буду играть в ТНП в уже отрепетированных спектаклях «Лоренцаччо» и «Прихоти Марианны» — двух пьесах Альфреда де Мюссе. Впервые мы их покажем в Авиньоне на фестивале, который проводится под открытым небом, в июле 1958 года.

Затем, в зимний сезон, мы будет репетировать и покажем в Париже третью пьесу Мюссе — «Любовью не шутят».

С самыми сердечными чувствами, Ваш



Жерар Филип в роли Октава Муре в фильме «Накипь», снятом по роману Э. Золя режиссером Ж. Дювивье (1957 год).

Чехословакия

Людвик Ашкенази

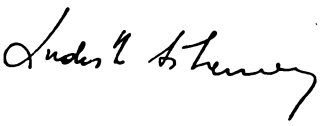
Охотно отвечаю на Ваши вопросы.

1. Недавно закончил работу над романом «Жизнь и приключения карлика Питриска». Сейчас пишу киносценарий, в основу которого положены четыре события первого дня после войны в мае 1945 года.

2. Собираюсь писать повесть «Кинотеатр «Сплендид». Это история человека, который прожил всю войну, прячась за экраном небольшого кинотеатра, где демонстрировались фильмы для немецкого гарнизона.

Вот, примерно, все на ближайшее будущее. Что же касается моих дальнейших планов, могу сказать только, что их довольно много.

С дружеским приветом



Югославия

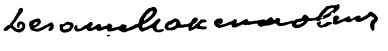
Десанка Максимович

В ответ на Ваше письмо могу сообщить следующее:

1. Заканчиваю работу над двумя, правда небольшими, циклами стихов: «Сиега детства» и «Прочитанное в детстве на картинках». Одновременно перевожу для антологии словенской лирики стихи со словенского на сербохорватский. Кое-что перевожу с русского.

2. В ближайшем будущем хочу передать в одно из издательств Черногории книгу стихов «Пленник мечты», в которую войдут и стихи двух вышеупомянутых циклов.

С уважением и приветом



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

О. Верейский

ЙОЗЕФ ЛАДА

Йозеф Лада *(автошарж)*

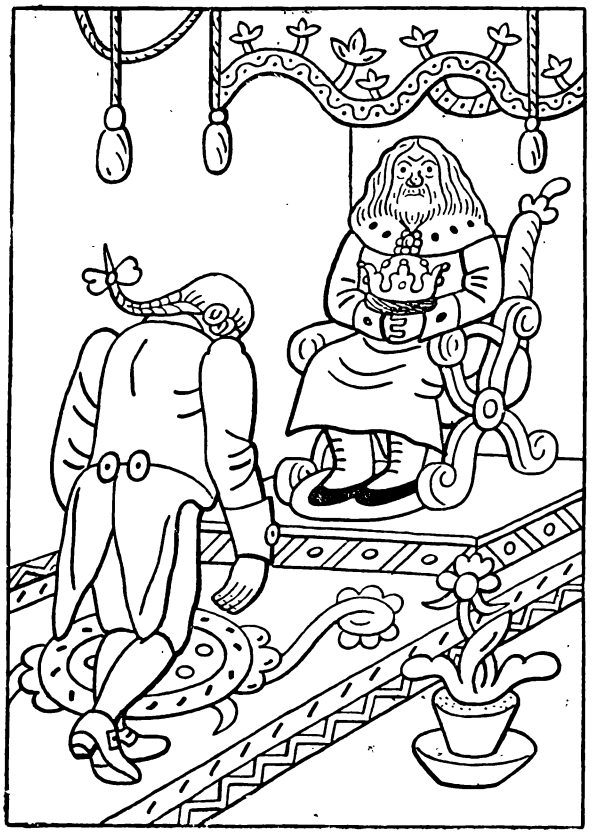
Эти два обаятельных, покуривающих трубки человека изображены чешским художником Йозефом Ладой. На одном рисунке писатель Ярослав Гашек — дружеский шарж относится к тому времени, когда из небольшого домика в Чешских Будейовицах вышел и пошел гулять по всему свету рожденный изумительной фантазией Гашека бравый солдат Швейк. На другом — Лада изобразил себя.

Содружество Гашека и Лады дало нам живой, зримый образ Швейка. Ни один художник, иллюстрировавший бессмертное произведение Гашека, не смог преодолеть влияние Лады. Автор этих строк испытал это на себе.

Лада не был просто иллюстратором Гашека. Он был его закадычным другом и даже в какой-то мере соавтором. Молодые друзья были чужды каких бы то ни было тщеславных замыслов. У одного была потребность писать, у другого — рисовать. Когда, устав от работы, они выходили на улицу, творческий процесс продолжался. Улица была заселена их героями, которые куда-то торопились, бранились, торговали, болтали, лениво потягивали пиво, не подозревая, что стали предметом пристального изучения, что за

Ярослав Гашек

Иллюстрация к «Королю Лавре» К. Гавличка-Боровского →



ними наблюдают две пары зорких глаз.

Портреты Лады не уступают острым характеристикам Гашека. Оба они одинаково любили людей и были одинаково беспощадны к их порокам.

Взгляните на шарж, изображающий пишущего Гашека. Он настольно доброжелателен, что пражское издательство «Чехословацкий писатель» сочло уместным поместить его на обложке книги о жизни Ярослава Гашека вместо традиционного официального портрета.

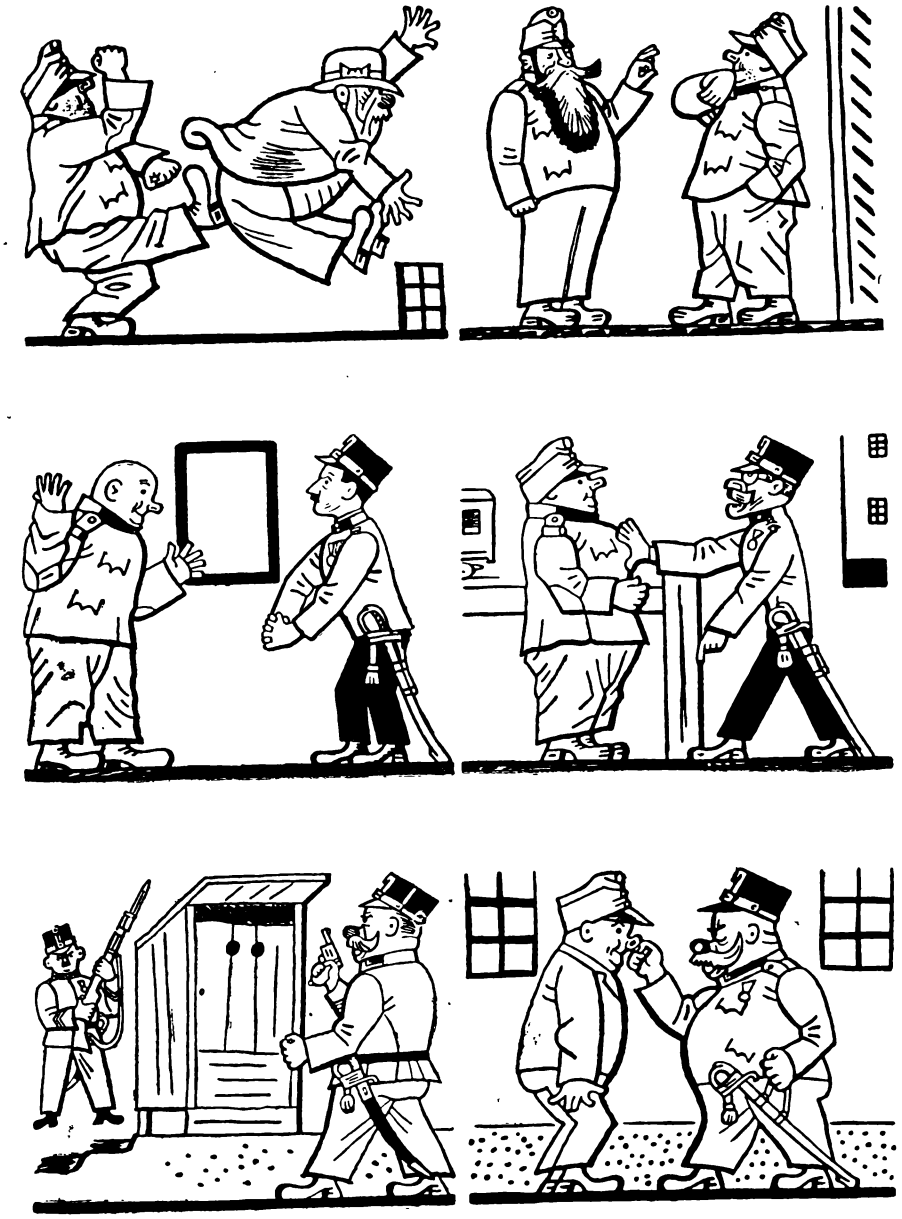
Но не все рисунки Лады были добродушными и благожелательными. Он стано-

К вопросу о выдаче военных преступников. Германское правительство после долгого обсуждения решило, наконец, выдать странам Антанты аиста, как виновника появления на свет всех этих негодяев. (Журнал «Шибенички», 1919 г.)

вился беспощадным, когда высмеивал пороки. Мы видим это и по его иллюстрациям к Швейку и по множеству политических карикатур. Мы обидно мало знаем творчество Лады. Нам знаком его Швейк, а это — только часть его большого, многогранного творчества.

Два года назад я имел счастье быть гостем Лады. Когда я лист за листом рассматривал его чудесные рисунки, всегда населенные живыми персонажами, Лада вдруг сказал: «У вас такое лицо, как будто вы где-то уже это видели». Я ответил: «Вы не ошиблись, я не видел раньше этих акварелей, но я узнаю то, что на них изображено,— это Чехословакия». И я попытался, как умел, выразить ему свой во-

Иллюстрации к «Похождениям бравого солдата Швейка»



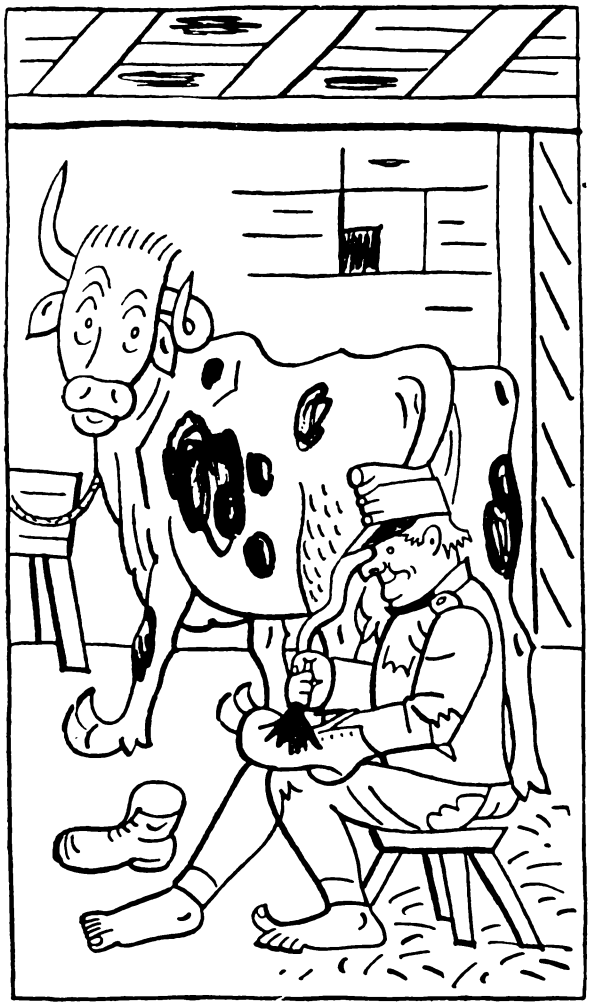


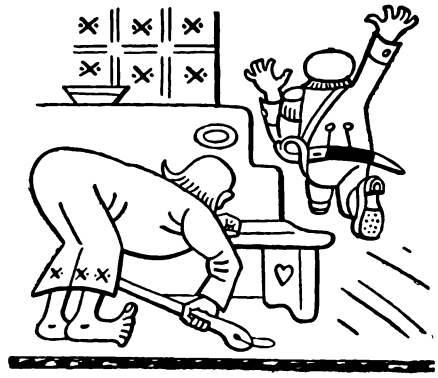
Иллюстрация к «Похождениям бравого солдата Швейка» ←

сторг. Пейзажи были не просто увидены и перенесены на бумагу. Они были прочувствованы, пережиты. Это была красота природы, помноженная не только на искусство художника, но и на его любовь к родине, любовь, которой он заражал зрителей.

Лада рассказал мне о своем детстве. Отец его был сапожником в небольшом селении Грузицы. Когда Лада был ребенком, его единственными игрушками были деревянные колодки и рваные башмаки. «Может быть, это и сделало меня восприимчивым к красотам природы,— говорил Лада.— Ведь меня ничто не отвлекало. У меня не было дорогих, увлекательных и разнообразных игрушек. В нашей большой семье каждый был занят своим делом, и никому не приходило в голову забавлять меня, придумывать мне развлечения».

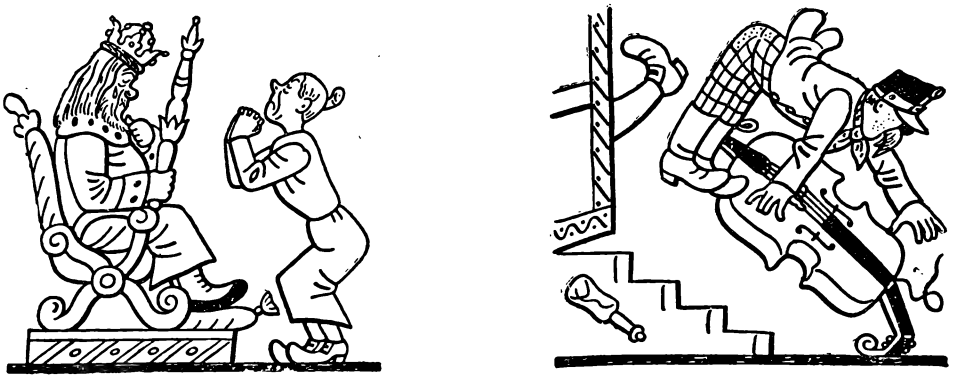
Маленький Лада был пре-

Рисунки из журнала «Квитко»



доставлен самому себе. Детство его протекало на улице селения или в близлежащем лесу. Пожилой мастер рассказывал про шум ледохода на реке, про звон льдин, на которых можно было кататься, как на плоту, про ночевки в лесу у костров с пастухами, он набрасывал на бумаге разноцветные лоскуты

Иллюстрации к сатирическим стихам К. Гавличка-Боровского



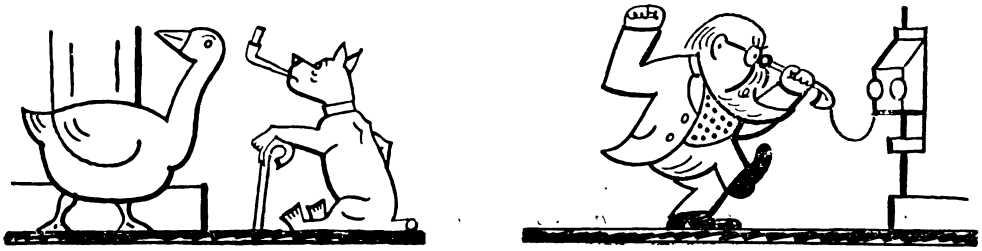
Иллюстрации к сатирическим стихам К. Гавличка-Боровского

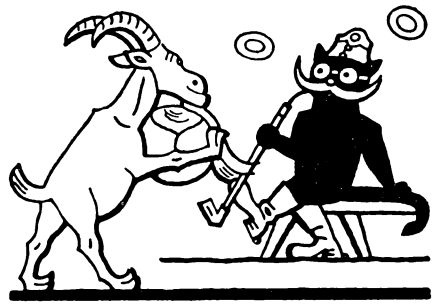
Иллюстрация к «Женитьбе зайца» Йозефа Спилки →

посевов, видневшихся на той стороне реки, деревья с причудливыми кронами, которые росли за домом. Это был волшебный мир его детства.

Однажды в руки маленькому Ладе попал сборник народных песен с рисунками Миколаша Алеша. Картинки потрясли его. Потрясли не мастерством художника (в этом он еще не мог разобраться), а тем, что он узнавал в них знакомые места — мир, который окружал его, помещался на квадратиках бумаги. Песни и рисунки представляли собой для Лады одно целое: по его убеждению, и те и другие были созданы одним человеком. Это казалось ему прекрасным, и этому хотелось подражать. Лада стал сочинять песни и рисовать к ним кар-

Рисунки из журнала «Квитко»





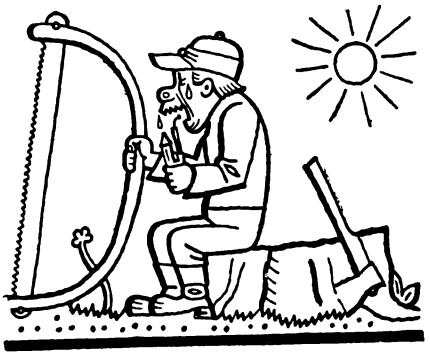
Иллюстрации к «Приключениям франтика Вовиска и козла Бобеша»

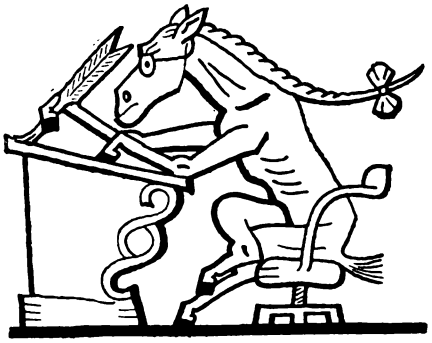
← Иллюстрация к басне Эзопа

тинки. В доме завелась тетрадка с его первыми рисунками. Под каждым рисунком печатными буквами были старательно выведены слова песни. Это занятие не внушало почтения домашним. По мере того как тетрадка заполнялась, хозяйки вырывали использованные листки и закрывали ими горшки с топленым салом.

Ощущение неразрывной связи между народными песнями и зрительными образами осталось навсегда, оно стало неповторимой особенностью творчества Лады. Когда смотришь на рисунки Лады, убеждаешься в том, что на протяжении всей своей долгой жизни он не утратил детски-чистых и непосредственных впечатлений. Это очень редкое и дорогое качество для художника. Сколько опытных мастеров, достигнув совершенства в технике, начисто утратили былую непосредственность ви́дения. Лада же сумел пронести ее через всю жизнь. Он не утратил ее и в старости. Она помогла ему

← Иллюстрация к книге К. Эрбена «Сказки»





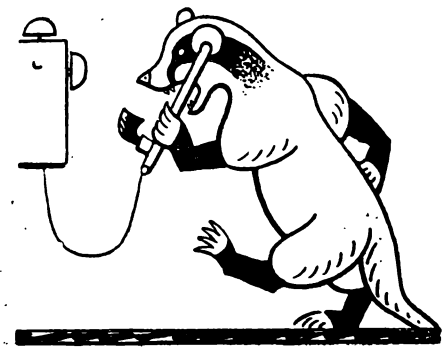
Иллюстрации к сборнику «Веселых рассказов»

Рисунки из журнала «Квитко»

завоевать признание и славу.

Лада был удостоен высокого звания Народного художника Чехословакии. Он заслужил его благодаря всему своему творчеству. Кажется, что все национальные черты чешского народа слились и воплотились в этом человеке и в его творчестве, а искусство Лады и он сам — это одно гармоническое целое.

Рисунок из детского журнала



Драка в трактире

Иллюстрация к басне Эзопа

Общение с Йозефом Ладой оставляло в каждом человеке — я убежден в этом — то же чарующее впечатление, какое оставляют его работы. Рисунки Лады, полные искрящегося юмора, заставляют вспомнить его лицо, его озорные глаза, его заразительный смех, которым заканчивалась любая из рассказанных им историй. А рассказчик он был превосходный.

Рисунок Йозефа Лады предельно скуп по своей манере. Иногда грубоватый штрих, почти повторенный в изображении двух или нескольких фигур, создает разные, абсолютно непохожие характеры. Удивительно, как много сумел он выразить одним этим графическим приемом.

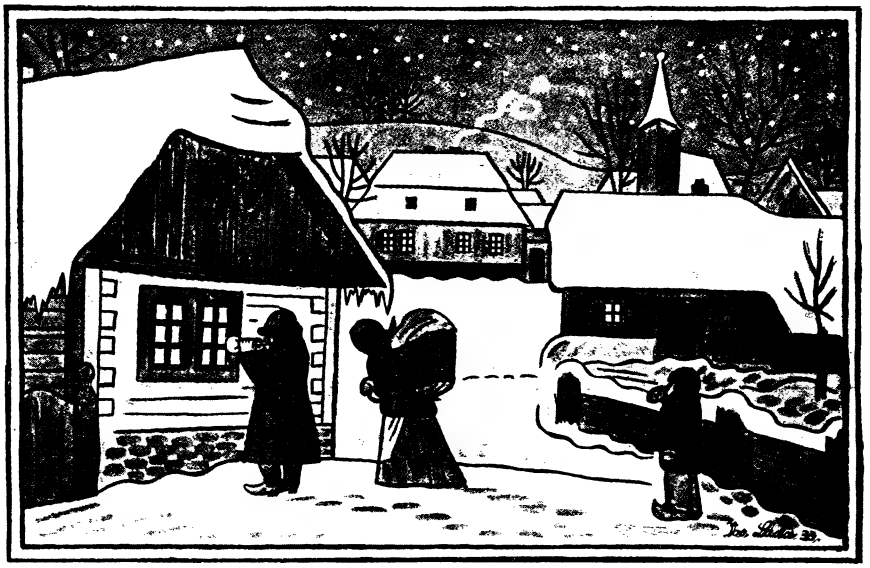
Художник нашел органичную, единственно нужную ему форму выражения своих замыслов. Это та самая

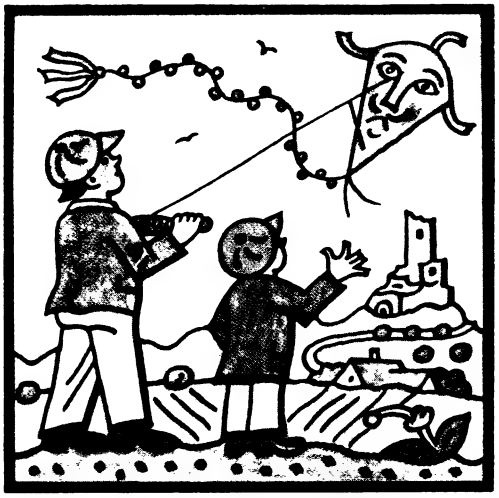
ЙОЗЕФ ЛАДА

Иллюстрация к книге Я. Зейферта «Мальчик и звезды»

Иллюстрация к стихотворению Я. Зейферта «Водяной»

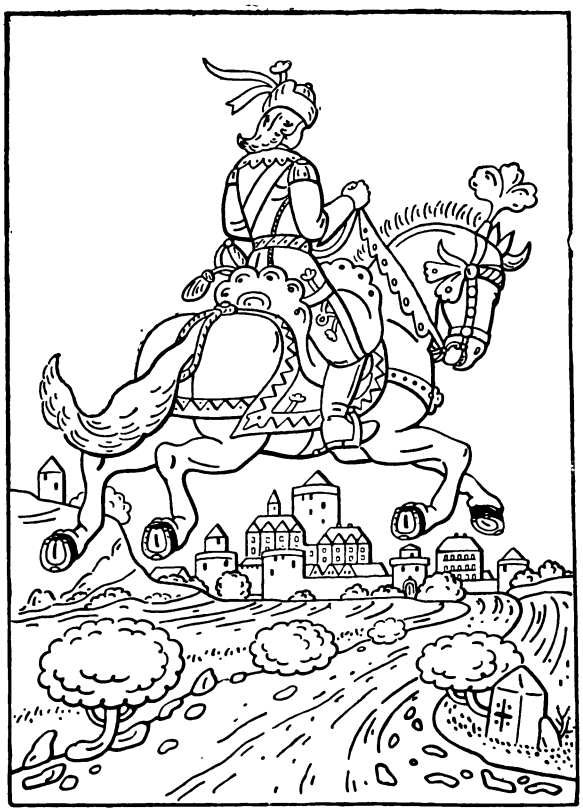
Иллюстрация к книге И. Лады «Хроника моей жизни»





Рисунки из цикла «Детские игры»

счастливая убежденность художника, которая убеждает и зрителя. Форма, которую избрал и которой оставался верен всю жизнь Йозеф Лада, предельно выражает его характер, его отношение к жизни, к людям. Эта форма, где-то у истоков идущая от народного лубка, обогащенная талантом, неиссякаемой фантазией и острой наблюдательностью Лады, придает его работам ясно выраженный национальный



← Иллюстрация к «Веселым сказкам»

Иллюстрация к книге К. Эрбена «Сказки»

характер. Несмотря на кажущуюся скупость его творческого почерка, ему невозможно подражать.

В истории искусства Чехословакии Йозефу Ладе заслуженно принадлежит почетное место.

Йозеф Лада умер. Но его живое искусство всегда будет радовать людей своим неповторимым, чудесным юмором, а главное — тем, что оно стало для всех точным выражением народного характера. Лада отдал свое искусство и свою жизнь своему народу. Его искусство, перешагнув рубежи, принадлежит человечеству.

Иллюстрация к книге К. Эрбена «Сказки»

← «Зима». Рисунок, представленный на рождественский конкурс газеты «Свободное слово», 1947.

Ходжа Ахмад Аббас

НАЧАЛО ПУТИ

Полночь. Мягко падает снег. Автомобиль мчится по дороге к Внуковскому аэропорту.

Все вокруг покрыто снегом, и поэтому окружающий пейзаж кажется сказочным: земля мягко опускается и подымается, напоминая волнующееся море; березы похожи на шеренгу часовых, одетых в нечто призрачно-белое; в свете автомобильных фар и сама дорога выглядит белопенистым потоком, несущимся в вечность.

В машине включено отопление, однако нас то и дело пронимает нервная дрожь. Мы работали семь дней и семь ночей без перерыва для того, чтобы закончить картину, и вот сейчас, когда первая копия готова и отправляется в Индию, мы слишком измучены, чтобы быть в приподнятом настроении. Окончились месяцы лихорадочной работы, ожиданий и надежд. Скоро мы расстанемся с нашими советскими друзьями и сотрудниками, возвратимся в Индию и будем ждать с волнением оценки, которую зритель даст фильму, созданному нашими совместными усилиями.

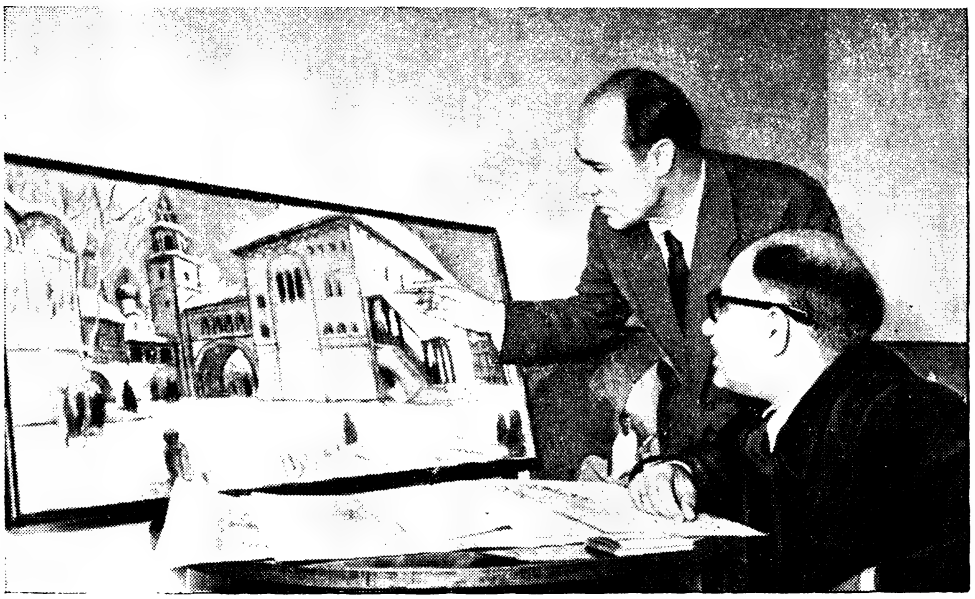
Как, когда и где все это началось? И, пока машина мчится дальше, моя память уносится в прошлое..

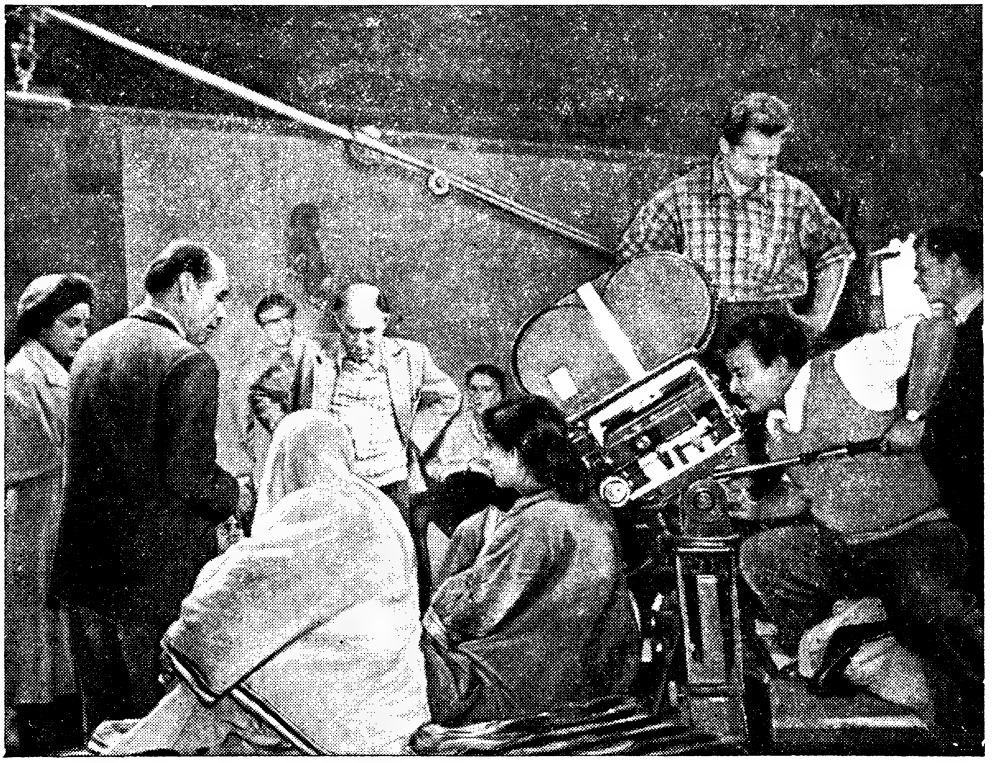
* * *

В тот день — три года тому назад — тоже падал снег. Это был мой первый приезд в Москву и первый раз, когда я увидел настоящий снегопад. Я был счастлив и взволнован — наконец-то я в Советском Союзе и своими глазами вижу чудеса строительства социализма и процветание культуры советского народа. Только что с успехом закончился первый фестиваль индийских фильмов, и это, естественно, придавало нам хорошее настроение. Повсюду тогда звучали слова припева песенки из «Бродяги»: «Авара хун...»

У меня лично были и другие причины чувствовать себя счастливым и взволнованным. Дело в том, что я узнал об опубликовании нескольких моих рассказов в советских журналах и сборниках.

Режиссеры картины В. Пронин и А. Аббас просматривают эскизы к фильму.





Съемка объекта «Дом Чампа». У аппарата индийский оператор Рамчандра. Слева направо — Наргис, В. Пронин, А. Аббас и другие.

Действительность иногда ярче и интереснее, чем вымысел. И, в самом деле, если бы зимой 1946 года я не посетил древние храмы Аджанты, то десять с лишним лет спустя не вез бы с собой копию первого индо-советского совместного фильма, который в Индии известен под названием «Пардеси» («Чужестранец»), а в Советском Союзе — «Хождение за три моря».

Вдохновленный художественным великолепием, социальной и моральной значимостью фресок Аджанты, я в 1947 году написал на языке урду рассказ «Аджанта». Этот рассказ был одновременно напечатан в литературных журналах Индии и Пакистана. Некоторые из этих журналов привез из Пакистана в Советский Союз ветеран советской поэзии Н. Тихонов. Переводчица Вера Быкова перевела «Аджанту» на русский язык и вместе с рядом других рассказов опубликовала в журнале «Огонек», сделав тем самым известным мое имя. По приезде в 1954 году в Москву я был приглашен в Иностранную комиссию Союза советских писателей, где познакомился с писателем Борисом Полевым.

Здесь, в этом помещении, я в первый раз в моей жизни услышал имя — Афанасий Никитин. Борис Полевой, человек с большим юмором, рассказывал мне «о своих старинных семейных связях с Индией» и о том, что «один из его пра-прапрадедов» совершил путешествие в Индию в пятнадцатом столетии — за четверть века до португальского искателя приключений Васко да Гама. Затем уже всерьез он рассказал мне историю Афанасия Никитина, тверского купца (Тверь, теперь г. Калинин,— место рождения Б. Полевого), который выехал из дому вместе с другими купцами на двух ладьях, груженных товарами. После многих приключений (включая и ограбление татарами), бурь в пустыне и океане он достиг берегов Индии.

История эта пленила меня, и мне передалось восторженное отношение Полевого к Афанасию. Я согласился с ним, что из этого можно — и нужно — сделать фильм.

Поэтому, когда в Министерстве культуры СССР меня спросили, что я могу предложить для совместного индо-советского фильма, я сразу назвал эту тему. Едва лишь я произнес имя «Афанасий Никитин», как предложение было принято. Понадобилось всего несколько минут, чтобы решить вопрос о том, что советская студия и моя небольшая группа «Найя сансар» («Новый мир») совместно будут работать над цветным широкоэкранным фильмом о путешествии Афанасия Никитина. Это было в ноябре 1954 года. Но для того, чтобы претворить замысел в реальность и увидеть

фильм на экране, нам потребовалось немногим более трех лет — больше, чем Афанасию для путешествия в Индию на парусных судах и с караванами верблюдов.

* * *

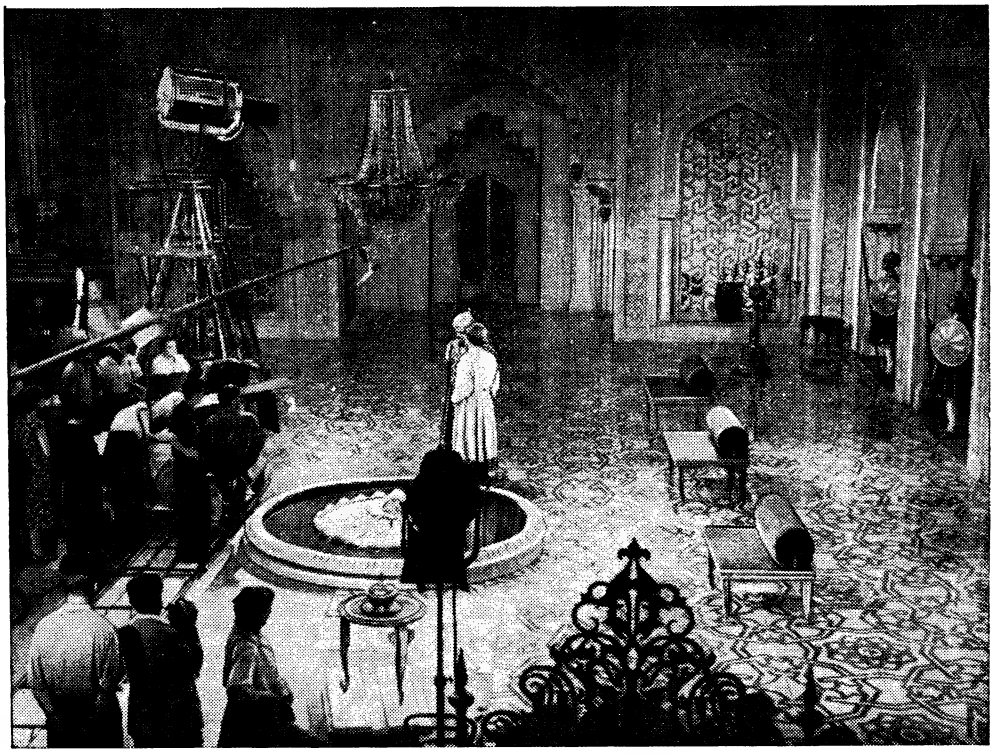
Кто-то сказал, что рождение дружбы может быть таким же волнующим, как и открытие нового континента. А ведь мы утверждали дружбу не только между двумя съемочными группами; нашей совместной работой мы укрепляли дружбу между двумя народами...

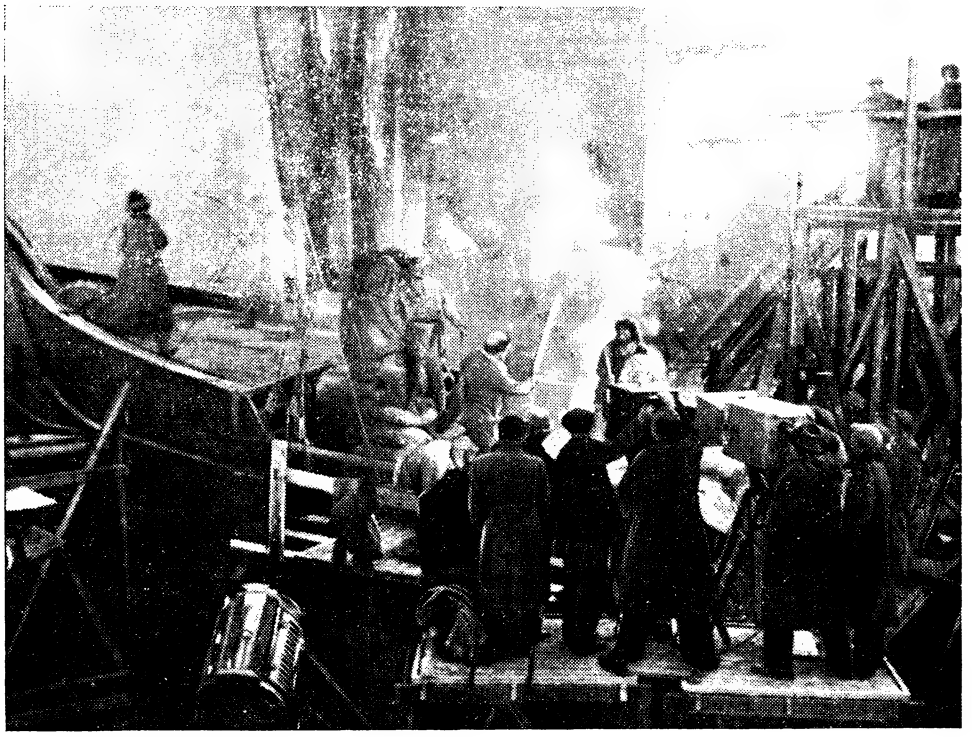
Мне кажется, что как бы сильно ни любили друг друга жених и невеста, как бы долго ни тянулось их ухаживание, они непременно волнуются в день свадьбы, так как с этого времени две отдельные жизни должны слиться в одну. Примерно такое же волнение чувствовали все мы, когда в тот решающий день — 27 октября 1956 года — были сняты первые кадры фильма. Температура в тени была около 50 градусов, и некоторые из наших советских коллег, вынужденные сбросить не только куртки, но и рубахи, обливались пóтом даже в майках. Но я чувствовал, как холодок возбуждения и волнения пробегал по моей спине. Должно быть, мои советские коллеги Фролов (ныне заместитель директора студии «Мосфильм») и сорежиссер В. Пронин испытывали то же. Будет ли картина, которую мы начали снимать в этот день, иметь успех? Я знал тысячи причин, по которым картина могла бы не иметь успеха, и только одну, по которой она должна была иметь успех: ведь фильм был посвящен дружеским отношениям между нашими народами.

В таком настроении и была начата работа двумя режиссерами, одновременно закричавшими: «Мотор!» Этот дуэт означал равноправную основу совместной деятельности, когда каждая пара — два писателя, два режиссера, два оператора, два художника, два композитора — работала как один человек.

Когда я и М. Смирнова (содружество с которой я в шутку называл нашим «интеллектуальным браком») начали работать над сценарием, мы выбрали метод, позволивший каждому из нас сделать наибольший вклад в общее дело. После того как мы обсудили тему в целом, М. Смирнова должна была писать русские сцены и давать их мне для критической проверки. Точно так же я должен был писать индийские сцены и представлять их Смирновой для консультации и исправления. Некоторые из них, как например те, в которых Афанасий ведет философскую дискуссию со своим индийским другом Сакарамом, мы писали вместе: она предлагала для диалога фразы, которые произносил бы Афанасий, а я отвечал от имени Сакарама.

Съемка объекта «Дворец Махмуда Галана».





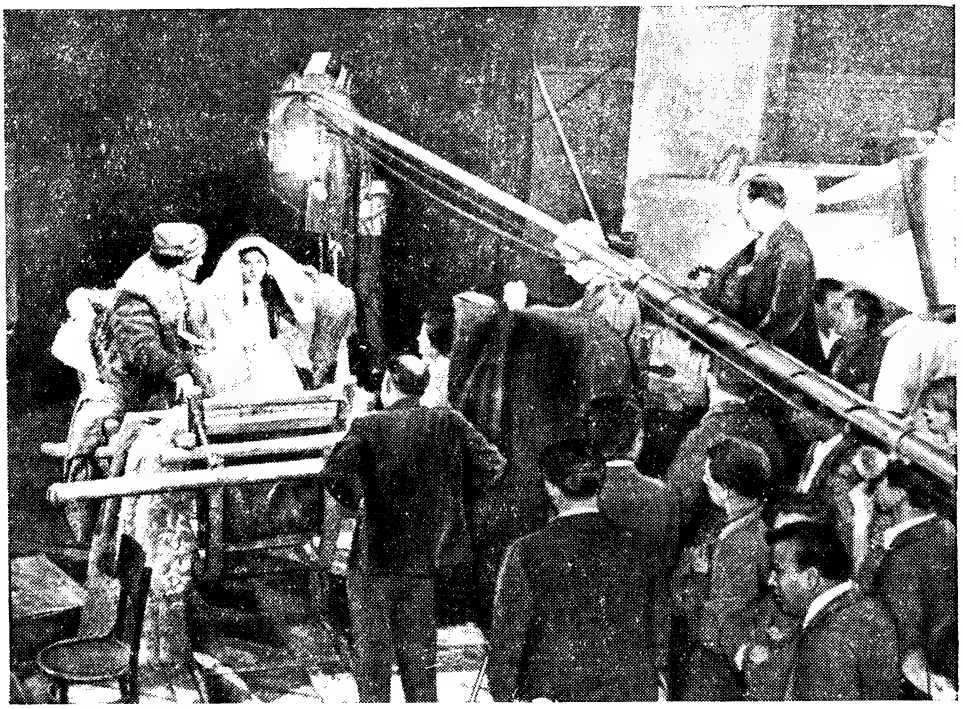
Съемка батальной сцены на корабле.

В разделении труда нам очень помог сам характер фильма. Тут были сцены в России, сцены на пути через Иран и сцены в Индии. В фильме снимались актеры, говорящие по-русски, которыми мог руководить только советский режиссер, и были индийские актеры, говорящие на хиндустани, которыми мог руководить только я. Иногда мы работали отдельно, снимая сцены параллельно, иногда вместе, но всегда один из нас делал основную работу по режиссуре отдельных сцен, в то время как другой помогал советом, предложениями и осуществлял общее наблюдение над приготовлениями к следующим эпизодам.

Но часто советские и индийские актеры исполняли сцены совместно. При этом каждый из них говорил на своем языке, это само по себе создало проблему как для режиссеров, так и для самих актеров. Сначала мы боялись, что это будет основным препятствием, но Олег Стриженов и Балрадж Сахни (которые появляются вместе в первой же заснятой нами сцене) несмотря на то, что каждый из них не знал языка другого, показали такой пример взаимопонимания, что в дальнейшем подобные сцены уже не представляли трудностей. Действительно, наши актеры научились отвечать друг другу не столько на слова, сколько на выражение лица своего партнера. Для нас, писателей и режиссеров, это тоже явилось напоминанием о том, что нужно сконцентрировать больше внимания на игровых сценах и мимике актеров.

Во время съемок в Индии мы вновь и вновь убеждались, что наша работа целиком отвечает духу дружбы, которая связывает наши народы. Самые различные люди — небогатые торговцы, учащиеся, крестьяне, рыбаки, лодочники и даже священнослужители из храмов — стремились помочь нам, когда узнавали, что мы работаем с советскими киноработниками. Когда мы снимали в пещерах Эллоры, нам неожиданно понадобилось несколько женщин, которые проходят на заднем плане. Пещеры находятся в пятистах километрах от Бомбея и в добрых шестидесяти километрах от города Аурангабада, так что о профессиональных актрисах не могло быть и речи. Но эта проблема была решена благодаря согласию жен и дочерей местных профсоюзных работников играть в нашем фильме. В Кандживараме старший жрец не только разрешил нам снимать внутри храма, но даже позволил нескольким священникам играть в отдельных сценах.

В Советском Союзе, на Волге, где снимались сцены нападения татар на русских купцов, индийскому актеру Джай Раджу однажды довелось остановиться вместе с советской группой в деревне Тутаево. Когда жители деревни узнали, что среди киноработников находится индиец, все они пришли приветствовать его и оказали ему всяческие



Съемка в павильоне.

знаки внимания. При отъезде вся деревня вышла проводить его.

Премьер - министр Индии Джавахарлал Неру трижды оказал индо-советской группе честь, пригласив нас встретиться с ним. Во время одной из этих встреч он сказал мне: «Это должен быть необычный фильм: работая над ним, вы трудитесь во имя культурного сотрудничества между советским и индийским народами».

Я счастлив вспомнить, что мы прилагали все усилия для осуществления этой цели.

В Индии наши советские коллеги выступали на встречах с журналистами, участвовали в собраниях Общества индо-советской культурной связи, ходили на концерты классической индийской музыки и танцев, встречались с историками и писателями, с художниками и музыкантами, посещали музеи, библиотеки и картинные галереи.

Многие члены индийской группы во время своего пребывания в Москве приняли активнейшее участие в культурной жизни СССР. Наша актриса Падмини танцевала на Всемирном фестивале молодежи и получила золотую медаль за исполнение классических восточных танцев. Актер Манмохан Кришна пел индийские песни перед тысячной аудиторией московских рабочих. А сколько москвичей побывало на выставке картин нашего художника Ачарекара и высоко оценило их! Еще один наш актер, Дэвид, судил спортивные состязания во время фестиваля. Наргис и Аила выступали по телевидению, а поэт Прем Дхаван пел свои песни по радио...

* * *

Итак, мы везли холодной ночью на аэродром не просто новый фильм. В шестнадцати коробках была заключена не только история Афанасия Никитина, отважного русского человека, который пятьсот лет тому назад добрался до Индии, но и память об этой знаменательной попытке интернационального культурного сотрудничества.

Я думал об огромном значении того, чего добились мы, индийские и советские киноработники, совместными усилиями, и больше не ощущал холода; ночь уже не казалась мне такой темной, и при ярком свете автомобильных фар мы могли легко разглядеть путь, лежавший перед нами. Это был не конец путешествия, а лишь его начало.

Бомбей

Иржи Сайдлер

Э. Ф. БУРИАН И ЕГО ТЕАТР

(К гастролям театра „Д-34“ в СССР)

Шел 1933 год. Чехословакия, так же как и весь капиталистический мир, постепенно начала оправляться от страшного экономического кризиса, который лишил работы почти миллион трудящихся этой небольшой страны.

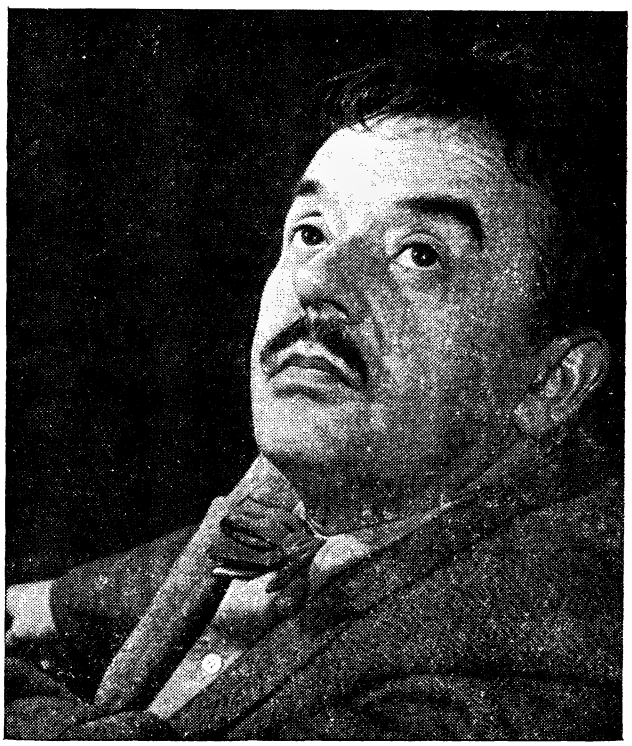
Мало кому тогда хотелось смеяться или веселиться. Поэтому пражане, которые спешили 16 сентября по своим каждодневным делам, вероятно, не очень-то внимательно читали листовку, разбрасываемую на улицах. В ней сообщалось, что в этот вечер в небольшом зале «Моцартеум» премьерой пьесы «Дни нашей жизни» немецкого эмигранта Эриха Кестнера начнет свою деятельность новый театр «Д-34»*.

Но более внимательный человек, заинтересовавшись текстом листовки, мог прочитать следующее: «Мы поднимаем свой занавес в очень трудных для театра условиях. Мы вынуждены преодолевать каждый день технические недостатки нашей сцены. У нас нет под рукой ни мастерских, ни складов с дорогостоящим оформлением, ни обслуживающего персонала со штатом специалистов. Мы создаем театр на пустом месте и делаем это с сознанием своей полной ответственности...

Мы хотим анализировать современную жизнь. Мы хотим понять, что в ней имеется в изобилии, а чего недостает вовсе. Мы привлекаем к нашей программе всех тех, кто не согласен с нынешними порядками в театре. Мы понимаем, что только непосредственной реакцией на современную жизнь и ее проблемы мы можем заложить основы нового театра. Театр мертв — да здравствует театр!»

Это был вызов, брошенный прогнившему

Э. Ф. Буриан.



* „Д-34“ („Divadlo-34“) — название, к которому вернулся театр в настоящее время, было действительно для первого сезона 1933 — 1934 гг. В последующие годы прибавлялся год — „Д-35“, „Д-36“ и т. д. Для облегчения ориентации читателя мы будем употреблять только нынешнее название театра — „Д-34“ *(Прим. автора).*

строю и официальному театральному искусству, которое тогда фактически полностью господствовало на многих чехословацких сценах. И премьера 16 сентября доказала, что этот смелый вызов достиг тех, кому он предназначался.

Молодой музыкант, певец, актер и, как тогда уже было известно, организатор и душа нового театра, Эмиль Франтишек Буриан был обозначен на афише как переводчик и режиссер-постановщик пьесы. Это был его первый успех у пражского зрителя.

* * *

К моменту создания театра «Д-34» Э. Ф. Буриан имел уже немалый жизненный опыт. Ближе всего ему были музыка и пение — его отец пел в Пражском Национальном театре, мать преподавала пение, а дядя Карел Буриан был всемирно известным тогда тенором. Уже в ранней юности Э. Ф. Буриан сочиняет различные музыкальные произведения — мужские хоры и песни на стихи революционных поэтов, балеты, камерные произведения, вариации на народные песни. Когда ему было всего двадцать лет, Национальный театр ставит его оперу «Перед восходом солнца».

Как актер он работает в нескольких прогрессивных театрах.

В 1927 году он впервые инсценирует произведение чешского пролетарского поэта И. Волькера «Больница». В качестве драматического и оперного режиссера Буриан работает в ряде периферийных театров, откуда его неизменно увольняют за политические убеждения, невзирая на признание его таланта и творческих достижений. Из-за отсутствия других предложений он вынужден принять место капельмейстера в кабаре «Червонный туз», сочиняет здесь музыку и поет.

Когда в художественной жизни Праги в начале тридцатых годов назрел глубокий идейный кризис, Буриан начинает все более отчетливо понимать ответственность и назначение прогрессивного художника. Тогда-то он и решается выступить со своей идейной и творческой программой. Он группирует вокруг себя людей, готовых, как и он, на любые жертвы, и выдвигает идею театра как *политической трибуны, культурного центра.* Так была выработана идейная платформа, которой руководимый Бурианом театр «Д-34» никогда не изменял.

* * *

Для того чтобы «Д-34» мог выполнять определенные политические функции, он должен был создать совершенно определенный репертуар. Буриан это всегда хорошо понимал. Но поскольку пьес, которые бы несли в себе идеи прогресса и революции и одновременно излагали бы их в художественной, действительно поэтической форме, было недостаточно, он вынужден был приспосабливать для этого классические пьесы или прибегать к инсценировкам. При этом Буриан ставил их таким образом, чтобы зритель невольно сопоставлял действие на сцене с событиями, которые происходят вокруг него. Когда Буриан ставил в своем варианте «Скупого» Мольера, зрители видели в нем не простое воплощение драматургом на сцене человеческой жадности к деньгам, но и обобщенный образ капитализма тридцатых годов нашего столетия. Буриан стремился придать современное звучание образам при помощи внутреннего подтекста. Так, в инсценировке поэмы чешского классика XIX века, журналиста и поэта Карела Гавличка-Боровского «Крещение святого Владимира» театр не изменил в ней ни одной фразы, и тем не менее каждый отчетливо воспринимал аллегорическую критику Гавличком австрийских учреждений и полиции как критику современных буржуазных порядков в Чехословакии. Подобным же образом действовал Буриан и в постановке «Севильского цирюльника» Бомарше, которую театр показал осенью 1936 года; эта комедия в «Д-34» звучала как протест против наступления фашизма на миролюбивый народ Испании.

Сцена из «Оперы нищих» Гэя — Брехта — Вейля. Полли — Виола Зинкова, Мак — Отокар Броусек.

Газета «Руде право» в статье об этой постановке писала: «Кто хочет понять, что такое революционное восприятие традиций, пусть идет посмотреть «Севильского цирюльника» у Буриана». С аналогичных позиций приступил Буриан к инсценировке «Похождений бравого солдата Швейка» Я. Гашека, «Оперы нищих» Б. Брехта,

«Страданий молодого Вертера» Гете, «Крысолова» чешского писателя В. Дыка. Точно так же действовал он и в послевоенной постановке «Ромео и Джульетты» Шекспира, «Тиля Уленшпигеля» Шарля де Костера, при инсценировке романа Стендаля «Красное и черное», «Отца Горио» и «Священника из Тура» О. Бальзака, «Сирены» М. Майеровой и десятка других произведений.

* * *

Для Буриана всегда была ясна истинная сущность буржуазного строя и тот бескомпромиссный путь, по которому должен идти прогрессивный художник. Марксистское мировоззрение скоро стало путеводной звездой в политической и художественной деятельности Буриана — в коммунистическую партию он вступил еще в 1923 году, когда ему было 19 лет. Главную революционную силу он всегда видел в рабочем классе. Буриан был постоянно связан с рабочими, а бригады «Д-34» выступали на политических демонстрациях трудящихся.

Рабочие отвечали театру своей любовью, принимали активное участие в работе «Общества друзей «Д-34». Значительной частью зрителей в театре было студенчество. Учащиеся средних и высших школ охотно ходили в этот театр, вопреки запрещению некоторых своих учителей, и после спектаклей, здесь же в театре, нередко разгорались страстные дискуссии.

Театр «Д-34» всегда считался партийным

Франтишек Голар в роли Швейка (по роману Ярослава Гашека).

Йордан-Богумил Кржижек в пьесе В. Дыка «Крысолов».

театром. Вероятно, нет ни одного политического документа, обращенного партией и прогрессивными деятелями культуры и науки к общественности, под которым не стояло бы имя Э. Ф. Буриана или всего коллектива «Д-34».

В период первой буржуазной республики, естественно, нелегко было «во весь голос» говорить со зрителями. В архивах пражского полицейского управления мы можем найти много доказательств того, какие препятствия должен был преодолеть «Д-34», чтобы иметь возможность продолжать свою работу. Цензура усиленно охраняла «общественное спокойствие и порядок», неоднократно возвращала пьесы для переработки и запрещала спектакли. «Блюстители порядка» заботились также и о том, чтобы разрешенный текст не подавался в таком виде, при котором зрителю был бы ясен его подтекст. О постановке, составленной из народных пьес и показанной под названием «Первая народная сюита» (это было уже в начале оккупации фашистами Чехословакии), шпик пражского политического управления в своем донесении писал, например, следующее: «В одной сцене из жизни святой Дороты, когда король посылает к ней двух палачей, они идут чеканным шагом, напоминающим торжественную поступь немецкой армии. При этих движениях обоих актеров несколько зрителей аплодировали, а некоторые смеялись».

«Вы продолжаете играть как ни в чем не бывало, и только *крайние меры* (курсив наш. — *И. С.*) принудят вас прекратить свою деятельность!» — писал журнал чеш-

ских фашистов «Влайка» («Флаг») в январе 1940 года, явно призывая гестапо к расправе с театром.

Буриан, который отказался от возможности эмигрировать и продолжать работу за границей, развивает в этот период самую бурную деятельность. «Д-34» предпринимает демонстративные поездки по Чехословакии, поддерживая своими спектаклями в людях веру в лучшее будущее. Сам Буриан борется и на многих других фронтах. Он организует анкеты для критиков и публики, устраивает в театре вечера поэзии и музыки, давая возможность молодым прогрессивным авторам проявить свои силы, проводит для членов основанного в этот период «Общества друзей «Д-34» и прежде всего для рабочих и студентов циклы лекций о театре, в которых пропагандирует не только свои прогрессивные взгляды на искусство, но и политические убеждения, свою веру в конечную победу прогрессивных сил. Нападки на театр усиливаются. Учреждения «Протектората» запрещают одну пьесу за другой. Буриан не отступает. В поставленном им символическом балете «Сказка о танце» зритель увидел два мира: мрачный мир фашистского насилия и радостный мир социализма. Но аллегория была ясна, разумеется, и оккупантам, которые 12 марта 1941 года закрывают театр, а его художественного руководителя Э. Ф. Буриана бросают в концентрационный лагерь.

* * *

Э. Ф. Буриан всегда безгранично верил в Советский Союз. Произведения рус-

Олдржих Яновский в роли Онегина («Евгений Онегин»).

Сцена из «Евгения Онегина». Татьяна — З. Кочова, няня — Г. Войтова.

Карел Линц в роли турецкого султана («Опера на ярмарке» Э. Ф. Буриана).

ских и советских авторов часто появлялись в репертуаре «Д-34». В 1935 году впервые в Европе театр поставил пьесу Горького «Егор Булычев и другие», пьесу Погодина «Аристократы», позднее инсценировал «Село Степанчиково и его обитатели» Достоевского и «Евгения Онегина» Пушкина. Буриан восхищался советской культурой, в его «Д-34» часто звучали стихи советских поэтов и музыка русских и советских композиторов, устраивались выставки советской графики, советской книги и т. д. Буриан всегда преклонялся перед актерской и режиссерской работой К. С. Станиславского, и очень знаменательно, что последней его лекцией перед арестом была лекция именно о Станиславском.

* * *

На освобожденной земле своей родины Э. Ф. Буриан сразу же после возвращения начинает активную деятельность. Он регулярно выступает по радио, привлекая внимание слушателей к важнейшим культурным и политическим проблемам современности, снова читает лекции, пишет пьесы, сочиняет музыку.

На выборах в 1946 году рабочий район Кладно избирает его своим депутатом в Национальное собрание.

Буриан ощущает потребность рассказать о переживаниях людей в период пребывания в концлагере. Не получив в свои руки нужной пьесы, он, как и раньше, обращается к классике. Взяв за основу «Ромео и Джульетту» Шекспира, он ставит пьесу под названием «Мечта одного заключенного», раскрывая трагедию Шекспира, как прекрасную человеческую мечту, уничтоженную фашизмом.

Годам оккупации и заключения посвятил Буриан и свою пьесу «Препятствия между нами», поэму для театра «Один из всех», а также книгу рассказов «Восемь оттуда».

При народном строе «Д-34», наконец, получает все возможности для своей работы. Репертуар театра, в котором произведения М. Горького («На дне», «Сомов и другие») чередуются с произведениями Стендаля (инсценировка романа «Красное и черное»), Достоевского («Дядюшкин сон» и драматическая композиция по повести «Белые ночи»), Бальзака (инсценировки «Отца Горио» и «Священника из Тура»), Хикмета («Рассказ о Турции»), Майеровой (инсценировка романа «Сирена»), К. Чапека («Мать»), Лермонтова («Маскарад»), Вл. Маяковского («Клоп»), с пьесами самого Буриана («Корчма на берегу», «Не поздно для счастья» и др.), указывает на широкий диапазон коллектива «Д-34».

* * *

Одна составная часть творчества Буриана особенно сильно выступает на передний план, не нарушая, впрочем, цельности театрального представления.

Буриан написал семь опер (кроме упомянутой в начале статьи оперы «Перед восходом солнца», Национальный театр поставил и его последнюю оперу «Мариша»), оперетты «Влюбленные в киоске» и «Новое платье короля», музыку примерно к пятидесяти фильмам (в частности, музыку к фильму «Сирена» по одноименному роману М. Майеровой, отмеченному первой премией на международном фестивале в Венеции), балеты, симфонии, большое количество камерных произведений для струнных и духовых инструментов, кантату «Май», кантату «Стальной мир», воспевшую союз рабочих и крестьян (она была отмечена на Всемирном фестивале молодежи в Варшаве), увертюру «К социализму», большое количество песен на народные мотивы. Музыка Буриана часто звучит по радио и в концертных залах не только в Чехословакии, но и за рубежом.

* * *

Театральный спектакль — это, разумеется, результат работы всего коллектива. Но бесспорно, что авторитет, творческая эрудиция, художественная и политическая принципиальность народного артиста Э. Ф. Буриана — режиссера, композитора, журналиста, поэта, драматурга и писателя в одном лице — придали театру «Д-34» своеобразный отпечаток оригинальности. Этот театр стоит в первых рядах чехословацкого искусства, и он по праву своими первыми послевоенными гастролями представит в СССР чехословацкое искусство.

Прага

ЛЕНИН В ПОЛЬШЕ

□

В. Найдус. Ленин в Польше. Москва, Издательство иностранной литературы, 1957.

□

Советским людям, как и всему прогрессивному человечеству, близко и дорого все, что связано с именем В. И. Ленина. Поэтому каждая новая книга о Ленине вызывает живой интерес у советских читателей. Это относится и к вышедшей недавно в русском переводе книге польского историка Валентины Найдус «Ленин в Польше».

Книга В. Найдус посвящена мало изученному периоду пребывания В. И. Ленина в эмиграции в Польше. В своей работе автор использовал материалы, хранящиеся в Институте истории партии при ЦК ПОРП, воспоминания о В. И. Ленине Н. К. Крупской, С. Ю. Багоцкого, Я. Ганецкого и других товарищей. В книге приводится много новых, неизвестных до сего времени фактов и документов о жизни и работе В. И. Ленина в 1912—1914 годах, во время его пребывания в Поронино и Кракове.

После поражения первой русской революции 1905 года Ленин был вынужден эмигрировать в Женеву, а затем в Париж, где прожил с 1908 по 1912 год. Мощное развитие классовой борьбы в России и необходимость руководства этой борьбой обусловили переезд В. И. Ленина из Парижа в Краков, который находился вблизи тогдашней государственной границы России. Непосредственное руководство Ленина было жизненно необходимо нелегальным партийным организациям, быстро восстанавливавшимся в условиях нового революционного подъема; крайне необходимо оно было и редакции газеты «Правда».

В. И. Ленин приехал в Краков 19 июня 1912 года и наладил постоянную связь с крупными партийными организациями в России, с большевистской фракцией Государственной думы, с редакциями легальных и нелегальных газет и журналов.

В. И. Ленин поселился в рабочем предместье Кракова — Пулвсе Звежинецке. В Кракове за ним, как и за всеми приезжими социал-демократами, была установлена слежка полиции. Об этом свидетельствует пометка на протоколе показаний В. И. Ленина о причинах его приезда в Галицию. В связи с этим обстоятельством В. И. Ленин обратился к депутату австрийского парламента адвокату Мареку (до первой мировой войны Галиция входила в состав Австро-Венгрии), который ходатайствовал перед краковской полицией о прекращении слежки за Лениным. Следили за В. И. Лениным и агенты царской полиции, находившиеся в Кракове.

В. И. Ленин переехал на другой конец города, на улицу Любомирского. Здесь на его квартире была сосредоточена работа Заграничного бюро ЦК РСДРП, находился партийный архив РСДРП; здесь в декабре 1912 года было проведено совещание ЦК РСДРП с партийными работниками из России.

Автор рассказывает о больших материальных затруднениях, которые испытывал В. И. Ленин в эмиграции, о его необычайной простоте, которая поражала всех тех, кто с ним встречался в Кракове. «Этот скромный эмигрант внешне ничем не выделялся среди жителей рабочего квартала,

где он поселился»,— пишет В. Найдус.

В 1913 году в связи с ухудшением здоровья Н. К. Крупской В. И. Ленин переехал в село Поронино, находящееся вблизи Кракова, а в начале мая — в поселок Белый Дунаец. Автор тепло повествует о чрезвычайно скромной обстановке, в которой жил великий вождь. «Дача, снятая В. И. Лениным, состояла из двух комнат и кухни, а также комнатушки в мансарде, откуда открывался прекрасный вид на горы. Она служила Ленину кабинетом. Здесь... размещались на простых деревянных полках книги Ленина — значительная часть его библиотеки. Иногда в этой комнате ночевал кто-либо из приезжавших товарищей, и тогда Ленин работал внизу».

В. И. Ленин интересовался жизнью и бытом гуралов (польского населения, проживающего в предгорьях Карпат), условиями жизни галицийских крестьян, изучал польский язык.

В. И. Ленин большое внимание уделял польскому рабочему движению, он принимал участие в рабочих собраниях и митингах, читал лекции для польских социал-демократов о русском рабочем движении, сотрудничал в «Газете роботничей» — органе Варшавского Комитета СДКПиЛ (Социал-демократия Королевства Польского и Литвы). В. Найдус сообщает о неизвестном до сего времени факте сотрудничества В. И. Ленина в краковском журнале «Вензень политичны» («Политический заключенный») — органе Краковского Союза помощи политическим заключенным, правда, не давая ссылок на источники.

Большой раздел в книге посвящен разработке В. И. Лениным национального вопроса. Статьи В. И. Ленина по национальному вопросу помогали польским социал-демократам преодолевать их ошибки, заключавшиеся в отрицании руководителями СДКПиЛ лозунга права наций на самоопределение. Ленин высоко ценил деятельность СДКПиЛ, но подвергал резкой критике ее руководителей, в том числе и Р. Люксембург. Очень подробно рассказывается в книге об отношении В. И. Ленина к польским политическим партиям — СДКПиЛ, ППС-левице и ППС-фракции.

Начало империалистической войны застало В. И. Ленина в Поронино. 26 июля (8 августа) 1914 года Ленин был арестован австрийской полицией по ложному доносу, обвинен в шпионаже и заключен в тюрьму в Новом Тарге. В книге приводятся новые данные об обстоятельствах ареста и освобождения Ленина, неизвестные советскому читателю, о сборе денег Комитетом помощи политическим заключенным в Новом Тарге, об участии в освобождении В. И. Ленина известных польских писателей Стефана Жеромского и Владислава Оркана, выдающихся деятелей польского революционного движения Я. Ганецкого, А. Варского, В. Костшевы, а также Ф. Кона. Вскоре после освобождения из тюрьмы В. И. Ленин с Н. К. Крупской и ее матерью выехали в Швейцарию, где пребывали до 1917 года.

В заключение автор пишет о розысках архива В. И. Ленина, оставленного им после отъезда из Польши. В 1954 году большая часть краковско-поронинского архива В. И. Ленина была передана Польским правительством Советскому правительству. Эти документы хранятся в настоящее время в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Книга В. Найдус вызовет большой интерес у советских читателей. Несмотря на то, что в книге много места уделено специальным исследованиям о разработке В. И. Лениным национального вопроса, об отношении В. И. Ленина к польским политическим партиям и польскому вопросу, книга написана доступным, понятным широкому кругу читателей языком. Выход в свет этой книги — яркое свидетельство крепнущих связей советской культуры с культурой зарубежных социалистических стран.

В. Неволина

СПЛОЧЕННОСТЬ ЛИТЕРАТОРОВ КИТАЯ

□

捍保衛社會主義文藝路綫而斗爭
上下册　新文藝出版社　上海

□

В ходе борьбы с правыми элементами в китайской печати было опубликовано большое число статей и выступлений, разоблачающих действия и высказывания правых в литературе.

О размахе и накале этой борьбы, о том, какой отклик вызвала она в среде китайских писателей, критиков и литературоведов, наглядно свидетельствует двухтомный сборник статей «Борьба в защиту социалистической линии в литературе и искусстве», недавно выпущенный в свет издательством «Синьвэньи». В сборнике собрано сто сорок восемь статей, дающих представление о борьбе китайских литераторов с правыми элементами.

Сборник открывают опубликованные в разное время передовые статьи из центральных газет и литературных журналов.

Первые три статьи в сборнике посвящены об-

щим вопросам борьбы с буржуазными правыми элементами и как бы вводят читателя в курс дела, показывают классовую природу возникновения этой борьбы, подчеркивают огромное значение выступления тов. Мао Цзэ-дуна «К вопросу о правильном разрешении противоречий внутри народа».

Эти статьи помогают понять, как в результате проведения курса на правильное разрешение противоречий внутри народа, а также разъяснения лозунга «пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ» и развернувшегося движения за упорядочение стиля в работе в стране заметно оживилась политическая жизнь. Этим и воспользовались буржуазные правые элементы. Под прикрытием движения за упорядочение стиля в работе они обрушились на партию, на социализм. События, говорится в одной из статей, развивались в те три месяца, когда началась борьба с правыми, быстрее, чем за три года в обычное время. Слова эти можно в полной мере отнести и к последующим этапам борьбы с правыми элементами, когда политическая сознательность широких масс китайского народа росла и укреплялась небывало быстрыми темпами.

Правые элементы в литературе повели атаку на политику партии в области литературы и искусства, ратовали за «свободу творчества», призывая «писать правду», на самом деле подразумевая под этим непомерное раздувание в литературе негативных сторон жизни. Отрицая успехи, достигнутые китайской литературой после освобождения, они нападали на социалистический реализм, на литературу Советского Союза. Некоторые члены партии из числа писателей также скатились на антипартийные, антисоциалистические позиции. В связи с этим значительное место в сборнике отведено статьям, разоблачающим действия антипартийной группы Дин Лин — Чэнь Ци-ся и Фэн Сюе-фэна, стоящих, по существу, на тех же позициях, что и разоблаченный три года назад Ху Фын, а также входивших в той или иной степени в эту группу Ли Ю-жаня, Ай Цина, Ло Фэна, Бай Лан и других.

В своих статьях китайские литераторы единодушно осуждают антипартийную деятельность этой группы. Статьи Мао Дуня, Хэ Ци-фана, Лю Бай-юя, Чжан Тянь-и, Цао Мин, Тянь Цзяня, Кан Чжо и многих других известных литераторов разоблачают истинный облик Дин Лин, Чэнь Ци-ся, Фэн Сюе-фэна, Лю Бинь-яня, Лю Шао-тана, Ван Ку-вана и других, выступавших против партийного руководства литературой, проповедующих буржуазно - индивидуалистические, антипартийные взгляды. Прослеживая историю развития этих взглядов, авторы статей подчеркивают, что участникам антипартийной группы давно уже были свойственны подобные настроения. Особенно ярко эти настроения проявились еще пятнадцать лет назад в статьях, опубликованных в Яньани. В тот тяжелый для КПК период борьбы Дин Лин, так же как и Ло Фэн, Ай Цин, Сяо Цзюнь, выступили с пасквильными статьями, в которых клеветали на партию, на жизнь в освобожденных районах, нанося тем самым удар в спину революции. Неслучайно эти статьи были в то время использованы гоминдановцами для антикоммунистической пропаганды. Следует отметить, что в сборнике эти статьи помещены в виде приложения для того, чтобы читатель мог более внимательно и серьезно разобраться в реакционных выступлениях правых элементов в литературе, чтобы всем до конца стал ясен их морально-политический облик и степень идейного разложения.

В сборник вошли также выступления целого ряда видных литераторов и критиков на расширенном партийном собрании-сессии Союза китайских писателей, посвященном разоблачению антипартийной группы Дин Лин — Чэнь Ци-ся. Здесь помещены речи Лу Дин-и, Чжоу Яна, Го Можо, Мао Дуня, Сюй Гуанпин, Ба Цзиня, Цзинь И, Лао Шэ, Линь Мо-ханя, Ай У, Цао Юя, Ли Си-фаня и многих других. На заседаниях, продолжавшихся около трех месяцев, выступило более тысячи литераторов, деятелей искусства, общественных деятелей. Помещена в сборнике и большая речь секретаря партийной организации Союза китайских писателей Шао Цюань-линя, подводящая итоги борьбы против антипартийной группы.

Подчеркнув значение борьбы с правыми, Шао Цюань-линь указал, что эта борьба является великой борьбой между двумя линиями в области литературы и искусства, которая имеет общегосударственное, историческое значение.

Изданный сборник — документ, свидетельствующий о сплоченности китайских литераторов в борьбе против правых элементов, о их верности делу партии, делу социализма.

Р. Белоусов

НУРДАЛЬ ГРИГ— ПОЭТ И БОРЕЦ

□

Gerd Grieg. Nordahl Grieg — slik jeg kjente ham. Oslo, Gyldendal, 1957.

□

Нурдаль Григ — крупнейший норвежский прогрессивный писатель нашего времени. В годы между войнами и в военное время его творчество было маяком, свет которого и сейчас освещает нашей литературе путь в будущее.

Кто был этот человек? Спор о нем до сих пор не прекращается. Буржуазные критики, задающие тон, пытаются доказать, что творчество Грига не представляет большой художественной ценности, что писатель слишком связан со своей эпохой, что он не является столько большим мастером, чтобы ему можно было отвести место в веках. Но чистый, ясный голос Нурдаля Грига будет звучать и в будущем, в то время, когда заглохнут все фальшивые голоса модернистского хора. Его духовная жизнь была исполнена веры, воодушевления, воли к борьбе. Ему не приходилось, подобно модернистам наших дней, заполнять пустоту души отчаянием, страхом, желанием смерти.

Сейчас вдова Грига, Герд Григ, выпустила о нем книгу «Нурдаль Григ — каким я его знала». Она познакомилась с Григом в начале тридцатых годов, как раз перед его отъездом в Москву. Двухлетнее пребывание в Москве явилось поворотным пунктом в жизни писателя. Начиная с этого времени, все, что он делал, было направлено к одной цели — к непримиримой борьбе против фашизма и всех форм реакции, к солидарности с рабочим классом, к борьбе за коммунистическое общество.

Ни один норвежец не боролся так убежденно, как Нурдаль Григ, чтобы предостеречь свой народ от опасности нацизма, угрожающие симптомы которого имелись и внутри страны. У Грига не было никаких иллюзий. Он знал, что капиталисты готовы вступить в союз хоть с самим дьяволом, лишь бы обеспечить себе возможность прибылей. Свое творчество Григ посвятил борьбе против нацизма и войны. Как раз в эти последние предвоенные годы он написал три самых значительных своих произведения.

Первое из них — «Наша честь и наше могущество» (1935) — гневное выступление против норвежских судовладельцев, которых принято считать опорой страны: они обеспечивают ей твердую валюту. Но в тех случаях, когда их прибылям угрожает опасность, судовладельцы не брезгают никакими средствами и легко жертвуют жизнями простых матросов. Григ берет рядового матроса под свою защиту и воздвигает ему бессмертный памятник.

В 1937 году Григ пишет «Поражение» — пьесу о Парижской Коммуне. Писатель видел достижения русской революции, он знал, что ей принадлежит будущее. Но темой своего произведения он выбрал революцию, закончившуюся поражением, чтобы поднять все прогрессивные силы для еще более сознательного сопротивления волне контрреволюции, которую представлял собой фашизм, рассматриваемый в международной перспективе. «Поражение» написано в честь простых людей, являвшихся главной силой Парижской Коммуны. Их поражение, несущее в себе вместе с тем ростки победы, должно было научить современников важной истине: никогда не отчаиваться, как бы мрачно ни было на горизонте, не отчаиваться даже в самом поражении, потому что победа близка.

«Мир еще может быть молод» (1938) — большой роман, в котором Нурдаль Григ использует свои впечатления о пребывании в Советском Союзе, Испании и Англии. Это роман о прочной вере рабочего, о колебаниях интеллигентов, о верности, которую требует женщина. Этот роман о Советском Союзе, неудержимо движущемся к коммунизму, как корабль, стремящийся в гавань через все отмели и рифы. Это роман о героической борьбе испанского народа против обмана, низости и международных интриг.

В 1936—1937 годах Нурдаль Григ издавал журнал «Вейен фрем» («Путь вперед»). В публицистической деятельности Грига вдохновлял и поддерживал его ближайший сотрудник, талантливый литературный критик-марксист Ивар Дигернес. Дигернес был его учителем. Творчество и суждения Грига многим обязаны этому твердому человеку, значение которого до сих пор не оценено по заслугам.

Герд Григ рисует яркую картину непримиримой борьбы Грига в предвоенное время. Она была самым близким ему человеком и видела его беспокойство и опасения. Надежда не покидала Грига, но в то же время он яснее всех видел, как велики были силы, препятствовавшие осуществлению его надежд. Его патриотизм всячески старались подвергнуть сомнению в профашистских кругах. Но он мужественно отвечал: мои мысли всегда с Норвегией. Григ был коммунистом по убеждениям и норвежцем в сердце. Его произведения, социалистические по содержанию, отмечены особой печатью его личности и национальности. Писатель был чужд оппортунизма; только среди простых людей он чувствовал себя хорошо; только в идеологии марксизма-ленинизма мог найти пристанище его мятущийся дух.

Когда в 1940 году Германия напала на Норвегию, Григ проявил решимость бороться. Он был вместе с отступавшими частями норвежской армии и в конце концов очутился в Англии

В то время наибольшее значение писатель придавал своей лирике. Его стихи, которые он читал по радио в передачах для Норвегии, читал своим муже-

ственным, богатым оттенками, сильным голосом, поднимали дух участников норвежского сопротивления. В те роковые дни Герд Григ была теснее, чем когда-либо, связана с ним. Талантливая актриса, она тоже чувствовала, что ее долг — поставить свой талант на службу национального освобождения. Она читала для норвежских моряков и солдат, которые боролись за то, чтобы Норвегия снова стала свободной. У нее и у Нурдаля Грига была общая задача. В это время и любовь их достигла своей вершины. Используя письма и личные воспоминания, рассказывает Герд Григ о жизни в те тревожные и суровые дни.

Герд Григ упоминает о том, какое сопротивление встречал Григ со стороны консервативных кругов, которые даже в то решающее для судьбы страны время не переставали направлять в него свои едкие стрелы. Но Григ был более патриотичен по своим убеждениям, чем они сами. Он никогда не сворачивал с пути, никогда не уклонялся от встречи с врагом. Все, что рассказывает Герд Григ, является открытым и прямым ответом всем тем, кто в послевоенное время пытался исказить образ Грига, утверждая, что в последние годы своей жизни он якобы отошел от своих коммунистических убеждений. Теперь с этими измышлениями покончено навсегда. Григ был верен своему делу даже в самой смерти. 3 декабря 1943 года он был убит на борту английского бомбардировщика, пролетавшего над Берлином.

Так кончилась жизнь этого нового Икара, который предъявлял одинаково строгие требования к своему времени и к себе.

Воспоминания Герд Григ о своем муже — одном из величайших сынов Норвегии и ее величайших поэтов — принадлежат к самым ярким произведениям, из числа опубликованных в Норвегии в прошлом году.

Мартин Наг

Осло.

КНИГА ОБ АЛЕКСАНДРЕ МОИССИ

□

Selman Vagari. Aleksandër Moisiu. Tiranë, Ndërmarrja shtetërore e botimeve, 1957.

□

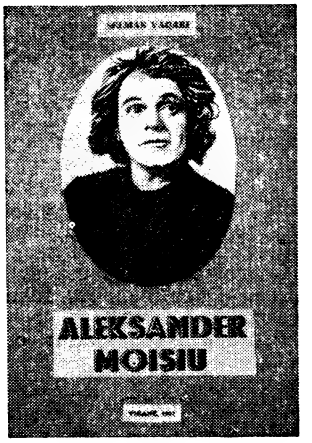
«Смотришь Моисси — и влюбляешься в человеческий разум»,—писал русский журнал «Зрелища» в марте 1924 года, откликаясь на гастроли знаменитого артиста Александра Моисси (1880—1935), албанца по происхождению, жившего и работавшего в Германии. Этой мыслью пронизана недавно вышедшая в Албании книга «Александр Моисси» — первая в стране работа, посвященная артисту. Она принадлежит перу молодого албанского режиссера Сельмана Вачари.

Ныне актерское мастерство Моисси признано всеми, однако добиться признания актеру было нелегко. Большую, можно сказать, решающую роль сыграл в этом знаменитый режиссер Рейнгардт. Игра Моисси, с самого начала тяготевшая к реалистической трактовке образов, вступила в конфликт с господствовавшими в то время на немецкой сцене натурализмом и экспрессионизмом. Рейнгардт всячески поддерживал актера в этом направлении.

Голо из «Геновефы» Геббеля, Франц Моор и Дон Карлос из трагедий Шиллера и другие роли Моисси-дебютанта вызвали самые разнообразные мнения. Однако настойчивость Рейнгардта, поручавшего артисту все новые роли, настойчивая работа Моисси по овладению сценической техникой и изучению в совершенстве немецкого языка, постепенный переход от риторической декламационности к спокойной организации голоса, стремление отразить всю глубину содержания образа приводят актера к успеху.

1909 год стал для него годом блестящих побед: Фауст, маркиз Поза, Гамлет, а позже — царь Эдип, вызвавший бурю восторга. По праву говорил тогда Рейнгардт: «Нашел! Нашел артиста, который был мне нужен!»

Моисси совершает поездки по многим странам Европы. Побывал он в 1911 году и в России. Петербургский журнал «Театр и искусство» назвал тогда рейнгардтовскую постановку «Царя Эдипа» Софокла с Моисси в заглавной роли «истинным чудом трагического действа». Ровно через год, весной 1912 года Моисси гастролировал в Москве, где имел не меньший успех.



Первая мировая война, все тяготы которой Моисси испытал на себе, участвуя в ней сначала в качестве солдата, а потом — летчика, пребывание в плену во Франции, отклики в Германии на Октябрьскую революцию — все это определенным образом оформило его общественные устремления,

дало возможность по-новому толковать образы Шекспира и Шиллера. Период сценической деятельности после Октябрьской революции автор книги по праву считает периодом творческой зрелости Моисси.

Книга Вачари, рассказывая о жизни и творчестве Моисси, об особенностях его актерской манеры, показывает также и общественное лицо артиста. Моисси был страстным гуманистом, он ненавидел войну. В книге приводится любопытный эпизод: на одном из приемов в Париже Александра Моисси представили военному министру Франции. Моисси, театрально поклонясь, представился со словами: «Господин военный министр, я — против войны».

Где бы ни бывал Моисси, его можно было видеть среди простого народа, среди крестьян и рабочих. К этому утверждению Вачари интересно добавить также данные, приведенные на страницах журнала «Рабочий зритель» в 1924 году: «Представление о Моисси красноречиво дополняется тем фактом, что он хорошо известен немецким рабочим... как лектор—а не только как актер. В цирке Шумана, вмещающем до 4000 человек, Моисси читал рабочей публике о Шиллере, Гете, Шекспире, Толстом...»

Вачари подчеркивает сочувствие Моисси новому обществу, складывавшемуся в России, упоминает о встречах Моисси с русскими театральными деятелями; но все же связи Моисси с русским и советским театром, а также его гастроли у нас освещены недостаточно. Жаль, что нет, например, следующего высказывания артиста в интервью, данном в 1924 году берлинскому журналисту в связи с предстоявшим отъездом в Москву: «Меня все время тянет в Россию, давно я в ней не был. С большим удовольствием принял я предложение играть в Москве. Меня интересует, как примет меня теперь русская театральная публика. А с революцией, я думаю, публика сильно изменилась. Пришел тот новый зритель, которого раньше называли «низами».

Новый советский зритель, театральная общественность Москвы и Ленинграда восторженно приняли его Гамлета, Эдипа, Федю Протасова и Освальда из «Привидений» Ибсена. Моисси был первым западноевропейским актером, вступившим на советскую землю.

Очень характерна и небольшая статья Моисси — «Кризис германского театра»,— написанная в 1924 году специально для журнала «Жизнь искусства», где говорилось, в частности: «...русский театр работает с самым горячим увлечением, глубоко, серьезно, вдохновенно и идейно... И я заявляю смело и открыто, что если бы мне сегодня предоставили выбор: артистом какого театра в мире я бы хотел быть,— то я бы ответил без колебаний: Артистом русского театра».

Столь явные симпатии к Советской России вызвали преследования со стороны профашистски настроенных национал-шовинистов. Они объявили Моисси «человеком без национальности», без родины и вынудили его покинуть Германию. У Моисси была родина — Албания, и об этом он никогда не забывал. Но в тогдашней Албании профессионального театра не существовало, а король Зогу милостиво дал согласие на въезд Моисси в Албанию , с условием что тот станет придворным церемониймейстером. Артист, естественно, согласиться на это не мог.

Разъезжая с гастролями по всему свету, Моисси продолжал хлопотать о получении албанского подданства, чего и добился, наконец, в 1934 году. «...Очень хочу я вернуться в Албанию. В этом году обязательно приеду...» — говорил он своим соотечественникам, с которыми нередко встречался. Но его мечте не суждено было сбыться. В апреле 1935 года Моисси заболел и умер в Риме.

Сегодня в народной Албании с гордостью и уважением произносят имя Моисси. Чтя его память, трудящиеся Дурреса, родного города актера, назвали его именем свой профессиональный театр. Появление книги Вачари было встречено с большим интересом и удовлетворением.

Р. Кочи

СВОБОДА ЦИНИЧНОГО ЗУБОСКАЛЬСТВА

□

Evelyn Waugh. The Ordeal of Gilbert Pinfold. London, Chapman and Hall, 1957.

□

«Цинизм прикрывается и свободой — исканием полной свободы, — это наиболее подлая маска его», — писал Горький. Недавняя книжка Эвлина Во, как, впрочем, и весь его литературный путь, может служить наглядным примером, подтверждающим это наблюдение.

Никто так охотно не афишировал свое презрение к национальным традициям, гражданскому долгу и совести писателя, как Эвлин Во. Что же скрывалось за этими фразами о «свободе» и «независимости» литературы? Циничное служение самым низменным и грязным богам. В тридцатых годах, в то время, когда прогрессивное человечество собирало силы для борьбы с фашистской агрессией, Эвлин Во демонстративно восхищался кровавыми «подвигами» итальянских чернорубашечников в Абиссинии и сочинил восторженную биографию Эдмунда Кэмпиона — английского иезуита, казненного во времена Елизаветы за государственную измену. Не луч-

шего «героя» выбрал для себя Во и в годы войны. В романе, иронически озаглавленном «Вывешивайте побольше флагов», он усиленно потешался над не столь уж забавными похождениями великосветского шалопая, который, увиливая от воинской повинности, сумел сделать из войны своего рода бизнес, шантажируя обывателей и донося на своих друзей.

Ныне Эвлин Во выступает с романом, имеющим, как услужливо сообщает рекламирующее его издательство, автобиографическое значение. Это роман об английском писателе; действие его происходит в наше время, в 1954 году, и озаглавлен он внушительно: «Испытание Джильберта Пинфолда». Но напрасно стал бы читатель искать здесь рассказ о тех общественных и нравственных испытаниях, которые выпадают на долю художника в странах капитализма. Треволнения мистера Пинфолда не имеют ничего общего с теми опасениями и надеждами, которые вызывают у каждого честного литератора и судьбы его страны и народа, и судьбы человечества. Эвлин Во считает долгом особо оговорить, что его двойник Джильберт Пинфолд «совершенно лишен того, что сейчас именуется «гражданской совестью (social conscience).

И действительно, попав в Египет в самый разгар успешной борьбы египтян за свою национальную независимость, мистер Пинфолд с полнейшим равнодушием взирает на то, как, говоря словами автора, «смуглые, угрюмые английские солдаты уступают место смуглым, угрюмым египтянам...» «Мистер Пинфолд был погружен в свое непроницаемое спокойствие», — поясняет Эвлин Во.

Столь же непроницаемо равнодушен Джильберт Пинфолд и к жизни Цейлона, где он завершает свое путешествие, описанное в книге. Более всего занимают его здесь три легких «розовато-бежевых» костюма, заказанных местному портному, которые, как с удовлетворением спешит сообщить читателю романист, «оказались не совсем бесполезными».

Так в чем же заключалось «испытание» этого британского путешественника, закованного в столь прочную защитную броню эгоцентрического равнодушия и самодовольства? Увы, оно проистекало из весьма низменных причин. Многие месяцы, даже годы, мистер Пинфолд втайне от своего врача злоупотреблял прописанными ему лекарствами; к этому прибавилась другая дурная привычка — неумеренное потребление вина, коньяка и джина. К тому времени, когда мистер Пинфолд вступил на палубу океанского парохода в надежде, что найдет здесь желанный покой и вдохновение и примется за работу над новым романом, его мозг, отравленный алкоголем и наркотиками, уже отказывался работать. Мистер Пинфолд был, что называется, совсем «готов» и вполне годился в пациенты нервно - психиатрической клиники. Но врача поблизости не нашлось; а так как Джильберт Пинфолд — как и Эвлин Во — был профессиональным беллетристом, то все его бредовые галлюцинации оказались увековеченными не в истории болезни, а в романе.

Бред алкоголика, допившегося «до чертиков», — явление весьма антиэстетическое. Это, однако, нимало не смущает бывалого романиста. Широким жестом он выплескивает под ноги читателям одно за другим ведра помоев. Вся грязь и муть, накопившаяся в больном сознании его «героя», всплывает наружу и льется через край. Садистские кошмары и грязные эротические сцены, грубейшая площадная ругань, в которую неспроста вкраплены антисоветские выпады, панические слухи о международном заговоре против Англии, первой жертвой которого суждено стать именно ему, Джильберту Пинфолду, — все это, как выясняется напоследок, лишь чудилось герою книги, было частью его долгих, многодневных галлюцинаций, которые он, выздоровев, поспешил обнародовать. По-видимому, такой оборот дела кажется Эвлину Во столь же «забавным», сколь и удобным: что может быть «свободнее» и «безответственнее», чем бред потерявшего голову пропойцы? Автор спешит максимально использовать все сомнительные преимущества этой ситуации, оглушая читателя таким набором непристойностей и мерзостей, какой чаще можно встретить в американских комиксах, чем в английском романе.

«Испытание Джильберта Пинфолда» стоит за пределами искусства. Но книга эта, вместе с тем, по-своему поучительна. Хотя это и не входило в намерения ее автора, написанное им оказывается наглядной и убедительной уликой против нынешних модернистских апостолов «свободы» искусства от ответственности перед народом, от «гражданской совести», как весьма откровенно выражается сам Эвлин Во. Свобода циничного зубоскальства, свобода наглого надругательства над всеми человеческими ценностями, включая и само искусство,— так выглядит на деле, как показывает «автобиографический» роман Во, эта пресловутая «свобода» писателя от гражданского долга.

В кратком резюме на суперобложке «Испытания Джильберта Пинфолда» издательство «Чапмен и Холл» рекламирует его как «легкий» роман, который должен порадовать всех тех, кто «живет на границе здоровья и ненормальности, что, по медицинским подсчетам, составляет несколько больше половины населения британского королевства». Чего не скажешь ради шиллингов и пенсов! Но, видно, недобрые времена наступили для английской культуры, если с такими «объявлениями» выступает издательство «Чапмен и Холл», фирма, которая за-

нимает почетное место в истории классической литературы Англии. Этой фирме не требовалось подобной рекламы, когда она издавала Диккенса и Мередита. Эвлин Во — другое дело. Но, вопреки всем заверениям сотрудников рекламного бюро «Чапмена и Холла», мы позволим себе выразить твердую уверенность в том, что их медицинская статистика представляет собой такой же циничный блеф, как и кошмары Эвлина Во и Джильберта Пинфолда, и что широкие читательские круги Англии не дадут обмануть себя насчет мнимых достоинств этой пошлой и дурнопахнущей книги.

А. Елистратова

НОВЫЙ РОМАН ЯНА МЮРДАЛЯ

□

Jan Myrdal. Badrumskranen. Stockholm, P. A. Norstedt och söners Förlag 1957.

□

Те удивительные события, которые Ян Мюрдаль описывает в своем новом романе «Кран ванны», произошли в одно мирное летнее воскресенье. Утром того злополучного дня ничто еще не предвещало катастроф, которые обрушились на героев несколько часов спустя. И эта внезапность, неподготовленность действия очень характерна для книги Мюрдаля, в которой полновластно царит случай.

В то утро солнце сияло как всегда, воздух был напоен запахами хвои и бензина, по стокгольмскому шоссе вереницей мчались автобусы с богатыми американскими туристами, слушавшими монотонный голос гида, который расхваливал шведский образ жизни. Ульф Юханссон, агент по продаже пишущих машин, проснулся с тяжелой головой, отвратительным металлическим вкусом во рту и твердым намерением больше так не напиваться. Блуждающий взор Ульфа упал на пол, и он увидел, что посреди комнаты лежит кран, большой никелированный кран ванны. Как Ульф ни старался, он не мог вспомнить, откуда взялся этот кран, и в душу этого широкоплечего, сильного тридцатилетнего человека закрался страх. Ульф вскочил с постели, стремительно оделся, завернул кран в газету и вышел на улицу, надеясь напасть на какой-нибудь след своих ночных похождений.

Так Ян Мюрдаль начинает свой роман. Его герои — жители двух пригородных коттеджей, окруженных красивым садом. «Там жили люди, которые мечтали, надеялись, тосковали. У каждого из них были свои неразрешенные проблемы, своя жизнь».

Ян Мюрдаль всячески тормозит развитие сюжета. Словно забыв про детективную завязку, писатель очень подробно и обстоятельно рассказывает о каждом из своих героев. Кажется, что автор заботится только об одном — любыми средствами создать у читателя ощущение полной застойности той жизни, которую он описывает. И надо сказать, что он вполне достигает своей цели: с каждой страницей мы все глубже погружаемся в трясину этого непостижимого, хаотического мирка, населенного диковинными людьми.

Одинокий старик Антонссон, владелец коттеджей и маленького заводика по производству стирального порошка «Сорми», страдает манией преследования, рассчитывает пережить всех своих родственников и целыми днями переписывает свое завещание, стремясь его получше зашифровать («он их всех проведет!»). Слабоумная Барбру Антонссон создала себе игрушечный мирок и после смерти своей «дорогой мамочки» боится выходить на улицу. Мелкий конторский служащий Юдре следит за всеми («пригодится!»), собирает марки, строит модели паровозов и питает маниакальную надежду прославиться на весь мир, стать миллионером и быть приглашенным на обед к королю. Его молодая жена — простодушная, глупенькая Май-Бритт — томится от скуки, мечтает о ребенке и с горя ходит с подругой по ресторанам. Циничный старый холостяк Окессон отвечает под псевдонимом «Агата» на письма читательниц в крупной вечерней газете, страдает от неразделенной любви, но легко находит утешение в гастрономических изысках. Журналист Эрик Самсун пишет грошовые статейки и грезит о славе великого писателя.

Считая, видимо, что подробные характеристики персонажей еще недостаточно замедляют повествование, Мюрдаль прибегает к вставным эпизодам, не имеющим прямого отношения к сюжету. Читатель настолько привыкает к этой медлительности автора, что стремительный разворот событий на последних тридцати-сорока страницах книги кажется какой-то фантасмагорией. Ужасы громоздятся, словно в «черном» романе: ночная погоня (Юдре принимает Ульфа за взломщика и пытается его задержать, а Ульф от страха оглушает Юдре ударом крана), наводнение в квартире редактора Окессона из-за отвернутого крана, пожар, во время которого чуть не гибнет Антонссон, погруженный в свое завещание; гротескный несчастный случай с журналистом Самсуном, вывалившимся из окна третьего этажа в мечтах о будущей славе; бегство за границу Окессона с документами Самсуна и деньгами директора заводика и т. д.

И этот калейдоскоп событий, перетасовавших судьбы решительно всех дейст-

вующих лиц романа, вызван водопроводным краном — безумная пьяная выходка Ульфа, отвернувшего кран, оказалась той взрывной силой, которая не только привела в движение застойное, уродливое существование всех этих нищих духом людей, но и обеспечила их счастье. Ибо, не исключая и погибшего Самсуна, все персонажи романа осуществляют свою мечту: Самсуна посмертно признают великим писателем, Ульф и Май-Бритт, полюбившие друг друга, благополучно соединяют свои жизни, старик Антонссон усыновляет спасшего его от пожара Юдре, сам Юдре наконец становится богатым, а беспомощная Барбру возвращается к мужу, который после пережитых потрясений стал похож на «игрушечного старичка». Такой иронической «идиллией» завершает Мюрдаль свою книгу — горькую повесть о полубезумных людях, беспомощно барахтающихся в абсурдном мире.

Ян Мюрдаль писал в предисловии к своему первому роману «Возвращение»: «Действие этой книги происходит в наши дни в маленькой стране, которая избежала войны и страшной послевоенной нищеты; но на жизнь этой страны война и послевоенная нищета наложили свою неизгладимую печать». В этих словах — ключ к пониманию книги «Кран ванны», книги талантливого писателя, который ищет, но не находит выхода для своих героев; писателя, который блуждает в описанном им хаотическом мирке, где нет места ни разумной, гуманной надежде, ни сознательной борьбе, и которому вдруг показалось, что этот узкий мирок всеобъемлющ, что ему нет границ ни во времени, ни в пространстве. Но эта книга богата очень точными психологическими наблюдениями, из которых вырастает яркая, хотя и несколько сгущенная картина той полной душевной сумятицы, которую переживает шведский обыватель после второй мировой войны. И в этом смысле новый роман Мюрдаля, несмотря на элементы модернистской поэтики, все же продолжает основное — реалистическое — направление творчества писателя, хотя и стоит несколько особняком среди его остальных книг.

Ян Мюрдаль дебютировал в 1954 году. «Возвращение» — своего рода роман воспитания наизнанку, история распада характера — по проблематике и по стилю продолжает традиции скандинавского критического реализма: жизненный путь преуспевающего редактора Бертиля Буельсона перекликается с судьбой многих героев Стриндберга, Хьеллана, Гарборга, Г. Понтоппидана, а жизнь вымышленного города Юнгсвика вырастает на страницах романа в некий символ всей Швеции. Яна Мюрдаля сближает со скандинавскими реалистами конца XIX века и просветительский пафос; не случайно история нравственной гибели Буельсона завершается оптимистической авторской концовкой: «Над Юнгсвиком дует холодный осенний ветер. Но когда-нибудь настанет утро и старый Юнгсвик исчезнет с лица земли. То светлое утро будет предвещать лучший, более честный и справедливый мир. Мир, в котором человек человеку друг».

Эта вера в конечное торжество «мира, в котором человек человеку друг», живет во всем, что до сих пор писал Ян Мюрдаль. Она пробивается сквозь острую сатиру его романа-памфлета «Торжества», она звучит чуть приглушенно и в романе «Быть и остаться», рассказывающем о первом жестоком столкновении стокгольмского юноши с жизнью. Ее нет в новой книге Яна Мюрдаля. Но мы хотим верить, что он вновь обретет ее. Залогом тому — весь творческий путь этого интересного молодого писателя.

Л. Лунгина

СТРАННЫЙ МЕТОД ПОЛЕМИКИ

□

Juliusz Kydryński. Francusko-włoski socrealism. "Zycie literackie" № 1, 1958.

□

Некоторое время тому назад в Польше демонстрировался фильм французского режиссера Ива Аллегре «Решение», созданный в содружестве с итальянскими киноработниками и известный советским зрителям под названием «Лучшие годы». В связи с просмотром этого фильма в краковском еженедельнике «Жице литерацке» появилась статья критика Юлиуша Кыдрынского.

Статья, может быть, и не привлекла бы нашего внимания, если бы ей не был предпослан весьма броский заголовок —«Франко-итальянский соцреализм». Поэтому мы решили обстоятельно ознакомиться с мнением нашего польского коллеги относительно метода социалистического реализма в кино.

Ю. Кыдрынский, признавая, что в своей картине режиссер и сценарист выступают как прогрессивные деятели киноискусства, ибо задались целью рассказать о буднях строительства горной электростанции, считает, тем не менее, что сама производственная тема фильма «Решение» и определяет тот факт, что этот фильм скучен. Признавая также, что в данном случае Ив Аллегре проявляет совершенно определенную тенденциозность (хотя он, Кыдрынский, вовсе-де не против тенденциозности), польский критик находит в его картине черты социалистического реализма, формулируя их так: «немного

рассуждений о нужде, немного о технике безопасности, немного о прибавке к зарплате, немного о примате общественной жизни перед личной и прочие разговоры, более или менее связанные с этой темой».

Юлиуш Кыдрынский обращается к образу главного инженера строительства Перена, роль которого исполняет популярный артист Жерар Филип. Перен должен принять решение: продолжать строительство или идти лечиться, ибо у него больное сердце. Но и эта ситуация раздражает Кыдрынского. Неужели, мол, режиссер может удивить этим поляков, которые ежечасно подвергают опасности свое сердце, толкаясь в трамваях и простаивая в очередях в кино. Полагая, что таким своеобразным аргументом он сразил всех своих возможных оппонентов, критик зачем-то решает посетовать на то, что поляки в отличие от Перена не могут бросить работу и идти лечиться.

Нет смысла излагать далее мысли Ю. Кыдрынского, ибо они достаточно ясны, так же как и метод аргументации, и стилистическая манера автора, который явно стремится к словесной изощренности в ущерб вдумчивому анализу увиденной картины. Поскольку, с точки зрения Кыдрынского, самое плохое в искусстве связано с методом социалистического реализма (а как он понимает метод социалистического реализма, мы видели выше), критик решает заклеймить Ива Аллегре и его друзей. Даже сценарные и режиссерские просчеты авторов фильма критик также приписывает методу.

Критикуя фильм за «социальную тему» (кавычки Ю. Кыдрынского), критик пытается зачеркнуть объективное значение произведения Ива Аллегре. Он видит в фильме только то, что алжирские рабочие живут обособленно, что немецкие рабочие на стройке развращают француженок, что заболевание силикозом вызвано не отсутствием охраны труда, а отказом пользоваться масками. Он не понял, что сочувственное изображение в кино труда алжирских рабочих было само по себе актом гражданского мужества. И главное: он не увидел стремления режиссера правдиво показать труд людей, возводящих плотину и проявляющих при этом подлинный героизм. Вместо того, чтобы приветствовать появление такого фильма во Франции, наш критик нападает на польскую кинематографию, которая якобы только тем и занята, что освещает производственные проблемы.

Такое заявление само по себе вызывает удивление, ибо некоторые фильмы, идущие на польских экранах в последнее время, подтверждают обратное. Польская кинематография скорее отворачивается от «производственных проблем», она редко говорит о нашем современнике и его месте в общественной и производственной в том числе жизни. Вместо этого иные кинодеятели обращаются к истории («Героика»), к легковесным комедиям («Ева») или к экранизации произведений упадочнической литературы («Петля» по рассказу М. Хласко).

Далее, Кыдрынский отказывается рассматривать фильм Аллегре как определенный этап в творчестве режиссера, создавшего немало «боевиков». Между тем, следует подчеркнуть, что Ив Аллегре пришел к созданию фильма «Решение» потому, что почувствовал отвращение зрителя к порнографии, эротике и пошлому развлекательству на экране. Как писал журнал «Нувель критик», «подлинная симпатия создателей фильма к проблемам, волнующим наш народ, и толкнула их к сюжету более актуальному и здоровому».

Ги Шалон в «Нувель критик» характеризует этот фильм отнюдь не с позиций социалистического реализма — это ему, естественно, и в голову не пришло,— он лишь отмечает, что создатели фильма «стремятся не столько давать ответы на кардинальные вопросы эпохи, сколько помочь людям найти ответ на них и дать им подумать». Большим достоинством такого фильма, отмечал Ги Шалон, является и то, что авторы не преследуют чисто коммерческих интересов, призывая следовать этим путем и других мастеров кино Франции.

Так оценивали этот фильм во Франции. Так оценили его и за пределами Франции: с точки зрения гражданского мужества художника, показавшего на экране после большого перерыва борьбу рабочего класса за свои права; с точки зрения верности Аллегре в данном случае лучшим традициям французского киноискусства, которые характеризуются чертами критического реализма, помогающего вскрыть язвы капиталистического общества.

Быть может, Юлиушу Кыдрынскому лично больше нравятся американские «вестерны» (ковбойские и приключенческие фильмы), появляющиеся на польских экранах, или развлекательные пустяки типа «Фоли-Бержер» француза Анри Декуэна. Он, понятно, имеет право на собственное мнение. Но для подтверждения этого мнения не следовало передергивать карты. Если бы Ю. Кыдрынский подошел к картине не предубежденно, он вынужден был бы признать, что фильм «Решение» — положительное явление во французском кино, что он свидетельствует о расширении кругозора деятелей киноискусства Франции, о поисках новых тем и новых средств воплощения действительности. Все это настолько несомненно, что метод полемики, примененный Ю. Кыдрынским, выглядит явно неубедительным.

От польского критика можно было ждать, повторяем, более серьезного и вдумчивого анализа кинопроизведения, особенно если учесть те задачи, которые стоят перед киноискусством Польши — страны, идущей по пути социализма.

А. Брагинский

НОВАЯ КНИГА АВТОРА „СЧАСТЛИВЧИКА ДЖИМА"

□

Kingsley Amis. I Like it Here. London, Gollanz, 1958.

□

Вышел в свет новый — третий по счету — роман одного из самых популярных писателей современной Англии Кингсли Эмиса, который известен преимущественно как автор «Счастливчика Джима», написанного в 1953 году.

Английская буржуазная критика объявила первую книгу Эмиса самым смешным из романов, написанных после второй мировой войны, а у широких кругов английского читателя, в особенности среди буржуазно-демократической молодежи, Эмис приобрел огромную популярность. Второй роман Эмиса «Это неопределенное чувство» (1955) популярность эту закрепил.

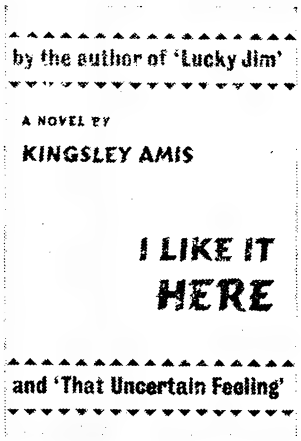
Хотя Кингсли Эмису уже 36 лет и с его фотокарточки смотрит на нас далеко уже не юное лицо, имя Эмиса неразрывно связалось с представлением о той группе «сердитой молодежи», которая считается в Англии не только направлением, но даже движением (притом «Движением» с большой буквы). Эмис наряду с Уэйном был одним из тех писателей, которые заложили основы направления «сердитой молодежи», отразившего настроения большой части английской интеллигенции послевоенного поколения, стоящей на распутье.

Основное, что объединяет писателей, причисляемых к движению «сердитой молодежи», писателей, которые выросли в годы второй мировой войны и были жестоко обмануты в своих надеждах лейбористским правительством, крикливо объявившим свой курс «социальной революцией»,— это герой. Как бы ни были отличны друг от друга герои Эмиса и Уэйна, Брейна и Осборна, все они — молодые люди, принадлежащие к средней интеллигенции и неразрывно связанные даже в своем протесте с той мелкобуржуазной средой, откуда вышли.

Герои Эмиса — молодые люди, получившие высшее образование, но получившие его в заштатных городках и в учебных заведениях «второго класса». Они занимают ту или другую, всегда незавидную, должность: преподавателя-стажера, библиотекаря, клерка. Поведение их определяется непроходимой скукой и пустотой жизни. Они сердиты на других и на себя, недовольны всем, что их окружает, но не поднимаются еще до гнева, который превратил бы их бунт в осмысленный протест с осознанной целью. Герои Эмиса, не видя или, точнее, не желая видеть иных возможностей общественного устройства, кроме тех, которые были обещаны и не реализованы лейбористской партией, впадают в нигилизм и скепсис и часто «бьют стекла», хотя пока еще совершенно беспредметно и чисто словесно.

Буржуазная критика увидела в Эмисе преимущественно юмориста. Нам, однако, представляется, что значение романов Эмиса заключается не в том, в какой мере создателю их удавалось развлечь не слишком взыскательного читателя фарсовыми сценами, не всегда выдержанными в хорошем художественном вкусе (эти сцены, между прочим, на наш взгляд, не так уж неотразимо смешны, как об этом твердят авторы обзоров в английской печати). «Эмисовские» сцены, «эмисовские» эскапады героя, хотя и составляют неотъемлемую часть эмисовских романов, отнюдь не являются в наших глазах тем, что обеспечивает им литературную ценность.

Советского читателя в бо́льшей степени заинтересует другая струя в творчестве Эмиса, струя острой и порой злой сатиры, которую нарочито обходит в своих оценках буржуазная критика. Острые и злые



страницы, острые и злые сатирические зарисовки, которые встречаются уже в «Счастливчике Джиме» (например, портрет молодого бездельника и сноба Бертрана), но становятся более содержательными и меткими в лучшем из романов Эмиса «Это неопределенное чувство»,— вот что должно привлечь внимание советской критики. Описание спектакля в доме провинциального мецената, издевка над «высоколобым» автором бессодержательной и туманной модернистской пьесы, сцена отбора кандидата на должность городского библиотекаря и обсуждения его деловых качеств на совете «отцов города» и ряд подобных сцен и эпизодов в книге «Это неопределенное чувство» давали право говорить не только о рождении незаурядного художника, но и о движении Эмиса в сторону критического реализма.

Недовольство Эмиса современной Англией, как бы ни было оно туманно и неосознанно, нарастало. Казалось, что Эмису остается сделать выбор, который определил бы его позицию среди художников сегодняшнего дня и направил бы его гнев на конкретного противника... Как показывает новый роман Кингсли Эмиса, писатель пошел в своем развитии скорее назад от «Этого неопределенного чувства», чем вперед. Название нового романа — «Мне нравится здесь»,— передающее лейтмотив всей

книги, весьма многозначительно.

«Мне нравится здесь», заявляет на последних страницах романа герой, возвратясь в Лондон после короткой поездки за границу, навязанной ему обстоятельствами и нарушившей будни его привычного существования. Мне нравится здесь (то есть дома, в Англии) — таков подтекст всего романа, герой которого — ленивый и недовольный собой и окружающими молодой английский журналист и писатель, сотрудничающий и в толстых американских журналах, и в Би-би-си. Недовольство и гнев, которые испытывает Гарнет Боуен, отягченный семьей и не всегда сводящий концы с концами, направлены не на общественные порядки в Великобритании, не на американских боссов и английских издателей, а преимущественно на тещу, досаждающую ему советами, на блох и стаи мух, не дающих ему покоя в Лиссабоне, на режим питания, постоянно расстраивающий его пищеварение, и плохое устройство уборных, которым уделено непомерное внимание на страницах небольшой по объему книжки.

Проблема санитарного состояния квартиры, в которой ему приходится жить, совершенно вытесняет из сознания героя красоты природы, памятники старины, не говоря уже о жизни того народа, кратковременным гостем которого он в силу обстоятельств становится. Мне хорошо дома и лучше было бы никогда не покидать налаженный быт благоустроенной Англии, как бы говорит каждая строка новой книги Эмиса, хотя заметим, что быт Гарнета Боуена на родине не так уж устойчив и благоустроенность его лондонского «хоум'а» зависит от каприза квартирохозяина, которого Боуен недаром называет «бароном» Ноулэндом.

Описание «вылазки» за границу Гарнета Боуена хотя и содержит немало бравады и эпатажа, но эпатаж здесь становится мелким и плоским. В книге есть отдельные удачные страницы, есть, как всегда у Эмиса, забавные эпизоды и даже отдельные штрихи сатирического рисунка. Интересны комический портрет самовлюбленного старого писателя Стретера и описание его поведения на могиле Филдинга, картина политического режима Португалии в обрисовке одного из персонажей, высказывания Боуена о современной литературе, однако в целом роман «Мне нравится здесь» воспринимается как досадное отступление с занятых автором творческих позиций.

Написанная с нарочитой небрежностью, как бы нехотя, так же нехотя, как совершает поездку в Лиссабон с сомнительным заданием Гарнет Боуен, книга Эмиса разочаровывает читателя главным образом в силу тенденции, которая определяет и содержание романа, и творческую манеру, и даже стиль автора.

«Это неопределенное чувство» подсказало Джону Льюису отказ от компромисса с буржуазным миром, вывод же Боуена — «мне нравится здесь» — дает противоположное решение той же кардинальной проблемы. Слова, поставленные на титульном листе, говорят о том, что писатель, по крайней мере сегодня, избрал не путь протеста и борьбы, а путь примирения, принятия вещей «такими, какие они есть». Если Кингсли Эмис пойдет и дальше по этому пути, то он, пожалуй, потеряет черты «рассерженного» автора.

В. Ивашева

ТРИ ДЮМА

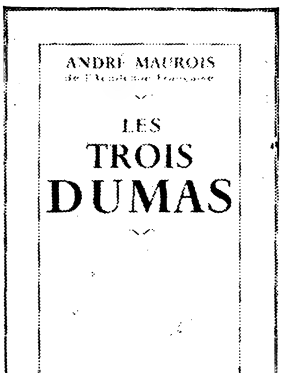
□

André Maurois. Les trois Dumas. Paris, Hachette, 1957.

□

«Как поживаете, Андре Моруа?» — так называлась небольшая заметка на первой странице мартовского номера «Юманите» за 1955 год. Андре Моруа, писатель весьма далекий по своим убеждениям от социалистической идеологии, рассказывалось в ней, продолжая серию романизированных биографий, собирает материал для большой работы о Дюма. И вот перед нами книга «Три Дюма».

Название кажется неожиданным, но, как выясняется, в нем и заключается основная идея книги. Верный своим принципам создания романизированных биографий, Моруа и на этот раз стремится показать историческое и общественное значение Дюма через раскрытие сугубо личных особенностей характера. Вот почему, кроме писателей Дюма — отца и сына,— в книге есть еще и третий, вернее первый, Дюма — генерал, незаурядная жизнь которого предопределила, по мнению Моруа, судьбу его сына и внука.



Генерал Дюма, сын французского дворянина и чернокожей рабыни из Сан-Доминго, начал свою военную

карьеру простым солдатом. В бурную эпоху французской революции и наполеоновских войн беспримерная храбрость уже через три года обеспечила ему генеральские погоны и несколько громких титулов. Однако независимый характер и отсутствие светской гибкости сделали его процветание весьма кратковременным. К моменту рождения сына, названного Александром, больной и забытый друзьями генерал медленно угасал в маленьком городке Вийе-Коттере.

После смерти отца Александр скоро переезжает в Париж. Благодаря протекции одного из старых друзей отца и прекрасному почерку — единственному в то время бесспорному достоинству, которым он обладает,— ему удается получить место в канцелярии герцога Орлеанского. Дюма переписывает бумаги по десять часов в день и оставшийся досуг посвящает мечтам об улыбке фортуны и улыбке Катрин Лабэ, своей соседки. Соседка оказалась благосклоннее и 27 июля 1824 года родила Дюма мальчика, которого тоже назвали Александром.

Что же касается фортуны, то к ее сердцу был только один путь — театр. Увлечение театром было модой, Тальма и м-ль Марс — героями дня. Овации зрителей за один вечер возносили безвестного вчера горемыку к вершинам славы и благополучия. Дюма жаждал и того и другого. Ему повезло. Первая же его драма была принята к постановке в Театр-франсез. Окрыленный удачей, он в два месяца сочиняет новую пьесу «Генрих III и его двор». Сюжетом послужил случайно прочитанный анекдот, необходимые исторические сведения доставил популярный справочник. Пьеса была сыграна в Театр-франсез тридцать восемь раз при полных сборах. Так началась блистательная литературная карьера автора «Трех мушкетеров». Так начинается книга, посвященная жизни и творчеству Дюма.

Основное место в этой книге занимает Дюма-отец, но во второй половине Моруа много пишет и о Дюма-сыне. Дюма-отец так и не признал Катрин Лабэ своей женой, и это тяжело отразилось на судьбе его сына. Жестокие и бессмысленные преследования, которым он долго подвергался как «незаконный ребенок», рано лишили его бездумной жизнерадостности отца и вызвали тот интерес к вопросам морали и нравственности, который впоследствии придал такой своеобразный колорит его творчеству. Отвага и энергия генерала превратились в честолюбие и неразборчивую жадность к жизни у Дюма-отца и меланхолическую созерцательность у Дюма-сына. Такой предстает у Моруа эволюция трех поколений Дюма.

В этой стройной и по-своему логически завершенной схеме есть много тонких психологических наблюдений и любопытных биографических деталей. Очень жаль поэтому, что в ней не нашлось места даже малейшему намеку на то, что темперамент сам по себе еще никак не определяет всего литературного творчества писателя.

Биография трех Дюма в изложении Моруа выглядит вполне правдоподобно. Но как узко и односторонне! Эволюция характеров, определяемая... самой эволюцией характеров. Именно поэтому, несмотря на множество действующих лиц и примет эпохи, у читателя остается впечатление, что рамки книги узки, не выходят за пределы светского салона.

В «Трех Дюма» собран огромный фактический материал, освещающий основные события из жизни генерала Дюма, Дюма-отца и Дюма-сына на протяжении ста лет. Почти на каждой странице цитируются подлинные письма Дюма и их многочисленных друзей. Многие из писем публикуются впервые. Библиография и список упоминаемых имен заняли в приложении несколько десятков страниц. Это действительно памятник трем Дюма, но памятник своеобразный. Его многочисленные детали выразительны и как будто хорошо сочетаются друг с другом. В нем нет только одного: большой идеи, во имя и на основании которой он создан.

Ю. Родман

ЭСКАДРИЛЬЯ „ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"

□

"Theater der Zeit", 1958, No I (Berlin).
Rolf Honold. Geschwader Fledermaus. München, Kurt Desch, 1957.

□

Когда в одном из театров Мюнхена была поставлена новая пьеса молодого немецкого драматурга Рольфа Хонольда «Эскадрилья Летучая мышь», критика единодушно отметила высокую драматургическую технику автора пьесы, его умение создавать острый конфликт, напряженное действие, стремительный диалог. Газеты писали, что Хонольд представляет собой исключение среди молодых драматургов нашего времени, ибо он, в отличие от них, чтит законы драматургии. За Хонольдом прочно утвердилась репутация драматурга, владеющего секретами ремесла. В предисловии к его пьесе, изданной в 1957 году отдельной книжкой, снова подчеркивалась профессиональная зрелость автора «Эскадрильи Летучая мышь».

Берлинский журнал «Театер дер цейт» выступил в январе 1958 года со статьей «Хорошего знания ремесла недостаточно», посвященной пьесе Хонольда. Автор статьи Манфред Хейдике признает профессиональное мастерство Хонольда — бывшего актера, хорошо изучившего все требования сцены. Однако берлинский критик находит — и в этом с ним нельзя не согласиться,— что при оценке пьесы формальный критерий является не единственным и отнюдь не самым главным. Если в пьесе нет четкого идейного замысла, техника ее не спасет — такова основная мысль статьи. Пьесе Хонольда, по мнению рецензента, недостает именно такой четкости, в ней только намечены некоторые верные суждения о бесчеловечности войны, о французской колониальной экспансии в Индокитае... Манфред Хейдике предъявляет Хонольду ряд претензий: автор пьесы не вполне объясняет зрителю причины «грязной» войны во Вьетнаме, позволяя делать любые выводы; выступает с идеей бессмысленности героизма в условиях современной истребительной войны; наконец, в пьесе нет положительного героя.

Бесспорно, что Рольф Хонольд видит действительность глазами художника, стоящего на позициях абстрактного, буржуазного гуманизма. Но Хонольд — художник честный и непредубежденный, и потому в его пьесу, по воле автора или вопреки ей, проникла правда жизни, и это позволяет совершенно недвусмысленно понять отраженные в ней события.

Обратимся к самой пьесе. «Эскадрилья Летучая мышь» — пьеса о горсточке отчаявшихся молодых американцев. Лишенные перспективы у себя на родине, они ринулись в авантюру — поступили в транспортную эскадрилью бывшего генерала Ли, оперирующую во Вьетнаме. Эскадрилья «Летучая мышь» — частное предприятие. Генерал Ли (он когда-то был генералом в армии Чан Кай-ши, и персонажи пьесы продолжают называть его генералом) продает свои услуги французскому командованию: его летчики доставляют боеприпасы на линию огня. Подобно летучим мышам, они летают только ночью. Мистер Ли — алчный, жестокий предприниматель; его единственный принцип — нажива, он беззастенчиво торгует человеческими жизнями, стараясь лишь повыше взвинтить цену. Предприятие мистера Ли приносит ему большой доход, и он исправно платит своим «ребятам». Если они уцелеют, то смогут вернуться на родину, обзавестись собственным гаражом, холодильником, женой... Но уцелеть — это самое трудное в создавшейся обстановке. От раза к разу вылеты «Летучей мыши» становятся все более опасными. Соответственно растет бравада летчиков, их показная бесшабашная удаль, нарочитый цинизм и, с другой стороны, внутреннее отчаяние, глубоко скрытая тоска по утраченному человеческому достоинству. Они продали себя за доллары, стали наемниками, ландскнехтами. От эпизода к эпизоду, после гибели очередного летчика, тема торговли «пушечным мясом» приобретает в пьесе все более трагическое звучание. Когда из всех летчиков эскадрильи в живых остается только один, мистер Ли телеграфирует в Штаты, требуя прислать ему новые самолеты и новую команду.

В пьесе показана только одна воюющая сторона, один лагерь—французский. Но сообщения о ходе военных действий, о новых и новых поражениях французской колониальной армии, правдивое отражение дезорганизации и паники в рядах французского командования позволяют ощутить грозную силу вьетнамского народа, поднявшегося на борьбу за свое освобождение. В пьесе выведена фигура американской корреспондентки, в уста которой Хонольд вкладывает крикливые демагогические заявления о «героической защите свободного мира от натиска большевизма», звучащие явной издевкой. Писатель намеренно разоблачает методы «защиты свободного мира» грязными руками мистеров ли.

Верно ли, что пьеса говорит о бессмысленности героизма в условиях современной войны? Подвиги летчиков эскадрильи — это лжегероизм; образы Энди Уэста, Терри Варни, Текса Станковского и других «летучих мышей» ни в коей степени не могут дискредитировать понятие «героизма», ибо эти люди лишены идеала, без которого нельзя представить себе подлинного героя. Черты такого героя скорее можно отыскать в образе девушки Бин Нао, переводчицы французского штаба, которая в тылу у врага работает на благо своего народа. Правда, образ Бин Нао едва намечен в пьесе, но все же читатель и зритель узнает, что, получив образование за границей, в Америке, и прожив там ряд лет, Бин Нао сохранила верность отчизне. Эта девушка, исполненная человеческого достоинства и подвергающая свою жизнь не меньшей опасности, чем летчики эскадрильи, противостоит им своим сдержанным мужеством и силой.

Пьеса Хонольда, при всех своих несомненных идейных слабостях, все же позволяет вынести верное в общем суждение о событиях во Вьетнаме, показывая закулисную сторону «грязной» колониальной войны.

С. Шлапоберская

„ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ, ЧЕРЕЗ ГОД..."

□

Françoise Sagan. Dans un mois, dans un an. Paris, R .Julliard, 1957.

□

«...Через месяц, через год как будем мы переносить то, что столько морей отделяют нас друг от друга, что день начнется и день кончится, а Тит никогда не увидит Береники — и она его никогда не увидит?..» Героиня Расина, которая произносит эти слова, расстается с любимым и предчувствует мучения, длительность и постоянство которых равны постоянству и длительности любви. Источник мучения здесь — неизбежность разлуки, источник правдивости и поэтической силы трагедии Расина — вера в человека, способного с достоинством вынести испытания и не сломиться, а «выстрадать себя».

Но прошло три столетия, и мы читаем, что «современному человеку» будто бы смешны страдания расиновских героев. Трагедия теперь, оказывается, в другом. «Через месяц, через год» не останется никакого следа от пережитого и человек с испугом обнаружит: все, что еще так недавно было его жизнью,— лишь пустая игра нервов, мнимая боль, мнимое счастье. Так, применительно к психологии своих героев, прочитала слова Расина Франсуаза Саган в своем третьем романе «Через месяц, через год...»

Мы знакомимся с небольшим кружком друзей, принадлежащих в большинстве своем к парижскому литературному и артистическому миру. Среди них два издательских работника Бернар и Ален Малиграсс, студентка художественной школы Лувра Жозе, драматическая артистка Беатриса, театральный директор Жолие и другие. Нам рассказывают несколько эпизодов из жизни этих людей в течение одного года.

Литературный критик и неудавшийся романист Бернар уже давно равнодушен к своей молоденькой жене Николь, малообразованной, наивной провинциалке; ни ее милая внешность, ни ее беззаветная преданность его не трогают. Пожалуй, единственное, что еще привязывает его к жене, это сознание того, что он, слабый человек, всегда избегавший «твердых решений», все же когда-то «решился» на ней жениться. Теперь он любит — без взаимности — двадцатипятилетнюю Жозе. Впрочем, он и сам не может назвать любовью свое чувство к ней — смесь ревности, неутоленной страсти и уязвленного самолюбия.

Студентка Жозе редко посещает художественную школу Лувра. Да и к чему ей профессия? Она получает солидные чеки от богатых родителей из Северной Африки. У Жозе слишком много денег, сокрушается Бернар. Деньги открывают перед ней слишком много ненужных возможностей и прежде всего возможность ничегонеделания.

«С точки зрения социальной,— говорит Жозе,— я — сама бесполезность. Мне это все равно... Но я страстно хотела бы делать что-нибудь такое, что бы нравилось мне, что бы страстно увлекало меня». Однако эти слова звучат как пустая декларация. Жозе уже так «немолода», так опустошена и пресыщенна, что от ее привлекательности «веет смертью».

Жозе нравится влюбленный в нее Бернар, однажды она «между прочим» даже проводит с ним ночь; но вот беда: он слишком на нее похож, они «люди одной породы». И потому она предпочитает ему грубоватого, «без манер», ничего не знающего о литературе и театре, но зато безусловно не похожего на людей ее круга, студента-медика Жака.

В чем же Бернар и Жозе так печально одинаковы? В чем состоит их тягостное превосходство над окружающими людьми? Дело в том, что Бернар и Жозе «проницательнее», «честнее» других, иными словами, они понимают мудрость тезиса «через месяц, через год» и «мужественно» отдают себе отчет в абсолютной бессмысленности своей жизни и своих переживаний. Оба они считают, что надо жить, ни над чем не задумываясь, убив в себе свою «жизненную силу»,— иначе говоря, самую способность серьезно, глубоко думать и чувствовать. «Мы все не бог весть что... В наше время все люди ничтожны» — такова самооценка героев третьей книги Саган. Сознание своей посредственности в высокой мере свойственно даже преуспевающему театральному директору, пятидесятилетнему режиссеру Андре Жолие, но он давно перестал приходить от этого в отчаяние, и зрелище всеобщей никчемности скорее веселит, чем угнетает его... Однако на главную роль в своей новой пьесе он все-таки приглашает молодую актрису Беатрису — не только потому, что она талантлива, красива и нравится ему, но и потому, что он чувствует в ней человека волевого и уже по одному тому незаурядного. Талант и воля выделяют Беатрису из толпы нерешительных, суетливых или вялых обывателей. Она знает цену труду — кропотливой, утомительной, самозабвенной работе над ролью. Но в обыденной жизни «трагическое» лицо актрисы обманывает людей своей мнимой значительностью; это маска, прикрывающая ее настоящее лицо, лицо холодной и расчетливой, посредственной мещанки.

Читая эту книгу, мы попадаем в царство мнимостей; здесь на каждом шагу торжествуют мнимые чувства, мнимые отношения между людьми, здесь сами люди так легковесны и несостоятельны, что кажутся мнимыми. Стоит ли делать далеко идущие философские выводы из той очевидности, что *такие* чувства и *такие* отношения *таких* людей не выдерживают испытания временем и «через месяц, через год» исчезают бесследно? И можно ли говорнть о

каких-либо жизненных закономерностях, основываясь на опыте этих людей?

Герметическая замкнутость — характерная черта этой книги. Герои ее, правда, индивидуальны по устройству своего быта, по способностям и душевным склонностям, но эти различия бледнеют перед одной подавляющей чертой: все они не только никак не связаны с жизнью своего народа, но даже как бы и не подозревают о его существовании. Ни одна серьезная и действительно волнующая французскую интеллигенцию общественная проблема не проникла в роман. В нем тщательно анализируются лишь сомнительные любовные отношения узкого круга светских людей, и поэтому даже психологическая точность не спасает роман от банальности.

Крошечный кусочек жизни, отраженный писательницей, вызовет у нашего читателя мало интереса и еще меньше сочувствия. Уж слишком малы эти подмостки, чтобы на них мог разыгрываться эпилог «Утраченных иллюзий»! И мы сказали бы, что третья книга Франсуазы Саган, к сожалению, ничего не принесла нам нового, что молодая писательница впустую расходует свой талант, если бы не одна особенность этого романа.

Мы имеем в виду двух персонажей «Через месяц, через год...»— Николь и Жака, которые чужды всей изображенной в романе среде, за исключением главной героини Жозе.

Простушка Николь смешна своим уважением и доверием к любому печатному слову, своим преклонением перед Бернаром. Если она и появляется изредка в салоне Малиграссов, то лишь как несколько неуместная, но, к счастью, мало мешающая «жена литератора». Одна Жозе относится к Николь с настоящим сочувствием и смутно догадывается, что эта «простая душа», может быть, и спасла бы запутавшегося Бернара, если бы тот взглянул на нее хоть раз по-настоящему, по-человечески. Мотив этот лишь намечен в романе, но он несомненно есть.

Жак — загадка для Жозе. Ума и тонкости у него маловато, знания искусства нисколько нет. Однако Жозе чувствует, что это какой-то другой, не похожий на ее друзей человек, перед которым она невольно робеет. Жак удивляет ее своими поступками: он отказывается ходить с нею в рестораны, потому что он беден, а на ее деньги кутить не желает; он отказывается от развлечений и сидит за своими медицинскими книгами, потому что хочет знать и хочет быть врачом; с брезгливым равнодушием сторонящийся всей литературно-артистической компании, он радушно, с неожиданной для Жозе теплотой принимает к себе в друзья наивного провинциального юношу Эдуарда Малиграсса, влюбленного в Беатрису и вышвырнутого ею за дверь. Дальше — больше. Когда Жозе зовет его поехать с ней в Пуатье, чтобы привезти укрывшегося там Бернара к тяжело больной Николь, Жак отвечает: мне некогда, поезжай одна. Ни подозрений, ни ревнивых разговоров, хотя Жак знает о ее прежней связи с Бернаром; кто другой в их среде поступил бы так? Но когда Жозе все-таки остается на двое суток в гостинице с Бернаром, она, возвратясь домой, не застает ни Жака, ни его книг: он ушел совсем. Растерянная Жозе с трудом разыскивает его, хочет ему

объяснить, что «все это не имеет значения» (с точки зрения жизненной философии и обыкновений ее среды). Но «лишенный утонченности» Жак этих объяснений и слушать не хочет. Он разгневан и оскорблен. Возвращается он к Жозе на основе, так сказать, новой для нее житейской и семейной конституции.

Не ясно ли, что эти отношения уже другого рода, чем те, от которых не остается и следа потому, что в них с самого начала ничего нет? Заметим еще, что два самых человечных, в восприятии Жозе, лица в романе — люди из демократической и малоимущей среды. И именно они возвышаются над стертостью, эмоциональной посредственностью других действующих лиц.

Не будем преувеличивать значения этой черты, лишь намеченной в романе. И все же появление этих новых персонажей и новых отношений поддерживает наш интерес к дальнейшей литературной работе Франсуазы Саган.

И. Шкунаева

АВСТРАЛИЯ

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕНРИ ЛОУСОНА

Один из последних номеров квартального журнала «Оверлэнд» (№ 10) посвящен 90-летию со дня рождения классика австралийской литературы Генри Лоусона. Среди опубликованных в журнале материалов — статья известного историка литературы Колина Родерика «Генри Лоусон и Новая Зеландия».

К. Родерик считает, что годы, проведенные Лоусоном в Новой Зеландии, были годами созревания таланта писателя, оказавшими большое влияние на все его творчество. В это время (середина 90-х годов прошлого века) Лоусон начал сотрудничать в австралийской рабочей газете «Дейли уоркер» и создавать свои первые рассказы; в этот же период, когда он работал школьным учителем в маленькой деревушке маори Мангамауну в Новой Зеландии, Лоусон написал много поэтических произведений, в частности «Порты открытого моря», «Мечта писателя», «Мой последний смотр». Здесь же Лоусон задумал создать большую книгу о туземцах маори, но ему удалось написать только две главы, одна из которых известна под названием «Дочь страны маори».

Из других материалов, опубликованных в номере, интерес представляет статья Х. Бартона «Лоусон и его редакторы». Автор статьи делит редакторов Лоусона на две категории: на «настоящих литературных редакторов, которые бережно и любовно полировали драгоценные самородки Лоусона, и ревизионистов, «начавших атаку в последние годы жизни Лоусона, когда сопротивление автора значительно ослабело». С возмущением Х. Бартон пишет об этих «редакторах-ревизионистах», которые «бесстыдно кромсали и переделывали по-своему целые отрывки в посмертных изданиях поэтических сборников Лоусона». В статье приводится много примеров таких искажений, причем большинство из них снижает социальное звучание произведений.

Журнал «Оверлэнд» сообщает о выходе к юбилею Лоусона иллюстрированного сборника его стихотворений, положенных на музыку.

УСПЕХ ПЬЕСЫ «СЕМЬЯ ТОРРЕНТОВ»

В Аделаидском Новом театре с успехом идет комедия Ориэла Грея «Семья Торрентов» («Потоки»). Это вторая из двух пьес, получивших премию на Всеавстралийском конкурсе пьес, проведенном в прошлом году (см. «Иностранную литературу» № 3, 1957 г.). Первая пьеса — «Лето семнадцатой куклы» Рея Лоулера, — поставленная несколько раньше «Семьи Торрентов», также пользуется успехом, причем не только в Австралии, но и в Англии и США.

Действие комедии «Семья Торрентов» Ориэла Грея происходит в конце прошлого века в провинциальном австралийском городке. В редакцию местной газеты поступает работать молодая талантливая журналистка Дженни Милфорд. Она требует, чтобы газета поддерживала прогрессивные круги города, которые выступают против хищнической эксплуатации природных богатств страны, борются за благоустройство своего города. Планы Дженни наталкиваются на сопротивление издателя газеты Руфуса Торрента, тесно связанного с городскими «тузами». В борьбу включаются рабочие золотых приисков, и, в конце концов, прогрессивные силы одерживают победу.

АЛБАНИЯ

СБОРНИК СТИХОВ ИСМАИЛЯ КАДАРЭ

Стихи молодого поэта Исмаиля Кадарэ пользуются большой популярностью среди албанской молодежи. Недавно вышел второй сборник стихов и поэм Кадарэ.

Газета «Зери и популлит» пишет: «Родина, любовь и природа — вот три основные темы произведений Кадарэ. Все они тесно связаны меж-

ду собой и дополняют одна другую». Газета обращает особое внимание на стихи о Ленине, цикл «Зимние каникулы», стихотворение «Песня жестяной крыши». В качестве удачи поэта также отмечается поэма «Мечтания». В ней рассказывается о детстве и молодости, мечтах и радостях автора, о первой любви. В поэме присутствуют рассуждения о жизни и смерти, о мире и войне, о Родине. «Лирические стихотворения поэта,— отмечается в рецензии,— утверждают жизнь, любовь к людям и Родине».

В заключение рецензент пишет: «Отдельные недостатки не уменьшают ценности книги — одного из лучших сборников стихов, вышедших за последнее время. Пожелаем автору счастливого пути!»

ВПЕРВЫЕ НА АЛБАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Газета «Башкими» сообщила, что за годы после освобождения в Албании издано в пять раз больше книг, чем за всю историю албанской печатной книги. Среди изданных книг значительное место занимают произведения переводной литературы. Албанский народ, ранее не имевший возможности знакомиться с произведениями мировой литературы, сейчас успешно восполняет этот пробел. Только за последние два года впервые появились в переводе на албанский язык произведения Бальзака, Байрона, Драйзера, Сервантеса, Гете и других. В переводе писателя Альти Кристо албанские читатели недавно познакомились с трагедией «Ромео и Джульетта» Шекспира.

Журнал «Нендори» отмечает, что основное место среди переводных изданий приналлежит русской и советской литературе. «Перевод лучших произведений литературы социалистического реализма принес большую и разностороннюю пользу нашим трудящимся,— пишет журнал.— Произведения классиков русской литературы также играют важную роль в деле культурного воспитания». Журнал сообщает, что за период после освобождения на албанском языке издано около двухсот художественных произведений русских и советских писателей общим тиражом почти в полтора миллиона экземпляров. Сюда входят произведения классиков — Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Чехова, Островского. Совсем недавно вышел первый том «Войны и мира» Толстого. «Перевод на албанский язык эпопеи Л. Толстого «Война и мир» — шедевра мировой литературы — является выдающимся событием в нашей литературной жизни»,— отмечает газета «Зери и популлит».

Из числа выдающихся произведений советских писателей изданы: трилогия «Детство», «В людях» и «Мои университеты», а также другие произведения М. Горького, «Хлеб» А. Толстого, «Железный поток» А. Серафимовича, «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей» Н. Островского, «Тихий Дон» и «Поднятая целина» М. Шолохова, «Счастье» П. Павленко и другие.

АНГЛИЯ

ВОЗРОДИТЬ ДУХ ПОЭЗИИ РОБЕРТА БЕРНСА

Этой теме посвящена статья известного современного шотландского поэта Хью Макдайармида, опубликованная в газете «Дейли уоркер».

Х. Макдайармид выступает против фальшивой канонизации Бернса его буржуазными «почитателями» и ратует за возрождение революционного духа его поэзии. «Количество «Клубов Бернса» все увеличивается,— пишет поэт.— Но сам Бернс никогда бы не поверил, что хвалу его «бессмертной памяти» будет петь хор жрецов, ни в политике, ни в поэзии не являющихся защитниками великих идеалов, которым он посвятил свой талант».

Автор статьи сообщает, что в современной Шотландии, где в школах главное место принадлежит английскому языку и литературе, «глубокое изучение и понимание Бернса исчезает несмотря на то, что почитание его имени растет с каждым годом... Настоящий Бернс украден у народа, чаяния которого он выражал. Пропаганда наследства Бернса превращается в лицемерное поклонение со стороны тех, кого поэт заклеймил бы стрелами своей сатиры, если бы был жив!»

Бернс был поэтом, который жил интересами своего времени, говорится далее в статье. Нынешняя Шотландия также нуждается в «литераторах, живо интересующихся проблемами сегодняшнего дня». Макдайармид приветствует того поэта, «который станет Бернсом современной Шотландии», и считает, что им будет не простой подражатель-рифмоплет, но человек, связанный с рабочим классом,— тот, кто возродит живой, революционный дух поэзии Бернса. «Что сказал бы Бернс по поводу создания на территории Шотландии американских атомных баз? — вот вопрос, который должны сегодня задавать себе шотландские поэты. И они, наконец, начинают это делать». Макдайармид напоминает о собраниях в Глазго, о появлении рабочих «Клубов Бернса» в ряде городов. Все это, по его мнению, указывает на то, что шотландские поэты начинают борьбу с рутиной. «Опираясь на глубокое понимание законов общественного развития, они будут способствовать новому большому подъему шотландской литературы, следуя замечательной поэтической традиции Бернса».

ПАМЯТНИК УИЛЬЯМУ БЛЕЙКУ

В связи с недавним празднованием 200-летия со дня рождения Уильяма Блейка в Вестминстерском аббатстве состоялось торжественное открытие памятника великому англий-

скому поэту, художнику и философу. Бюст Блейка выполнен известным английским скульптором Джекобом Эпстайном.

БИРМА

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПИСАТЕЛЯ

Недавно в Бирме был торжественно отмечен День писателя. На заседании «Ассоциации писателей Бирмы» в Рангуне с большой речью выступил премьер-министр У Ну.

В своем выступлении У Ну отметил ту огромную работу, которую проделал бирманский народ со дня провозглашения независимости для развития национальной экономики и культуры. При этом большая роль в деле культурного развития и активизации общественной жизни страны, заявил У Ну, принадлежит литераторам. Писатель должен помочь народу разобраться в насущных проблемах, стоящих перед государством... Первостепенная задача писателя состоит в том, чтобы отражать реальную жизнь в доходчивой форме. «В нашей стране,— отметил далее У Ну,— история освободительного движения свидетельствует о том, что пробуждению национализма и подъему патриотизма способствовали произведения таких крупнейших наших писателей, как покойный Лиди Кандиба У Маунг Ги и ныне здравствующий Такин Кодо Хмаинг, который может быть назван отцом современной бирманской литературы».

В заключение У Ну обратился к писателям с призывом «приложить все усилия для создания большой литературы».

После выступления У Ну состоялась церемония чествования классика бирманской литературы, лауреата Международной премии мира Такин Кодо Хмаинга.

Программа проведения Дня писателя включала также дискуссию, посвященную вопросам правдивого изображения бирманского общества в современной бирманской литературе. В дискуссии приняли участие ведущие бирманские литераторы У Завана, У Хтин Фатт, У Нио Миа и другие.

ВЫСТАВКА СОВЕТСКИХ КНИГ В РАНГУНЕ

В Рангуне была организована недавно выставка советских книг и периодических изданий.

Журнал «Нью таймс оф Бирма», сообщая об открытии выставки, пишет: «За последнее время в результате запуска двух искусственных спутников Земли достижения Советского Союза в области науки и техники получили всеобщее признание. Это знаменательное событие, которое с несомненностью доказало превосходство советской науки и техники, поразило людей всего мира.

В прошлом до нас доходили многочисленные сообщения о том, что делают русские, об их выдающихся достижениях, но, поскольку у нас в Бирме не было русских книг и периодической прессы, мы не могли сами судить об успехах Советов. Поэтому мы приветствуем выставку советских книг и периодической печати на русском, английском и бирманском языках...

...Книги, экспонируемые на выставке,— пишет в заключение журнал,— помогут ближе узнать советских людей, познакомиться с их жизнью и достижениями».

БОЛГАРИЯ

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ БОЛГАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Газета «Литературен фронт» сообщает о творческих планах болгарских писателей. Георгий Караславов продолжает в этом году работу над третьей частью романа «Обыкновенные люди». Гёнчо Белев заканчивает роман для юношества «Испытания одного мальчика» и четвертую книгу из цикла «Случаи из жизни Минко Минина» под названием «Провал».

Людмил Стоянов намерен в 1958 году опубликовать роман «Детство, юность и война», относящийся к периоду 1892—1918 годов, и начать работу над новым романом «Совесть». В основу этого романа будет положена тема борьбы против фашизма.

Емилиян Станев предполагает в ближайшем будущем закончить роман «Иван Кондарев».

Димитр Талев поставил перед собой задачу завершить первую книгу нового романа «Самуил» и продолжать работу над многотомником «Железный светильник».

В этом году выйдет новая приключенческая повесть писателя Цветана Ангелова «Веселый поход».

Писатель Челкаш работает над повестью, которая, по его словам, может вырасти в роман о современной болгарской интеллигенции.

А. Сегренский закончил работу над сборником рассказов из современной сельской жизни «Под дождем», а Крум Григоров сдал в печать повесть «Раздолчане» о жизни села во времена фашизма.

Поэт Ламар работает над романом, относящимся к годам после первой мировой войны.

Камен Калчев продолжает работать над второй частью романа «Семейство ткачей», а Арманд Барух пишет роман «Участь человека», охватывающий тридцатые годы нашего века — период активной борьбы рабочих Софии против реакции.

В этом году выйдет из печати роман Тодора Харманджиева «Крылатое время» из жизни Болгарии накануне Сентябрьского восстания 1923 года. Писатель надеется также закончить вторую часть романа «Конец одного детства».

Над первым томом из цикла романов на тему о

современности трудится писатель Эмил Коралов. Боян Болгар пишет продолжение романа «Сын против отца» и надеется закончить в этом году роман из современной жизни «Одним человеком больше».

Ст. Даскалов работает над романом «Там, где я родился» и занят подготовкой нового издания третьей книги романа «Путь».

Петр Стыпов подготовил цикл рассказов под общим названием «Дед Иван идет», темой которых являются отношения между болгарами и русскими в течение последних столетий.

Ряд писателей опубликует в этом году свои путевые заметки, написанные во время поездок по зарубежным странам: Г. Белев заканчивает «Румынские картины», В. Петров опубликовал «Книгу о Китае», А. Тодоров и А. Каменова пишут заметки об Индии, Н. Марангозов работает над поэмой «Москва желанная».

БРАЗИЛИЯ

ЖОРЖИ АМАДУ О ВЛИЯНИИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ЛИТЕРАТУРУ БРАЗИЛИИ

«Жорнал де летрас» помещает ответы бразильских писателей на анкету, содержащую, в частности, следующие вопросы:

«Какой из иностранных литератур вы отдаете предпочтение? Какие произведения иностранной литературы оказали влияние на вашу творческую деятельность? Литература какой страны оказывала в прошлом и оказывает сейчас наибольшее влияние на литературу Бразилии? Считаете ли вы желательным такое влияние?»

В числе писателей, ответивших на анкету,— Жоржи Амаду. Он пишет: «Что касается современной иностранной литературы, то у меня нет предпочитаемых авторов. Крупные писатели есть во всех частях света. Я могу назвать североамериканцев, таких как Хемингуэй, Фолкнер, Колдуэлл, Стейнбек; русских, таких как Шолохов, Федин, Эренбург, Леонов; итальянцев Моравиа и Пратолини; датчанина Мартина-Андерсена Нексе; португальца Ферейру де Кастру. Это в области прозы. В поэзии среди представителей большой литературы мы встречаем наряду с Арагоном и Рафаэлем Альберти турка Назыма Хикмета, чилийца Неруду, кубинца Гильена, чеха Незвала. Эпоха преобладания литературы одной страны окончилась. Стóит познакомиться, например, с интересными произведениями, которые начинают появляться в Африке; ряд ее писателей может быть отнесен к выдающимся литераторам нашей эпохи.

Что касается моей собственной творческой деятельности, то я думаю, что она не испытала преобладающего влияния какой-либо литературы. Я люблю Диккенса за его гуманизм, за его глубокое знание человеческой природы... Я люблю Горького за его веру в человека, за его любовь к униженным, к беднякам. Может быть, именно эти писатели повлияли на мое творчество?

...Я считаю, что в прошлом французская литература оказывала очень сильное влияние на нашу литературу... Сегодня наша национальная литература выросла и окрепла, и уже можно говорить о бразильской литературе, как о литературе, обладающей собственными характерными особенностями. Произведения Жозе Линз ду Регу и Грасильяно Рамоса, например, являются по-настоящему бразильскими произведениями. Они могли быть написаны только у нас, и только бразильцами с севера нашей страны...

Я не желаю нашей литературе никаких иностранных влияний. Я хочу, чтобы она развивалась на основе интенсивного и свободного обмена между нашими писателями и писателями других стран».

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ЖОЗУЭ ДЕ КАСТРУ

В Бразилии вышло полное собрание сочинений видного общественного деятеля и писателя Жозуэ де Кастру в шести томах. Еженедельник «Пара тодос» пишет о его произведении «География голода»: «Книга Жозуэ де Кастру выдержала испытание временем. Сейчас она стала даже еще более острой, еще более волнующей. То, что десять лет тому назад было только предвидением, теперь стало статистикой».

ВЕНГРИЯ

СБОРНИК РАССКАЗОВ Л. ТОТА

«Элет эш иродалом» помещает рецензию на сборник рассказов Л. Тота «Черные голуби». Рецензент анализирует содержание и форму лучших рассказов сборника, подчеркивает их высокое художественное качество. В писателе, по его мнению, органически сочетается мастерство художника-реалиста с пытливостью моралиста, ищущего социальную справедливость. Особенно ярко эти черты писателя проявились в рассказах «Рубка леса» и «Черные голуби».

...Во время немецко-фашистской оккупации Венгрии начальник пути одного железнодорожного участка приказывает двум старикам и одному подростку срубить дерево, растущее рядом с железнодорожным полотном: работа должна быть закончена до полудня, так как к этому времени ожидается немецкий эшелон с войсками. Срубленное дерево «нечаянно» падает на рельсы. Поезд с немцами остановлен. Начальник эшелона хочет арестовать старика, на которого указывает перепуганный железнодорожник. Автор сумел пока-

зать природную сметку старика крестьянина, который направил гнев оккупантов по ложному пути и спас себя и товарищей от фашистской расправы.

Рассказ «Черные голуби» — простая, но жизненно-правдивая история. После семи лет плена человек возвращается домой. Жена его, получив повестку («черного голубя») о смерти мужа, вышла замуж за его брата и ожидает ребенка. Ее второй муж понимает, что все права на стороне вернувшегося. Он готов уйти, оставив любимую женщину. Однако его предупреждает старший брат, который сам уходит из дому, не желая разрушать вновь созданную семью.

«Автор,— пишет рецензент «Элет эш иродалом»,— дает новое решение сложной ситуации, характерное для социалистической морали».

«Несмотря на отдельные погрешности, язык, которым написаны рассказы, богат и красочен. Хороши картины природы. Мы ждем многого от этого писателя»,— заканчивает рецензент.

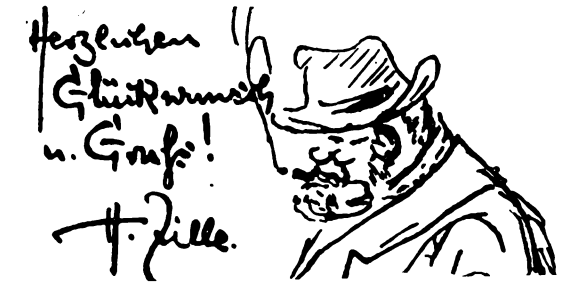
ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

«ЗАЩИТА МИРА — ЭТО ЗАЩИТА КУЛЬТУРЫ»

Писатели, артисты и художники ГДР активно выступают за создание в центре Европы зоны, свободной от атомного оружия.

На пятом конгрессе «Культурбунда» Арнольд Цвейг огласил обращение к немецкой интеллигенции, в котором, в частности, говорится: «Защита мира — это защита культуры. Территория Германии никогда больше не должна стать очагом и плацдармом военных действий. Безатомная зона должна превратить центр Европы в зону мира...» Под этим призывом стоят подписи писателей, общественных и государственных деятелей, ученых.



В ГДР широко отмечается столетие со дня рождения выдающегося художника-графика Генриха Цилле. На выставке, открытой в связи с юбилеем, экспонировано около трехсот рисунков, карикатур, литографий и репродукций Г. Цилле. Мы воспроизводим несколько рисунков художника: 1. Автошарж Г. Цилле. 2. Рисунок, снабженный следующей подписью: «Г-н доктор, значит, мне нельзя есть хлеб?» — «Нет, уважаемая».— «Ну, что ж, все равно у меня нет денег, чтобы его купить». 3. Зарисовка углем.

(Газета «Берлинер цейтунг»)

Коллектив Мейнингенского театра, 125-летие которого отметили полтора года назад Восток и Запад Германии, активно участвует в движении за создание безатомной зоны. Как сообщает еженедельник «Зоннтаг», артисты прошли по улицам Мейнингена, требуя проведения в Германии всенародного голосования по этому вопросу.

Композитор, лауреат Национальной премии ГДР Ганс Эйслер, пишет газета «Дер морген», обратился со следующим заявлением к немецкой общественности: «Если немцы не хотят совершить национальное самоубийство, они должны сделать все, чтобы воспрепятствовать атомному и ракетному вооружению... Германия находится в крайне опасном положении. Нельзя терять времени».

Кадр из фильма «Куле Вампе», поставленного З. Дудовым по сценарию Б. Брехта. В ролях главных героев — Эрнст Буш и Герта Тиле.

(Газета «Берлинер цейтунг»)

ПЕРВАЯ ПОВЕСТЬ ЭРИХА КЁЛЕРА

«До вчерашнего дня мы не знали его имени — теперь мы запомним его... — пишет о молодом авторе Эрихе Кёлере, выступившем в печати со своей первой повестью «Лошадь и ее хозяин», еженедельник «Зоннтаг».— Шестьдесят пять превосходных страниц книги Кёлера свидетельствуют о появлении в литературе талантливого писателя...» Герой повести — денщик гитлеровского майора—Отто, рассказывающий о тяжелой военной зиме 1945 года, о своем переходе в восточную зону Германии, где из бедняка-конюха он превращается в «хозяина всей земли...»

«Зоннтаг» отмечает антиимпериалистическую и антимилитаристскую направленность повести.

Эрих Кёлер, сельскохозяйственный рабочий из небольшой деревушки, пришел в литературу, не имея специальной подготовки. «Формирование писательского таланта в молодом рабсчем, не изучавшем законов общественного развития, но которого само развитие нашего общества подняло над уровнем его сверстников, оставшихся по ту сторону Эльбы,— процесс сложный,— пишет «Зоннтаг».— Именно наше общество смогло превратить Кёлера в писателя, каким он является сегодня». О своем жизненном пути молодой писатель задумал рассказать в романе «Зерно», над которым он сейчас работает.

«КУЛЕ ВАМПЕ» СНОВА НА ЭКРАНЕ

Более четверти века назад немецкие фашисты запретили демонстрацию только что вышедшего тогда на экраны фильма «Куле Вампе», созданного режиссером Златаном Дудовым по сценарию Бертольта Брехта и Эрнста Оттвальта. В фильме поднимался вопрос о судьбе безработных, рассказывалось о солидарности простых людей. После запрещения этого фильма в Германии он с успехом демонстрировался во многих других странах.

Теперь «Куле Вампе» снова появился на немецком экране. Его вторая премьера состоялась недавно в крупнейшем кинотеатре Берлина.

Как отмечается в газете «Берлинер цейтунг», «Дудов сплотил для создания фильма «Куле Вампе» лучших деятелей искусства того времени. То были молодой Бертольт Брехт, композитор Ганс Эйслер, рабочий певец Эрнст Буш, Елена Вейгель, группа «Молодые актеры». Два года понадобилось тогда студенту Дудову, чтобы собрать достаточно средств для съемок фильма... В «Куле Вампе» ничего не выдумано и не сочинено, это истинная, но художественно осмысленная действительность тех дней... Фильм впервые в истории немецкого кино поставил вопрос «Кто изменит мир?» И девушка — одна из героинь картины—ответила: «Те, кому он не нравится!»

Говоря об историческом значении фильма, газета «Нейес Дейчланд» отмечает, что «Куле Вампе» принадлежит к тем немногим произведениям немецкого киноискусства, которые можно назвать классическими, это «один из немногих социалистических художественных фильмов Веймарской республики».

РАЗГОВОР С СОСЕДЯМИ

«Памятка некоторым из соседей» — так называется стихотворение Эрвина Штриттматтера, опубликованное в «Нейес Дейчланд». Это стихотворение — призыв к борьбе за мир во всем мире.

...Людям нужна радость, и каждый радуется по-своему: один сосед собирается приобрести мотоцикл, другой мечтает о поцелуе любимой, третий растит свой сад. Если грянет война, не будет ничего — ни загородной поездки на мотоцикле, ни счастья с любимой, ни цветущего сада. Будет разрушение и смерть...

Поэт обращается к соседям с предостережением: надо бороться за мир, пока не поздно.

Стихотворение Штриттматтера нашло отклик не только в ГДР, но и в ФРГ. Рабочая семья, проживающая в Западном Берлине, обратилась к поэту со словами благодарности. В письме этой семьи, напечатанном в «Нейес Дейчланд», говорится, что прочитанное стихотворение передано дальше, соседям.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ЗА СОЗДАНИЕ БЕЗАТОМНОЙ ЗОНЫ

Многие деятели культуры в ФРГ присоединяются к предложению о создании в Центральной Европе безатомной зоны.

Газета «Националь-цейтунг» сообщает, что западногерманский писатель Иоганнес Тралов, президент общегерманской организации литераторов — ПЕН-центра Востока и Запада,— выступил в поддержку требования о проведении народного голосования в Германии по вопросу о создании зоны, свободной от размещения термоядерного оружия.

«Ясно, что имеются миллиардеры и их лакеи—милитаристы,— сказал Тралов,— которым нет дела до нескольких сот миллионов человеческих жизней. Бонн может стремиться помешать формальному проведению народного голосования, однако вопрос поставлен и на него будет дан ответ, и этот ответ покажет, что люди не хотят отдать себя и своих детей на растерзание мировому капиталу».

РАЗГОВОР О «РОДИНЕ НЕМЦА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В литературных кругах ФРГ продолжает обсуждаться проблема воссоединения Германии. За последнее время характер высказываний ряда писателей и публицистов по этому вопросу претерпел явное изменение. Так, например, если два года назад Вальтер Диркс, один из издателей журнала «Франкфуртер хефте», больше всего опасался, как бы «политика контактов» не привела к торжеству демократии, то теперь он полагает, что контакт с ГДР — необходимое условие воссоединения Германии.

В одном из последних номеров «Франкфуртер хефте», в статье «Какова родина немца», Диркс пишет: «Прежде всего следует уяснить себе, что единая Германия не будет ни расширенной ФРГ, ни удлиненной ГДР; она будет чем-то третьим. Мы не имеем права распоряжаться и мы находимся не в таком положении, чтобы распоряжаться другой частью Германии; нам нужно получше узнать идеи и людей этой другой части Германии».

Вальтер Диркс говорит, что разрешение проблемы воссоединения Германии требует непрерывных направленных на это усилий и, прежде всего, постоянно возобновляемого разговора, в котором участвовали бы заинтересованные стороны. Статья Диркса перекликается с книгой Эриха Куби, вышедшей недавно в Штутгарте и называющейся «Вот она, родина немца (70 миллионов в двух залах ожидания)».

Судя по отзывам западногерманской прессы, книга Куби критически воспроизводит существующие в ФРГ социально-политические условия. Куби предупреждает об опасности, которую влечет за собой политика ремилитаризации страны. Весьма показательно, что это публицистическое произведение Эриха Куби, сатирически рисующее аденауэровскую Германию, за два месяца разошлось, по данным франкфуртского бюллетеня «Бёрзенблатт фюр ден дейчен буххандель», в количестве десяти тысяч экземпляров.

«МИРОВАЯ ИСТОРИЯ ПЕРЕД ТРИБУНАЛОМ»

Так называется статья, опубликованная мюнхенской газетой «Культур» и сообщающая о судьбе книги Арно и Аннелизы Петерс — плоде их двенадцатилетнего труда,— представляющей собой обзор мировой истории с древнейших времен до современной эпохи. Томас Манн писал, что эта книга выполняет свое назначение, распространяя среди молодежи идеи мира, свободы и гуманности.

Авторы этой книги, выпущенной в 1952 году, в предисловии писали, что их исследование «должно способствовать утверждению исторического самосознания, объединяющего народы». Но книга недолго выполняла роль учебного пособия. По сигналу главного редактора проамериканской газеты «Нейе цейтунг» началась травля ученых, которая продолжается до сих пор. Авторов, супругов Петерс, объявили коммунистами; в их труде усмотрели «ярко красную нить», благодаря которой вся книга будто бы становится «антизападной и прокоммунистической».

В чем же дело? «Культур» отвечает, что вся «беда» заключается в «объективности авторских определений». Оказывается, боннским властям пришлось не по вкусу, что авторы попытались в своей работе дать сравнительно объективную оценку исторической роли В. И. Ленина и Мао Цзэ-дуна.

Судебное дело супругов Петерс разбиралось в Карлсруэ. Не решив вопроса, судьи передали дело в высшие инстанции.

Защищая свое произведение, Арно и Аннелиза Петерс требуют также выполнения издательством финансовых обязательств по выплате гонорара. Судьи, однако, отклоняют их законное требование на том основании, что в книге «отсутст-

вуют оговоренные заранее качества». Каковы, спрашивается, эти «качества», если авторы книги обвиняются в «объективности формулировок»?

ДАНИЯ

К КОНЧИНЕ ПЕТЕРА ФРЕЙХЕНА

На Аляске в возрасте семидесяти двух лет скончался известный датский писатель и полярный исследователь Петер Фрейхен.

Петер Фрейхен находился на Аляске с экспедицией кинематографистов, отправлявшейся на Северный полюс.

Петер Фрейхен родился в 1886 году в Нюкёбинге. В 1910 году он вместе со своим другом, исследователем Арктики Кнудом Расмуссеном, основал в Гренландии станцию Туле, где были снаряжены пять так называемых экспедиций Туле, в которых приняли участие оба путешественника. Первая экспедиция Туле, предпринятая в 1912 году на северную оконечность Гренландии, установила, что, вопреки мнению Пири, земля, названная впоследствии Землей Пири, не отделена от Гренландии. Петер Фрейхен был также выдающимся писателем. Он посвятил ряд книг описанию экспедиций и жизни эскимосов, среди которых прожил многие годы.

Один из друзей Петера Фрейхена посвятил ему статью во французском еженедельнике «Нувель литтерер», в которой, в частности, говорится: «Фрейхен, как и Расмуссен, относился к великой расе первооткрывателей... Человек большой и страстной души, он всю свою жизнь посвятил народностям Севера, которые хорошо знал».

В Дании широко известны книги Петера Фрейхена «Арктическое приключение», «Эскимос», «Моя гренландская молодость», «Белый человек», «От Туле до Рио».

КЬЕЛЛ АБЕЛЬ — ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ХОЛЬБЕРГА

Известному датскому драматургу Кьеллу Абелю присуждена ежегодная государственная премия Хольберга.

При торжественном вручении премии профессор Олуф Фриис, поздравляя лауреата, отметил, что Абель как драматург многое сделал для создания современного датского театра. Он сумел приблизить театр к современным проблемам. «Пьесы Абеля,—заявил Фриис,— особенно «Анна-Софи-Хедвиг» и «Пропавшая мелодия», имели большое значение для развития датской драматургии».

ВЫСТАВКА КАРТИН ЭЙСТРУПА

В Шарлоттенберге была организована выставка произведений умершего в 1956 году датского художника-реалиста Кая Эйструпа. Экспонировалось семьдесят пять картин и около ста рисунков — итог творчества художника за последние двадцать лет. Как сообщает газета «Ланд ог фольк», коллеги Кая Эйструпа устроили эту выставку, «чтобы показать, какого большого художника потеряла Дания». «Горько сознавать,— пишет газета,— что при жизни он никогда не пользовался тем признанием, на какое давал право его талант».

«Картины Кая Эйструпа,— пишет далее «Ланд ог фольк»,— радуют глаз жизнерадостностью, гармонией и ярким колоритом... Это — характерная особенность искусства Эйструпа, и она проявляется во всех его картинах — будь то пронизанный солнцем летний ландшафт или прозрачный зимний пейзаж, пахарь, крестьяне на уборке картофеля, прекрасные, здоровые девушки... Кай Эйструп воспринимал влияние парижской школы, особенно Матисса, но не механически, а творчески, приспосабливая свое мастерство к художественным традициям датского искусства».

ИНДИЯ

ЮБИЛЕЙ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЩЕСТВА КЕРАЛЫ

Общественность штата Кералы торжественно отметила тридцатилетие своего литературного объединения, которым в течение последних десяти лет руководит писатель Шанкара Куруп.

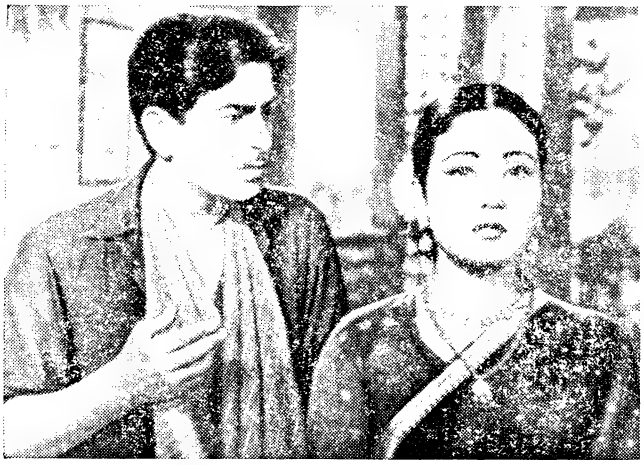
В честь юбилея состоялась 26-я сессия общества. Были заслушаны доклады о произведениях литературы на языке малайялам и других национальных языках страны, о состоянии детской литературы, о публицистике, поэзии и книгоиздательстве. Более ста крупнейших литераторов страны присутствовали на сессии в качестве делегатов, в том числе Мама Вареркар, Б. С. Рамайя, К. Ч. Паниграхи, Мохаммад Хасан, Ч. С. Мехта.

Во время сессии была организована выставка литературы и искусства, где экспонировались редкие и современные книги, газеты и другие периодические издания на 14 основных языках Индии.

Литературный журнал ПЕН-клуба отмечает, что совместная деятельность Литературного общества Кералы и учрежденной в прошлом году Литературной академии этого штата способствует его культурному развитию.

АЛЬБОМ ГАГАНЕНДРАНАТА ТАГОРА

Индийская академия изящных искусств в Калькутте издала альбом репродукций художника Гаганендраната Тагора — старшего брата Рабиндраната Тагора. Индийская газета «Стейтсмен уикли» сообщает, что живопись этого художника, одного из талантливых представителей семьи Тагоров, до сих пор мало известна широкой публике. Большинство картин Г. Тагора находится в частных коллекциях и редко выставляется для всеобщего обозрения. Некоторые работы художника погибли. Из числа включенных в альбом произведений



Индийские киноактеры Радж Капур и Мина Кумари в фильме «Шарда», снятом в мадрасской студии «Прасад продакшнз».

газета отмечает в качестве наиболее интересных автопортрет Гаганендраната Тагора и картину «В дождь».

КОНЧИНА СТАРЕЙШЕГО ПОЭТА

По сообщениям индийской печати, литература этой страны понесла тяжелую утрату. На 80-м году жизни скончался замечательный индийский поэт Валлатхол.

Валлатхол — старейший национальный поэт Индии, которого в стране любовно называют «Рабиндранатом Тагором Юга» (он жил и работал в Южной Индии). Правительство Мадраса присвоило ему звание лауреата этого штата.

Вся сознательная деятельность покойного была неразрывно связана с народом. В своих стихах и поэмах он писал о том, что волнует самые широкие народные массы Индии.

Валлатхол известен как борец за мир и справедливость не только у себя в стране. Он был участником II Всемирного конгресса сторонников мира в Варшаве. В 1951 году в составе индийской делегации деятелей культуры и литературы поэт посетил СССР. Возвратясь на родину, он опубликовал книгу стихов «В России», где с большой теплотой и любовью рассказывает своему народу о первом в мире социалистическом государстве. Образ будущего тесно связан у поэта с Советской страной.

Валлатхол был истинным поэтом-трибуном. Поэт много ездил по стране и читал свои стихи жителям глухих селений. Он звал свой народ к борьбе за счастье человечества, против темных сил войны и разрушений.

И если смерть
когда-нибудь
всему наперекор,
свершая
по земле
свой путь,
на мир
напустит мор —
встать как один
и лечь костьми
согласны будем мы,
чтоб человечество
спасти
от бешеной чумы,
чтоб
право отстоять свое,
свою свободу,
честь!
Вот песнь,
которую поет
вся Индия
как есть!

Эти слова из поэмы «Песня Индии» повторяют сегодня лучшие люди Индии.

ИТАЛИЯ

ТВОРЧЕСТВО КАРЛО БЕРНАРИ

Еженедельник «Фиера летерариа» посвятил целый номер писателю-реалисту Карло Бернари.

Бернари впервые выступил в литературе в 1934 году. Его роман «Трое рабочих» был встречен с большим интересом, однако вскоре после опубликования этой книги фашистская цензура изъяла ее по личному приказу Муссолини. В романе «Трое рабочих» описывается период, непосредственно предшествовавший фашистскому перевороту, с его сложными социальными конфликтами.

Перу Карло Бернари принадлежит много книг, среди них исторические романы и сборники рассказов. В прошлом году читатели и критика тепло встретили его роман «Завтра и послезавтра». Фабула на первый взгляд кажется несложной и как будто малозначимой: шестидесятилетний нотариус, живущий в маленьком поселке, полюбил молодую девушку по имени Вирджиния, которая также привязывается к нему искренне и бескорыстно. Эти отношения вызывают скандал в семье. Взрослые дети нотариуса, жадные и жестокие, боятся, что отец упомянет Вирджинию в завещании.

Итальянский кинорежиссер Элио Петри недавно снял документальный фильм «Семеро моих сыновей», посвященный герою итальянского движения Сопротивления Алчиде Черви. Мы помещаем кадр из фильма с изображением А. Черви.

(Еженедельник «Контемпоранео»)

Старый нотариус Никола Монако неожиданно оказывается перед лицом сплоченной группы мелких хищников, которых совершенно «не устраивает» его любовь и которые употребляют все средства, чтобы убрать Вирджинию с дороги.

Автор не ограничивается историей личной любовной драмы Никола Монако. Он показывает его сыновей как некий социальный тип, рисует их отношения с другими людьми вне семейного круга, где они также выступают как стяжатели и корыстолюбцы. Перед читателем возникает картина отвратительных нравов сельской буржуазии.

Книги Карло Бернари переведены на многие языки, он лауреат литературных премий. Характеризуя его творчество, Васко Пратолини писал недавно в номере еженедельника «Фиера леттерариа», посвященном Бернари в связи с пятидесятилетием писателя: «Бернари отличается исключительной цельностью, он верен себе, это — писатель и историк, убежденный реалист...»

ГУТТУЗО ОБ АБСТРАКТНОМ ИСКУССТВЕ

В одном из последних номеров теоретического журнала Итальянской коммунистической партии «Ринашита» опубликована статья художника Ренато Гуттузо об абстрактном искусстве. Выступая в печати в связи с устроенной недавно в Риме выставкой художника Гуггенгейма и выставками других художников-абстрактивистов, Гуттузо говорит о «совершенно официальной диктатуре абстрактного искусства», установленной в Италии теми, кто держит в своих руках дело организации художественных выставок. «Если в прошлом,— указывает Гуттузо,— такие художники, как Кандинский или Мондриан, не находили поддержки и их даже не замечали, то теперь, как правило, в Италии наблюдается если не восторженное, то во всяком случае некритическое отношение к абстрактивизму».

Ренато Гуттузо в своей мастерской.

«Ныне,— с горькой иронией продолжает Гуттузо,— абстрактивисты полностью «поняты»; молодые «абстрактные» люди лет по двадцати спекулируют на абстрактивизме, претендуют — и, как правило, успешно — на то, чтобы их приглашали на выставку в Венецию, хвастают в своих «послужных списках» тем, что их произведения приобретены коллекционерами с экзотическими именами. Ныне просвещенный буржуа, магнат промышленности или важный чиновник, желающий прослыть интеллигентом, разглядывая картину, уже больше не спрашивает: «Что здесь изображено?»— и готов принять то, что выдается в столь широких масштабах за современное искусство».

Гуттузо страстно восстает против этой пагубной моды, прежде всего во имя серьезного подхода к искусству, который «основывается на опыте изучения окружающей действительности», и призывает художников не «предаваться ложному умствованию» и не «ограничиваться игрой изящества формы».

На примере картин Гуггенгейма Гуттузо дает развернутый критический анализ развития современного итальянского искусства.

Р. Гуттузо. Рисунок.

КИНОКОМЕДИЯ БЛАЗЕТТИ И ДЗАВАТТИНИ

На итальянский экран вышла комедия «Любовь и болтовня», поставленная режиссером Алессандро Блазетти по сценарию Чезаре Дзаваттини. Главные роли в фильме исполняют Витторио Де Сика и Джино Черви. Такая «комбинация» четырех имен старейших мастеров итальянского кино привлекла к фильму большое внимание критики и зрителей. Как отмечает «Унита», авторам фильма удалось создать веселую и остроумную социальную комедию. В центре фильма — борьба между честным провинциальным адвокатом и крупным промышленником, подчинившим себе при помощи денег и связей в «высших сферах» маленький городок, где происходит действие. Наряду с острыми сатирическими эпизодами и чисто комедийными ситуациями фильму присуща лирика — в нем раскрывается тема чистой любви сына адвоката и дочери бедняка — уборщика мусора.

«Унита» дает фильму положительную оценку и указывает, что, по сравнению с последними комедиями Блазетти, он является творческой удачей режиссера.

ФИЛЬМ ОБ ИНДИИ

Кинорежиссер Роберто Росселлини — постановщик фильма «Рим — открытый город» — недавно возвратился в Италию из Индии, где он в течение долгого времени снимал фильм «Дарящий землю». Новая кинокартина Росселлини рассказывает о современной Индии, ее главная тема — непрерывная и принимающая самые различные формы борьба между старым и новым. Фильм состоит из девяти коротких киноновелл. Три из них показывают борьбу индийцев против сил природы, в центре трех других — конфликт между старыми традициями и стремлением к обновлению нравов и обычаев, и, наконец, три последние посвящены животным Индии.

Еженедельник «Контемпоранео» опубликовал некоторые из тех новелл Росселлини, которые легли в основу его фильма.

КИТАЙ

СЛЕДУЯ ЗОВУ ПАРТИИ

В ответ на призыв партии — жить и работать вместе с народом — в конце прошлого года из Пекина в свою родную деревню в уезде Иян провинции Хунань возвратился автор романа «Ураган» писатель Чжоу Ли-бо. Сейчас писатель Чжоу Ли-бо вместе с крестьянами трудится на строительстве ирригационных сооружений. Он только что закончил работу над новым романом «Большие перемены в горной деревне».

По сообщению газеты «Вэньхуэйбао», китайский писатель Чжао Шу-ли также выехал несколько месяцев назад в свою родную деревню Вэйчи в провинции Шаньси. Корреспондент газеты, посетивший недавно писателя, застал его в правлении сельскохозяйственного кооператива, где Чжао Шу-ли вместе с крестьянами обсуждал вопросы партийной работы в деревне и план кооператива на 1958 год.

В беседе с корреспондентом Чжао Шу-ли сказал, что пока еще ничего не написал, так как, по его мнению, отразить всю разносторонность деревенского быта, сложность классовой борьбы, процесс коллективизации, новые стороны культурной и политической жизни крестьян можно только после более глубокого изучения всех этих процессов. «Писатель может написать интересное произведение, — добавил Чжао Шу-ли, — если располагает огромным материалом, взятым из практики... Писатель должен наблюдать за теми изменениями, которые происходят в настроениях и мыслях крестьян...» Корреспондент газеты «Вэньхуэйбао», познакомившись с жизнью писателя в деревне, сообщает, что крестьяне видят в Чжао Шу-ли «не гостя, а своего человека в кооперативе, мудрого советчика». Так, например, он помог крестьянам разобраться в причинах снижения урожайности в прошлом году и внес ряд ценных предложений.

В заключение корреспондент отмечает, что «такая тесная связь между писателем и крестьянами помогает уяснить причину того, почему сам Чжао Шу-ли и его произведения пользуются популярностью в широких народных массах».

ПЛАНЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

По сообщению газеты «Чжунго цинняньбао», шанхайское издательство «Синь вэньи» в 1958 году выпустит около трехсот названий книг.

Из произведений современных китайских писателей будут изданы романы Ша Тина, Юй Хэй-дина, Сяо Е-му, рассказы Чжоу Ли-бо, Фан Цзи, а также сборники стихотворений Гун Му и других поэтов.

Из произведений советских авторов будут опубликованы работы В. Ермилова «Традиции советской литературы» и М. Храпченко «Реализм Л. Толстого», роман К. Симонова «Товарищи по оружию», повесть «Знаменосцы» О. Гончара, «Донские рассказы» М. Шолохова, стихи А. Твардовского.

Западноевропейская литература будет представлена произведениями Шекспира, Мильтона, Свифта, Гете, а также книгами Драйзера, Дж. Линдсея, Бределя и других.

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОБРАНИЕ АКТИВА РАБОТНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

В Пхеньяне состоялось собрание актива работников литературы и искусства, на котором присутствовало более семисот человек. Собрание обсудило вопросы, связанные с проведением в

жизнь решений декабрьского расширенного пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

С докладом «Великий переломный период и насущные задачи писателей и работников искусства» выступил заместитель председателя Центрального правления Союза корейских писателей Се Ман Ир.

На собрании выступил также заместитель председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Чан Ман.

Он отметил, что декабрьский пленум ЦК ТПК еще раз продемонстрировал единство и сплоченность Трудовой партии, ее солидарность с Коммунистической партией Советского Союза, коммунистическими и рабочими партиями других стран.

Ким Чан Ман уделил в своем выступлении большое внимание вопросу активизации творческой деятельности писателей и работников искусства. Он подчеркнул необходимость поднять еще выше знамя социалистического реализма.

Собрание приняло резолюцию, в которой отмечается, что писатели и работники искусства, сплотившиеся вокруг партии и правительства КНДР, отдадут все свои творческие силы делу мирного объединения родины и строительства социализма в северной части страны.

О ЛИТЕРАТУРЕ ЮЖНОЙ КОРЕИ

В газете «Мунхак Синмун» — органе Союза корейских писателей напечатана статья писателя Ли Сан Хена «Современное состояние литературы Южной Кореи и наши задачи».

«Насущной проблемой нашей современной действительности является объединение нашей страны, в том числе сплочение литературных сил Юга и Севера Кореи.

Из-за империалистической политики США литература Южной Кореи развивается в иных условиях, нежели литература Севера Кореи. «Американские империалисты,— пишет Ли Сан Хен,— боятся малейшего влияния литературы социалистического реализма на южнокорейскую литературу. Они пытаются отравить писателей Юга ядом буржуазной идеологии, всячески пропагандируя американский образ жизни». Ли Сан Хен отмечает, что реакционная группировка южнокорейских писателей, идущих на поводу у империалистов и возглавляемая Ли Гван Су, Пак Дон Хва и другими, ведет наступление на прогрессивную революционную литературу Кореи.

Автор статьи подчеркивает, что литераторы КНДР должны в свою очередь активно бороться против этих глашатаев декаданса, модернизма и прагматизма, усиленно рекламируемых американской пропагандой: «Надо помнить, что борьба с подобными направлениями является не просто частью литературной борьбы, но имеет принципиальное значение в международном масштабе и является частью борьбы за мир во всем мире, за принципы социализма, за мирное объединение Кореи».

«В то же время, — пишет Ли Сан Хен, — следует помнить, что в Южной Корее есть определенная группа писателей, недовольных колониальным режимом на Юге страны и пытающихся хотя бы частично отразить реальное положение вещей... Эта часть писателей прежде всего хочет мирного объединения родины, что находит отражение в их произведениях.

Задача писателей Севера страны состоит в тщательном изучении литературных групп и направлений в Южной Корее». «Мы должны,— пишет в заключение Ли Сан Хен, — выделять и поддерживать все то ценное, что имеется в литературе Юга». Правление Союза писателей КНДР обратилось к литераторам Юга с призывом объединить усилия в борьбе за мирное воссоединение страны, призвало к широкому сотрудничеству на благо всего корейского народа.

ПОЛЬША

«ПРИМАДОННА ОДНОЙ НЕДЕЛИ»

Так озаглавлен фельетон, опубликованный в газете «Трибуна люду». «Примадонна» — это польский писатель Марек Хласко, автор сборника «Первый шаг в облаках», рассказа «Восьмой день недели» и некоторых других. Воспользовавшись своим пребыванием во Франции, Хласко недавно опубликовал в Париже в эмигрантском издательстве «Культура» два своих новых рассказа: «Кладбища» и «Следующий в рай». Следует отметить, что польские издательства и журналы отказались печатать «Кладбища».

Критик «Трибуны люду» с горечью говорит о том, что Хласко был «любимчиком значительной части дезориентированной польской критики». «Увлечение грубостью деталей, стремление описывать патологические состояния, лакировка «навыворот», позерское подражание «черной» литературе Запада — таков истинный характер писаний Хласко в 1957 году...» Автор фельетона напоминает трезвые голоса некоторых польских критиков, давших суровую оценку рассказу «Следующий в рай».

Рассказ «Кладбища»—это политический пасквиль на общественный строй Народной Польши и на весь польский народ. «Хласко докатился до того,— пишет автор фельетона,— что в 1958 году продал свое перо за пределами страны международным торговцам оружия против коммунизма. Зато он получил шанс «стать на западе примадонной одной политической недели».

Скандальному поведению Хласко посвящена также статья М. Радговского в еженедельнике «Политика». О самом факте появления его произведений в парижском издательстве «Культура» автор статьи пишет: «Широко известно, что писатели социалистического лагеря, мягко говоря, не

обращаются к этому издательству, публикующему антикоммунистические книги». О самом рассказе «Кладбища» Радговский говорит, что основной тезис философии главного героя сводится к отрицанию всего, что несет с собой народный, социалистический строй. Этот тезис иллюстрируется рядом эпизодов, нарисованных черными, отталкивающими красками. Все это создает антихудожественную, искаженную картину польской действительности. Радговский подчеркивает лживую атмосферу книги, сгущение красок, множество нелепых вымыслов, опровергающих реализм рассказа о Ковальском.

В итоге критик считает новую книгу Хласко во всех отношениях порочной и неудачной. Успех, которым она пользуется у людей, близких к издательству «Культура», и представителей реакционных кругов польской эмиграции, объясняется родственной им идеологией «Кладбищ». Этот «успех» безусловно в самом невыгодном свете рисует фигуру самого Хласко.

ДВЕ НОВЫЕ КНИГИ ГУСТАВА МОРЦИНЕКА

Творчество писателя Густава Морцинека тесно связано с его родной Силезией, с ее прошлым и настоящим. Главная тема творчества писателя — жизнь и труд силезских шахтеров.

Недавно вышли в свет две новые книги Г. Морцинека: «Мат Курт Краус» и «Иуда из Монте-Сикуро». Первая охватывает период 1918—1924 годов, рассказывает о силезских восстаниях, о борьбе за возврат Силезии Польше. Герой, имя которого послужило заглавием книги, после долгих скитаний по чужим странам возвращается домой, в Силезию, становится командиром повстанческого отряда. Как сообщает газета «Трибуна литерацка», в основу сюжета положен большой фактический материал.

«Иуда из Монте-Сикуро» — рассказ о судьбе двенадцати поляков, бывших узников фашистских концлагерей.

Как отмечает «Трибуна литерацка», проза Густава Морцинека продолжает характерные традиции польского романа — в значительной мере благодаря этому она так популярна среди широких читательских масс Польши.

Кадр из румынской кинокомедии «Два лотерейных билета», поставленной по повести И. Л. Караджале. В главной роли — актер Г. Василиу-Бирлик.
(Журнал «Фильм»)

РУМЫНИЯ

ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Недавно пять румынских писателей: Титус Попович, Вероника Порумбаку, Теодор Мазилу, Александру Миродан и Раду Тудоран были награждены премиями Министерства образования и культуры.

Еженедельники «Контемпоранул» и «Газета литерарэ» подчеркивают, что произведения, которым присуждены премии, написаны на современные темы. Среди них — два романа: «Чужой» Титуса Поповича и «Последняя повесть» Раду Тудорана; сборник стихов «Мое поколение» Вероники Порумбаку; пьеса «Журналисты» Александру Миродана и сборник фельетонов «Коллекция насекомых» Теодора Мазилу.

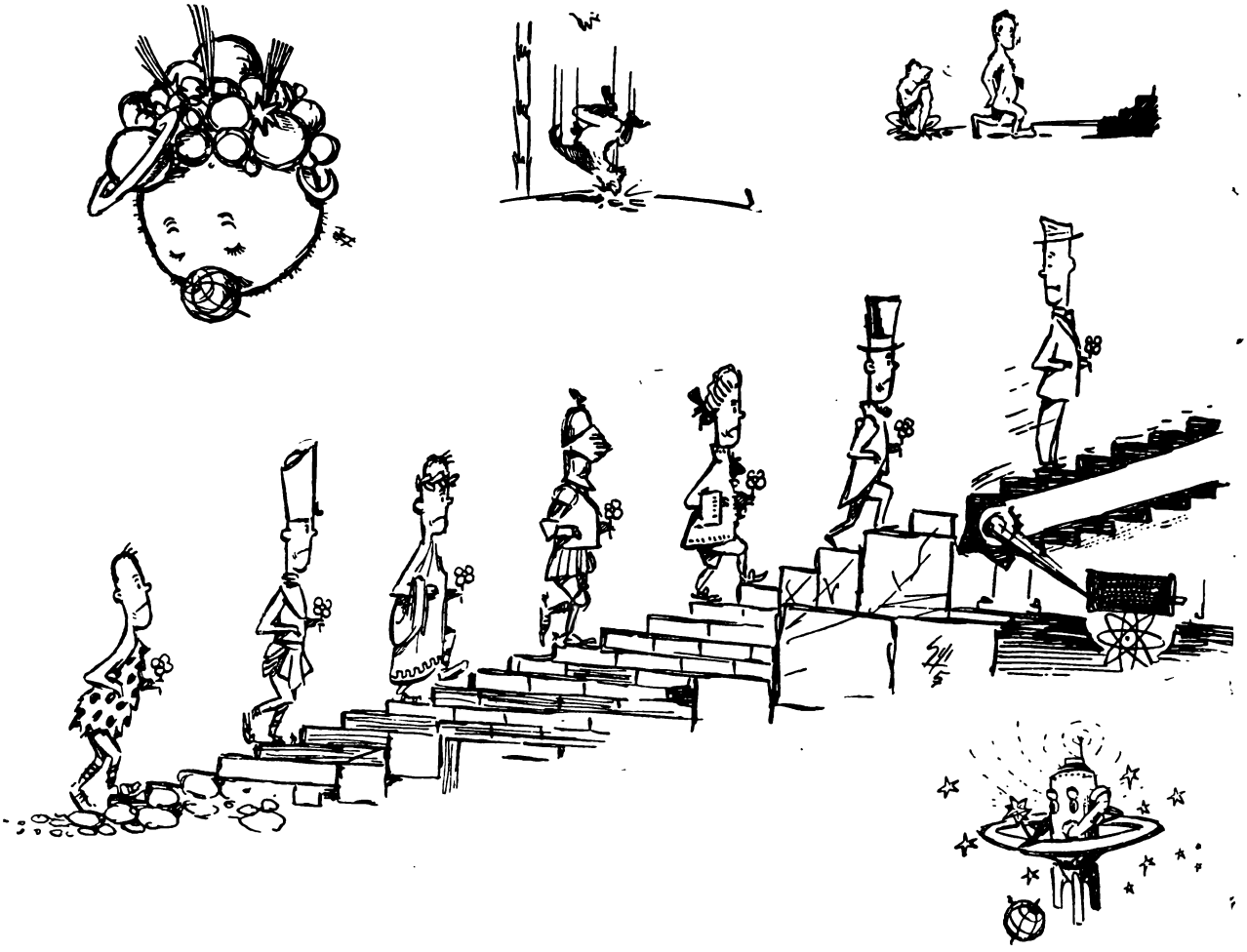
Роман «Чужой», созданный молодым трансильванским писателем Титусом Поповичем, приобрел широкую популярность в Румынии. Еженедельник «Контемпоранул» отмечает, что писатель с большим мастерством нарисовал картину борьбы широких народных масс за свои права в последние годы второй мировой войны и краха фашизма.

Роман Раду Тудорана «Последняя повесть» предназначен для детей и юношества. Это — исполненный романтики, увлекательный рассказ о простых людях Румынии.

«Развернутой лирической биографией поколения, юность которого совпала с освобождением румынского народа,— пишет «Контемпоранул»,— является книга стихов Вероники Порумбаку «Мое поколение».

Теодор Мазилу пришел в литературу недавно. Он написал всего две книги. Удостоенный премии сборник фельетонов «Коллекция насекомых» свидетельствует, по мнению «Контемпоранула», о незаурядном сатирическом таланте писателя.

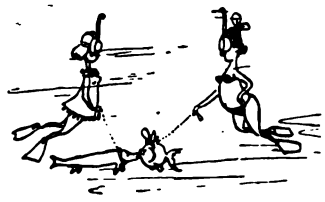
Комедия Александру Миродана «Журналисты», получившая премию, с успехом идет на румынской сцене.



Помещаемые нами рисунки принадлежат режиссеру и художнику Иону Попеску-Гопо — создателю мультипликационного фильма «История вкратце», который был отмечен в Каннах медалью «Золотая пальмовая ветвь».

...Многие миллиарды лет назад солнце выглядело намного красивее,— начинает свой юмористический рассказ об истории мироздания автор.— Планеты украшали его голову, а кометы с серебристыми хвостами блестели в его прекрасных светлых волосах (см. рис. 1). Оказалось, что планета, служившая солнцу носом, обладает влажным климатом. Солнце заболело насморком и, закрыв глаза, стало чихать. Когда солнце вновь открыло глаза, то, к своему ужасу, обнаружило, что планеты разлетелись и начали кружиться — как это было позже открыто астрономами — каждая по своей орбите. А что случилось с нашей «влажной» планетой? На ней зародилась жизнь. Ее первыми хозяевами стали животные. Однажды осенью бронтозавр играл на поляне с бабочкой. Земля начала трястись так сильно, что спокойно сидевшая на пальме обезьяна свалилась вниз. Падая, она лишилась хвоста, а при ударе о землю разбила нос (см. рис. 2). Встав, обезьяна обрадовалась тому, что осталась жива, и выразила свою радость странными криками, не известными прочим животным. Объявив себя человеком, она навсегда рассталась со своей прежней семьей (см. рис. 3).

Человек начал подниматься по лестнице цивилизации, меняя свое одеяние. В наши дни ему не надо тратить сил— теперь лестницу движет атомный двигатель (см. рис. 4). Человек приступает к изучению космоса с помощью искусственных спутников (см. рис. 5). В 2000-м году он освоит моря и океаны и будет прогуливаться после обеда под водой (см. рис. 6)...



Этими рисунками далеко не исчерпывается занимательный фильм И. Попеску-Гопо.

(Журнал «Флакэра»)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КУКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ

В Бухаресте в мае этого года состоится Международный фестиваль кукольных театров.

«Этот фестиваль не случайно проводится именно в Румынии,— пишет газета «Ромыния либерэ». — За последние годы в стране созданы многочисленные профессиональные и любительские кукольные театры».

Говоря об успехах кукольников Румынии, академик Чезар Петреску — председатель подготовительного комитета фестиваля — сообщил в беседе с корреспондентом газеты «Ромыния либерэ», что фестиваль послужит еще большему развитию этого жанра. Артисты театра кукол многих стран мира приняли приглашение приехать в Румынию.

На фестивале будут организованы выставки и проведены семинары по вопросам развития кукольного театра. Румынские театры покажут новые постановки. Так, Ч. Петреску создал по своей повести для детей «Фрам — белый медведь» пьесу для Бухарестского кукольного театра «Цэндэрикэ», успешно выступавшего в Москве во время VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

НАЙДЕНА КАРТИНА ВАН-ДЕЙКА

Еженедельник «Контемпоранул» сообщает о том, что в Галерее изобразительного искусства «Брукенталь» в Сибиу обнаружен оригинал картины Ван-Дейка «Смерть Клеопатры».

На протяжении многих десятилетий выдающиеся специалисты-искусствоведы, в том числе Т. Фриммель из Вены, Карл Фолль из Мюнхена и другие, осматривавшие эту картину в «Брукентале», приходили к противоречивым выводам относительно ее автора и выражали сомнение в том, что она написана Ван-Дейком. Недавно реставраторы специальной мастерской музея искусств РНР в Бухаресте восстановили не реставрировавшуюся в течение двухсот лет картину. Краски снова приобрели свою почти первоначальную яркость. Теперь отчетливо стала видна подпись Ван-Дейка. То, что картина принадлежит кисти Ван-Дейка, подтвердил недавно Лео Ван Пуйвельде, брюссельский искусствовед, один из лучших в Европе знатоков работ Ван-Дейка, автор монографии о фламандском живописце.

В ответ на высказывания о том, будто неизвестно, что Ван-Дейк когда-либо писал картины, изображающие Клеопатру, Лео Ван Пуйвельде сообщает: «Признаюсь, и я не встречал ранее ни одного произведения Ван-Дейка на эту тему, но существуют свидетельства, что художник работал над такой картиной... Об этом неоднократно упоминается в переписке фирмы купца Форсхудта из Антверпена, занимавшегося в XVII в. продажей произведений искусств».

Как утверждает Лео Ван Пуйвельде, Форсхудт приобрел и отослал оригинал этой картины в Вену.

«Нам известно также, — пишет далее «Контемпоранул»,— что Брукенталь собирал свою коллекцию в Вене. Такое совпадение фактов свидетельствует достаточно красноречиво, что речь идет об оригинале Ван-Дейка».

США

ПРОТЕСТ УОЛДО ФРЭНКА

Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает, что писатель Уолдо Фрэнк заявил протест против отказа государственного департамента США выдать ему паспорт для поездки в Китай.

«Мне трудно,— заявил он,— оправдать отказ государственного департамента разрешить мне выступить с курсом лекций в Пекинском университете... Это противоречит самой сути нашей демократической системы, которую создала наша конституция и которую она была призвана защищать. И если такое положение продлится, то от этой демократической системы ничего не останется».

Далее Фрэнк сказал: «В нашей стране есть видные китаеведы. Им также не разрешают посещать Китай. Если бы государственный департамент проводил правильную, жизнеспособную политику, то он посоветовал бы им съездить в Китай...

Быть может, государственный департамент опасается, что я увижу что-нибудь хорошее у китайского народа и усмотрю нечто хорошее в том, что этот народ делает?..»

Фрэнк заявил, что если он поедет в Китай, то одна из его задач будет состоять в том, чтобы изложить свои впечатления в статьях, которые будут разосланы затем в различные газеты американского континента.

«Отказав в предоставлении мне паспорта для поездки в Китай,— сказал в заключение Фрэнк,— Даллес вмешивается в дела прессы всей Америки. Поскольку этот вопрос затрагивает межамериканские отношения, такое решение, по-видимому, отнюдь не является мудрым».

КНИГА О БОРЬБЕ АМЕРИКАНСКИХ ФЕРМЕРОВ

Книга Дейла Кремера «Дикие ослы», которая недавно вышла в Соединенных Штатах, посвящена борьбе американских фермеров против засилия монополий в сельском хозяйстве. В основу книги положены исторически достоверные факты, относящиеся к периоду 1870—1930 годов. Дейл Кремер показывает, как создавались массовые организации фермеров, как из среды простых американских тружеников выходили вожди прогрессивного движения. Значительную часть книги занимает описание фермерских забастовок. Так, например, одна из глав рассказывает об известной забастовке, организованной

Союзом южных фермеров, в которой приняли участие свыше двух миллионов фермеров и полутора миллионов негров-издольщиков. В книге отражена также история трагической борьбы фермерских кооперативов с монополиями.

СТИХИ ГАБРИЭЛЫ МИСТРАЛЬ В ПЕРЕВОДЕ Л. ХЬЮЗА

Творчество известной чилийской поэтессы, лауреата Нобелевской премии Габриэлы Мистраль, умершей в прошлом году, до сих пор мало известно в США.

Поэт Лэнгстон Хьюз перевел произведения Г. Мистраль на английский язык. Недавно в США вышла в свет книга избранных стихов поэтессы в переводе Л. Хьюза (издательство университета штата Индиана). Газета «Уоркер» отмечает успех Хьюза, выступившего в роли переводчика, подчеркнув, что перевод стихов Мистраль представляет собой весьма сложную задачу.

НОВЫЙ ФИЛЬМ ДИСНЕЯ

Уолт Дисней выпустил новый фильм по рассказу Феликса Солтена «Перри». Солтен является также автором повести «Бэмби», перенесенной некогда Диснеем на экран. Этот фильм демонстрировался в СССР.

Перри — белочка, живущая в сосновом лесу. «В отличие от других его фильмов,— сообщает газета «Пиплз уорлд»,— Дисней рассказывает о жизни белки не с помощью мультипликации, а применяя натурные съемки».

Кинооператоры следили за зверьком в течение многих месяцев и произвели съемки, затратив «неимоверное количество километров пленки». «Пиплз уорлд» отмечает, что этому живому и волнующему кинорассказу в меньшей степени присущи обычные для фильмов Диснея особенности — сентиментальность и сообщение животным человеческих черт и чувств.

ФИНЛЯНДИЯ

К 40-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНЫ

В Финляндии вышли в свет две новые книги: «Годы великих событий 1917—1918» Антти Хювёнена и «Ленин и финны» Сюльви-Кюлликки Кильпи. Эти книги появились в канун национального праздника финского народа — сорокалетия государственной независимости Финляндии,— в них отводится большое место исторически достоверному освещению этого события.

А. Хювёнен показывает в своей книге, как свержение царизма всколыхнуло финскую общественность, как возродилась мечта об обретении государственной независимости. Движение за национальную независимость переплелось с борьбой за улучшение жизненных условий народа. Особенно упорной становится эта борьба после победы Великой Октябрьской социалистической революции. «Октябрьская революция, — пишет Хювёнен,— сделала возможной государственную независимость Финляндии».

В заключение А. Хювёнен говорит о значении революционных событий 1918 года для дальнейшего развития пролетарского движения в Финляндии.

Автор книги «Ленин и финны» Сюльви-Кюлликки Кильпи — председатель общества «Финляндия — Советский Союз».

Неслучайно, что эта книга вышла в свет именно к сорокалетию государственной независимости Финляндии. Рецензент газеты «Кансан уутисет» пишет: «В 1917 году и особенно после Октябрьской революции личный вклад Ленина в решение вопроса о государственной самостоятельности Финляндии был очень значителен».

Автор книги рассказывает о В. И. Ленине и его связях с Финляндией, начиная с той поры, когда происходит первое знакомство Владимира Ильича с сосланным финским революционером в далеком сибирском селе Шушенском, рассказывает о неоднократных посещениях Лениным Финляндии. Автор помещает воспоминания ряда финских товарищей о встречах с В. И. Лениным.

«Книга С. К. Кильпи,— отмечает рецензент газеты «Кансан уутисет»,— ценнейшее из изданных в Финляндии произведений о Ленине. Она представляет собою также значительный вклад в исследование рабочего движения страны».

ФРАНЦИЯ

КНИГИ, НЕ УДОСТОЕННЫЕ ПРЕМИИ...

Еженедельник «Нувель литтерер» недавно опубликовал список книг, вышедших «самыми большими тиражами» в минувшем году. Комментируя этот список, «Нувель литтерер» отмечает, что, как и в прежние годы, первые места по тиражу занимают книги, получившие литературные премии. Между тем ряд произведений, обративших на себя внимание критики, остается неизвестным широкой читательской публике. К их числу французская литературная пресса в первую очередь относит романы молодых авторов Оливье Тодда, Монго Бети, Патрика Кесселя.

Герои книги Оливье Тодда «Лейтенант из Алжира» — это французские солдаты, воюющие в Северной Африке. Они ненавидят колониальную войну, в которой вынуждены участвовать, но еще не видят выхода из того положения, в котором оказались. Тем не менее их надежды, в особенности надежды главного героя романа, во многом связаны с политической борьбой, которую ведет против войны коммунистическая партия. Интересно отметить, что книга получила довольно высокую оценку и в буржуазной печати. Так, например, газета «Ар» пишет: «Этот небольшой роман словно написан на походном мешке, у костра бивуака...

Его создал человек, который умеет видеть и чувствовать...»

Положительный отзыв дает газета и о романе «Законченная миссия» молодого камерунского писателя Монго Бети, пишущего на французском языке. В романе рассказывается о студенте-камерунце, приехавшем на каникулы в родную деревню из Франции. Хотя студент только что провалился на экзаменах, он слывет среди своих односельчан ученым человеком. «Книга,— пишет литературный обозреватель «Ар»,— читается легко, она написана задушевно, с иронией, в реалистической манере». Правда, в конце обзора рецензент этой буржуазной газеты с явным неудовольствием отмечает, что книга Монго Бети кончается «неуместным призывом» к борьбе за национальную независимость Камеруна...

Из «книг, не получивших премии», критика особо отмечает роман Патрика Кесселя «Враги общества» (см. «Иностранную литературу» № 3, 1958 г.) о нравах современной буржуазной печати, о молодых журналистах, вынужденных делать выбор между безработицей и сделкой со своей совестью. «Это отлично написанный роман... Он читается с интересом и заставляет всякого задуматься»,—пишет еженедельник «Нувель литтерер».

Содержание этих книг — «из числа не удостоенных премии» — свидетельствует о том, что значение социальных, актуальных тем в современной французской литературе увеличивается, хотя эти темы и не приходятся по вкусу некоторым членам литературного жюри...

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПИСЬМА ЖЮЛЯ ВАЛЛЕСА

Журнал «Эроп» отметил столетие со дня издания произведения Жюля Валлеса «Деньги» публикацией двенадцати писем, адресованных писателем его другу Артюру Арнульду. Содержание этих писем связано с весьма драматическим эпизодом из жизни Валлеса. Как известно, Валлес был одним из организаторов студенческих демонстраций протеста против государственного переворота, совершенного Луи-Наполеоном в 1851 году. Отец писателя, опасаясь за судьбу своей служебной карьеры, решил принять «экстренные меры» против политической деятельности сына. На основании ложного медицинского свидетельства студент Валлес был признан невменяемым и препровожден в дом для умалишенных. Ему удалось известить об этом своего друга Арнульда, и тот по прошествии двух месяцев добился его освобождения.

Кроме указанных писем, журнал «Эроп» публикует также ряд статей, посвященных творчеству писателя.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРОЩАНИЕ С ВИТЕЗСЛАВОМ НЕЗВАЛОМ

В Праге скоропостижно скончался народный художник Витезслав Незвал — крупнейший современный поэт Чехословакии, лауреат Международной премии мира. Человек большого и разностороннего таланта, он был автором свыше сотни сборников лирических стихов, драм, монографий по изобразительному искусству, Незвал был также художником и композитором.

В Доме художников Праги над утопающим в цветах гробом Вацлав Копецкий от имени ЦК компартии Чехословакии и правительства говорил о том, что в лице Незвала ушел не только поэт, стоящий в одном ряду с основоположниками и классиками чешской литературы, но и страстный борец за коммунизм, за мир. Член компартии с 1923 года Витезслав Незвал, говорил Копецкий, «шел в борьбе за дело коммунизма всегда впереди, как «барабанщик революции», призывным ритмом своих стихов определяя ритм нашего движения».

Тесно связанный с прогрессивной поэзией, с передовыми поэтами всего мира, он любил и пропагандировал и передовую французскую, и китайскую, и советскую литературу, был представителем чехословацких писателей на I Съезде советских писателей в 1934 году, участвовал в международном антифашистском Конгрессе в защиту культуры в Париже в 1935 году.

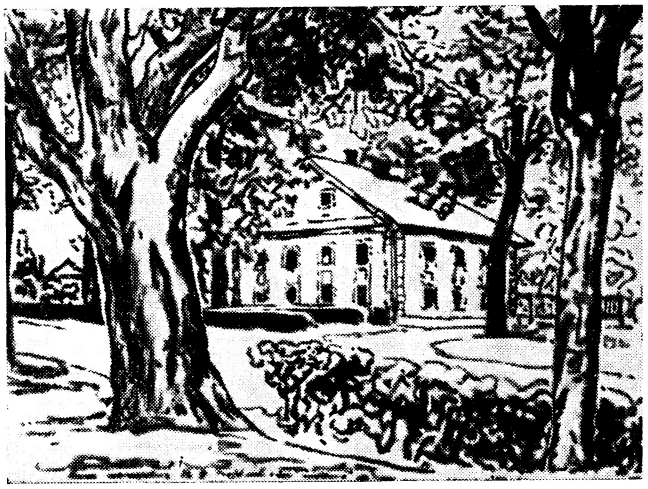
Значение творчества и личности Незвала далеко выходит за пределы его страны, говорил поэт Иржи Тауфер. Он принадлежал к той великой когорте, которую украшают имена Маяковского, Поля Элюара, Пабло Неруды, Назыма Хикмета, Арагона, Эми Сяо, Го Мо-жо и других. Об этом свидетельствуют и полные скорби отклики на смерть поэта, опубликованные в «Литерарних новинах»: стихи Луи Арагона, письма Жана Марсенака, Тристана Тцары, Ильи Эренбурга, Франсуа Кереля, Сальваторе Квазимодо и многих других.

В. Незвал ушел из жизни в расцвете творческих сил, полный надежд и планов. В течение последнего года, рассказывает И. Тауфер, он закончил перевод «Всеобщей песни» Пабло Неруды и стихов Мао Цзэ-дуна, написал цикл лирических стихов о Советском Союзе, автобиографическую поэму, стихи на смерть Безруча. За несколько недель до смерти Незвал ездил в Италию. Оттуда он стихов не привез. «Они все у меня в голове»,— говорил он. Но этих стихов он уже не написал. Остались незаконченными и его воспоминания, которые он печатал отдельными главами в еженедельнике «Культура», не осуществлена задуманная драма.

ЯПОНИЯ

РОМАН О ЖИТЕЛЯХ ОКИНАВЫ

«Окинавадзима» — «Остров Окинава» — так называется первый роман писателя Масадзи Симода, опубликованный недавно в



Недавно исполнилось 80 лет со дня рождения академика Зденека Неедлы. Мы помещаем рисунок чехословацкого художника К. Вика, изображающий дом, где родился З. Неедлы.

(Газета «Литерарни новины»)

журнале «Син нихон бунгаку».

М. Симода окончил Токийский университет в 1939 году и был призван в армию, где прослужил до окончания войны. После поражения Японии Симода вернулся на родину, на остров Окинава, и увидел, в каких невероятно тяжелых условиях живет его народ.

«В своем романе,— пишет Симода в «Син нихон бунгаку»,— я хотел рассказать всем моим соотечественникам о трех вещах: во-первых, о том, что островом, по праву принадлежащим Японии, правят американцы; во-вторых, что в результате атомной бомбардировки наряду с городами Хиросима и Нагасаки огромный урон нанесен и Окинаве, и наконец, я хочу рассказать о многочисленных фактах варварского обращения американцев с коренным населением острова».

Известный литературовед Охара Гэн пишет в этом журнале, что «автор поступает совершенно правильно, рассказывая о судьбе населения Окинавы в историческом плане. А судьба его была достаточно тяжелой. Народ Окинавы никогда не чувствовал себя равноправным в Японии. Еще до войны японское правительство относилось к нему, как к колониальному народу. Налоги на Окинаве были значительно выше, чем на остальной части японской территории. Об отношении правительства к жителям Окинавы достаточно красноречиво говорит хотя бы тот факт, что до войны на острове не было ни одного километра государственной железной дороги, ни одного высшего учебного заведения...

Все помнят многие месяцы боев за Окинаву, когда по острову били орудия американских кораблей, когда американская авиация сбрасывала на остров бомбы. В тот период народ понес неисчислимые жертвы. Но вот война окончилась, и новая беда нависла над Окинавой — остров стал военной базой Соединенных Штатов. Лучшие земли крестьян были превращены в аэродромы и полигоны, и многие семьи обречены на нищенское существование. Американцы являются полновластными хозяевами острова; они попирают принципы демократии, попирают права народа. Таково трагическое положение, в котором очутились жители Окинавы после войны. Обо всем этом рассказывается в романе Симода».

Охара Гэн высоко оценивает роман, называя его крупным достижением японской литературы.

ФИЛЬМ О БОРЬБЕ ЯПОНСКОГО НАРОДА ПРОТИВ АМЕРИКАНСКИХ БАЗ

«Городок Сунагава известен теперь не только в Японии, он стал известен во всем мире»,— этими словами начинается рецензия на новый японский фильм «Взрывы и земля», помещенная в журнале «Тюокорон».

Что же произошло в Сунагаве? В октябре 1956 года американские власти решили расширить свой военный аэродром, расположенный недалеко от городка Сунагава. Это означало, что многие семьи Сунагавы лишатся и без того крошечных участков земли — их единственного средства к существованию. Жители городка решили защищать свои права. Их мужественная борьба привлекла к себе внимание всех честных людей Японии. И народ победил. Американцам не удалось согнать крестьян с земли.

Этим событиям посвящен новый фильм режиссера Сэкигава Хидэо. «Есть люди, одобряющие позицию правительства в вопросе о Сунагаве и не одобряющие ее, но никто не станет отрицать, что события в Сунагаве — трагедия сегодняшней Японии,— говорится в рецензии.—Фильм не лишен недостатков. В нем не показана связь борьбы в Сунагаве с общей борьбой японцев против американских баз. Хотелось бы, чтобы зритель понял, что борьба не завершена, что она будет продолжаться... Но, несмотря на эти недостатки, картина оставляет огромное впечатление, позволяет глубоко понять положение современной Японии, на территории которой расположены многочисленные американские военные базы».

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Иржи Тауфер — Jiří Taufer (род. в 1911 г.) — чешский поэт, переводчик, литературный критик. Произведения Тауфера печатались в журнале «Иностранная литература» (см. № 6 за 1955 г., № 2 за 1958 г.). Публикуемое стихотворение получено редакцией от автора.

Ян Вейс — Jan Weiss (род. в 1892 г.) — чешский писатель-романист, заслуженный деятель искусств. Первый сборник рассказов Вейса «Призрак смеха» ("Fantom smíchu") вышел в 1927 г. Его перу принадлежат также романы «Тысячеэтажный дом» ("Dům o tisíci patrech", 1929) и «Зов о помощи» ("Volání o pomoc", 1946), сборник рассказов «Истории старые и новые» ("Příběhy staré u nové", 1954) и др.

Книга «Страна внуков» ("Země vnuků") издана в Праге в 1957 г. (рецензию на книгу см. в № 2 нашего журнала за 1958 г.).

Прежихов Воранц — Prežihov Voranc (псевдоним Ловро Кухара) (1893—1950) — крупный словенский писатель, автор романов «Яма» ("Iamnica"), «Пожарище» ("Požganiža"), детской повести «Слезки» ("Solzice"). Печатаемый рассказ взят из книги «Дикорастущие» и другие новеллы» ("Samorastniki" in druge novesti", 1956).

Антоние Исакович — Антоније Исаковић (род. в 1923 г.) — сербский писатель, редактор журнала «Дело». А. Исакович — автор сборника рассказов «Большие дети» («Велика деца», 1953), откуда и взят публикуемый рассказ.

Цветко Мартиновский — Цветко Мартиновски (род. в 1930 г.) — молодой македонский писатель и переводчик.

Печатаемый рассказ взят из первого сборника рассказов писателя «Лунинцы» («Луњинци»), вышедшего в 1955 году.

Славко Яневский — Славко Јаневски (род. в 1920 г.) — македонский писатель. Автор произведений «Кровавое ожерелье» («Крвава низа», 1945), «Стихи» («Стихове», 1948), «Лирика» («Лирика») и «Эгейская пороховая сказка» («Егејска барутна бајка», 1951), повести «Улица» («Улица», 1950), романов «Село за семью ясенями» («Село зад седумте јасени», 1952) и «Две Марии» (роман получил первую премию Союза писателей Македонии за 1956 г.).

Печатаемый рассказ взят из сборника «Клоуны и люди» («Кловнови и луге», 1954).

Вельсо Муччи — Velso Mucci—прогрессивный итальянский поэт. В 1953 г. опубликован его сборник «Среди людей» ("Umana compagnia").

Умберто Саба — Umberto Saba (1883—1957) — крупнейший итальянский поэт. Наиболее известны его книги «Стихи» ("Poesie", 1911), «Прелюдия и песни» ("Preludio e canzonette", 1922), «Автобиография» ("Autobiografia", 1924), «Фигуры и песни» ("Figure e canti", 1928), «Прелюдия и фуги» ("Preludio e fughe", 1928), «Средиземноморский цикл» ("Mediterranee", 1947), «Птицы» ("Uccelli", 1950).

Сальваторе Квазимодо — Salvatore Quasimodo (род. в 1901 г.) — итальянский поэт, автор сборников «Воды и земли» ("Acque e terre", 1930), «Утонувший гобой» ("Oboe sommerso", 1932), «Запах эвкалипта» ("Odore di Eucalyptus", 1933), «Быстро настает вечер» ("Ed è subito sera", 1942), «День за днем» ("Giorno dopo giorno", 1947), «Жизнь — не сон» ("La vita non è sogno", 1949).

Джузеппе Унгаретти — Giuseppe Ungaretti (род. в 1888 г.) — старейший итальянский поэт. Его перу принадлежат книги «Погребенный порт» ("Il porto sepolto", 1917), «Война» ("La Guerra", 1919), «Чувство времени» ("Sentimento del tempo", 1933), «Скорбь» ("Il dolore", 1947), «Земля обетованная» ("La Terra promessa", 1950).

Антонио Гуерра — Antonio Guerra (род. в 1921 г.) — итальянский поэт и прозаик. Автор романа «После прихода львов» ("Dopo i leoni", 1956), а также сборников стихов.

Джакомо Новента — Giacomo Noventa (род. в 1898 г.) — итальянский писатель, поэт, автор ряда критических работ. Печатается в газетах и журналах.

Пьетро Буттита — Pietro Buttitta — молодой итальянский поэт. Опубликовал ряд стихотворений в газетах и журналах.

Эудженио Монтале — Eugenio Montale (род. в 1896 г.) — крупный итальянский

поэт. Наиболее известны сборники стихов «Кости сепии» ("Osi di seppia", 1925), «Таможня» ("Casa di doganieri", 1932), «Случаи» ("Occasioni", 1943).

Чезаре Павезе — Cesare Pavese (1908 — 1950) — известный итальянский романист и поэт. Автор романов «Товарищ» ("Il compagno"), «Дом на холме» ("La casa in collina"), «Луна и факелы» ("Luna e falò"), стихотворных сборников «Работа утомляет» ("Lavorare stanca", 1936) и «Смерть придет» ("Verra la morte", 1950).

Марио Сократе — Mario Socrate (род. в 1920 г.) — молодой итальянский поэт, автор стихотворных сборников «Иллюстрированные стихи» ("Poesie illustrate", 1951) и «Рим в наши годы» ("Roma e i nosrti anni", 1957).

Анджело Мариа Рипеллино — Angelo Maria Ripellino (род. в 1922 г.) — итальянский поэт, переводчик и литературовед, профессор римского университета. Составитель и переводчик антологии русской поэзии XX века, автор ряда исследований по современной советской поэзии. Оригинальные стихи Рипеллино печатались в газетах и журналах.

Уильям Дюбуа — William Edward Burghardt Du Bois (род. в 1868 г.) — известный негритянский ученый, публицист, писатель, член Всемирного Совета мира. См. в № 2 журнала «Иностранная литература» за 1958 г. статью Седрика Белфрейджа о жизни и деятельности Уильяма Дюбуа.

Иржи Сайдлер — Jiří Seydler (род. в 1920 г.) — чешский журналист и переводчик.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**
Редакционная коллегия:
И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов, Н. Н. Вильмонт, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора), **Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, С. В. Образцов, Н. И. Родионов** (зам. главного редактора), **С. П. Щипачев.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.
Телефоны: В 3-51-47; В 1-15-08.

Художеств. редактор *М. М. Милославский.* Технический редактор *А. Ф. Марков.*

А 03861. Сдано в производство 15/III 1958 г. Подписано к печати 15/V 1958 г.
Бумага 70×108¹/₁₆ = 8,0 бум. л. + 1 вкл. П. л. 24,66 + 1 вкл. Зак. 560.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 8 руб.